

В. КОСТЫЛЕВ

ТОМ  
1

*В. Костылев*  
ИЗБРАННЫЕ  
СОЧИНЕНИЯ









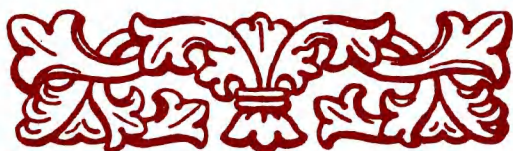


**В. И. КОСТЫЛЕВ**



**Т О М  
П Е Р В Ы Й**





**В. КОСТЫЛЕВ**

**ИЗБРАННЫЕ  
СОЧИНЕНИЯ**

**Т О М I**

**ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1951**





**В. КОСТЫЛЕВ**

# **ПИТИРИМ**

**РОМАН  
ИЗ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ**

**ГОРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1951**





**Оформление художника  
В. И. АВЕРИНОЙ**

**«ПЕТР Великий сделал много для  
возвышения класса помещиков и раз-  
вития нарождавшегося купеческого  
класса. Петр сделал очень много для  
создания и укрепления национального  
государства помещиков и торговцев.  
Надо сказать также, что возвышение  
класса помещиков, содействие нарож-  
давшемуся классу торговцев и укреп-  
ление национального государства  
этих классов происходило за счет  
крепостного крестьянства, с которого  
драли три шкуры»...**

**И. В. СТАЛИН. Беседа с немецким  
писателем Эмилем Людвигом.**

## В. И. КОСТЫЛЕВ

### (БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

В. И. Костылев родился в 1884 году в семье-московского железнодорожного служащего. Семья жила бедно, и нужда заставила мальчика рано начать трудовую жизнь: 13-летним подростком он поступает сначала в магазин рассыльным, а затем переходит пломбировщиком на железную дорогу. В 1903 году в одном из журналов был опубликован его первый рассказ «Мелкий случай», с которого и начинается литературная деятельность Валентина Ивановича Костылева.

Темой этого и многих других ранних рассказов, которые систематически начинают появляться на страницах московских журналов, является жизнь бедноты, быт городских окраин, судьба маленьких обездоленных людей.

Эти рассказы привлекают к молодому писателю внимание царской цензуры. На корректурных отписках рассказов В. Костылева все чаще появляется резолюция цензора — «снять». Так были запрещены рассказы «Горе Полкана», «На усмирение», «На гауптвахте» и другие.

Огромное влияние на формирование мировоззрения писателя, и на его творческий рост оказало знакомство с такими крупнейшими писателями, как А. Серафимович, В. Вересаев, А. Толстой, и особенно переписка, а затем и общение с А. М. Горьким.

Октябрьская революция, восторженно встреченная писателем, вовлекла его в свой могучий водоворот, и В. И. Костылев с головой уходит в журналистскую деятельность. С первых дней революции писатель-журналист начинает активно работать в большевистской газете «Известия военного комиссариата», а затем переезжает с семьей в село Воскресенское, Нижегородской губернии. Здесь он проводит четыре года, принимая активнейшее участие в культурной жизни Воскресенского уезда.

В 1922 году В. Костылев переезжает в Нижний Новгород, где поступает на работу в газету «Нижегородская коммуна» и с этого времени прочно связывает свою судьбу с жизнью нашего города и края. (В. И. Костылев прожил в Горьком около 25 лет).

В 1935 году, с выходом в свет первого крупного произведения «Хвойный шторм» (переработанного затем автором и изданного в 1943 году под названием «Счастливая встреча»), посвященного теме становления советской власти в Нижегородском заволжье, Костылев целиком уходит в литературу, и с этого времени начинается подлинный расцвет творчества писателя.

Писатель эпического плана, В. И. Костылев все более начинает тяготеть к исторической тематике. Он становится страстным краеведом. Писатель тщательно и кропотливо изучает архивные документы, касающиеся больших исторических событий в жизни Нижегородского края.

В 1936 году выходит в свет исторический роман В. И. Костылева «Питирим». Роман посвящен теме борьбы с расколом и отражает государственную деятельность царя-преобразователя Петра I. В 1937 году выходит в свет новый роман из времен Елизаветы — «Жрецы», являющийся историческим продолжением «Питирима». Этот роман посвящен теме проявления национального движения морзвы в бывшей Нижегородской губернии.

Едва окончив работу над «Жрецами», Костылев принимается за изучение материалов, связанных со славными страницами в истории нашей родины, — с освободительной борьбой русского народа с польскими интервентами, пытавшимися поработить нашу родину. И в 1939 году выходит в свет наиболее значительное произведение этого периода — «Кузьма Минин».

В годы Великой Отечественной войны В. Костылев упорно работал над крупными произведениями, в то же время вел активную журналистскую деятельность. Его статьи в областной и центральных газетах наполнены горячей любовью к Родине, к народу, к партии Ленина — Сталина, жгучей ненавистью к врагу и пламенным призывом к советскому народу — встать на защиту своего социалистического отечества.

В 1944 году Валентин Иванович вступает в ряды ВКП(б) и еще более активно включается в общественную жизнь города и области.

Работа над тремя историческими полотнами, написанными на краеведческом материале, была преддверием к созданию самого monumentalного произведения В. И. Костылева — трилогии «Иван Грозный». И с 1943 по 1947 гг. выходят в свет одна за другой книги «Москва в походе», «Море», «Невская твердыня».

Трилогия «Иван Грозный» — большой успех писателя и достижение всей советской литературы. В этом романе В. Костылев по-новому и исторически правдиво раскрыл сложный образ царя Ивана Васильевича и показал его прогрессивную роль в создании российского многонационального государства, в упрочении его мощи, в развитии его культуры.

Правительство высоко оценило труд писателя: в 1948 г. писателю за трилогию «Иван Грозный» была присуждена Сталинская премия второй степени.

9 февраля 1947 года трудящиеся Сормова избрали В. И. Костылева депутатом в Верховный Совет РСФСР.



За выдающиеся заслуги в области литературы В. И. Костылев был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Валентин Иванович Костылев умер в 1950 году, на 66-м году жизни, полный новых замыслов и творческих планов.

Незадолго до смерти В. И. Костылев переехал в Москву, но до конца своих дней он был тесно связан с жизнью города Горького и области, с ее писательской организацией. Писатель, завоевавший всесоюзную читательскую трибуну В. И. Костылев особенно дорог и близок читателям-горьковчанам. Именно в Горьком и на местном историко-краеведческом материале создано им большинство произведений.

В настоящее шеститомное издание включены романы «Питирим», «Жрецы», «Кузьма Минин», «Москва в походе», «Море» и «Невская твердыня».



**Ч А С Т Ъ  
П Е Р В А Я**







I



ышали тихие полдневные ветры, и ласточки прилетали из теплых краев. Великим многоводием двинулись в Волгу лесные речки.

Ликовали орлы.

— Птица, и та своим крылом красуется, а мы, сироты, будто зверь в норах, причемся, хоронимся от людей, — плакались старцы.

Керженские скитожители не чувствуют солнца. Под спудом тяжелого раздумья они.

Возвратился из Нижнего-Нове-Града, из кремля, старец Варсонофий и привез за пятью печатями грамоту от епископа Питирима, а в той грамоте — «помяни, господи, царя Давида!» — крепко-накрепко приказано поспешить ответами на сто тридцать архиерейских вопросов.

Уж год будет, как впервые прислал свои вопросы лиходей-епископ. Ищет повода он, чтобы вторгнуться в керженские леса, обрушиться на мирных людей древлего благочестия.



Не дает епископ покоя: требует! Варсонофия старца, по его словам, в кандалы хотел заковать. Человек привез челобитную, просил отсрочки ответов, а он—в тюрьму. Отпустил кое-как, с оговорками. «Не доведите меня до понуждения—хуже будет»,—сказал он, а это знак: теперь так и жди.

А ведь коснутся скитов—заценят и другие сословия. В лесах заволжских прячутся не только «ревнители древнего благочестия», а и многих другой народ. С давних пор ютится он здесь, в глуши, гонимый властями. Некоторые преследуются за неприятие «новин», за бунт против неволи, спасаются от начальства беглые люди—колодники, ратные молодцы; доживают свой век седовласые упрямцы из разиновского войска, состарившиеся наедине со своей неизжитой мечтой; хоронятся и беглецы-гвардейцы, и поднявшие недавно голос против царя лысковские бобыли, и прочие. Не только раскол тут причиною.

Расползлись беглецы по лесам: кто—в скитах, кто—в деревушках и глухих починках, по островам и берегам Керженца, Ветлуги и Усты, кто—в пещерах, словно кро-ты. Промышляют рыбною ловлей, бобровыми гонами, лебединою охотою, зверобойничают многие и плавают леса на низы Волги.

А теперь—горе всем! Хищник с кремлевской горы нацелился на эти места.

Сто тридцать вопросов! Да каких! Всю свою ученость показал царский холоп. Ишь ты, придумал! Недаром старцы сбились с толку. Не отвечают. Притворился такой лисой—любезно, почтительно: «Прошу вашу премногую любовь, славы ради божия, общия ради пользы»... А кто поверит? Так и знай: китайская мудрость пущена в лес неспроста, а ради соблазна людей, чтобы смущение посеять и изловить на ответе, да и к бунту то приравнять.

А если взять да не ответить? Тогда и того хуже. Такие дела бывали. Кто не являлся на споры с попами, то и того пытали и казнили, как за татьбу<sup>1</sup>. Это известно.

Что делать?

Сам диакон Александр растерялся.

И вдруг вспомнили: «Пресвятая владычица, совсем забывали! А Денисов?!»

На Керженце появилась мудрая голова из олонецких

---

<sup>1</sup> Татьба—разбой.

лесов, из Выгорецкого скита поморской церкви, «знаменитый член, муж ученейший, высоких талантов, твердого духа и дивной памяти», славный писатель «Андрей сын Денисов». Отпрыск забытого рода князей Мышедких. Человек бывалый, известный всему Поморью. От Бел-моря на Керженец путь совершил. Всяких людей, всякого зверья встречал на своем пути молодчик. Самому царю Петру пришлось по душе, хотя и раскольник. Заводы железные помогал, говорят, царю строить на реке Выге в олонецких местах.

Глава керженских раскольников, диакон Александр, высокий бородач с кроткими голубыми глазами, сам обратился к нему, к Денисову: не защитит ли воин церкви храбрый керженских братьев от архиерейского гнева? Не ответит ли он, «пользуясь своею зело мудростью и опытностью в науках», на архиерейские сто тридцать хитроумных вопросов?

Задумался поморский гость.

— Ответить, конечно, могу. Многие скорби, многие беды видел, борясь с церковными рачителями. Хитрословие питиримовской учености мне известно. Однако есть препятствие.

— Какое?—удивился Александр.

— Подумай, старче. Прилично ли нам с тобой защищать поповцев? Разные дороги у нас. Разные мысли. Я—беспопoveц. А Питирим обращается к поповцам.

Обсуждение происходило в большом, недавно отстроенном доме рыбака Исая Петрова. Хозяин принял братьев по-праздничному. Расшитою скатертью стол обрядил. Окурил избу благовониями.

Старый дед был Исая, борода прошла по груди седою дорожкой, а глаза сверкали живые, молодые, и ловкости у Исая было больше, чем даже у другого парня. «Лучший на свете рыбак». Уважал его народ, особенно беглый крепостной люд.

Как же такому человеку не вмешаться? Из-под седых пучков по-молодому сверкнули черные глаза. Разгладил старина бороду и вставил свое слово:

— Водятся в реке разные рыбы: и головель, и окунь, и ерш, и язь, и плотва, и пескарь, и каждая свое перо имеет и цель, но щука их всех одинаково захватывает, житья не дает. Так же, я думаю, и с человеком, так же и с кремлевским распорядителем: по бороде—святой апо-

стол, а по зубам—старая щука. Не беда бы этой щуке и в вершу влезть, ежели к тому случай есть. Надо понимать: всем нам грозит она, щука, всем без изъятия; кабала помещичья да кабала архиерейская так и ходят по пятам за всеми нами. Инако тут не изречешь.

Улыбка пробежала по его лицу. Пуще прежнего призадумались старцы.

Александр, действительно, был диаконовец или, как его называли, «кадильщик». Сам он и основал эту секту. Попов не признавал,—только диаконов. «Буде! Побарствова-вали!» Александр поднял бунт против попов, отстаивал «второй чин»: «последние будут первыми». Кланялся он и новым иконам, равно как и иконам старого письма, безразлично, и даже не отвергал четырехконечного креста. А рядом теперь сидели за одним столом раскольниковы попы и «восьмиконечники». Сам Исая, хозяин дома, был ярый поповец и даже недавно в споре лютом бороду чуть не выдрал одному диаконовцу, Демиду Охлопкову. Были тут еще люди и других толков: онуфриевцы, сафонтьевцы и арсентьевцы, были и простые миряне.

Но вышло так, что Александр, после долгого раздумья, заявил:

— Дядя Исая прав... Щука — она такая.

А его помощник и первый советчик, маленький, юркий, с раскосыми глазами, старец Варсонофий, и вовсе выпалил:

— Какая там щука?! Не щука, а самая рыба-кит! Всех проглотит! Весь Керженец! Всех без разбора сожрет!

Многих затрясло от страха. А баба соседняя, деревенская, тайком нырнувшая в избу, любопытства ради, вдруг заголосила тонким, щенячьим голосом, напугав всех. Бабу вывели.

После этого стало полегче. А диакон Александр даже улыбнулся. Отец Варсонофий, выведивший бабу, возвратился в избу еще более раскосым — глаза ушли совсем в разные стороны, перекрестился и, скромно усевшись в уголок, вздохнул:

— Не мешало бы поторопиться.

Лицо его блестело, словно блин, густо намазанный маслом. Многие недолюбливали Варсонофия, а Александр в нем души не чаял. Без него ни шага.

— Поспешать след, — решил Александр, — воля стар-

цев—святая воля, и я подчинен ей. Искусство—половина святости. Буде имя господне благословенно отныне и до века.

Диакон Александр и «писатель-поморец» Андрей Денисов отправились в Александрову келью составлять ответы.

Александр всю надежду возлагал на Денисова. Вежливо помог ему снять кафтан, подал перо, бумагу, чернила. Подвинул сиденье. Помолились на икону Николая Мирликийского и расположились писать.

За окнами—бестолковое чириканье воробьев и бедовые голоса ребятишек. Не унимались и взрослые. Александр закрыл окна. Внутри скитской ограды разбрелись по холму избы на высоких подклетах, с крыльцами, сенями, переходами, тайниками, вышками, а вокруг них суетился народ. Продолжали шуметь. И многие настаивали, что не надо отсылать ответов. Можно погубить Керженец. Не надо поддаваться дьявольскому навождению.

Не состоявшие ни в какой секте, притавшиеся в лесах беглые мужики, не понимавшие тревоги, вызванной вопросами Питирима, толклись тут же у избы, бессознательно взволнованные поднявшейся в староверческих скитах суетой.

Они приставали к проходившим мимо старцам с расспросами, а те отмахивались, бормоча что-то непонятное, делая страшные глаза и тем еще более повергая в страх и уныние скрывавшихся в скитах беглецов.

Варсонофий исчез куда-то. Андрей Денисов вынул из сумки, которая была у него надета через плечо, две книги в кожаных переплетах и заглянул в окно.

Только взял Денисов перо,—в келью ввалился народ, а впереди всех Варсонофий и Авраамий, прозванный «лесным патриархом». Бороды разлохматились. Глаза горели. Мелькали кулаки. Красные лица. Диакон Герасим, плечистый, длиннородый, сдвинул Денисова за руку, в которой было перо.

— Брось! Не надо!—прошипел он.

— Не слушайте, праведники, Питирима!—крикнул Варсонофий.—Какой это такой архиерей? Ведь он ради только чести и богатства от правой нашей веры отступился... предался царю-антихристу... на своих пошел, даже на отца.

— Не давать ему ответа, проклятому!—басил «лесной патриарх», черный, курчавый, как цыган.

— Не давать!..—понеслось со всех сторон.

Александр, хотя и вскочил и начал успокаивать расходившихся старцев, однако, по глазам его было видно, что он им сочувствует. Слишком ненавидел он Питирима.

Денисов поднялся со своего места красный, потный. Встряхнул золотистыми кудрями и крикнул:

— Братцы, мне—как знаете! Только недаром пришел я к вам! Помочь хочу! Верьте!

Все как-то разом стихли, ибо большим уважением пользовался среди керженцев олонецкий воитель за правду.

— Ответы не будем писать. Однако, не можно никак грамоту Питирима втуне оставить. Лютый нрав его известен: разорит он всех нас, а коих и на костре, гляди, пожжет. Не так ли? Да и не один тут Питирим, смотрите дальше!.. Вот что!

Угрюмым молчанием ответили бородатые, но видно было—задела за живое их речь Денисова.

Поморец продолжал:

— Давайте схитрим... Пошлем ему не ответы. Зададим ему многое множество вопросов о разных пунктах, и если он ответит на таковые, мы спровадим ему свою грамоту. А вопросов тех наберется двести четыре-десять. Вопросы составлены мною на Выге зимой, и теперь плод сих смиренных трудов я отдаю вам, а угодно будет, и поднесем те вопросы злодею-епископу.

Раскрыли рты изумленные керженцы. Диво дивное, из чудес чудесное! Вместо ответа, скиты сами пошлют епископу свои вопросы. Заставят его самого отвечать, а потом уже, изволь, получай ответ и от нас.

— Яви свет нам евангельский, пастырь наш прелюбезный, учитель наш полезный!—заголосили от радости скитники.—Отведи стрелы лукавого диавола от нас!

Местные люди с радостью цеплялись не только за такого, а за всякого полезного человека. И нечего скрывать: не гнушались даже разбойного люда, скитальцев незнатных, беглых, явившихся сюда с мушкетом или саблей. Были и такие. Что им новые или старые каноны? Им никаких не надо; вот и теперь, когда старцы расходятся по кельям, они хихикают в елках с девками. А это не полагается. Девка должна честь знать и молиться. Старец Варсонофий нарочно приставлен был к этому делу. Срам по

деревням искоренять. Пещись о девической скромности. Так и шыряет по ельнику, к делу и не к делу, а везде из кустов выставляется.

— Тыфу ты! Хоть бы ослеп!—сердились на него парни. Ничем его не проймешь. Скалили зубы, убегали глубже в лес, а старикашка и туда за ними, и все крестится, и все молится, а сам пронзительно стреляет раскосыми глазенками в кусты—будто тетёрок высматривает. Забыл и об «ответах» и о «вопросах».

По совести и по божественному писанию имя Питириму: «Иуда». В Переяславле подкупил его царь, облюбовал «для подвигов антихристовых», предавать «своих же» единоверцев, купил за золото и чин архиерея, переродил его в никонианца. «Иуда, предатель Искаротский»—другого имени ему после этого никакого нет.

Так шепотом между собой Александр и Денисов и говорили, а перо застыло над бумагой, словно готовый к удару меч.

— На-ко-сь, возьми его! самого митрополита Сильвестра съел... Слышал? Царь выслал его из Нижнего в Смоленск, а Питирима—на его место.

— Однако, нельзя отправить вопросы без письма... Надлежит чин соблюсти.

Стали придумывать выражения и титулы, подыскивать разные льстивые, полные благоговейной почтительности, слова.

Наконец, письмо Питириму было написано. Андрей Денисов громко прочитал его собравшимся. Его слушали с большим вниманием, однако, нашлись и такие, которые были недовольны вопросом, ибо в нем не было ни слова сказано ни о крестьянах-тяглецах, ни о солдатах... Просили Денисова приписать следующее:

«У крестьян писцы и переписчики ворота числят двором, хотя одна изба на дворе, а народу сам-шесть или сам-десять, а пишут двором. По здравому рассуждению надлежит крестьянские дворы считать не по воротам, не по дымам избным, но по владению землей и засеvu хлеба. И если у крестьянина целый двор, да земли, где он может выселить на всякий год четыре четверти, а ярового осьмь четвертей, а сена накопит про себя двадцать копен—то его и облагать за целый двор, а с того крестьянина, который не может посеять и четверть ржи, не надлежит брать и ни одной доли двора...»

— Пиши, Андрей Дионисьевич!— кричали мужики.—  
Всякому крестьянину числить дворы по количеству земли,  
а не по воротам! Одних разоряют, других обогащают...  
Не гоже так-то! Пиши!.. Объярили мужика!

И многие голоса закричали: «Пиши! Пиши!»

Один парень вылез вперед, сбросил с головы шапку и  
топнул по ней ногой, замяв в грязь:

— В помещичьих поборах по земле же!.. Больше по-  
ложенного оклады бы не тянули!.. Чем будем жить? Чем  
будем владеть? Чем будем платить? Нехотя бежим в леса!..  
Кабала заела!

Отец Авраамий, «лесной патриарх», не примыкавший  
ни к одному толку, не считавший себя раскольником,—  
хоть и в рясе, а заодно с мужиками. Кричит, растрепав  
косы и размахивая руками: «Пиши!» Мало этого,—оттолк-  
нул парня без шапки и провозгласил:

— А наипаче монахам шелковые одежды носить не-  
прилично, непристойно! А носят они рясы луданные, атлас-  
ные и штофные! Чернец—мертвец, чернецу непрестанно  
подобает быть в молитве, а они... с купечеством, с иноки-  
нями пьют и блудят... Пиши! Правды требуй!

Андрей Денисов спокойно выждал, когда толпа поутихла,  
обвел всех взглядом и с ласковой улыбкой громко сказал:

— Царево цареви, богово богови... Не можно мешать  
догматический способ богопознания с делами городскими  
и сельскими. Что суду государеву надлежит...

Отец Авраамий крикнул в озлоблении:

— У нас нет божьих дел! Все их царь съел!

Опять начался шум. Поповцы и бесполовцы полезли  
чуть ли не в драку с мирянами. Наконец, «лесной па-  
триарх» плюнул и сказал:

— Аввакума бы на вас! Анафемы!

И, фыркая, сверкая белками, ушел на деревню. А с ним  
ушли и многие другие из недовольных скитников и мирян.

Словно гора с плеч свалилась после их ухода. Заглав-  
ные буквы вывели на рукописи киноварью. Все уголки  
ее Денисов разрисовал кружевами поморского травного  
орнамента: зелеными листиками. Обсудив со старцами свои  
вопросы и письмо, он с достоинством вручил их диакону  
Александру. Вся братия облегченно вздохнула: «С одной  
стороны, новая оттяжка с ответами на архиерейские сто  
тридцать вопросов, с другой—пускай-ка попробует отве-  
тить антихрист на мудрое собрание вопросов, писанных

Денисовым. А если не ответит, тогда и мы ничего ему не ответим», — так успокаивали себя старцы.

Александр подписал и вопросы и письмо с громадной охотой и с язвительностью в глазах.

Варсонофий в момент этого подписания выбежал на зеленый двор и давай бить в колокол. Волоса его растрепались, глаза в азарте расширились, и сам весь он выглядел уж очень усердным, даже в одном сапоге почему-то вылетел из избы. Ребятишки за ним побежали, притащили сапог. И теперь старец стоял: в одной руке — веревка от колокола, в другой — сапог.

Народ сбегался и понять не мог — что приключилось?

Только когда на волю из избы вышел диакон Александр в сопровождении старца Герасима и мудреца олонецкого, Варсонофий перестал звонить.

На Александре был длинный, до самых пят, желтый, порыжелый подрясник, затянутый кожаным полсом, с ременной лестовкой. Копна пышных волос с проседью расплзлась по широким плечам.

Вытянувшись во весь свой высокий рост, он спросил:

— А с кем отправить, братцы, послание епископу? Рассудите.

Задумались скитожительствующие иноки, взялись степенно за бороды. Вопрос, действительно, немаловажный. Всякого ли соблазнит ехать теперь в Нижний к «антихристу» на потеху? Да и что там ни говори, а сию меморию<sup>1</sup> и вопросник никак понять нельзя иначе, как новую отяжку керженской братии с ответами на архиерейские вопросы. Дурак, и тот уразумет. Выходит, сызнова провинились. Кто повезет Питириму подобные препирательства старцев? Правда, хотя город Нижний и недалеко, всего шесть или семь десятков верст, а сидеть в земляной тюрьме охотников мало. Вот тут-то и подумаешь! А то еще пытаться станет — душу выматывать. Вся власть в его руках, а с царем у него душевная переписка, и хоть умн своим умом Петр, а во всем уступает этому черноряснику. Все по его делает. Не раз проверено. Сам царь помогает кабале.

У раскольников везде свои люди, и в царских хоромх есть, и царь об этом не знает. И вот вернеюшие царедворцы передавали: притко уважает царь нижегородского

---

<sup>1</sup> Мемория, или промемория, — письмо, выписка с изложением дела.



инквизитора и никаких жалоб ни от каких персон на него не принимает.

Каждый обо всем этом втайне сразу раскинул умом, а сказать—никто никому ничего не сказал. Вопрос диакона Александра прозрачен, как вода озера Светлояра, но никто не видит града Китежа на дне святого озера,—так не предвиделось и ответов на диаконовский вопрос.

Толпа молчала.

Вдруг раздалось лязганье цепей. Вперед вышел схимник Иосиф с Линды-реки, паломничающий по керженским местам. Худенький старичок. Глаза маленькие, утонувшие в бровях. Цепь из железных колец оковывала ему руки, охватывала туловище и волочилась, как хвост, за ним по траве, звякая при каждом его движении.

— Александру самому предоставить! Соблюди, диакон, правду и венцом венчай—бог милостив, антихрист кремлевский не убодает!—громко потрясая сухой рукой, сказал Иосиф с Линды.—Не убодает!

— Александр!..—загудели раскольники.

Один бойкий молодой скитник, по имени Демид, выскочил вперед и тонким голосом, нараспев, провозгласил:

— Отец Александр—усердный благочестия ревнитель, нелицемерный братский советник.

— Дорогие друзья, братие и сестры!—сказал Александр, откинув назад волосы резким движением головы и с сердцем потрясая в воздухе писаниями, приготовленными для Питирима,—соколы ясные и орлы поднебесные, низко кланяюсь я вам за уважение ваше ко мне, за доброту к моему смирению. Не страшусь никакой пагубы аз. Сквозь огонь, сквозь жары, сквозь камни, которые в Воле, сквозь горы каменистые должен за веру пройти старец. Аминь!

На том и кончили.

Вести керженского посланца в Нижний выискались дед Исайя и Демид. Оба с большой охотой. У Исаяи был самый лучший струг. А Демид—лучший гребец и даром что мал, а силы недюжинной. Многих возили они согласно и благополучно.

.....

— Идем, идем—увлекал за собой Авраамий приехавшего из Нижнего посадского кузнеца Фильку Рыхлого. Тот послушно подчинился «лесному патриарху», не понимая, куда его волокут.

— Умники какие богописанные выискались. Слушай их!

Крику было много в сосновом проселке, куда качнулась партия недовольных, разругавшись со скитниками.

На широкой поляне расположились. Сели кругом, тесня друг друга.

— Что нам теперь делать? — восклицал Авраамий. — Кому теперь верить? Денисов, и тот хитрит. Уклоняется.

— А никому не верить... — резко оборвал его недавно появившийся среди керженских поселен человек с серьгой, рыжий, коренастый, напористый. Он больше всех шумел в скиту после прочтения письма Денисовым. С Дона человек — озорной. Его толстые, короткие пальцы странно сжимались, когда он говорил. Как будто он готовится задушить кого-то.

— Дело, братцы, хитрое, — обводил он прищуренными глазами мужиков. — У каждого в башке должен сидеть свой государь... За что обдирают крестьян, и не только помещичьих или монастырских, но и дворовых?.. Ямские платите? Отвечайте?!

— Платим, сердяга, платим... — откликнулись жалобные голоса.

— За «лошадиные водопои» платите?..

— Ну, как же, батюшка! Платим!

— Да что там! — взвизгнул высокий, худой, как скелет, старик, — пять пятков подайте. Никуда не уйдешь.

— А скитники не хотят Питиримке писать о том. Как вы это понимаете? А как вы понимаете, что царевича Алексея Петр хотел задушить, а он убежал за рубеж и теперь жив и хочет власть отнять у отца и облегчить народу жизнь? Повернуть все по-старому?

Молчанием ответили мужики человеку с серьгой. Уставились друг на друга вопросительно: что скажешь? Хоть и леса вокруг дремучие, а только нынче птицы и той остерегайся. Время неспокойное.

— Лапоть знай лаптя, а сапог — сапога, — входя в круг решительным шагом, немного сутулясь и не глядя ни на кого, нарушил общую задумчивость высокий детина, солдат Чесалов. — Воскресенский мужик я.. Вот что. Солдат... Бежал из войска и скажу прямо — везде воеет народ... А монастырские крестьяне и того хуже, а особенно кто под Макарьевой обителью в тягло обретаются. Недаром в Мурашкине народ бунтовал. Недаром и ныне промеж

Лыскова и Макарья началось. Богатеют отцы на чужом горбу. Об этом бы Питиримке и следовало написать. А ежели царевич Алексей жив, дай бог ему здоровья. Надо царю спесь сбить.

От никому непонятного веселья затрясся юродивый Василий Пчелка; все с любопытством оглянувшись на него, приготовившись к интересному зрелищу.

— Как во Нижнем-Нов-Граде был один купец, жил он с дочкою да с красавицей... Питиримушка не зевал и тут... Радуйся, невеста невестная, — скорее пропел, чем проговорил это, захлопав в ладоши, Василий Пчелка и добавил: — Царевич жив, и мы будем живы. На него надежда.

Юродивый упал наземь и стал кататься по траве, улюлюкая.

Кузнец Филька сплонул, тряхнул кудрями и выстунил вперед.

— Знаю я, о чем он...

— А коли знаешь, и поведай нам.

— У Овчинникова, у богатея-купца на посаде, была дочка красавица, а у нее жених, тамошний школяр питиримовской школы...

— Ну, ну...

— И повалился к ним в дом, к Овчинниковым, ходить епископ... девку стал глаголу господнему обучать, от раскола будто бы отвращать... Да, видать, девка заучилась так, что и от женишка своего отставать начала. А таких людей, как Софрон, на белом свете больше нет, не имеется: могуч и бесстрашен, как Самсон... И зол он на Питирима и на царя, как лев. И когда царевич пойдет на Петра, тогда...

Слушатели заволновались:

— Да не тяни. Какое нам дело до чужой девки и до Самсона. Раскрывай суть.

— Есть и вам дело! — крикнул Филька, замахав на них руками. — Шалите, братцы... Есть.

— Какое такое?

— Большое.

Вступился солдат Чесалов:

— К Макарию Софрона! К бунтарям!.. Ищут они себе атамана такого... грамотея... В темноте живут... Мы уже с Филькой обсудили. Ватагу надо насобирать... Пора народу подняться, жаль — Булавина разбили, но ничего... другие обнаружатся, да и булавинских еще много.

Филька кричал:

— Добиваться надо! Вот к чему и вся моя сказка! Мужики, отдуваясь, стали подниматься с земли.

— Да,— тяжело вздыхали они.— Монастырские взыскатели с десятины дерут... А из города приезжают фискалы и сборщики-камериры и опять же дерут тем же сбором и с той же самой десятины. А кому пойдешь жаловаться?! Дятлу... Царю до нас дела нет.

Маленький, щупленький Филька, готовый лопнуть от натуги, крикнул неестественным басом:

— Мотайте на ус. Купцов надо уломать... Помогать должны... Такие же они раскольники, как и наша голытьба... Но одним канонам молимся, пускай помогут.

— Кому?

— Беглым. Кому?! Не знаешь?! Беглые за нас. А атамана у них нет. В чем и беда.

Человек с серьгой, выслушав Фильку, хлопнул его по плечу.

— Дело говоришь. Письмами да челобитьями Питирима не возьмешь... Меч скорее рассудит. Вот и надо царевичу Алексею подмогу готовить...

Все в тревоге оглянулись в сторону говорившего. Он приветливо кивал народу головой, а в глазах — задор и решимость.

— Все дело, братцы, в силе... Кто сильнее, на той стороне и правда... Верьте мне. Я знаю. Много видел разных я людей и людишек. А что Софрон обижен Питиримом, что девка у него из рук уплывает в архиерейские лапы,— хорошо. Ярости больше будет в крови.

— Вот, глядите!—Филька с силой швырнул на землю большую медную монету.—Отрываю от себя в пользу ватаги, как есть.

Человек с серьгой молча шлепнул сребренник наземь. Заволновались керженцы. Пришли в движение, посыпались на траву монеты. Зазвенели. Василий Пчелка пустился в пляс! Засверкали его отрепья.

«У Ваньки и у Якова душа одинакова»,—раздалась в лесу его припевка. Вытянув шею и тряся головой, как старый охрипший пес, он захлебывался от радости: «душа легка и сила велика...»

Солдат Чесалов деловито собрал в кошель деньги, пожертвованные для ватаги, и потряс ими весело:

— Давно бы так. Теперь дело будет.

Филька продолжал:

— И получается, братцы: письмо письмом, а война войной... Пускай скитожители унижаются, рабами себя питиримовскими величают, а мы, раскольники-миряне, монастырские крестьяне, дело начнем великое, новое, горячее.

Разговоры зашли слишком далеко, и кое-кто из семейных, незаметно для других, удалился с собрания, торопливо зашагав в испуге по проселку к деревне.

Было решено послать Фильку Рыхлого и Чесалова к беглым под Макарьев монастырь, направить Василия Пчелку попросить у купца Овчинникова, озлобившегося за дочь на Питирима, денег на пропитание, а Филька, кроме того, должен был обо всем рассказать Софрону и уговорить его идти к беглым атаманом. Одним словом, Фильке дан был приказ от мужиков доставить атамана макарьевской ватаге. Может быть, и в самом деле защитят крестьянина. Может быть, и впрямь царевич вступится за народ.

Но нашлись и сомневающиеся. Они подошли к старцу Авраамии и спросили его: а почему он, старец, живет в несогласии со скитниками и другими вождями раскола?

Авраамий ответил:

— На что надеются они? На веру. Но, хотя и старая она, но не опора. Царь тоже почитает веру и церковь, но есть к тому же у него и войско, и фискалы, и сборщики податей. У него государство, и у царя своя дорога... и ведет она к власти, обогащению помещиков, а к нашему закабалению. Дворяне, военные, попы и Питирим в оном же скопище пошли по этой дороге, и всем им она сулит счастье... У них цель, которая для них превыше бога. И коли ее нет у раскольников, то и жить им, горемычным, незачем. Одной верой и богомольем не спасешься. И беглых, странных людей, всех дерзких и непокорных мы не должны гнать от себя, ибо они тоже ищут свою дорогу. И найдут. Найдут... Вот и надо просить Софрона, раз человек такой нашелся. Пускай идет в атаманы. А мое дело благословить вас...

Филька вскочил на пень и крикнул, сложив ладони трубкой:

— Слышали, братья? Старец Авраамий благословляет нас. Его можно слушать... Ему можно верить... Старец Авраамий благословляет Софрона на атаманство. Идите спокойно к своим очагам, получив благословение старца Авраамия. Помните, братцы, царевич ждет нашей подмоги.

Сняли мужики шапки и низко поклонились «лесному патриарху», который благословил их двуперстно. Лицо его было суровое, решительное...

После этого «лесной патриарх» собрал в избе у Демиды мужиков и рассказал им о том, что крестьянам на Руси день ото дня становится хуже. Прошел он длинный путь из Питербурха и до Керженца и много видел крестьянского горя. Что ни день, царь издает все новые указы, еще более тяжкие, еще сильнее закабаляющие народ.

— Тяжким бременем,—говорил он,—легла на крестьян введенная царем «подушная подать». Много ли или мало ты пашешь земли, а может, и ничего не пашешь, а плати с каждой живой души царю подать, да еще собирать-то эту подать царь-государь возложил на самих же помещиков, а ежели где оную подать не соберут в срок, туда царь посылал своих солдат, чтобы наказывать крестьян.

— А помещики,—говорил, сверкая горящими от негодования глазами «лесной патриарх»,—потеряли совесть и обратились как бы в кровожадных, ненасытных зверей, стали, словно скотом, торговать на рынках людьми... А когда царю стало о том известно, он наказал помещикам, коли нельзя того пресечь, то продавали бы крестьян не врозь, а целыми семьями... Пожалел волк кобылу—оставил хвост и гриву! То-то по его доброте в некоторых местах, вместо четырехдневной барщины, помещики принудили крестьян к ежедневной барщине... На себя-то мужику и некогда работать, а станет жаловаться на горькую долю помещику, так задерут на конюшние батогами...

Мужики слушали «лесного патриарха», и лица их становились темнее тучи. Что делать? К гулящим пристать?! Но и тут Авраамий невеселую весть сообщил:

— Вышел-де приказ царя всем вольным, гулящим людям приписаться к помещичьим дворам, чтобы они отыскали себе господ и стали бы крепостными душами, а не то ждут их тюрьмы и плети... И на воле мужику жизни не будет, так и этак—от помещичьей власти никуда не денешься. Вся их власть!

Наслушавшись этих рассказов, бабы подняли плач, а глядя на них, заревели и ребяташки.

— А все-таки покоряться царю не надо!—закончил свою речь Авраамий.—Подай, господи, Софрону победы над врагами.

• • • • •

В избе сплошной писк. Трудно разобрать, кто кого переспиливает: крысы ли кур, куры ли крыс, малыши ли тут первенствуют,—не поймешь.

При появлении Демида лежавшая на печи женщина простонала.

— Ты чего там, мать?—отозвался на стон Демид и прикрикнул на детей:—Не шумите! Я вас!.

Ребята рассыпались по углам.

— Кто там?—спросила больная чуть слышным голосом.

— Это я. Завтра в Нижний диакона повезу.

— Ох, ох, ох!.. Как же мы-то!.. Опять приходил староста... Замучили...

— А у нас кабана увели!—озорно выкрикнул малыш лет шести.

— Чего это он, мать, тут брешет?..

Охая и произнося молитвы, поднялась на печке жена Демида с кучи тряпья. Лицо ее было красное от жара. Глаза мутные.

— В Макарьев повели, в монастырь. Не послушали никого... Куда тут!

— У меня от игумна бумага...

— Гово-ри-ла я... Ох! Ох! Моченьки нет! Не послушали...

Мальчуган заревел. Веселье его исчезло. Демид бес- сильно опустился на скамью.

— Если бы да на меня—топором бы засек его, а не отдал бы...

Ответа с печки не последовало. Там слышались только стоны больной.

Двое ребят прижались к отцу, дергая его за кушак.

— Буду в Нижнем, пожалуй губернатору.

На печке затихло, только слышалось частое, болезненное дыхание жены.

Около печки возилась старшая дочь Демида, двенадцатилетняя Таня. Напрягая свои силенки, она ворочала громадный горшок с пареной брюквой, готовила обед на семью.

«Жаловаться?..»—сказал про себя Демид и покачал головой, как бы не доверяя себе. И на самом деле показалось неправдоподобным его намерение искать защиты у губернатора. Пожалуй, вместо помощи-то в острог запрячут. Бывали и такие случаи. Убить? Кого? Догнать чернецов в проселке и их—топором? Вернуть кабана обрат-

но? Тогда и вовсе пропадет вся семья, да и виноваты ли чернецы? «Тоже народ подневольный, из нашего же брата», — подумал с тоскою Демид. А кабана-то берегли к зиме. Есть теперь будет нечего. Запасенного ни крошки, а земля-то вся монастырская — и много ли один заработаешь со «святых отцов», когда семья сам-восемь?

— Слышь! — поднялся он на носках, заглядывая на печь, и полусшепотом продолжал: — Царевич Алексей-то жив... Потерпим немного. Продержимся. Скоро уж... Не горюй. Сырое яйцо пила ли?

Молчание.

Покачал Демид головой, вздохнул и сел к окну. По деревне шли мужики, возвращавшиеся с собрания из скита, и о чем-то горячо спорили. И как ни тяжело было на душе у Демиды, а загорелось в нем вдруг необыкновенно теплое чувство: хотелось выскочить на улицу и говорить, говорить без конца о возможности появления царевича с войском под Нижним, об освобождении деревень от петровских чиновников, о свободе старой веры, о лучшей жизни...

Дверь скрипнула — в горницу вошел Филька. Вошел и хлопнул по плечу Демиды.

— Милай! Чего задумался? Дело верное. Голову готов положить на плаху, если я Софрона не привезу в макарьевскую ватагу...

— Действуй, — повеселел Демид. — Истомились ведь...

— А ты тут мужиков подбивай. Проси пшеницы, мяса бы не мешало приготовить. Надо кормить... После оплатится все, как есть... Софрон такой.

— Будь спокоен, Филипп... Слово мужицкое — кремень. Иди, Христос с тобой!

Демид обнял Фильку-кузнеца. Облобызались. У Фильки на глазах заблестели слезы.

Демид видел, как на улице Фильке Рыхлому давали наказ попадавшие навстречу селяне.

Ребятишки, худые, бледные, тоже теснились к окну, безотчетно чему-то радуясь.

Демид шутя потрепал старшего за вихры, спросив:

— Хочешь, пушку куплю?

— Какую пушку?

С большой убежденностью Демид сказал:

— Пушка послужит и нам... тяглецам...

И, внимательно приглядевшись к лицу сына, вздохнул:



— Э-эх, Васплий! Что-то с тобой будет?!

На печке снова завожилась и начала громко стонать больная жена Демида.

## II

В полдень, после обеденной трапезы, кремль погрузился в сон, как всегда, когда епископ отдыхает. На паперти Духова монастыря дремлют нищие. Голуби, пестрым ожерельем окружившие купол, съезжились, словно боясь нарушить сон владыки.

Надворные пехотины на своих постах у Дмитровской башни позевывают, укрывшись в желтых глухих будках. Да что говорить о кремле, — почтенные посадские люди после обеда, да еще в солнечный день, отнюдь непрочь отдохнуть от молитв и торга. Выбравшись с пуховиками на траву, степенно располагаются около своего гнезда, с женами, со чадами, а за ними, свесив языки, деловито укладываются на зеленой мураве и сторожевые псы; не отстают и кошки, и свиньи, и куры, и всякая иная обиходная тварь.

По кремлевскому валу, под стеною, до самой Почайны, обрадовавшись весне, расплозились козы и овцы. В Почайне-реке вода, выбиваясь ключами из горы, из-под Лыкова моста, несется стрелою прямо в Волгу.

В Духовном розыском приказе, под одной крышей с архиерейскими покоями, широкий и волосатый, как медведь, дремлет дьяк Иван Спиридонов. Перед ним бумага. Начал царапать пером и бросил. Солнечные лучи сушат строки:

«Доносит вашего архиерейского Духовного приказа дьяк Иван Спиридонов, а о чем мое доношение, следуют пункты, на которые всепокорно прошу милостивого решения».

«Дело о бывом ученике нижегородской епархиальной школы пономарева сыне Софроне Андреевиче, совратившемся в раскол».

Дьяк Иван вздрогнул. Влетевший в окно шмель гудел, бодая рыбий пузырь, распяленный на оконной раме. В слипающихся от бессонья глазах дьяка мелькнуло:

«И по тому поводу в допросах означенный колодник Софрон лишен быть своего звания и окован железом и наказан плетью».

Дьяк рассеянно посмотрел на свои руки и сплюнул: «еретик!». Когда забирали, произошла жестокая баталия. Пять дюжих монахов еле справились с мальчишкой. Напавшая на него кандалы, дьяк исцарапал руки о железо. Запеклась кровь.

За стеною, на которой портрет царя Петра Алексеевича в латах и порфире, перезвоном малиновым пробили часы.

Спать нельзя. Рядом великий господин преосвященный епископ нижегородский и алатырский Питирим огдыхает в своей опочивальне. Тихо в архиерейских покоях. Владыка после денных и ночных богослужений «страстной седмицы» утомился и вот теперь отдыхает, наказав приготовить обвинение против кандалника Софрона, сопричислив его к расколу. Пасхальный перезвон колоколов приостановили, дабы не нарушать сон епископа.

Иван Спиридонов бил вчера Софрона плетью на допросе с преобладающим усердием, а вины на нем так и не сыскал. Дьяк Спиридонов искусен в розыскных делах; любую вещь христовым именем, в огне сказуемым, мог он выпытать у посаженного в земляную тюрьму, и даже с подписом руки его. А тут не поймешь — дело чудное, мраком крытое. Никакого раскола у парня не видно. Молится трехперстно. Позавчера вдруг вызвал епископ ночью двух инквизиторов<sup>1</sup> Духовного приказа и сам повел их в свою славяно-греко-латинскую духовную школу, открытую в небольшом каменном доме у Дмитровской башни. Навалились на сонного, стали вязать его, а он, проснувшись, вступил в борьбу.

Дьяк снова посмотрел на свои руки и хмуро покачал головой.

Весеннее солнце там, за кремлем, сыпало, крошило свое золото в Волгу. Берег обрывисто уходил вниз, изломанный глубокими оврагами и трещинами. Он дик и неприступен. Кое-где видны остатки глубокого рва, вырытого нижегородцами в 1672 году в защиту от Максима-Самозванца, разинского соратника. День и ночь изумрудные ключи бьют под окном. Шурша в зарослях белены устремляются они вниз и сбегают по обрывам и камням в Волгу.

Недавний оползень срезал громадный клин. Угрожало

---

<sup>1</sup> Должность инквизиторов была установлена при Петре в 1711 г. В Нижегородской епархии их было семь.

самим архиерейским покоем. Монахи всполошились, просили епископа перенести Духов монастырь с архиерейской квартирой в безопасное место. Питирим отказал:

— Его величество император наш Петр Алексеевич на водах и на болотах воздвиг державу неколебимую, отечество защитил купно возвращением отнятых земель; и новых провинций зело умножил, проявив народу ум и бесстрашие. Како же нам слабость иметь, понеже государство и церковь единокровны? А место оное гораздо—отсюда неослабно взор свой имею по ту сторону реки.

И он указал перстом в сторону чернораменских лесов заволжских.

В них-то вся и загвоздка! О них шепчутся монахи за утрений, о них судачат людишки в закоулочках и переулочках, намекая на то, что там зреет сила, растуг соловьи-разбойники во образе непокорных беглецов, укрывающихся в скитах у раскольников. О них нескладно, путаясь и заикаясь, вещают по приказу епископа попы с амвонов, о них поются слезные сказки и рыдают в скитах огневыми стихирами.

Бродят люди по кабакам, болтают о конце света, а некоторые—о конце петрова владычества. От керженского утеклца до нового Стеньки Разина—один шаг. Об этом никто не забывает, недаром сам царь Петр дал приказ на имя Питирима: «Следить: нет ли тут и иного какого промысла, опричь раскола».

Пойдет брага через край—не удержишь. А такое уже есть. Царю нужны деньги на войну, царь приказал подушную перепись произвести, а некоторые расколоучители в керженских лесах пошли против: учат народ бежать от переписчиков, как от «уловителей антихристовых». И многие раскольникы толки царя на молитве не помнят и крестьянам внушают о царе не молиться. Рубить для кораблей лес тоже не идут. И тут пугают «антихристом»... «Это не царь-государь,—говорят вожди раскола,—который чернь разоряет, а больших господ сподобляет, но антихрист». По деревням ходит сочинение «Врата», в котором написано, что не надо платить даже и податей. Вот куда пошло!

Духовный приказ чутко ко всему прислушивается, зорко приглядывается и жестоко наказует подозрительных. Не успевают черпила просохнуть об одном враге, тащат за шиворот нового. От битья шелепами руки болят и по-

ясицу ломит у дьяка Ивана Спиридонова и у самого преосвященного.

Дьяк устал. Дьяк хочет жить, а некогда. Невозможное дело быть дьяком у преосвященного! Грозен владыка нравом и,—что таить от себя?—несправедлив и мыслию божий генерал. За что он бросил в подземелье курчавого парня? Над этим третьи сутки ломает голову дьяк—так и не додумался.

Весна. Тянет на волю, в посад. Сегодня звал к себе на посиденье правитель кабацкой конторы Печерского монастыря отец Паисий. Открыли они еще третий кабак, во имя отца и сына и святого духа! Мошну монастырскую набивать. Хотел отец Паисий показать диковинных красавиц, приведенных им из Городца, из цыганского табора. Тошно сидеть здесь, ковыряя от скуки в носу. А парень, понятно, не виноват ни в чем и приведен по некоторой неизвестной никому причине. Такие случаи бывали. Это тайна самого владыки.

Из Дмитровских ворот по двору прошагало десятка два гвардейцев, недавно присланных в Нижний из Питера по требованию Питирима. Вдоль стены, в мусорных кучах, возились псы, одичалые, зубастые, бегая за сукой. Скулили.

— Кобели проклятые!—икнул дьяк Иван с досадой и опять сел за бумаги.

. . . . .  
Набухают почки на сиренях. Лиловая дымка безмятежности в кремлевских садах. По Ивановскому съезду изредка сходят к Волге монахи Духовного приказа поить и купать лошадей. Лица монахов, бронзовые от загара, заросли волосами, как крыши кремлевских приживальщиков бурьяном. Путаясь сухими ногами в черных узких рясах, монахи шагают угрюмо, задумчиво. Брови хмуро сдвинуты. Монахи кричат на коней, которых тянут за собой,—сипло, злобно.

Волга велика и широка—об этом сложено много песен, и поют их рыбаки, отваливая в челнах от нижегородских берегов. И часто можно слышать, как весело и задорно разливается буйная песня по реке, песня о былом удалце-вольницы понизовской—о Степане Разине. Жив он в народе, не умер. Недаром архиерейские мушкетеры стреляют из монастырских кустов по тем челнам, в которых песенники вспоминают старь.

А почему? Кому помешало веселье речных странников? Кого возмутили неизвестные скитальцы волжских пустынь? Об этом думать не велено.

Шепчутся по секрету посадские—смута еще не кончилась. Смута впереди. Она притаилась, залезла в берлоги, в землянки по лесам керженским и ветлужским, сидит там в чаще, в дуплах, в корнях, напыжилась и не сводит налитых кровью глаз с поповской крепости, с ее зубчатой белой стены. Ждет своего часа.

Преосвященный Питирим об этом постоянно говорит своей пастве и предупреждает. Вот почему голые всадники косятся в сторону белеющих в синеве парусов недоверчиво.

В это утро к берегу тихо причалил стружок. В нем сидело трое. С виду рыбаки. Резная корма у струга, нарядная. Загораживаясь ладонью от солнца, с любопытством наблюдали рыбаки за тем, как волосатые иноки, сидя на лошадях, один за другим погружались в воду.

— Бог в помощь, святые отцы!—крикнул один широкоплечий приземистый усач, стриженный под скобку. Его маленькие глазки светились лукавой приветливостью. Такие люди бывают разговорчивы и часто расспрашивают о том, чего никак нельзя рассказать. Может, потому монахи и не откликнулись на приветствие.

Рыбака это не смутило, и он продолжал:

— Э-эх, и кони! Гладкие!

И, молодежато покрутив опущенные книзу усы, крикнул громко, во весь голос:

— Монастырские, чать, али какие?

Окруженные взлетами брызг, тяжело фыркая и покачивая от усилий красивыми головами, кони вихрем вынесли всадников из воды на берег. Монахи оглядели говоруна недоверчиво.

Другой рыбак—с виду много старше. Таких темноглазых, с длинной седеющей бородой, мужиков, прямых и степенных, рассеяно много по деревням. Это те мудрые старцы, на которых опирается власть. Монахи, к своему удовольствию, увидели, как он дернул за рукав приятеля и недовольно заворчал на него.

Третий был в рясе, и, выйдя на берег, задумчиво отвернулся, как бы не желая казать своего лица.

Голые всадники, направляя медные кресты на груди, слезли с коней, погладили их и стали одеваться. Лошади

фыркали, брызгаясь, дергали боками, взбивали копытами землю. Юный монах держал коней за повод, пока остальные торопливо натягивали порты и рубахи.

Рыбаки занялись своим делом: принялись приводить в порядок снасти, вычерпывали воду; командовал старик; усатый покорно подчинился ему и, согнувшись, работал в лодке, искоса поглядывая в сторону соседей.

— Кто вы такие будете? С какой стороны?—тихо спросил один из монахов.

— А? Мы рыбачим... Борские. Христос воскрес!

Старый рыбак заморгал добродушно и почтительно ласковыми глазами.

— Не изволите ли стерлядку или судачка? А? Для праздничка!

— В трапезную, кашевару!—закричал монах в самое ухо старику.

— То-то, мы промеж себя так и кумекали.

Высокий в рясе стоял, как истукан, спиной к монахам, смотрел туда, где Ока вливается в Волгу.

Монахи молча повели лошадей в гору и только один раз уныло оглянулись назад, на рыбаков. О чем они думали в этот момент, трудно сказать.

Рыбаки поволокли вдоль берега челн, ввели его в маленький заливчик под кусты ивняка, укрепили, забросали зеленью и немедленно стали взбираться на гору, к Ивановским кремлевским воротам.

Высокий человек в рясе тихо побрел за товарищами.

В приемной у епископа было несколько монахов, с которыми вел беседу дьяк Иван. Как понял из разговоров вошедший незаметно диакон Александр, монахи Печерского монастыря жаловались, что их замучили налоги, что «церкви божии развалились, монастырские строения обветшали, кормиться монахам нечем». Жаловались они и на своих оброчных крестьян: «платят деньги плохо, стали-де на своих стружках ездить в Астрахань и оттуда привозят заморские товары, задирают нос и в монастырь для молитвы не ходят. К расколу душа их клонится безусловно. Два дома с семьями сбежали на Ветлугу».

Монахи не заметили Александра, да и не знали они, что сам начальник керженского раскола слушает их,—поэтому и сыпали они безо всякой осторожности слова

о раскольниках. Говорили и о том, что-де на Керженце готовится бунт и что поведет бунтовщиков диакон Александр вкупе с поморцем Андреем Денисовым—гостем с Выги, из олонецких скитов, который им и денег привез на бунт.

Не стерпело сердце александрово,—сурово сдвинув брови, выступил старец вперед:

— Вот перед вами аз, Александр. Не клеветайте на меня. Не навлекайте нарочито гнева власти... Пристойно ли сие отцам святой обители, знаемой на многие версты округ и почитаемой народом?..

Монахи подались смущенно в сторону. Так вот он какой, этот расколоучитель, слава о котором гремит даже в становищах язычников!

Он глядел на монахов своими правдивыми, кроткими глазами серьезно, без злобы, без презрения.

— Чего добиваетесь? Мало вам? И рыбный промысел в вашей власти, и бобровые гоны, и лебединая охота, и ремесла... А мужик добудет сетями четырех судаков, вы его в острог гоните. Постыдитесь, духовными людьми почитаетесь...

Дверь архиерейских покоев скрипнула, и вышел епископ.

Монахи поклонились до самой земли. Александр тоже поклонился.

— Чей этот?—указал пальцем на Александра епископ. Он был в шелковой малиновой рясе с золотым крестом на груди.

Дьяк Иван ответил:

— Начальник керженского раскола, диакон Александр.

Епископ оглядел его пронзительным взглядом. Монахи замерли, с трудом переводя дух от испуга. Они знали, что впервые сошлись двое непримиримых врагов.

— Ответы?!—грозно спросил епископ.

— Нет их. Старцы просили передать свои вопросы...

Александр подал бумагу. Питирим почти вырвал ее и стал читать. Лицо его, по мере того, как он вникал в письмо керженских раскольников, делалось все суровее. Потом он вдруг улыбнулся. Красивое чернобородое лицо озарилось лаской.

— Благодарствую. Ответы я дам... Иди.

Александр поклонился и хотел идти.

— Стой! Ты куда пошел?

— На берег... домой справляться.

— Полно!—засмеялся епископ.—Погости у нас. Келья найдется... По твоему сану. Не бойсь, не обидим. Надо подумать мне, дабы с достоинством и по своему мнению ответить вам. Обожди у нас, послушай нашего пасхального благовеста... Что молчишь? Или не признаешь?

Епископ насторожился. Дьяк хитро скосил глаза на Александра, с лукавой усмешкой. Монахи задвигали белками в полуулыбке.

— В яму!—вдруг, перестав улыбаться, указал на Александра епископ.

Монахи подхватили старца под руки. Дьяк Иван вынул из ящика связку цепей и пошел впереди...

Александр, гордо откинув голову, освободился от монахов и сам двинулся за дьяком. Епископ неподвижно смотрел ему вслед.

### III

Матерый кот, обнюхивая камни, брезгливо, с выбором, опускал наземь лапы. В репейниках мелькала его усатая морда. Приблизился к решетчатому окошечку земляной тюрьмы, потерял пушистую шерстью о железные прутья и, блаженно закрутив хвост, проследовал дальше.

Железо, соединившее Софрона неразрывно с мокрой, осклизлой стеной, лзгнуло; парень потянулся к своему рыжему приятелю, навещавшему его каждодневно. Видно: большой двор, весь в траве, белую каменную стену, за ней купол соборной колокольни. Посредине двора, под навесом, громадный возок, в котором епископ совершает свой объезд епархии. Черный, с выточенными из клена колесами, высокий, горбатый от вздутого над сиденьем кожаного верха, а на задах—продолговатый белый крест во всю стенку. Сюда и пошел, облизываясь, кот. Прыгнул внутрь и пропал.

Палит солнце. Благодатное тепло вливается даже в темничную яму. Слышится несмолкаемый пасхальный трезвон.

Вчера один из приставов, скрытый раскольник, дал Софрону нож—«принять смерть». Жизнь потеряла цену. Тяготила многих. Мечта о смерти витает в подземельи, как некая незримая птица. От ее крыльев холодно.



И тянется откуда-то, словно из могилы, нудная, глухая  
песнь, застревая в паутинах под сводами:

... В леса темные из палаты  
Иду я, в светлые, обитати.  
Гряду из граду в пустыню,  
Любя зело в ней густыню.  
Меня сей мир не прельщает,  
Народ он отягощает...

Прислушиваясь к этому пенью, Софрон с горечью думал: «Все чахнет мужицкая сила». И он ясно представил себе на необъятном пространстве Руси мрачное полчище изб, словно дым, источающих из себя мысли о смерти. Томила жестокая ненависть Софрона. Он вспомнил слова Димитрия Ростовского, сопричисленного, по слабоумию или воровским расчетам, а может и по ошибке, православною церковью к лику святых. В дни петрова же владычества он говорил:

«Вся мысль богатых—ясти, пити, веселитися на лета многа. Егда же яст—убогих труды яст. а егда пиет—кровь людскую пиет, слезами людскими упивается: от того бо имения яст и пиет, которое из ног людских правежами<sup>1</sup> выломано... Кто честен?—богатый. Кто бесчестен?—убогий. Кто благоден?—богатый. Кто худороден?—убогий. Кто премудр?—богатый. Кто глуп?—убогий. Богатого, самого глупого, умным между простонародными человеки творят; убогого и нищего, если бы был и совершенно умен и прямой философ, глупым считают, потому что нищ. Богатый богатеет—нищий нищает; богатый пиет, отолстевает от многопития и роскоши, а убогий сохнет от глада и печали...»

Софрон любит жизнь. Он хочет жить; нож приберег для другого дела... Его ум светел и ясен. Его широкая грудь сильна и еще долго выдержит пытки; мускулы крепки, как железо, а руки смогут владеть оружием не хуже, чем у любого солдата. Дважды его приковывали к стене и дважды разрывал он цепи, приводя в содрогание чернорясных тюремщиков. Крестились, окаянные, от ужаса, бежали за кузнецом и снова ковали. Жгли огнем, а никакой вины не сыскано.

Из Питербурха в прошлом году Питириму прислано было письмо: «выберите немедленно из греко-

---

<sup>1</sup> П р а в е ж — взыскание долгов, налогов, пенн с истязанием.

латинской школы лучшего из ребят, высмотря гораздо, который поостряя» для обучения навигационному делу в Голландии. Выбор епископа остановился на нем, на Софроне, а он ехать не захотел, отказался. Это было год назад. Насильно его не стали посылать. И бросили в каземат не за это. Другую вину нашли: раскол. А в расколе он не винится—признает, как и все православные: трехперстие, троение аллилуйи, новые иконы и новые книги. Напрасно заставляют его объявить себя раскольником. Он не раскольник. На днях дьяк сказал: «Кнут—не бог, а правду сыщет». Какую им нужно правду? Питирим норовит чего-то допытаться, на словах считает его еретиком, а по глазам видно другое.

Правда?! Конечно, она есть, и за нее готов умереть Софрон. И жить ради нее—большое счастье. Филька-кузнец рассказал ему накануне ареста о макарьевских беглых, о том, что им нужен начальник, чтобы счастье приносили они мужикам, а убыток—боярм и властям. Надо силу их направить для пользы, а не на разорение поселян. Софрон понял Фильку, понял тот блеск в его глазах, который загорелся, когда он рассказывал о единокровии керженских лесных жителей. Он понял и то, почему мужики последнюю деньгу свою хотят отдать ему, Софрону.

На каждой пытке Питирим припутывает новых людей, неведомых, незнаемых, добивается оговора.

Но еще крепче теперь Софрон. Еще сильнее его тянет на волю.

Привели сегодня нового колодника. Вот он лежит, спит тут же, на сене. Борода большая, глаза холодные, недоверчивые—говорить не любит, только нет-нет вздохнет и перекрестится. Его били безо всяких вопросов. Он, склонив голову, сухую спину и стиснув зубы, кротко подчинялся. Чернорясные палачи ушли.

Лицо Александра было лицом победителя, он гордо осмотрелся кругом, что и показалось Софрону обидным.

— Да будут прокляты,—сказал парень,—убогие христолюбцы, угрозой смертности истину проповедующие! Чего ради похваляешься? Чего?

Старец с жалостью взглянул на Софрона.

— Ах, сын мой! Не страшись страху глениго, но убойся ты огня вечного. Вот что. Ох-ох-ох! «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол

глагол на вы, лжуще мене ради... Радуйтесь и веслитесь, яко мзда ваша многа на небесех».

Софрон отвернулся, не стал больше с ним разговаривать.

Было тихо, только в соседнем каземате уныло причитал, волнуясь на цепи, приведенный в подземелье сегодня другой узник. Софрон хорошо его знает. Тот же пристав шепнул: «Купец Овчинников».

Вместо отрадных вестей—огорчения. Сосед, старец Александр—упрямый блюститель «древле-церковного благочестия»; с ним и говорить не хочется.

А другой, до него был,—еще хуже: колотил в дверь кулаком несколько дней сряду, а когда к нему являлся пристав, умолял его:

— Веди меня перед судьей, служивый, ведн. Я болен—умереть могу, надо покаяться.

— Не поведу без приказа,—отвечал пристав.

А потом он не стал стучать. Притих. Пристав пришел, посмотрел и покачал головой: «умре». Позавчера его вынесли. Целые сутки Софрон провел наедине с мертвецом.

И так за днями дни, безмолвные, бесцветные...

. . . . .

Очнулся ночью Софрон от неприятного ощущения. Крысы забегали в подземельи. Грызуны осмелели, привыкли к закованным в кандалы людям. На безволии и связанности человека построили они свое веселье. И Софрон невольно приравнял их к князьям мира сего: боярам, чиновникам и попам. Задавили они убогую крестьянскую Русь, закованную в цепи, а на ней, как крысы, сидят и веселятся все эти подлые ловкачи. Вчера в подземелье попал листок, а в нем приказ губернатора Ржевского: «От помещичьих людей и крестьян доносы и изветы на господ своих не принимать и им верить не должно, просители же так, как и сочинители, наказываются кнутом и ссылаются в вечную работу».

Ночь бестелесна, пуста, как и тогда, когда его привели сюда. Так же мертва в решетчатом окне колокольня; надворные постройки Духовного приказа кажутся гробами на черном звездном небе; Млечный путь—осколками разбитой веры. И с дуновением горней свежести, ровным, как дыхание, вливается в жилы Софрона безмерная горечь: «Овчинников—отец Елизаветы! Безжалостный ростов-

щик?» Не он ли разбил их счастье? Не захотел отдать дочь за никонианца, а тем более за бедняка. А разве оба они не валялись у него в ногах, и разве не укорял он его нищетою, пономаревым родом, неравенством сего брака? А теперь и он, так же как и пономарев сын, сидит на соломе, связанный цепями, поруганный, опозоренный.

И вспомнил Софрон стихи Горация:

О, если б презирать ты деньги был силен!.

«Елизавета! Не ты ли наполнила ненавистью к золоту тельцу мое сердце?» — думал Софрон, в звоне цепей расправляя богатырские мускулы.

Ох, вы, зорюшки-зори!  
Не один год в поднебесьи вы зажигаетесь,  
Не впервой в синем море купаетесь,  
Посветите с поднебесья, красные,  
На дни наши на ненастные...

И, глядя на освещенного луною старца Александра, Софрон полным голосом запел песню, в которой говорилось, что впереди — жизнь. Есть солнце, есть вольная волюшка, есть широкая матушка Волга, есть много сильных и смелых людей... Ночь ожила перед ним, наполнилась яркими видениями.

Старик, проснувшись, облокотился подбородком на колени, с удивлением стал слушать слова молодецкой песни, и показались они ему крамольными, греховными... Он громко в темноте вздохнул:

— Не к добру расшелся, парень!

— Не страшно быть пленником тюрьмы, старец Александр. В тихой твоей дикости и покорстве больше страха, больше горя. Не учи уходить от суеты и бури. Человек может солнце взять рукой. А ты учишь быть безгласным червяком... Не падо! Не мешай!

. . . . .

#### IV

По большой Муромской в Нижний прикатил некий боярин. Прикатил вечером, когда посадские уже собирались спать. Бубенцы внезапно зажгли в сонных улочках Ямской слободы такое любопытство, что кто в чем был, так в том и выскочил на улицу. Ямщик в шляпе с кудрявыми перьями

дико гикал на сытых коней. У нижегородских зевак дух захватило.

Комары с жадностью кинулись на теплое людское тело—бабы и девки чесались с визгом и гримасами, кружились и приседали, а с улицы идти не хотелось. Даже и тогда, когда тройка в облаках пыли исчезла вдали, за Почайной-рекой, они стояли, бесстыдницы, разиня рты и ахали:

— Что за болрин? Ой, ой, ой! Уж не напасть ли какая?!

Вдали, за Волгой, зарево над лесами. Поджигатели объявились, и не только в лесах, а даже и в самом преславном Нижнем-Нове-Граде. Недель пять назад спалили часть Благовещенского монастыря, противу «Кунавинской гривки», в полугоре над Окою.

О пожарах нижегородских, особенно о большом пожаре, опалившем город со всех сторон четыре года назад, по-новому—в тысяча семьсот пятнадцатом противу рождества христово—был осведомлен даже сам царь. Присылал людей для сыску. Погорельцы нарыли себе в горах над Волгой пещеры и упрятались туда со чадами.

Недолго Нижний отдыхал от огня. На днях снова запылало. Да еще где! В слободе первого царского вельможи, светлейшего князя Александра Данилыча Меньшикова. Кроме Благовещенского монастыря, хватило полымем и торговые зимовья. Перекинулось на амбары; угрожало «запасным хлебным магазинам». Вот бы была беда! Царь на случай неурожая сложил запасное зерно в Нижнем, Орле, на Гжатской пристани, в Смоленске, Брянске и в других местах. Поплатилось бы головою многое множество людей. Ничего, обошлось благополучно, только на диво всех глазевших горожан, внизу, на Оке, судно с мукою и людьми полыхнуло. Да так, что ничего и не осталось.

Всем объявлено, что царь подарил своему любимцу эту слободу на вечные времена, с прилегающими выгодными угодьями, как знак особого своего к нему царского расположения. Слобода замечательна своим богатым купечеством и великим патриотом родины Кузьмой Мининым-Сухорукиим, спасшим Россию от польских панов в 1612 году, и—о, горе! о, напасть!—каждый год здесь «красный петух». Тщетно ищут виновников. Кто они? По обыкновению, кивают в сторону керженских и ветлужских ле-

сов — «там-де много разного незнаемого люда» и раскольников нераскаянных тьма-тмушая, и голь кабацкая есть. А сыск бургомистра Пушникова, якобы, имеет подозрение и на мордву, которая повадилась-де ездить на богомолье в Благовещенский монастырь, а народ мордва, известно, скрытный и мечтать любит. О чем его мечтание, допытаться невозможно даже огненным калением.

Так и сяк судили и рядили у своих домов мирные, напуганные этой тройкой, горожане.

К комарам прибавились жуки-жужелицы; со всего размаха щелкали камнем в лоб, гудели, «аки дьяволята», и падали, царапаясь, за ворот, под рубашку. Как не взвизгнуть!

Однако, пора по домам.

И решили, — хочешь, не хочешь, а тройка всенепременно из Питербурха, и, безусловно, с каким-либо новым царским указом, и, конечно, во всем расплатятся теперь посадские тяглые: купцы, мещане и монастырская братия (ее тоже не милуют). А деньги за пожары, конечно, опять ненасытному вельможе князю Меншикову, хозяину сих горних мест. Никто его, батюшку, не видал (век бы и не видеть!), а только слыхали, но денежки отправляй в срок с особо выбранными гонцами дважды в год. И оценивают слободу его знающие навигаторы в шестьдесят тысяч петровских рублей. А это ой-ой как много!

Навздыхались, наохлались бородатые и, почесываясь с великим усердием и пожевывая в ладони, обидчиво поползли в свои норки-домики. Утро вечера мудренее.

Нижний засыпал тихим, покорным сном. Рассыпались звезды над лесистыми Дятловыми горами, на которых приютились домики и церкви Нижнего, окружая древний зубчатый кремль. Застыла недвижно ширь Оки, обнявшей-ся с Волгой. С колокольни строгановской церкви на Рождественской поплыли певучие звуки часов. А над лесами Заволжья росло, надувалось, мрачно колыхаясь, жуткое багровое зарево.

Не ошиблись, оказывается, мелкие нижегородские людишки, все эти хлебники, калашники, блинники, харчевники, ютившиеся в ветхих хибарках по окраине, — народ черный, а дальнзоркий. И недаром говорится здесь: «Лежи на боку, а гляди за реку». Едут в Нижний новые люди, не забывают, — из разных мест. По улице идучи, хоть и шапки не надевай. Начальства объявилось — не

счесть! И все в зеленых мундирах, да еще с красными отворотами, да в закрученных париках, и глазами на людей не глядят, а по щекам будто хлещут. Страсти!

«Так и есть! Еще одного принесло: обер-ландрихтера Стефана Абрамыча Нестерова. Главный судья по Нижнему будет. Вот уж истинно: «семеро капралов над одним рядовым». Втихомолку душу отвели, все-таки, посудачили по дворам, а на ночь, на всякий раз, покрепче ставни заперли, да богу побольше, чем всегда, перед сном помолились. За последнее время сверчки, тараканы и мыши поперли из дому, а это не к добру. И до чего бегут,—насилъно не удержишь, так и сигают. Знай: или еще пожары, или иная какая вещь.

Э-эх, жизнь-то была раньше, и что стало теперь! Жили-были стрельцы. Народ свой. Ходили на Нижний и Верхний базары с женами, с корзинами и мешками, колотились в яростной «любви к господу богу» медными лбами в монастырях об пол, торговали тайно брагой, медом и пивом и сами пили изрядное количество, с чувством и беззаботностью. За это некоторых сажали—не отбивай, мол, у казны дохода. Но и тут была отговорка. «Бог не без милости». Ссылались корчмари на недостатку вина. Государевы винокуры-де на всю Нижегородскую область выкуривают около двадцати тысяч ведер, а требуется сто тысяч (так выходило по расчетам записных «питух»). Возникали споры, разговоры, переписка. Служилые люди, писаки, хвастались: «На нас все окрестные государства не могут напасти бумаги».

Премудрое сословие стрельцов, между прочим, само же и вело сыск о незаконной продаже напитков и,—что греха таить,—не без пристрастия и корысти; впрочем, «один бог без греха». Доходное было дело. А от этого судопроизводства воровская продажа вина и других напитков, благополучно процветая, возросла и превысила namного государеву бедную торговлишку. И стрельцы тучнели, ходили по улицам бородастые, важные, отрыгивая винные пары и солонину, и благодарили «господа бога» на каждом углу за благополучное процветание питейного дела.

Такова была воинская власть при царе Алексее Михайловиче в Нижнем Нов-Граде.

Одним словом, как говорилось тогда, «кабы не боярский разум да не мужичья простота—все бы пропали»...

А теперь—Петр.

Стрельцов — как не бывало. Рождению их насчитывалось свыше сотни лет и могуществу их в дальнем, казалось, и конца не будет, а вышло, как в сказке... «Сивка-Бурка, ведающая каурка, встань передо мной, как лист перед травой», — и аминь! Стрельцы сгнули, а на их место стали преображенские гвардейцы.

Суровые, молчаливые, новые люди. На базарах не шатаются. Пьяными не увидишь. Живут скопом и целые дни на кремлевской площади муштрой занимаются. Только и слышишь барабан. Ох, эти зеленые камзолы! Недаром перемигиваются знакомые люди, глядя на начальство: «Камзолы-де зеленые, да щито не солёные».

И многие закоренелые «питухи» перестали пить, многие непьющие запили. Эти задумчивые люди искали разгадки: что и как и к чему? И никак они не могли уразуметь, «что сотворилось в колыбели батюшки Минина?». Напрасно прыгали перед ними в кабаках, звеня бубенцами, в полосатых костюмах скоморохи с медведями, напрасно плясали перед ними потерявшие стыд «непотребные жонки», — поют «песню веселую про Егорку», а получается горько... Что ни говори, — тюрьмы переполнены; посадят на день, а просидишь год; бояре-помещики ведают и судят своих крестьян во всех их крестьянских делах, кроме разбойничьих и других воровских, сами налагают подати на своих крестьян — «сколько с кого что взяти». Никогда такого гнета и не бывало.

Бедая свалилась на Нижний-Нов-Град.

И вот приехал еще... обер-ландрихтер... Никак и не выговоришь. Что за человек? Судия! Да разве мало и без него в Нижнем судей у посадского жителя и у мужика?

Поневоле покрепче закроешь на ночь ставни и спустишь с цепей всех, какие только ни на есть у кого, псов-волкодавов... «Грызите их, зеленых чертей, адских слуг питербурхского антихриста! Грызите!»

## V

Вести одна другой удивительнее, а особенно весть о вожде керженского раскола и о прибытии главного судии, быстро облетели нижегородские посады, села и деревни. Проснулось в людях коварное любопытство. И многие имели намерение бить челом главному судии, и многие



побреда в Нижний—так, на всякий случай, не будет ли какой перемены!

Приплыли опять с Керженца Демид и Исая. Рыбу привезли на базар, но дело, конечно, не в рыбе!

Кремль нахохлился. На стенах появилось больше прежнего архиерейских мушкетеров, расставленных якобы караулить древние святыни и прах Минина. И развелось около кремля, да и в самом кремле, немалое количество зевак, а кремлевские зеваки—народ известный. Идет кремлем, на каждом шагу крестится, лоб готов расшибить от усердия, а сам одним глазом, исподтишка, так и стреляет. Архиерей выследил это и дал наказ закрыть Дмитровские ворота. Наглухо. По случаю закрытия ворот слух удивительный пошел. Хоть головой о кирпич колотись, а не додумаешься, как так могло произойти: юная девственница в Духовный приказ пришла и на отца своего, купца Овчинникова, донесла, что-де он Питирима собирается убить. Мало того,—осталась жить в архиерейских покоях над тою самою земляной тюрьмой, в которую, закованного в железо, бросили ее отца. И даже Саломея того не сделала для Ирода, что совершила в угоду старому бесу отроковица. Разговоры были тихие, скрытные: берегись ярыжек! Как раз подслушают и поволокнут в Архиерейский приказ.

В лесах болтали, что овчинниковская девка с двумя головами, четырьмя грудями и на копытах, подобно козлу; только при людях притворяется. Говорили, что под рубашкой все тело ее шерстью обросло. Дивное ходило по деревням, и многие с испугу траву чернобыльник вешали себе над дверью, охраняя дом. И многие утверждали, что Питирим нарочно сгубил купца, чтобы овладеть его дочерью, которая спозналась со святым отцом задолго еще до этого случая, откачнувшись от своего молодого жениха.

Разговорах о Питириме, о купце Овчинникове и об его дочери конца не было.

. . . . .

Елизавета стояла, укрывшись зеленой бархатной занавесью от взоров кремлевских зевак.

Теперь она освободилась от отцовского гнета, теперь ее никто не будет стегать ремнями, истязать, не будут запирать на замок в сырую, холодную клеть, никто силою не заставит молиться «по-лесному».

Стены архиерейского дома глухи, через них не проникает наружу ни одна тайна. Монахи и чернецы Духова собора, числом всего восемь—вернейшие псы Питирима,—умрут, а не скажут; никому из его людей не придет и в голову открыть великую тайну, чтобы не потерять языка в Духовном приказе, чтобы не лишили за это жизни через казнь.

И неизвестно: знает ли Софрон или нет, что она, его невеста, в покоях епископа?

Она села у окна на скамейку, покрытую персидским ковром (подарок царя). Прекрасное лицо ее неподвижно. Выражение глаз стало застывшим. Вообще, у нее это давно, чуть не с детства: когда случается что-нибудь тяжелое, печальное,—она сидит даже среди людей, ничего не слыша и ничего не видя, точно околдованная. Даже Питирим заметил В эти минуты ее одурманивала, приковывала к себе мысль о власти, о богатстве, о первенстве... Жуткая мысль!

В архиерейских покоях особенная тишина, мухи жужжат, забравшись в иконостас. В спальне чистота и запах благовонного курения. Постель широкая, красного дуба; блестит черным атласом одеяло на лисьем меху. Под ногами пышные ковры. Около постели черные кожаные ширмы с китайским тиснением. В углу иконостас, а в нем в серебряных и золотых окладах—иконы живоначальной троицы, Софии Премудрой, воздвижения креста и много других. Сам епископ, поднявшись утром с постели, оправил лампы. На большом черном круглом столе два глобуса—один небесный, другой земной. Каждый день Питирим их осматривает и делает какие-то записи. Черные гарнитуровые ряды, подушенные голью, на малиновой тафте, развешаны по стене в углу. Черный цвет—любимый цвет Питирима, даже кресла одеты в черные шелковые чехлы. Сквозь открытую дверь видна соседняя комната. Иконы скупо освещаются несколькими лампадами. В этой комнате сложена на столах и на полках всякая соборная утварь: кресты, панагии, святая вода в вошанках, чаши для мира и много странных свитков и столбцов. Зеленая муравленая печь с изображениями херувимов. Из этой комнаты шел ладанный дух.

Елизавета поднялась и разбитой походкой, высокая, стройная, прошла по горнице. Остановилась перед зеркалом и взглянула на себя. Ее поразил надетый на ней

яркий шелковый сарафан, лиловая шелковая лента на голове—так у отца не приходилось одеваться. Даже служанки у многих купцов-соседей ходили в лучших одеждах, чем она. И невольно с улыбкой самодовольства взглянула Елизавета на подаренные ей вчера Питиримом красные с золотом сафьяновые черевички. На ее маленькой складной ноге они выглядели, как на картинке, которую показывал ей Питирим (царица Екатерина в русском боярском костюме). Прислал ее сам царь на память. Нет, на ее ноге лучше сидят эти черевички, чем на царицыной, и сама она красивее царицы... А если ее одеть по-царски, то... Об этом говорил и сам епископ.

Девушка потянулась, зевнула. Сегодня утром просила епископа доставить ей пяльцы для вышивания. Слыла мастерицей по этой части. Без дела—тоска.

Скрипнула дверь. Вошел епископ. Не думая, что это он, Елизавета испуганно отскочила в угол. Епископ положил на стол какие-то бумаги и подошел к ней.

— Ты не бойся, — я не волк.

Она молча смотрела на него озадаченным взглядом.

— Тебя страшатся на посаде, а мне нечего бояться.

— Имею я свою мысль, от этого и страх у людей. Что мне нужно, достаю я своей волей, — сказал епископ, — это пугает народ. Скучность и убожество омерзительны, а люди никогда не спасут тебя от этого. Воевал я и за двухперстие, позабыв, что на руке пять перстов, а пять сильнее двух... Я обратился к церкви, ибо «всякое учение принимать досадно, а научась, на свою красоту употреблять и к общему благу — вещь есть зело благоприятна». Не так ли сказано мудрейшим греческим философом Аристотелем? Я постиг учение. Сам император в Переяславле узрел усердие мое. Он дал мне власть, а власть ссорит с людьми. Мне хорошо известно — осуждают меня за употребление мною власти, данной мне от государя, в том, в чем я находил неправду. Однако, я презираю все могущие быть в свете рассуждения относительно строгости моей в наблюдении правды... Ты знаешь, Петр строг. А я, пожалуй, знаю людей не меньше царя. И не царь делает царство, а мы...

Питирим продолжал:

— Все в руках человеческих. Царь — помазанник божий, но никогда бы не дождался он помазания от бога, если бы не было чина духовного... И никогда бы ему народ

не поверил в помазании божием, если бы архиерей на глазах у народа не совершил сего. И божьи дела делаются людьми, ибо бог там...

Епископ небрежным движением руки указал на небо.

— А мы здесь... Его вы не видите и не увидите, а нас...—Питирим ткнул перстом себя в грудь,—можете запомнить на вечные времена... Бог без жрецов — не бог, а пустота; а царь в этой пустоте не был бы царем... Наша власть выше царской... Он может уничтожить Питирима, но не уничтожит поповской власти, ибо, уничтожив ее, погибнет и сам... Царь Грозный и тот не справился с церковью.

Он улыбнулся широкою, довольною улыбкой, обнажив сильные, белые зубы.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет, Питирим улыбался молодо, был высок, черен, без морщин, смугл и держался твердо, по-военному, вперед грудью, на которой лежал золотой наперсный крест с бриллиантами. Питирим остановился против Елизаветы.

— Ты искала верного счастья? Тогда не бойся. Почитай обязанностью быть полезной епископу. Но лучшие твои наслаждения, но самые драгоценные награды твои будут заключены для тебя в моей человеческой любви к тебе. Если душа твоя невинна, если пылает в ней тихое пламя добра, то в мирном углу моем ты найдешь безмятежное и спокойное счастье.

Он приблизился к ней, благословил ее.

— Прелести плотские преходящи, сладость их исчезнет, яко туман в летнюю зорю, а разум останется... Где ты найдешь тогда такого верного и согласного с тобою товарища в радостях и печали?

Он гладил ее по голове и совсем тихо говорил:

— Менее стремись воображением к соблазну юности неразумной. Помни, в наше лихое время не найдешь ты ни одного невинного, благородного, исполненного высокими чувствами сердца юноши. Старость разумна. Отцовская опека тебя ныне не отягощает. Сердечным теплом не обессилел я. В очистительные книги с усердием вникай, вот они... В них достоинство человека, красота и тайна земной власти...

Рука епископа ласково коснулась бархатного переплета книги «Истинная политика знатных и благородных особ», с золотыми тисненными наугольниками.

— В пей зрелище духовное, уносящее разум человеческий в безоблачную высь красот неземного царства. Без этой разлуки с земною суетностью не может существовать человек, призванный властвовать, стоящий выше людей.

Шурша тафтою рясы, он низко наклонился к Елизавете. Широкие рукава щекотали ее плечи. От бороды пахло розовым маслом. Жгли большие, ласковые черные глаза. О них говорили с завистью и страхом нижегородцы. Они горели, как свеча в темной келье, рассыпая такие же лучи, хотя густые ресницы и старались всячески укрыть их. Казалось, они улыбаются даже в гневе. Кто-то на посаде пустил слух, что рожден Питирим от бродячего цыгана. Хотя, как этому верить? Говорили про самого царя, что он не сын Алексея Михайловича, а жидовин—«еврей из колена Данова». Мало ли что на посаде болтают? Одно кажется правдою-истиной: «Мать безусловно родила его во грехе. Такие глаза скрывают какую-то тайну». А некоторые люди из раскольников уверяли, что с тех пор, как он изменил расколу, в нем «засел диавол, от этого глаза и стали такими. Раньше были другие. Диавол руководит епископом». И все-таки глаза епископа могли быть простыми, нежными, любящими,—об этом, разумеется, никто не знает. Узнала об этом только одна она, Елизавета.

Епископ ушел опять в Духовный приказ плавной, твердой походкой уверенного в своей необыкновенной силе мудролюбца, походкой епископа, перед которым трепещут военные и гражданские власти.

При свиданиях с Елизаветой всегда говорил он один; казалось, он забывал даже о ней и начинал думать о чем-то другом, говорил много непонятного для нее. Часто обращался даже не к ней, а к окну, как будто его там слушает много народа.

— Я люблю быть с народом,—заявил он Елизавете.— На днях поеду в Пафнутьево, Балахонского уезда, учинить споры на большом всенародном собрании с керженскими мудрецами.

Он часто поминал о керженских расколоучителях. Задорили, горячили сердце его двести сорок вопросов, которые привез в Кремль диакон Александр. Каждый день епископ просиживал целыми часами, исписывая пергамент зелеными чернилами. А когда писал, смеялся, вскакивал, пил красное вино из ковша и говорил Елизавете:

— Большого ума человек их составил, талант!

А потом заявил ей:

— Отца твоего я всенародно прошу, устроив подобающую церемонию, и отдам ему две лавки на гостинном дворе, монастырские, да за бороду оклад сложу, ибо торговлей он промышляет знатно и полезен государству капиталами... Государь Петр Алексеевич покровительствует купцам. Заговор убийства на мою персону я предаю забвению. Не велик я человек во вселенной. За веру заступничество нельзя приравнять воровству.

Елизавете стало радостно, когда она услышала, что отца хотят освободить. Она раньше не думала, что будет жалеть отца. У нее даже мелькали некогда преступные мысли по ночам, — ведь он и мать замучил, не только ее. А теперь жалко отца, хотя и тиран был и мешал ей добиваться своего счастья, а жалко.

За дверью кто-то кашлянул. Елизавета подошла к двери, отворила и увидела нарядно одетую Степаниду, прачку Духовного приказа, с которой дружила.

Степанида быстро вошла в комнату и смело опустилась в питиримовское кресло, красивая, румяная.

— Ты зачем пришла?

— На тебя полюбоваться, — весело ответила Степанида. — Соскучилась.

— Чего ради?

— Ну-ка, какая ты теперь стала? Покажись. — И, оглядев ее с головы до ног, воскликнула: — Матушки вы мои, настоящая княжна!

Елизавета покраснела.

— Ишь, как тебя любит епископ, — продолжала Степанида рассматривать наряд Елизаветы. — Гляди-ка!

— Ну, что ты! Не надо. Сглазишь.

— Не затем пришла... Я тебе добра желаю. — И после некоторого раздумья спросила: — Ну, а как же с Софроном?

Елизавета отвернулась, отошла к окну.

— Молюсь я о нем, — голосом, в котором звучало смирение и грусть, ответила она.

— А если его освободят... пойдешь ли ты к нему?

Елизавета медлила.

— Ну, чего же молчишь? Хочешь ли ты быть его женой?

— Нет.

Степанида тихо рассмеялась, встала и пытливо посмотрела в глаза подруги.

— Разлюбила?

— Нет,—не задумываясь, ответила Елизавета.—Но, сама посуди, может ли Софрон быть мужем, когда его епископ во всякое время кует в кандалы? Сильнее епископа нет людей в нашем крае. Сам царь слушает его. Счастье не в темницах, счастье в дворцах, в хоромах вельмож. В цепях, в гонениях высыхают и слезы. Да и сам он не захочет меня.

Степанида, весело рассмеявшись, бросилась к Елизавете и крепко ее обняла:

— Молодец... И я такая же. Нищих и убогих я очень-очень жалею, а не могу их любить... Однако, епископ не надежа. Он—чернец, монах... Он более раб, чем мы все... То, что нам дозволено, ему не полагается...

Елизавета задумалась. Глаза ее стали печальными.

— Сердце не разбирает чинов.

— Но жизнь твоя с епископом недолговечна. Он—огонь. И ты сгоришь. Сожжет он немало таких, как ты, и после тебя...

— После меня его не будет...

Лицо Елизаветы побледнело, глаза ее стали черными. Она крепко сжала руку Степаниды.

— Я знаю, что скоро умру. Каждая девушка на посаде, которая любит, проклята даже самою церковью и законами осуждена. Она должна быть рабою, а я не хочу... Я отца не пожалела, не пожалею и епископа... Степанида, ты моя подруга, ты знаешь мою жизнь, мы вместе с тобою горевали когда-то. Не говори никому обо мне. Разговоры наши держи в тайне. Я не боюсь епископа, как не боюсь и смерти. Я привыкла думать о ней... Отдовская кабала постоянно толкала меня в петлю. Если бы не Птирим, я убила бы отца и сама...

Степанида испуганно освободила свою руку из руки Елизаветы. Ее трясла лихорадка. Ей стало страшно.

— Что ты! Бог с тобой! Надо жить! Умирать боюсь,—лепетала Степанида.—Я люблю жить и не отказываюсь грешить.

— У нас нет жизни. Жизнь у них... Ну, иди, а то кто-нибудь подслушает...

Они обнялись, и Степанида опрометью выбежала из

покоев епископа, трясясь от непонятного ужаса. В келье епископа ей показалось холодно, как в погребе.

В темноте коридора мелькнула чья-то тень. Из смежного с покоями Питирима Духова монастыря доносилось стройное пение монахов.

## VI

Через кремлевскую площадь по вытоптанной конями дороге, переваливаясь, бредут в кремль жирные монастырские гуси. Нагулялись на Поганом (Черном) пруду, навели страх на лягушек—и айда домой.

Люди разного звания гуторят около таможенной избы, наискось от Дмитровской башни, жуют табачище. Дух от жареных пирогов и студня, густой, валит из избы. Давно уж примостился здесь харчевник, откупивший себе уголок за сорок алтын в год. Оно так-то и удобнее. В таможенную избу разные люди идут с Волги выкупать пропуска на товары, провозимые в стружках. И порядок соблюдает человек, и знатно отобедает. Все в одном месте. От стрельцких приказов только и осталась таможенная изба на площади.

Демид, обтирая рукавом усы, побрел из харчевни через площадь к кремлевской стене, где на мусорном пустыре между башен прилепилась кузница Фильки Рыхлого.

— Еда в душу не идет,—покачал головою Демид, подходя к товарищу.—Как же теперя нам быть? Все у нас Питиримка спутал. Денег у Овчинникова теперя уже не получишь... Софрон в тюрьме. Что делать?! Скажи хоть ты!

Кузнец Филька—посадский человек—мужик хитрый, бывалый, все дела нижегородские у него, как на ладони. И у многих людей он всю подноготную знает. Сам он также известен всем. Привыкли к нему, как и к восьмигранной, в один ярус, под каменным шатром колокольне Спасо-Преображенского собора. Все изо дня в день видят эту каменную громаду с семисотпудовым колоколом. Так и Фильку с его знаменитой наковальней. Другой такой кузницы не сыщешь. Филька—«парень-рубаха», так о нем говорят, а это неверно. Есть у него глубоко упрятанные тайны: «двумя перстами молится и книги старого письма, дониконовской прелести читает». Вот Демид и распоясался, распустил язык без опасения, к тому же плюет со злом и



кулаки сжимает. Случись такое с другим,—Филька обязательно бы донес куда следует. А раскольник?.. Другая часть! Человек одной веры и мужик,—а это все. Когда-то в Городце вместе скрывались от никонианцев. Разве это забудешь?

Влево от Дмитровских ворот до самого откоса, где на днях земля дала трещину, архиерейские прихлебатели шляются, грибы копают, косятся на прохожих. Сохрани бог, услышат! Вот почему Филька и мотнул бородашкой в сторону приживальщиков.

— Что ни говори, а на хвост оглядывайся.

Из кремля по широкой, зеленой Печерской дороге неторопливо двинулась подвода с архиерейской мукой. Выпекать хлеб возили на монастырскую, в Печерах, пекарню. Знатные пекаря—печерские иноки! На возу сидел монах, помахивая кнутом и погрызывая кедровые орешки. Золотушные глаза его сощурились при взгляде на Демида и Фильку. Как и другие: на вид Христос—внутри шерстью оброс. Всю власть над Нижним хотят заграбастать долгогривые, а срывается. Из Питербурха приказы идут кислые о монашестве. Однако, проходи мимо монастыря, да оглядывайся, а лучше и совсем избегай,—хотя, конечно, и тут запятая: «государевым-де приказом повелено учтет вести: кто, куда и сколько к службам ходит. О перадивых немедленно доносить в Духовный приказ», якобы для духовного «просвещения». Конечно, и гуся на свадьбу тащат, только во щи. Дело налаженное. Сколько ни скрывай, а известно.

Филька-кузнец шепнул на ухо Демиду, что очень штука подозрительная получается. Видимо, кто-то доложил Питириму о собрании в лесу, где Филька о Софроне мужикам рассказывал и деньги кидал наземь для ватаги. И почему-то именно на другой же день Софрона в кандалы обрядили и бросили в темницу, и Овчинникова тоже.

— А теперь жди и меня самого туда же... Вон коекого из мужиков-то уже привезли в Нижний. Тоже ковать будут. Кто-то нас предал.

— Ладно. Отольются медведю коровьи слезы,—проговорил Демид, внимательно слушавший Фильку.—Этим не спасешься.

Тот подмигнул глазом:

— В Стародубьи даревич-то... войско собирает. На-дежда есть. Не пропала.

Они оглянулись, испугавшись своих мыслей и филькиных слов. Почесали затылки, вздохнули.

Пуще всех жаль диакона Александра. Волю старцев исполнил человек. Народом послан, а его в цепи...

— Епископ только тюрьмой и силен. Пусть бы лучше ответил он на керженские вопросы... Он не может. Оттого и зол.

— Где ему! Не ответит... Чем хочешь, поклянусь — не ответит. Вельми премудрый человек составлял их!

Слез много кругом, что и говорить. Даже шумные качели с музыкой в полях за Поганым прудом стали, и песни всякие на посадe умолкли, только и слышишь, что унылые песни бурлаков, приносимые ветром с Волги.

— Что делать? — Никак не придумают Филька с Демидом. Сидят, скребут лбы и охают. А делать что-то надо. И надо, и страшно! Вздыхают, охают...

«Вон в Лыскове шесть лет назад мужики взбунтовались, а потом выпороли их всех кнутом, в железа заковали, поздри повыврывали и на галеры...»

Филька огляделся кругом, прошептал:

— Того парня, однако, надо перво-наперво освободить. И диакона Александра. И еще двоих.

В углу крыса прыгнула, зашумела, окайная, — Филька побелел весь. Приужаснулся зело. Оба смолкли. Мимо кузницы из кремля под гору, запряженная четверней, прокатила повозка именитого солепромышленника Строганова. Сама Строганиха возвращалась, видать, от губернатора к себе в дом на набережную.

Дом на склоне горы. Перед ним бесподобный темно-красный собор «пресвятой богородицы». На этот храм ходят любоваться даже раскольники. Григорий Дмитриевич Строганов большие денежки вложил в сие расписное чудо, а строителя-чародея чуть было не ослепил, дабы не строил впредь никому подобных церквей. Да ничего у него, оказывается, не вышло. Тот строитель смекнул опасность и поскорее влез на колокольню под самый крест, да на виду у всего народа и был таков. Обравившись в черную птицу, улетел от злодея в облака. Не всегда, значит, вельможная власть имеет силу над народом. Поймай теперь птицу! Она, небось, поди, смеется над тираном... Так ему и надо.

Филька озорно захихикал, рассказав об этом. А Демид по-деревенски разинул рот. Всеу удивляется, чудак! Впрочем, и он засмеялся. О таких случаях, когда бояре

остаются в дураках, не отрадно ли слышать сердцу простолюдина?

День жаркий, а делать нечего. Под навесом не так жжет. Филька растянулся брюхом на сломанной телеге, Демид, присев на бревнышко, настроился слушать дальше.

— Дикое любопытство возымел и я к колокольне и, подпихом отчасти, залез и сам под ейную маковку, и там я увидел расчудесную вертушку—указывает она путь ветров в разные стороны. А под вертушкой вделаны часы с музыкой, и кажут они всякое время года. Сидел я, сидел, ждал, ждал, когда стану птицей, так и не дождался... А когда слез наземь, словили меня, и вот...

Филька спустил порты.

— Толково,—сказал Демид с видом знатока, осматривая рубцы. Покачал головой.

— А в птицу я так и не обратился,—обиженно вздохнул кузнец.

Оба задумались. С кремлевских соборов потекли глухие, протяжные удары стопудовых колоколов. Увязая в зубах стены, они властно расплывались над площадью; глухими, скорбными вздохами на это отвечали переулки и улицы, а за ними—поля и окрестные рощи.

Кузнец вскочил, огляделся с опаской кругом, забился в угол кузницы, к нему прижался и Демид.

— Приехал тут к нам один боярин. Кормилка у царицы его баба-то. И хочет Степанида просить его... Мужик-то, видать, простой... запивает малость... За Александра диакона будет просить и за Софрона. К тому же боярин этот судия у нас. Степанида надеется...

— Дело,—покрутил Демид свой ус.—Коли что—можно одарить, найдется.

— Не такой человек.

— Полно! Этим промышляют... Виду не доверяйся. Ваш ландрат целую партию у нас в деревне отпустил. Старцы поднесли тоже через одну жонку, он и бумаги все порвал.

— Ладно. Подождем. Степанида без того сможет... Наказ мой выполнит. У нас с ней так.

Демид сказал, добродушно улыбнувшись:

— А это и того лучше. Ей наряды купим.

Филька сделал вид, что не слышит, а в душе был рад: «Пускай наряжают. Сторонних денег не жаль, а баба хорошая и наряжаться любит».

— И мы дремать не будем. К бургомистру ходим. К Пушникову. Я знаю его. Он должен заступиться.

Демид согласился.

— Ну, что же! Пойдем! Надо ватаге помогать!

. . . . .

Вечером, выйдя из своей моленной, Пушников увидел в жилой половине дома кузнеца Фильку и какого-то незнакомого мужика.

— Ну, Филья, как дела?— сказал добродушно бургомистр, отвечая на низкие поклоны гостей.— А это кто?

— Деревенский... Из-под Пафнутьева, с Керженца...

Пушников, высокий почтенный бородач, внимательно осмотрел керженского крестьянина.

— Имя?

— Демид. Монастырский тяглец.

— Садитесь. Китайской травой угошу.

Пушников крикнул дочь. Девушка лет восемнадцати, в сарафане, вошла, низко поклонившись гостям.

— Устраивай пир.

Когда она собрала на стол, поставив брагу, рыбу, хлеб и сосуд с пареной китайской травой,—Пушников усадил Фильку и Демиду за стол.

— Откушайте заморскую диковину, Строганов подарил.

Демид покосился и подумал: «Грех! Антихристова выдумка, не что иное».

Филька налил в чашку, понюхал. Понравилось. Посмотрел на Демиду. Тот слегка покачал головой: «Не надо, мол, не оскверняйся». Филька вздохнул. (Не будь Демиду—обязательно бы осквернился).

— Ну, какая нужда вас толкнула ко мне, братцы?— заметив смущение на лицах гостей, спросил Пушников.

— Филипп, объясни,—пихнул Демид локтем в бок своего друга.

Тот пригладил волосы, заморгал и, не смотря на Пушникова, печальным голосом произнес:

— Вот приехал из лесов человек,—он указал пальцем на Демиду,—своей преданностью старой вере прославившийся на весь край. Бедняк, многодетный, и печется не о себе, а о всем нашем братстве, о деревенском народе и справедливости... Рыбак он и на своем струге ходит по водам, как лебедь, легко, беспрепятственно.

Демид стукнул коленкой ногу Фильки: «Довольно, мол,

парень, говори дело». Филька хорошо знал прямой и деловой характер Демида и сразу понял его.

— И не что иное нам теперь нужно от вас, как заступничество перед епископом.

Пушников нахмурился.

— Перед епископом?

— Да.

— Говорите, чего вы ждете от сей персоны?

— Было сходбище на Керженце, — продолжал Филька. — И порешили на том сходбище миряне, древлего благочестия ревнители, просить вас, ваша светлость, о помощи... Василий Пчелка у Овчинникова был... тоже говорил...

Пушников насторожился.

— Овчинников в Духовном приказе.

— Но кто может ведать, когда и всякого другого схватят, оторвут от жены и младенцев и поведут в темницу?

На лице бургомистра застыло бесстрастное выражение, как будто он не слышит, о чем говорят. Филька и Демид переглянулись: «настоящий бургомистр».

— Керженские братья дали нам приказ явиться к вам и от имени их просить вашу честность, ревнителя единой с нами веры, собрать купцов и посадских людей и отстоять перед епископом парня Софрона, питиримовского школяра... Мысль у всех в лесах и на горах, что парень тот может быть защитником ревнителей древлего благочестия и достойную рать способен будет двинуть навстречу царевичу Алексею.

Пушников быстро вскочил и плотно заставил щитами окна.

Он тяжело дышал, лицо его побагровело. Стал шарить чего-то за воротом, — не то его воротник душит, не то кусает кто-то.

— Да! Да! Да! — сказал он, отдуваясь.

Филька и Демид ждали, что будет дальше, но только и слышали одно «да».

Все трое некоторое время сидели молча. Демид снова толкнул Фильку. Кузнец оживился.

— Да и деньгами помощь нужна ватаге. Под Макарьевым покуда она ярмаркой пробавляется. Чувашин один правит ей, да неученый он, и ружьев у них нет и огненных запасов также.

Пушников pokrылся потом.

— Тише! — прошептал, глядя на Фильку из-под густых

бровей умоляюще.—Олисов даст... Мы уже насобирали. К Олисову идите. У него все: и деньги, и всякая иная помощь.

— Олисов?—весело вскрикнул Филька, вскочил и схватился за шапку. Демид тряхнул его с сердцем—Филька сел.

— У него,—продолжал Пушников,—сходбище сегодня, идите, скажите, что я прислал вас.

Филька повеселел, а глядя на него, приободрился и Демид.

Оба они, обласканные Пушниковым, опрометью бросились бежать к торговому человеку, известному покровителю керженского раскола, нижегородскому «гостю» Афанасию Фирсову сыну Олисову.

## VII

Рано утром, после молитвы, дьяк Иван доложил, что его-де преосвященство дожидаются в приказе столбовые дворяне с Леонтием Гавриловичем Исуповым во главе, а о чем их челобитье, поведать они ему, дьяку Ивану, отказали.

Питирим насупился. Слова не молвил. Дьяк исчез.

Дворяне в париках, в шелковых штанах и чулках; вместо камзолов у тех, кто победней, обрезанные кафтаны, обшитые полосками парчи (купец Милютин в Питере не успевал готовить на своей фабрике позументы). Гости смущенно поглаживали животы, подсмаркивались. Их было десять, пестрых, куцых, виновато улыбающихся...

Епископу все низехонько поклонились, касаясь пальцами ковра:

— Благослови, владыко!..

Осененные крестом, отступили. Один Исупов остался на месте против епископа.

— Дошло до нас, ваше преосвященство, повелекие о закрытии в наших вотчинах домовых церквей... о лишении дворянства близости к богу. Между тем, время неспокойное... Церковь у вотчинников является защитой от бунтов и мужицкого своеволия. Раскольники и те имеют свои моленные, а дворянин того лишается. Прилично ли это?

Некоторые из дворян тяжело вздохнули, один даже слезу пустил, вытер рукавом лицо, кашлянул неестественно и умиленно посмотрел на потолок.

Питирим движением руки остановил плавную, обиженную речь Исупова:

— Не от епископа подул ветер. С севера. Закрыли в боярских домах церкви, ибо они лишние есть и от единой спеси даются. Ходили бы господа к церквам приходским и не стыдились бы быть братиею, хотя и крестьян своих, в обществе христианском, и молились бы на виду у всех, а не у себя в хоромаш.

Дворяне вздохнули теперь все до единого, и на лицах у них появилась обида: «молиться на виду». Ох, ох, ох!

После этого Исупов тихонько отступил и, низко поклонившись, стал высказывать просьбу другую: разрешил бы епископ, во исполнение старинных отцовских обычаев, выбирать попа помещику вкупе с народом самому, а не принимать попов, назначенных из Нижнего. Исупов уверял Питирима в том, что поп Кирилл в Дальне-Константиновской вотчине Левашовых выбран из холопов в попы по ошибке. Они тут непричастны. Они за своими попами строго следят. Не позволяют им пить и торговать.

Епископ пронидательно взглянул на Исупова, а остальных дворян даже и взглядом не удостоил.

— Ваше дело молиться, мое дело попов вам давать. Дурной остаток старины—выборность попов—искореняю по воле великого государя. К оной персоне и направляйте свои челобитья противу закона, творимого к вашему же благоустроению. Коли дворяне сего не понимают, что уж думать о другого звания людях? Не о благородстве, не о знатности праотцев своих хвалитесь, но всяк своему житию да внемлет. В гробницах зрим кости многих и различных людей, богатых и убогих, чиновных и простых... Всех их единая земля покрывает и сравни...

После этого дворяне еще ниже поклонились епископу, который, глядя на них, укоризненно качал головой. Один за другим, задом, на носках, вышли они из покоев, быстро, с улыбкой, а проходя на площади мимо кремлевской стены, недоверчиво покосились на усатых солдат, торчавших с мушкетами между зубьев.

Навстречу попалась шумная ватага посадских с купцами во главе. Шли бодро и важно в кремль; при виде дворян стихли, скромно наклонив головы, сторонясь почтительно. А у самих на губах, против воли, выступала улыбка: уж больно чудно выглядела эта куца, украсившая

свои головы «собачьими кудрями», пестрая рать! Давно ли были толстобрюхими, бородатыми боярами? За это вот Петру спасибо, что заставил их работать. Ишь, худеть начали!

Словами епископа не удовлетворились дворяне. Они поняли Питирима так: он зол на них, ибо домовые церкви дохода ему не дают; денежки у него из епархии утекают. И стали обсуждать промеж себя способ: нельзя ли обойти епископа? Государь покровительствует дворянам. Со встревоженными мыслями и оскорбленным самолюбием тайно поспешили они на Почаинский бугор к обер-ландрихтеру Стефану Нестерову: не защитит ли? Царю человек тоже близкий и тоже дворянин.

А посадские торговые люди затаили свою цель. Они явились к Питириму со своими особыми, премного обдуманнми доношениями. И, войдя в архиерейские покои, прямо повалились епископу в ноги, безо всякого. Словно потолок рухнул. Среди них был гостинной сотни купец Афанасий Фирсов сын Олисов—храмоздатель, строитель трех нижегородских церквей: Казанской, Сергиевской и Жен-мироносиц.

Просили епископа они возобновить в кремле Архангельский собор и другие погорелые храмы. «По милости божьей торговля растет и малую толику прибавить казне возможно на построение храмов, понеже посадский люд от успения своих дел в тоих храмах молитву возносит, а без молитвы дела станут, ибо всевышний отвернется от униженных рабов своих».

С 1704 года, после пожара, стоит древлечтимый собор в полном разрушении и не происходят в нем службы церковные и разные «душеспасению» требы. А тем паче—опрокинутый собор на самом виду у покоев его преосвященства, и «недостойно таковое видети его пресветлым ангельским очам».

Так в жалостливых словах и молитвенном смирении докладывали епископу посадские торговые люди. Давно они лелеяли мысль услужить епископу, восхитить его своим радением о кремлевских святынях и даже заранее сговорились дать малую толику в казну на постройку собора. Лишь бы епископ оказал им свое снисхождение и внимание, которое в торговом деле особенно необходимо. Одну тысячу рублей, куда ни шло, решили куском отколоть от своих достатков. Но не тронули епископа купеческие



скорбные речи. Обжег богомольцев грозным взглядом он и сказал с ядовитой усмешкой:

— Мыслию пленяетесь и душой страждете, а деньгу прячете. Скупы. Идете к властям просить, а сами где?.. Помогаете казне зело скудно и неисправно. Царю подлежит на войны, на стройки деньги, лес; лесов у нас тьма, а где же они? Нерадивость к государственным делам, в скаредной подлости рожденная, завелась и в нашем граде... А для кого оное все и война также? Не вы ли прибыль имеете от того? Не о вас ли печется государь-батюшка?!

Долго говорил епископ, и чем дальше он говорил, тем яснее становилось торговым посадским людям, что зря они заявили к нему и зря напомнили о себе: дело совсем в другую сторону поперло, большую ошибку почтенные граждане сделали. «Бог-то бог, да сам не будь плох». А тут, явная вещь,—силоховали. Хитер тоже и «святой генерал». Так и смотрит: «как бы пожитья».

Стоят, слушают архиерея, а мысли нудные, скрипучие так и лезут, так и лезут в голову. Епископ говорил и о том, что церквей в нижегородской епархии слишком довольно. Соборных, ружных<sup>1</sup> и приходских—952, монастырей мужских—52 и женских 27. «Камень и без того крепок, и пещись о нем непристойно, а тем паче царь запретил в провинциях из камня созидать строения. Заботе нашей о глубине разумения и о душе быть подобает, а вы просите еще церквей? А Олисов, к тому же, имел намерение новую церковь, что на выселках, им построенную, назвать в честь «троеручицы божьей матери»... А православный государь наш запретил строгим указом украшать храмы именем богородицы... Оное ясное решение забывать не след...»

Гость Афанасий Фирсов сын Олисов выступил вперед и с поклоном заявил, что его церковь отныне будет именоваться «трех святителей»... А божьей матери он только одну икону в пределе оставил... да и ту маленькую.

Питирим закончил свою речь сердитым выкриком:

— Поборите вашу алчность! Откройте ваши сердца и кошель! Кичитесь боголюбием и богатством, но часто убогий умнее богатых... благоразумнее... и щедрее...

Когда он замолчал, все облегченно вздохнули. Но этим не кончилось. Епископ перед крестом и евангелием взял с них со всех обещание принести завтра же губернатору

---

<sup>1</sup> Содержавшихся за счет прихожан. Руга — плата за требы.

Ржевскому на отправку в Питербурх леса для стройки пять тысяч рублей. Побледили, почесали под бородами ретивые богомольцы и, низко поклонившись, побрели домой с неожиданного-негаданно свалившеюся на головы новою заботой. «Поехали пировать, а пришлось горевать». Ах-ха-ха-ха! Качали головами, вздыхали, диву даваясь питиримовской холодности к устройству храмов, а проходя мимо Архангельского собора и глядя на его развалины, досадливо поморщились: «бес попутал нас со своею лептою. Оглупели мы на старости лет... Оглупели...»

И рады были посадские челобитчики, что не сказали ни слова о Софроне и о купце Овчинникове... «Бог сохранил». А когда шли в кремль, была главная забота именно об этом, Архангельский собор—так себе, чтобы задобрить. Имели твердое намерение посадские после челобитья о храмах стукнуться лбами и о пощаде невинным узникам, об освобождении их из подземелья, а особенно о школяре Софроне.

В страхе прибавили еще шагу бородачи, только пятки засверкали: «куда вынесет».

Епископ смотрел на них в окно и улыбался. Затем сел за стол с дьяком Иваном и сказал:

— Доноси.

Дьяк вскинул гривой, взял бумагу, набрал воздуха и громко, однообразно загудел:

— «Климов и Евстифеев, обретающиеся на реке Усте, рабочие рудоискатели Антона Калмовского, железные заводы его разорили и пограбили и грозились его, Калмовского, убить до смерти. Да из них же оный Евстифеев с помянутою жонкой Анною живет блудно и свели с собою из Казани солдата, а как того солдата зовут и которого полку—не показано...»

Выслушав дьяка Ивана до конца, Питирим взял перо и написал на доношении о колодниках Климове и Евстифееве:

«Учинить им жестокое наказание, бить шелепами нещадно и, оказав их в крепкие ножные и ручные кандалы, содержать под Духовным приказом неисходно». И написал на одном листе «Пи», на другом «ти» и на третьем «рим».

— Доноси дальше...

— «А на Волге под Лысковом в оврагах собираются беглые холопы и пашенные люди и готовят воровской набег на казенные караваны... И пойманный один бродяга

под пытку показал, будто все они расколом прикрываются, въяве же они богохульники и невежды и сущая тать в естестве...»

— Передай оную бумагу капитану Ржевскому, чтобы розыск учинил, а бродяге шелепами пять десятков ударов, — сказал, покраснев от гнева, Питирим.

. . . . .

Купцы, вернувшись восвояси, по родным домам, в долгу не остались. Кто-то из них пустил слух: «Епископ-де Питирим заражен лютерской ересью, как и отщепенец Степка Яворский, наперсник неверующего царя, а потому и православным церквам он не покровитель».

Прибавляли шептуны сехидной улыбкой и такое: «Божье стало государевым. Аминь». И некоторые тайком, как и дворяне, пошли к Нестерову, на бугор над Почайной. Человек важный Стефан Абрамыч; и только он один в Нижнем, главный судия, может поспорить с епископом.

А в кустарниках над Почайной сидел человек с серьгой и зорко наблюдал за тем, кто навещает Нестерова.

. . . . .

Из Духовного приказа Питирим вернулся к себе в келью поздно вечером.

Елизавета вскипятила привезенный в подарок епископу из Сибири Строгановым китайский чай. Перед тем, как заварить его, она долго рассматривала с большим любопытством диковинные закорючки на обложке, в которую завернут был чай. В горячей воде листочки чернели, распускались, и пар шел от них приятный, благовонный. Епископ тоже полюбил этот напиток. Был весел и разговорчив обыкновенно за чайным столом.

Войдя, он с улыбкой сказал:

— Сколь я в чести у тебя! Сколь счастлив я любовью твоею ко мне! — Он подошел к ней и поцеловал ее в голову, а затем положил большую тетрадь на стол и сел. Лицо у него было усталое, но приветливое.

— Одно удручает меня: в глазах твоих я вижу страх.

Елизавета рада была в эту минуту тому, что в келье светила одна свеча и разглядеть то, как она покраснела, было трудно епископу.

— Я привык видеть страх в глазах людей... Но от тебя несноснее нет оскорбления мне. Я не хочу, чтобы ед-

ва расцветшее растение подсыхало в присутствии моем. Я тебе не сделаю никакого зла... Для тебя я имею одно лишь благосердие и дружелюбие.

Он сам налил в сосуды любимый им напиток, а затем открыл тетрадь.

— Что же ты молчишь?

— Не знаю, что говорить,— смутилась Елизавета.

— Вижу я, в какой дикой крепости жила ты у отца... Раскольщики жалуются на гнет и кабалу, но нет более гнета, нежели в раскольничьих семьях. Испытал и я. Знаю. Они посягают на то, что даровано человеку для его телесной радости.

Елизавета вспомнила, что и Софрон ей то же самое говорил и учил ее убежать от отца. У нее уже вертелось на языке имя Софрона. Она хотела спросить о его судьбе у епископа, но Питирим, словно угадав ее мысли, сказал:

— И кто бы мог открыть тебе глаза на это? Кто бы мог пробудить в тебе гордость разума и противность угнетению? Был ли у тебя такой человек, кроме меня? Дабы поступить так, как ты,—надо быть подвижной кем-то... Надо было перешагнуть через грех, а девушке трудно одной совершить то, без научения.

Елизавета молчала. Насторожилась.

— Утаить от епископа ничего нельзя. Он все знает. Такой человек у тебя был, и не я же один смог употребить силу неожиданную, чтобы ты в легкости покинула родительскую кровлю?!

Ласково и любовно горели глаза Питирима.

— Приблизься!—поманил он.

Она встала, подошла.

— Склонись!

Склонилась. Питирим положил руку на ее голову и громко, властно произнес:

— Да будет разум твой светел и душа твоя чиста перед архиереем... Не того ради богом поставлен епископ, чтобы величаться, напыщаться, во имя якобы почитания, но для того, чтобы все виды смирения христового в образе своем являть, свет истины в народах пробуждать и всякую неправду раскрывать, как то: злых отчуждение, языка в ярости невоздержание, отклонение похотей, властей и церкви оглаголение, ложь и клятвопреступление. Аминь!

Он указал Елизавете на ее место:

— Испей. Не буду пытаться.

И подвинул ей чашу и мед. Сам стал пить, раскрыв перед собою принесенную из Духовного приказа тетрадь. Оторвавшись от тетради, он снова с улыбкой взглянул на Елизавету:

— Софрона, поди, забыть не можешь?

Елизавета смутилась так сильно, что чуть не уронила на стол чашу с напитком. Епископ ее успокоил.

— Стыд и робость украшают девство, однако, епископ любит тебя и знаешь ты его близко.

Елизавета оживилась:

— Забыть трудно Софрона... Он был моим добрым наставником... Он—хороший.

— Дружба одного человека благоразумного дороже дружбы всех людей неразумных... Давно известно. Но, оказывая доверие, смотри, как бы получающий его, будучи человеком двуличным, не воздал бы тебе за добро злом и хулой.

— Может, но не Софрон.

Питирим покачал головой.

— Плохо, когда сердце управляет разумом и любовь застилает глаза...

— Я знаю его!—вспыхнув, с гордостью возразила Елизавета.

— Враг людей не может быть другом и в любви... Говорит доброе, а творит злое. Дознано: жил он блудно с посадскою гулящей жонкой Степанидой... А она живет блудно якобы с Филькою, кузнецом посадским... И она же в Печерском монастыре блудила... Знаешь ли ты ее?

Елизавета, побледнев, еле слышно прошептала:

— Может ли то быть?

— Показано многими.

— Он любит народ... Он страдает о нищете, о кабале народной... У него много друзей среди бедных.

Глаза Питирима заблестели в полумраке; стали большими и неподвижными. Он еще ближе подвинул к ней мед.

— Пей же, моя подруга! В моем одиночестве ты мне—посланное богом утешение... Беден я. Никто со мною не говорит так, как думает, только ты одна...

Елизавета для вида прильнула губами к фарфоровой чаше. Ей стало жаль епископа. Голос его был печален.

— Остерегайся льстецов и притворщиков,—продолжал Питирим.—Вот ведь и народ нашелся, доверяющий свои

тайны Софрону... Народ этот—бродяги, безместные скитальцы. Если бы они знали, куда он приведет их...

— Нет!—с гордостью произнесла Елизавета.—С ним дружбу водят и не одни бедняки, но и богатые люди, купцы, посадские...

— Не поверю я этому! Не пытайся меня уверить в противном...—сказал Питирим.

Елизавета вспыхнула:

— А первый от них—именитый гость Олисов...

— Афанасий?!

— Да.

— А второй?—с улыбкой спросил Питирим, как бы шутя.

Это еще более задело Елизавету, и она стала называть имена многих других купцов и зажиточных посадских людей, а когда кончила,—Питирим спросил ее; уже не улыбаясь: не знает ли она, какие у Софрона знакомые люди из раскольников на Керженде. Елизавета долго думала и назвала только одного старца Авраамия—«лесного патриарха», а на посаде—Фильку-кузнеца.

— И кузнец—раскольник?—переспросил, как бы мимоходом, Питирим.

— Раскольник, но вида не показывает... Софрон его отворачивал от раскола, а он его не слушает...

Епископ грустно покачал головою.

— Мало ты знаешь. Ни один раскольник такого зла не может сделать в государстве, какое сей лицемерный юноша... Отринь твою веру в него, утопи в негодовании свою привязанность к нему... Он оклеветал тебя, обвиняя тебя в блудодеянии с ним и в заговоре к бегству на низовья, к вора на промыслы...

Елизавета побледнела и сказала тихо, но твердо:

— Этого не может быть! Софрон кроткий, целомудренный, и того я не знала, что узнала в твоей келье...

Тогда Питирим подал ей раскрытую тетрадь:

— Читай.

— Не буду. Не верю ничему. Софрон не станет клеветать на меня.

Епископ спокойно сложил тетрадь и сказал:

— Теперь я вижу, какой опасный враг сей юнец, если он мог совратить в глубину страшного заблуждения тебя. Мы должны его уничтожить. Он враг наш. Он зовет народ к бунту.

Против этих слов епископа Елизавета ничего не могла возразить.

— Ты молчишь?—терзал он ее своим пристальным взглядом.

Елизавета, взглянув на лицо епископа, попятилась в страхе в угол...

— О каком народе ты говоришь?!—прошептала она.

— О том, который мне спать не дает... Твой Софрон неужто ничего тебе не говорил ни о чем ином, кроме любви?.. Не поверю я тому...

— Ничего я не знаю...—со слезами пробормотала она, прижавшись к стене.—Не пытай меня.

— Если ты не знаешь, то он знает. Ужаснейшей пыткой я вытяну из него тайну... Кругом ходит измена, кругом слышу шуршание ползающих змей... Их зеленые, лукавые глаза смотрят на меня денно и нощно: из лесов, из скитов, из монастырей, из купецких хором, из деревень... Они сильнее дьявола.

Немного передохнув, Питирим сказал, смеясь:

— Не пугайся! Я могу подождать. Одумайся. Вспомни. Может быть, у тебя и найдутся полезные слова для меня... Если все поведаешь мне без утайки—тебя награжу по царски.

## VIII

После продолжительной секретной беседы, сначала с дворянами, а затем с купцами, Нестеров отдыхал на бархатной софе, в пестром халате, окруженный пуховыми подушками, и самодовольно потягивал рожок с табаком. В беседе с купцами он объяснил им, почему царь запретил церкви называть женскими именами. Царица Екатерина изменила, ему, дарю, блудно с немцем Монсом, а за это царь наложил опалу и на всех святых праведниц. Нестерову пришлось ехать в его жилище. После шумной и хмельной жизни в строившемся без конца Питербурхе, домик оказался куда уютнее каменных казарм на берегах Невы.

Правда, здесь нет гранитных колонн, поддерживающих черепичные крыши дворцов; нет виноградного орнамента, украшающего эти столбы; по стенам не ласкает глаз затейливая красочная зарисовка и нигде не увидишь «слышащих богами» мраморных Венер и Бахусов—в Нижнем

об этом понятия не имеют,—но жизнь здесь много здоровее, спокойнее и сытнее. Вместо дворцов—деревянные домики по кручам волжских берегов. Много их! И у некоторых тесовые башенки-терема наивно выглядывают из зелени садов, как молодые перепела из травы. А вместо бешеных трубачей, скачущих по улицам Питера на взмыленных лошадях, возвещая трудовой каторжный питербургский день, ползают на чахлах лошаденках, зарею, сутулые, кроткие водовозы, дремлющие под тихий, грустный благовест тридцати трех нижегородских церквей. К этому можно прибавить и звонкую трель зорянок и дроздов, населяющих почайнские сады.

Человеку в пятьдесят лет как нельзя лучше—вдруг очутиться в такой тиши. Трудно, в самом деле, следовать суровому регламенту военной и гражданской службы. Сущит людей он в Питере и прежде времени сводит в могилу. Не всякому здоровье позволяет выполнять прихоти царя.

Когда Петр, согласно указа своего о назначении судей в губернии, послал его, Нестерова, после целования креста в Юстиц-коллегии, в Нижний обер-ландрихтером, ему показалось это обидным: почему его и почему в глушь, в Нижний? А теперь приходит мысль, что не иначе, как на небе кто-то похлопотал о нем, пожелал ему здравствовать многие годы в личном благополучии. Вот и вышло так. Не особенно печалился он и о том, что супруга его, Параскева Яковлевна, оставлена пока при царском младенце кормилицю,—царская воля превыше всего.

Побывал Нестеров у всех нижегородских вельмож: и у губернатора<sup>1</sup> Ржевского, и у его помощника Волынского, и у епископа Питирима, и у бургомистра Пушникова на Похвале, и у купцов Строгановых на побережье, и у знатного гостя Олисова, и у многих других. Со всеми разделил скромную трапезу, а у Пушникова песни пел, изрядно подпихом; и случайно вкусил премногогреховного плода. Гостьба была толстотрапезна, угарна. О того дня каждое утро в доме Стефана Абрамыча появляется наливному яблоку подобная некая грация Аглая, именуемая в просторечии «жонкою Степанидою».

«Буде случись таковая в Питербурхе,—размышлял с

---

<sup>1</sup> Номинально губернатором для Нижегородской губернии был казанский губернатор. Ржевский же значился в списках, как вице-губернатор, фактически обладая губернаторскою властью, поэтому его и звали просто губернатор.



тайным удовлетворением Нестеров,—не оставил бы ее без своего милостивого внимания и сам государь, Петр Алексеевич. Безусловно.

И хитро улыбался: «Аз не без глаз, что надо—вижу. Бог с ним и с Питербурхом!»

А главное—баба крепкая, здоровая, и бельё лучше неё никто не стирает. По этому делу и ходит к нему—так значится в окрестности.

Степанида любит слушать, а Стефан Абрамыч любит много говорить. Страсть была его—поговорить. В комнате хорошо, очень хорошо пахло. В свой рожок курительный Нестеров крошил какой-то чудесный сушеный лист. Степаниде весьма нравилось сие благовоние. Ее самое всю продымило этим душистым листом. Кузнец Филька, возлюбленный Степаниды, морщился при встречах с ней, а ничего не поделаешь, ругаться нельзя—в голове у него была своя особенная мысль: пускай ходит баба к вельможе, ничего. Для общего благополучия и выгоды.

Вот и теперь пришла она, Степанида. Разговорились. Нестеров показывал портреты и картины и, захлебываясь от радости, что он обладатель сих редкостей, много чудесного рассказывал про походы, про бои с татарами и шведами, про свои необыкновенные подвиги. Степанида всегда слушала внимательно и с удивлением, боясь проронить какое-либо слово, а тут ни с того, ни с сего вдруг перебила Нестерова совершенно не относящимся к делу вопросом: есть ли такой закон, чтобы человека безо всякой вины в кандалы заковать, держать в подземелье и морить голодом.

Нестеров ответил, что такого закона нет.

Тогда Степанида рассказала про Софрона, ложно оговоренного, как совратившегося в раскол; парень никогда и не был раскольников.

Поведала она Нестерову и о других нижегородских делах и ругала нехорошо,—загоревшись великой злобой,—епископа Питирима. Нестеров с медовой улыбкой выслушал историю об овчинниковской девке Елизавете. Взор его масляно разомлел. Степаниду это еще больше рассердило, и назвала она предавшую отца дочь такими словами, что Нестеров от неожиданности подпрыгнул на шелковом сидении кресла. Прекрасная Аглая цветистой речью своей далеко превзошла самых изобретательных в ругани солдат и бурлаков. Впрочем, Нестерову это пришлось весь-

ма по вкусу, и он несколько минут, задыхался, фыркая, хихикал себе в ладонь.

Дальше слушал ее, насмешливо сощутив глаза, и, когда она закончила пылающую гневом речь, облапил девку весноватыми пухлыми руками и неудержно залобызал:

— Ненаглядная!.. Венера!.. Загрызу!

— Презри похоть, грешно, — загородила она ладонью его красное, потное лицо и отскочила прочь.

— Андромаха!.. Психея!.. — совершенно обезумев от восторга, снова взревел Нестеров, набрасываясь на Степаниду.

— Легче... легче... не жена...

— Что мне жена?

— Она, гляди, богата; с царем за трапезой сидит, красивая...

— Сколь сладкий голос, звону гуслей подобный!.. Милая! — продолжал наседать на нее Нестеров.

— Стой! Н-но! — вцепилась Степанида в его плечи.

— Говори, что тебе надо, все сделаю. Говори! — дико хрипел он, повиснув головой на ее сильной руке.

Степанида стала ласковее. Хитро улыбаясь, принялась разглаживать его парик, с любопытством вертя в пальцах колечки волос.

— Сделаешь? — лукаво спросила она.

Нестеров: «Все! все! все!»

Степанида нагнулась, прижавшись теплою грудью к его лицу, и тихо произнесла:

— Освободи Софрона и диакона Александра. А?! Освободишь?! Соколик, милый мой... Какой ты у меня пригожий!..

И еще ближе и еще крепче прижались они друг к другу; стал сползать парик с Нестерова, и обнажилась голая с редкой сединой голова — он этого даже и не почувствовал... И немудрено. Ум его как бы помрачился. Солнце ушло внутрь лесов. В саду за окнами защелкали трещотки сторожей.

— Обещаю, — задыхающимся прерывистым голосом проговорил он. — Ради тебя, моя богиня.

. . . . .

Ночью Нестеров пил и угощал Степаниду. Она сначала отказывалась, потом уступила.

— Ты говоришь про купеческую дочь и удивляешься, — сильно захмелев, рассуждал Нестеров. — А я тебе говорю... Кто хочет достать и сохранить себе истинное благополучие,

истинное блаженство, тот один только способ к тому имеет—ничему не удивляться... Мы, слуги царицы, были свидетелями худших дел. Мы видели, как царь пытал, мучил допросами сына своего Алексея и как предал его смерти, а святые отцы церкви нашей, митрополиты, архиепископы и епископы, на вопрос царя: должен ли он казнить сына или нет?—ответили: «Сие дело не нашего суда, ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главу наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови...» Царь сгубил своего сына. Царство небесное царевичу! В жестокой пытке, и то скрывал своих друзей. Не выдавал. Сильный духом был человек! Напрасно его считали слабым.

Нестеров перекрестился.

— А говорят, он жив?—нерешительно спросила Степанида, крайне заинтересовавшись этим рассказом.

— Нет... болтают. Сам я был на его похоронах. Провожал умерщвленное тело из Петропавловской крепости в Троицкий собор... Царь слезу проливал, а похоронив, справлял спуск девяностопушечного корабля своей работы. Опять пили... О, если бы Алексей был царем! Всех бы немцев он выгнал из России!

Нестеров мутными глазами смотрел на трезвую и внимательно слушавшую его изумленную Степаниду и улыбался торжествующе, самодовольно.

— Что могут сделать митрополиты и епископы?!—хихикал он.—Пришли они как-то к царю, собрались с духом: «Давайте, мол, сообща попросим патриарха, чтобы церковь была свободной, как встарь...»

Нестеров осушил чарку и, выпучив глаза, спросил Степаниду:

— Ну, а ты как думаешь? Что ответил государь?

Степанида растерянно развела руками.

— Он вынул кортик из ножен... такой, вроде меча, сжал его в кулачище и поднес святым отцам к носу: вот, мол, вам патриарх! Видели?

Нестеров покачивался от хохота, а Степанида нахмурилась. Ей ужасно захотелось плюнуть и изругать царя, но... она только сказала:

— Раньше вера была одна. Церковь была установлена народным собором, любо было тогда. И царь и холоп одному богу равно молились, а теперь царь богу не подчинен...

— Кто может дарю препятствовать? Попам ли уж? — не слушая ее, продолжал Нестеров. — Вот какой закон пришел на днях из Питера: «По силе полицмейстерской инструкции попы должны дневать и почевать на съезжих дворах, являться к офицерам в дома для работ и посылок, ходить на караулы к рогаткам и на пожары». В губерниях губернаторы, а в городах воеводы духовных персон бьют и увечат. Помещики тоже. Вот тебе и служители церкви! А царь их и за людей не считает... А ты о боге!

Долго Нестеров говорил. Рассказав о царе, переходил на непристойные рассказы о питербурхских женщинах и даже о царице, затем опять о войне, о хозяйничанье царя Петра на Балтийском море... пока не заснул.

Рано утром, когда улицы Нижнего еще спали крепким сном, Степанида, покинув Нестерова, прокралась в свою хибарку на Печерах. Голова ее, казалось, готова была разорваться на части от мрачных мыслей. Закрались в ее душу сомнения относительно правдивости обещаний Нестерова.

## IX

До ночлега не скоро. Загостившийся в Нижнем в ожидании освобождения диакона Александра Демид направился в кабак, что на Печерах.

Издали еще можно было слышать несмолкаемые здесь никогда буйные выкрики и песни. Зашекотало горло Демиду: любил, однако, керженский житель кабацкую одурь. И особенно любил он именно этот монастырский кабак над Волгой. На этой вышине просыпалась гордость, и гул нечеловеческий зажигал сердце отвагой. Хозяйские колокола соседнего Печерского монастыря, и те не могли пересилить воя пьяных.

Демид прислушивался к гулу кабацкого веселья, «его же колоколу невозможно заглушить», и с ехидной радостью потирал руки: «молодцы-удальцы, святые отцы!» И невольно вспомнился ему дорогой его Керженец. Таким теперь казался он святым, правдивым, таким богоугодным. На Печерский монастырь и глаза бы его, раскольника Демиды, не глядели. Пускай орут кабацкие питухи — все лучше, чем «на каменной горке воют проклятые волки». Так говорили на Керженце про печерскую колокольную.

Рядом с кабаком курная харчевня—внутри орали мужики, стараясь перекрычать друг друга, шел запах горелого сала и кислых щей; рядом с харчевней выносной очаг дымил сосновыми углями и около очага на скамье сидел, считая медяки, засаленный, оборванный монах с подбитым глазом, косился на растрепавшего язык, обеспокоенного запахом свинины, пса.

Кругом кабака толпились растерзанные люди, многие почти голые. Одни беспричинно прыгали, плясали на исцарапанных, костлявых ногах, другие истошно голосили заупокойные стихиры; иные, словно безногие, ползали на коленях, выпучив красные, опухшие глаза, просили милостыню, выклянчивали «чарочку винца христа-ради». Пьяные женщины визгливо выкрикивали что-то несусветное, приводя в безысходное уныние сидевших рядом с ними хмельных бородачей.

У самого входа в кабак двое монахов рассуждали с ярыжкой о новых налогах на монастырь: «канальный сбор» на прорытие Ладожского канала, «козловский сбор» на освобождение от рекрутской повинности, на содержание военных отставных чинов, в Москву требуют плотников, кузнецов...

— Оскуде житница господня даже до нищеты,—плакался один из них на государственные тягости. Жаловался он и на игумена, который более трехсот пудов на литье пушек снял с колоколен для Петра, жаловался на трудность содержания за счет монастырей инвалидов войны...

Демид прислушался: «Так вам и надо»,—подумал он с усмешкой. Знал он хорошо, как Печерский монастырь выколачивал государственные подати из мужицкой же мошны. Последний сноп овса, последнюю заячью шкурку тянули к себе на подворье. Бояре лютовали над мужиком, но и старцы монастырские маху не давали: тянули из оброчных крестьян кровь по капле,—гоняли на каждодневную работу, даже по грибы и по ягоды. Благодетели, нечего сказать, хорошие! Игумен-то и спит на беличьей постели, и укрывается беличьим одеялом, и рясу и штаны носит беличьи, и сапоги опушены белкою.. «Не хуже дворян, светики, люгуете! Что лучше-то—трудно сказать: монастырская или помещичья кабала?!» — плюнул с сердцем Демид и вошел в кабак.

Внутри было душно, многолюдно. У бочонка с вином,

словно у престола, сам отец Паисий—кабацкий начальник. Он улыбается блаженной улыбкой, глядя, как питухи объегоривают друг друга в «зернь»—в этакие маленькие косточки с цифрами. На доске, куда падают кости, обозначен путь с числами, гуськами, постоянным двором, кабаком и темницею. Те, которых обыгрывали, ругались омерзительно. Кто обыгрывал—молчал, кротко, виновато улыбался и, уловив удобную минуту, совал деньги себе в штаны.

В углу, на пустой бочке, восседал рваный, но гордого вида человек, косматый, кривоногий, и, уставившись в одну точку, басом пел он песню о славном разбойничке Ваньке Кобчике, о том, как у «Макарья» во Песочном кабаке Ванька повстречался с другим атаманом, мордвинном Мазоватом, и как вместе они на князей ходили, мордву защищали и от царских воевод отступили в леса керженецкие.

Демид прислушался. Хорошо пел дядя. А главное, про милый Керженец.

— Ты чего?—кончив песню, спросил незнакомец Демид.

— Ничего. Не все, думается, сказано: «Татинец да Сlopинец<sup>1</sup>—всем ворах кормилец»...

— Кто тебе сказал?

— Сам знаю, и в Песочном том кабаке у Макарья бывал, что Сlopинецким прозывается...

— Да ты общежительный. Чей сам?

— Пафнютьевский.

Глаза незнакомца просветлели. Он налил вина и, откинув торжественно руку с чаркой, поднес вино Демиду к самому рту.

— Прими. Помню я тебя. А ты меня забыл?

— Спаси Христос!

Не успел моргнуть чудак, уж Демид только усы обтирает, а чарочка порожняя на прежнем месте красуется.

— Ого!—сказал незнакомец, поводя языком под верхней губой, и вздохнул.

— А тебя как прозывают, голова? И я что-то припоминаю.

— Василий Пчелка... Так, незнатный боярин. Дай мо-

---

<sup>1</sup> Татинец и Сlopинец—поволжские села близ Макарьевского монастыря. По преданию, здесь были разбойничьи гнезда.

нету—брагой угощу. Живу, не надеясь на царство небесное.

— Не! Пить я боле не буду. Нельзя мне,—попятился Демид, вглядываясь в лицо юродивого.—Теперь вспомнил... Ты был у нас, в Пафнутьеве. А пить я не буду. Не неволь.

— Что ты, парень! Я не неволю... Живи, как сказала пресвятая богородица святому Василию: «Если хочешь,—говорила она ему,—быть моим любимым другом и иметь меня заступницей и скоропослушницей во всех бедах, откажись от многого питья»... И ты тоже. Не пей.

Демид молча вынул алтын и отдал его Пчелке.

— Аз тоже Василий, но не хочу быть любимым другом богородицы. Куда уж нам!—А через некоторое время он бережно принес кувшин с брагой и налил две чарки. Сжав их в кулаках, Пчелка запрыгал на бочонке и, потрясая лохмотьями, провозгласил:

— Хвалите имя пропойцыно, аллилуя!..

Многие голоса с большой готовностью подхватили: «аллилуия».

Пчелка продолжал:

— Отче наш, иже еси сидишь ныне дома, да святится имя твое нами, да прииде ныне ты к нам, да будет воля твоя яко на дому, так и в кабаке. И оставите должники долги наша, яко же и мы оставляем животы своя в кабаке, и не ведите нас на правез, нечего нам дати, но избавите нас от тюрьмы, от батоков, от поборов, а не от лукавого.

Подпевавшие все время Пчелке пьяные голоса с особым чувством растянули нараспев:

— Но избави нас от тюрьмы, от батоков, от поборов, а не от лукавого!

Повторили этот припев троекратно.

Пчелка пришел в ярость и теперь уже неистово ревел:

— Пьяницы на кабаке живут и попечение имеют о приезжих людях,—Пчелка указал пальцем на Демиду,—како бы их обслужить и на кабаке пропити и того ради принять рапы и болезни и скорби многа и егда хмель приезжего человека преможет и ведром пива нас, голянских, найдет, мы его премного возвеличим, аллилуия... аллилуия!..

Пьяная толпа, сжимаясь кольцом вокруг бочонка, на котором вопил оборванец, проголосила несколько раз:

— Аллилуия, аллилуия!..

Пчелка обвел всех мутным взглядом и выпил обе чарки.

Инок Паисий, положив руки на бедра и пригнув голову, мычал, как бык. Босой поп-расстрига канючил около него тоненьким, плаксивым голоском.

Какая-то баба ни с того, ни с сего вылетела на середину кабака и закружилась, припевая:

«Чубарики чок-чок, а изба не крыта, в монастырском подземелье девица зарыта...»

Сверкая очами, метнулся здоровенный ярыжка и, сцапав дланью бабью косу, потащил бабу вон из кабака. Разом все притихли. Женщина цеплялась по дороге за людей, но те от нее отскакивали, как ужаленные: «Пропала, яко мыльный пузырь, сама вошла в монастырскую яму». Один, совершенно голый, спустивший с себя все в кабаке, подмигнул Демиду: «Попала рыбка на чужое блюдо. Теперь кадилу монахи раздуют».

Давя друг друга, бросились питухи вон из кабака глазеть, как ярыжка и какой-то чернец поволокли упиравшуюся крикунью по направлению к Печерскому монастырю. Глядели и, хрипло кашляя, хохотали. Пчелка на ухо Демиду:

— Наши, как свеча, гаснут, а на них и смерти нет.

И указал перстом на монастырь. Зубы его стучали. Он стал очень страшным. Демид отвернулся.

— А подземелье, браток, то вечное. Туда входят, а оттуда не выходит...— продолжал он шептать на ухо, прижимаясь к Демиду.

Тот подался в сторону—не шпион ли? Всем известно, фискальство развелось даже среди единой семьи, и опасно доверяться не только кабацкому питухе, а даже и родным детям.

Кто-то кому-то в карман залез. Началась драка. Зашумели, полезли друг на друга ярыжки.

Демиду показалось оставаться здесь дольше опасным. Он пошел прочь. Пчелка за ним.

Шаг за шагом отошли оба в кусты, к краю бугра. Здесь никого не было. В кабаке снова поднялся шум. Бабу сразу забыли, стоило ей исчезнуть из глаз. И Демид и не отстававший от него Пчелка спрятались в кусты.

— Чего ради убегаешь от кабака?—спросил Пчелка Демиду.—Боишься?

— Овому чарку, овому две, а мне бы кусок да печка, да угодникам свечка...—пошутил Демид.—Чего мне! Маленький человек.



— Твои бы речи, да богу в уши... князем бы на посаде у нас сел.

Демид повел усом на соседа и опять слегка от него отодвинулся.

— Да ты не бойся... Не вор!—оскалил зубы Василий Пчелка:—Чего пятишься?..

Демид встал и торопливо пошел от него в сторону. Пчелка вдогонку. Остановил Демиду за рукав.

— Стой. Послушай меня.

Оба опять сели, укрывшись в кустах. Пчелка, взяв руку Демиду, ласково заглянул ему в лицо. В глазах его от хмельного и следа не осталось.

— Кабака не бегай. Не стыдись. Ходят в него и поп, и дьякон, и чернецы, и дьячки, и мудрые философы, и служилые люди, и князи, и бояре, и воеводы, и пушкари, и лекари, и тати, и разбойники, и холопки, и жонки, и мужние жены, ростовщики, скупщики, кушцы, пономари, лесники, кузнецы...

Он сжимал все сильнее и сильнее руку Демиду. Казалось, что он говорит, чтобы оттянуть время, а сам думает о чем-то другом. Демид испугался:

— Чего ты, в самом деле, от меня хочешь?

Пчелка задумался, выпустил демидову руку.

— Из Керженца?

— Да.

— Как же ты меня так забыл?

Демид вздрогнул, не ответил.

— Обнажены передо мною мысли твои. Они об Александре-диаконе, начальнике раскола. Привез ты его сюда, родимый, на печаль и ему, и всем нам, горемычным.

Демид вскочил с земли.

— Не архиерейский ли ты «язык»?

— Пришлый, с Литвы, из Стародубья. Там по лесам шатался, а ныне явился в Нижний. Услыхал я о туче, коя нависла над керженскими моими единоверцами, и пришел на Волгу. Хочу из земляной тюрьмы вывести Александра и Софрона. А еще хочу просить и тебя: скажи Фильке-кузнецу, твоему другу—ожидает его цыган Сыч у Макарья на ярмарке... Ватага там атамана ждет. Скажи о Софроне... Постарайся... Не забыл ли он?

В это время в соседних кустах зашумело. Чихнул кто-то. Демид в ужасе оглянулся. Из кустов на него смотрело хорошо знакомое лицо—о, эти узенькие, хитрые глаза!

Холодом обдало молодца. Согнувшись лисою, в монашеской рясе, подошел к Демиду керженский старец Варсонофий:

— В кабачок пожаловал? Ай, ай, ай! — покачал он укоризненно головой.

— А ты, отец, пошто в Нижнем?

— Старцы скитские послали. Бить челом епископу приказали о диаконе Александре. Плачут все на Керженце. Солнце затмилось у нас над лесами...

Василий Пчелка отвернулся, побрел к кабаку. Демид удивленно смотрел на Варсонофия. Смотрел и не верил глазам своим: и сюда пожаловал керженский блюститель благонравия!

. . . . .

Небо стало строже, синее. Зеленъ гор над Волгой потемнела. Купола Печерского монастыря запылали в лучах заката высоко вздернутыми над землей лампадами, а в тех лампадах, казалось Демиду, — не масло, а мужицкая кровь. И, лежа в полном одиночестве в кустарниках, убежавший от людей Демид слышал, как в глубоких расщелинах берега разносились дикие, бешеные песни кабака, замирая в спокойных просторах Волги, словно мучительный стон, словно бред обезумевших от страха перед жизнью всех этих бедных людей, загнанных сюда нуждой.

Демид, стиснув зубы, приподнялся и погрозил кулаком в сторону города. Дорогой в Благовещенскую слободу, куда он шел на почевку, Демид думал о том, откуда Василий Пчелка знает о его замыслах? И действительно ли цыган Сыч ждет Фильку под Макарьем?

## Х

Питирим не любил, когда перед ним унижались. Он говорил:

— Епископ — не бог. Поклонов ему не нужно. Оные поклонники самоохотно и нахально стелются, чтоб лукаво степень исходатайствовать не по достоинству, чтоб неистовство свое и воровство прикрыть.

И немудрено, что его лицо покраснело и в глазах сверкнуло негодование, когда вошедший в приемную келью неизвестный человек в рубище, ничего не говоря, рухнул

наземь и завыл оглушительным голосом. Порты челобитчика съехали с чресел, рубаха завернулась, обнажив тощий зад.

— Батюшка ты мой! Болезный голубь-горлица, Питиримушка! Ох, услышь меня, злосчастного!

Епископ жестко остановил его: «буде!» Непрошенный гость ткнулся носом в пол.

— Не стелись, аки гад,—недостойно.

Челобитчик медленно поднялся, ворочая красными белками по сторонам, и улыбнулся, пощупав зачем-то под ногами епископа ковер.

— Или не узнал?—тихо захихикал он.—Бью челом тебе, Петр Дементыч... Давно ли ты в Питиримы попал? Беглый-то Петька, да в епископы!

— Кто ты?

— Василий Пчелка.

Епископ оглядел незнакомца с любопытством.

— Вставай!

Помог ему подняться с пола.

— Чего ради пожаловал?

— Хочу принять страдание, понеже сила тебе дана великая.

Питирим сжал ему руку, и, сверкнув глазами, громко спросил:

— Кто тебя ко мне подослал, смерд?

— Забыл ты меня, вижу. Вспомни, как сам говорил мне, что-де истинная вера обретается в сокровенном месте, а именно в лесу, в нижегородских пустынях, и коли-де хочешь спастись, туда и поди. Я и ушел. Послушался. А ты, вот, другой дорогой зашагал. Изменил. Ушел из леса.

Питирим выпустил его руку:

— Керженский?

— Ветлужский, а по-раскольниковому такой же чернец, как и ты, и не кто иной, как ты, учил меня, что истины нет в православии, в государевых церковниках. Книга, мол, Номоканон глаголемая, ясно речет: «Иже не крестит двумя перстами, яко же и Христос, да будет проклят!» Слышано мною от тебя... Виду, и это ты забыл?

Лицо Питирима выразило удивление.

— Степан?

— Ой, вспомнил! Ой, да, да! В польских дубовых рощах бродяжили вместе!.. Вместе у пана Холедкого в шайке были... Ой, ой, ой! Вспомнил! Вместе спасались от царевых солдат.

Странник затрясся в судороге тихого безумного смеха, потекли слезы.

— Бродяги мы были. Бродяги! Только я бродяжничаю, как и встарь, по лесам, а ты — по царским хоромам и теремам... Я из церковников обратился в раскол, а ты...

Питирим быстро, но не теряя достоинства, прошел к двери и запер ее вертушкой. Попавшую под ноги кошку с красной ленточкой на шее грубо отбросил ногой.

— Тише! Там дьяк. Чего требуешь от меня? Чего?

Василий Пчелка, устремив блуждающий взгляд в окно, простирал костлявые, с громадными ногтями, руки:

— Я видел тьму рубленых голов и среди них своих товарищей, я слышал стон и крики их, и твоя рука, как и других архиереев, крестом благословляла наших палачей... Однако же и ты, Питирим, принужден будешь умереть. Все величество твое не избавит тебя от смерти, которой не минули Нума и Анкусь, два славные римские царя... Почто ты в заточении и кандалах истязашь честнейшего из старцев — христолюбца Александра? Помни: злый зле и погибнет, а праведный судия за праведный свой суд настоящих благ насладится и грядущих не лишится. Вот мои слова. Слова раскольника раскольнику. Внимай. А в лесах тебя ко Иуде сопричислили. Жаждут крови твоей, о мщении просят бога. Народ проклинает тебя. Очнись! Опомнись! Питиримушка!

Питирим слушал гостя, смотрел ему в лицо со странной улыбкой.

— Как народ мне может доставить благополучие, — сказал он медленно, в раздумьи, — когда сам народ того лишается, будучи сам себе несогласен и на всяк час переменчив? И знай, Степан, раскольники каждодневно во всех городах и весях передаются православию, и насчитывается тех обращенцев ныне до двух ста тысяч человек. И мне сердце подсказало перейти в православие.

— Ой, ой, како прельстился!.. — перебил его, взвизгнув, Василий Пчелка. — Вот и они прельщаются обещаниями и думают чины и милости заслужить, а иные страха ради, боясь пыток и казни.

Затем он вытянулся во весь рост и, сдвинув брови, сердито произнес:

— Неправедно страждем мы за древнее благочестие, гонение терпим и казни приемлем, а ты не хочешь послушать нашего оправдания и доводов. Наши слова, — сам

ты это знаешь,—от божественного писания, от нужды и нелицеприятства, а вы осуждаете нас в ссылки, во узы, в темницы и на смерть... И многая множество от земного несправедливого правления обращенцев мыслию своею с нами, в лесах, а не с златоризыми палачами. Прельстился ты, прельстился.. Душу диаволу продал. Не верю я тебе!

Жестом руки прервал Питирим Пчелку:

— Моя кровать не украшена золотом и слоновою костью, но в моей скромности я довольствуюсь преданной царю любовью. Она роскошнее всякого богатства и почестей. И ты, мой старый друг, знаешь то. Я все отдавал тебе и товарищам. И ныне я не скуп на сердце. Идем в мои покои, я накормлю тебя и одарю деньгами. У меня найдешь песни и слова, что облегчить могут тоску и недуг твой. Нравозучением хочу я исправить пороки, а жизнь коротка, и твоя, и моя, и тех, кто в лесах...

Епископ взял за руку Василия, но тот в ужасе отскочил:

— Прочь, лицемер! Любовь твоя известна... Отравить меня хочешь. Поди, не забыл ты, старче, как грабят на больших дорогах... От меня-то не утаишься... И сердце твое я знаю. Не щадило оно ни женщин, ни детей... Злохитренный предатель, седьмиглавый змий! Проклинал царя, смерти ему желал, а ныне в слуги к нему утек? Но подожди! Гроза собирается над вами... Скоро! Скоро! Народ истомился, народ ждет своего часа...

— Замолчи!—взмахнул Питирим посохом.—Каждого нашего суперника я положу в огонь!..

— Клади!—отчаянно молвил тот, пятась к двери, и вдруг плюнул в епископа, рванув дверь молниеносно, исчез из кельи.

Питирим поспешил за ним, но его и след простыл. А идти в приказ к дьякам не хотелось. Епископ вернулся в свои покои и, задумавшись, сел за стол. На золоченой тарелке лежали «вынутые» просфоры. Рядом — книга, которую незадолго до прихода Василия Пчелки читал епископ. На обложке: «Артаксеркс, драма на музыке, действующая в Зимнем доме. С.-Петербург. 1718 года».

Машинально Питирим раскрыл книгу и в раздумье застыл над ней. Воспоминания хлынули, как из разбитой чаши вино,—густые, терпкие, пьянящие.

«Степан Микулин!»

Безумная молодость, отвага, презрение к смерти, не-

...ство в разгуле и наслаждениях, простор южных степей, дебри Стародубья на польской границе, где в то время под предводительством разудалого пана Халедского бушевали шайки бродяг, недовольных царем. Там Питирим познал всю горечь бродячей, одинокой, отверженной жизни. Он помнит те холодные, мокрые ночи, когда ему, вместо дома, прикрытие служили лесные землянки, а пищей — овощи, воровски нарытые на литовских полях. Он не забыл свою непримиримую кровавую ненависть в те поры к царям, к православным попам. И не он ли, действительно, спал на сырой земле в глуши лесов в обнимку с Микулиным, спасаясь от стужи осенних зорь на чужой стороне? Не он ли оборонялся вместе с ним от хищных зверей в лесах литовских? И не со Степкою ли Микулиным сквернил он сельские церкви и избивал попов? Много учинял — от себя не скроешь, да и царь об этом знает, и давно простил и забыл все. Степан думал испугать, но... никого не боится епископ Питирим... Жалко Степана!

С грустной улыбкой Питирим начал писать: «Повелеваю сыском гораздо...» Не дописал, разорвал.

На пороге появилась Елизавета. Она была необыкновенно бледна, глаза заплаканы. До самого пола покрывала ее расшитая зеленым черная шелковая шаль.

— Святой отец... — тихо сказала она, не смея двинуться дальше.

Питирим углубился в раскрытую книгу, как будто не слыша и не видя девушки.

— Жду твоего решения...

Епископ молчал.

.....

Елизавета, вернувшись в свою светелку, около трапезной, упала в изнеможении на постель и заплакала. Питирим все выведal у нее. Все она ему рассказала: о себе, об отце, о Софроне, о людях, которые ходили к отцу и с которыми вел знакомство Софрон. Какая-то сила толкала ее на это... Черные, ласковые, полные любви глаза владыки, казалось, видели ее мысли, видели всю ее душу. Елизавета боялась этих глаз, но в то же время они ее чаровали, одурманивали.

Теперь она знает, что Софрон, действительно, в тюрьме под Духовным приказом, что он и отец сидят рядом, —

преосвященный сам ей рассказал это,— знает она и то, что епископ обещал на днях их выпустить. Епископ не ради мученья, не ради надругательства, но, подчиняясь закону, посадил их в тюрьму, а теперь он хочет их освободить и больше не трогать.

Так было вчера.

А сегодня утром вызвал ее из трапезной дьяк Иван и объявил, что по приказу епископа ее должны отправить на послушание в Крестовоздвиженский монастырь.

Елизавета бросилась к епископу, но двери его покоев оказались глухи. Никто не откликнулся на ее стук. Она написала ему записку и сунула под дверь, а увидев вошедшего в покои Василия Пчелку, услышав их разговор, решила, когда юридивый уйдет, войти к Питириму и просить его об отмене приказа. Она не хочет в монастырь. Она привязалась к нему, к Питириму. Она любит слушать его нравоучения, его рассказы о разных людях, о звездах, об инородных странах... Ее ведь никто не любит. И Софрон тоже теперь ее должен ненавидеть и проклинять. Один он, преосвященный Питирим, близкий ее друг. Никого теперь у нее нет ближе его. Она ему все отдала: и свою честь, и благополучие, и веру, и даже отца и жениха... Вся надежда на него, на его любовь...

Но Питирим охладел, отшатнулся от нее. Чтобы его удержать, чтобы он не гнал ее от себя, она готова даже на клевету, на убийство...

Елизавета рыдала, уткнувшись в подушку, и не видела того, что позади ее стоит игуменья Крестовоздвиженского монастыря, мать Ненила. Выждав, когда девушка придет в себя, успокоится, монахиня вкрадчивым голосом сказала:

— В пресветлой обители тебя ждет покой и молитва. Собирайся, премудрая девственница. Возок у крыльца...

Епископ в этот день записал в свою «книгу памяти»:

«...Великий государь! Несть греха, которого я не принял бы на голову свою во имя укрепления мощи твоей державы, и нет такой жертвы, которую бы я не принес ради тебя. И что тебе и другим до сердца епископа? Приими дань: враги раскрыты. Замыслы их, как песок в ручье, узрел я ныне. Да клянусь и я, как и другие пастыри новой церкви, словами премудрого Феофана: «Ты

еси Петр — камень, и на сем камне созижду церковь мою...»

Пушкарю Спири, заснувшему у Дмитровских ворот, в карауле, на пушке, почудилось, что пушка с грохотом поехала в ворота, — он испуганно вскочил, но оказалось, что поехала не пушка, а архиерейская колымага с белым крестом на затылке, а в той колымаге голосила женщина...

Спирия перекрестился: «свят, свят!». Наяву ли? А колымага глухо простучала колесами в каменной дыре башни и вынеслась полным ходом на площадь...

У Спири и сон пропал: «В архиерейской повозке баба!.. Чудно!» Никак эта мысль не укладывалась в голове. Уж не померещилось ли, не сатана ли с ним ночью играет? Спирия пощупал свой палаш и напустил на себя храбрость.

В окнах у епископа светил огонь. Спирия подкрался, заглянул в окно. Питирим сидел за столом в глубокой задумчивости, опершись головою на руки.

## XI

Нестеров торопился в кремль. Худая пегая лошаденка, устало обмахиваясь хвостом, рывками тащила за собой возок. Обер-ландрихтер нервничал, покрикивал на возницу. Как и полагается обновленному дворянину, был одет он в бархатный с позументом камзол, в шелковые штаны — любуйтесь, православные: все немецкое, все иноземное! Кутил, когда посылали в Голландию, как и прочих, ни в чем не повинных дворян, учиться. По правде сказать — только это и осталось от заграничной науки. Не прельщала Нестерова заграничная жизнь, не радовался он заграничным обычаям... Напрасно государь покровительствует немцам. Многие вельможи и весь народ ропщут на это.

Проезжая по зеленым улицам города и перемахнув с треском и звоном бревенчатый Лыков мост, Нестеров, охваченный любопытством, внимательно осматривал попадавшиеся по дороге каменные домишки. Давно ли Нижний был сплошь деревянным, а у Лыкова моста и вовсе одни пустые монастырские бугры были, обнесенные забором? А теперь — нарядная часовня и два каменных новень-



ких дома. Посадские гости и здесь обрастают, своими силами и догадкой начинают и здесь посрамлять убогую древность. Докатилось, стало быть! Стефан Абрамыч вздохнул и, сняв шляпу, широко перекрестился на часовню. С непривычки к слишком просторному парiku чуть его не сбил: поправил, улыбнулся. Заметившие это полуголые ребятишки, чумазы, в болячках, помчались за повозкой, — строя рожи, лезут в самый возок, чертенята. Раньше этого не бывало. И народ-то, не в пример, стал озорнее. Смелые стали простолюдины.

— Вознагради! — деловито приподнявшись на сиденьи, шепнул Нестеров на ухо седобородому Кузьме. Старик оживился, кивнул одобрительно головой и, рывкнув, забоботал кнутом. Ребятишки шумно отхлынули в сторону, стали казать языки. Нестеров остался доволен. Когда миновали ребятишек, Кузьма снова потускнел.

Лет двадцать назад Нестеров уехал из Нижнего, и теперь многое здесь изменилось. Около кремлевской стены у третьих ворот, именуемых Кремлевскими, в те поры были маленькие улочки, застроенные стрелецкими хибарками; среди них — крохотная деревянная церковь с остроконечной тесовой крышей, с широким крыльцом и просторными пристройками торговых помещений. Теперь ни домиков, ни церквей, а вместо этого — просторная площадь, засыпанная песком, уложенная кое-где камнем. У самых ворот, выпучив глаза, кричит в угоду Нестерову гвардеец, размахивая мушкетом на свиней, захвативших в полон кремлевскую дорогу. А когда-то здесь не только свиньи — целые стада коров паслись под самыми стенами кремля. У ворот же, в корчме, опивались люди омерзительной брагой, мутной, как болотная вода. Теперь все это куда-то провалилось — пустая площадь кругом, а на ней две полукаменные церкви, без торговли, да таможенная изба, — вот все, что осталось от прошлого.

На кремлевской стене мушкетеры вытянулись, — онемелые, деревянные, — увидев Нестерова, честь отдают. Прямо — Питер! И даже пушки у ворот. Около них пирамиды ядер. Пушкарь из будки выглядывает.

Нестеров — человек обновленный, бахусово крещение во дворце царя приравнявший и обученный в «Западных Европиях» разным философиям и фортификациям, однако ему, как старому, доброму нижегородцу, глядя на все это, стало изрядно жаль старину, защекотало под ложечкой.

Даже губы прикусил обер-ландрихтер, вспомнив о Петербурге: «Что ни говори, а чужой забор! В Нижнем, хоть и в крапиве, да свой».

«Отечество — великая вещь!» — со слезами в глазах вздохнул он, сойдя наземь, и отправился по кремлевскому двору пешком. С особым удовольствием совершил троекратное крестное знамение перед Спасо-Преображенским собором. Вспомнил о добром муже Минине с его мужицкой расторопностью, о спасении Москвы от польских панов. Да, Россия растет даже в далекой глуши.

Прощай, старина!

«Попади сюда царь, так и знай, все перестроил бы по-своему, а половину церквей в казармы обратил бы...» Заскребло сердце, захлебнулось оно в тоске о прошлом, о невозвратном. «А что впереди — никому неизвестно. Да знает ли об этом и сам Петр?»

Опять солдат! Нестеров вздрогнул, испугавшись своих вольных мыслей, и огляделся кругом. На громадном кремлевском дворе, по обыкновению, — одинокие фигуры чернецов, бойких, торопливых перед архиерейскими окнами, и солдат. Лаяли крупные косматые псы, верные охранители архиерейских покоев. Стаи голубей оживленно теснились на земле близ собора.

Нестеров напыжился, принял вид почтенный, солидный и стал обдумывать, как он будет говорить с епископом о делах, которые, разумеется, не по нраву придется Питириму.

Архиерейский дом, словно приклеенный к зеленому шелку, стоял на луговине у края оврага, беленький, каменный, двухъярусный. В этом прямоугольном доме с золоченым куполом на одном конце помещался храм «святого духа», а в подземелье под домом — тюрьма Духовного приказа, где томятся именно те узники, о которых и поведет свою речь с епископом обер-ландрихтер.

«Ах, Степанида, какая гидра сотворила тебя?! Что хочешь, то и делаешь со мной. В самую душу залезла, окаянная!» — грустно раздумывал Нестеров, входя в архиерейское жилище. — «Простая баба, а капризная, словно заморская королева».

Недоброжелательным взглядом осматривал он жилище Питирима. Поправил шляпу, парик, одернул одежду, мимолетно еще и еще раз полюбовался на серебряную оторочку камзола и зашагал торопливо к архиерейскому дому.

«А что такое епископ?! Его власть тоже не бесконечна,—храбрился Нестеров.—Не о них ли писано у Феофана Прокоповича в законе, который готовится в Питере, называемый «Духовным регламентом»: «Епископ не должен быть дерзок и скор, но долготерпелив и рассудителен во употреблении власти своей связательной?» Эти слова одобрил сам царь. Если придется, можно будет и намекнуть епископу на них».

В таком настроении сановный муж, медленно, с достоинством, поднялся по лестнице, устланной самотканной дорожкой, в приемную келью епископа. Здесь было очень тепло, пахло благовозными курениями.

Дьяк Иван, как ошалелый, вскочил с своего места и низко, в пояс, поклонился Нестерову. Тот ответил легким пренебрежительным кивком на это приветствие, а сам подумал: «Архиерейская крыса! Знаем мы вашу смиренность!»

— Зачем пожаловать изволили?—спросил дьяк, изогнувшись.

— Доложи!—грубовато кивнул на дверь архиерейской половины Нестеров. Неторопливо поставил трость в угол. Кривые ноги его в чулках были смешны. Зад, слишком выпяченный, был, кажется, в тягость самому его обладателю.

Дьяк вздохнул. Нерешительно отворил дверь и скрылся в покоях епископа.

Не любил Нестеров лиц духовного звания; кроме Феофана Прокоповича, с которым часто беседовал во дворце у царя, он не признавал их за людей и весьма одобрял Петра за то, что он называл монахов «тунеядцами».

В этот миг язвительных размышлений о попах и монахах дверь скрипнула, и в приемную келью вошел Питирим.

Нестеров благоговейно склонил голову. Епископ, громко и медленно произнося молитву, широким крестом благословил его. Нестеров же, слушая причитания питиримовы, думал: «Поганой рукой, диавол, осмеливается благословлять меня. Ах, бес!» Но, выпрямившись, подобострастно улыбнулся:

— Каково, ваше преосвященство, изволите здравствовать? (Дипломатическое двуличие; заведенное в Питере, пригодилось и в Нижнем.)

— Вседержитель милостив... Терпит наши прегреше-

ния,—ответствовал Питирим, лаская своими жгучими черными глазами Нестерова. Тот смутился. Подумал: «Глаз самый опасный, а рожа красивая, бабы должны любить... Вот диавол!» И почтительно вздохнул:

— Все от бога.—Затем закашлялся, не зная, что ему говорить, как приступить к беседе о самом важном, ради чего, в сущности, и пожаловал он сюда, к этой кремлевской летучей мыши.

Питирим стоял в ожидании. Дьяк Иван вытянулся у окна, пожирая глазами начальство.

— Ну, жалуй ко мне в келью, там побеседуем, раб божий Стефан.

Слово «раб» было сказано с каким-то насмешливым ударением, и Нестеров насторожился, подумав про себя: «Хорошо, что божий, а не твой». Они вошли в соседнюю, рабочую келью Питирима.

— Садись,—властно указал Питирим на скамью, расшитую под небо со звездами: по голубому золотая россыпь.

— Пришел я к вам, ваше преосвященство, простите, с челобитной.

Питирим метнул удивленный взгляд на него. Зрачки его, показалося Нестерову, вспыхнули недоброжелательством. «Эге! Плохо!»—подумал «раб Стефан», почесав от волнения ногтями жирные колени.

— Да, с челобитной,—повторил он тише.

— Говори,—круто повернувшись к окну, ледяным тоном произнес Питирим.

— Не о себе пешусь,—сказал громко Нестеров,—не о каких-либо интересах утробе, а о страждущих... Милость твоя благословенна будет отныне и до века.

— Говори,—повысил строго голос Питирим.

— Согласно воле божьей, я состою в Нижнем-Ново-Граде обер-ландрихтером...

— По царской воле,—перебил, усмехнувшись, Питирим. Тот и рот разинул: «Вот так-так!»

— По царской воле его величества,—спохватившись, повторил он за Питиримом торжественно, нараспев.

Епископ смотрел на него зло смеющимися глазами. Стало неловко и обидно. Разве он, дворянин, меньше почитает царскую волю? Самолюбие его было больно задето. Он солидно кашлянул, заложил правую руку за борт камзола и напыщенным тоном сказал:

— Вспомните, ваше преосвященство, манифест его величества. Какая там премудрая мысль и какое великое милосердие к раскольникам...

Питирим сел в кресло, откинувшись.

— Знаю,—перебил он.—Так чего же тебе надо? Говори прямо: ходатайствовать за раскольников пожаловал? За какого-нибудь изменника?

— Я обер-ландрихтер. Изменников я казню. Но также я могу, во исполнение закона, свое требование заявить и вашему преосвященству. Скажите мне,—почто и кои колодники томятся замурованными в монастырском подземелье? И нет ли из оных подлежащих суду гражданскому, а не духовному?

— Не повинуюсь тебе. Воля государя—дела раскольников передать духовному суду...

— Не все у вас раскольники, есть люди и посадские, православные, содежавшие преступления не церковные...

— Кто?

— Ученик духовной школы Софрон, сын Андреев, пономарев. В чем его вина, коли он в расколе не замешан?..

Питирим подошел к полке и снял с нее папку с бумагами:

— Читай. Это епископу писал сам царь. Читай! Знаешь цареву руку?!

Нестеров вслух прочитал:

«Буде возможно явную вину сыскать, кроме раскола, таких с наказанием и вырезав ноздри, ссылатъ на галеры, а буде нет причины явной, поступать с ними по словесному указу». Подпись подлинная — царевой руки: «Петр».

Питирим грубо вырвал бумагу из рук ошеломленного Нестерова. Выходит,—царь нарушает свой же закон?

— А манифест?

— Для утешения смятенных душ. Какой же ты слуга царя, понеже не смыслишь сего?

— Купечество тревожится. Овчинников долгое время безвинно сидит в железах... Тоже и о нем челобитная моя. Волею царскою торговый народ пользуется снисхождением. К черному люду купца нельзя применить.

Нестеров хотел сказать про Елизавету, но испугался,

взглянув на перекосившееся от злобы лицо Питирима. Оно было страшно.

— Изыди с миром. Дело сие тебе не подсудно. Аминь. Знаю сам, что творю.—Поклонился и ушел в соседнюю комнату.

Обер-ландрихтер, оскорбленный и озадаченный, хотел броситься за епископом вдогонку, но перед самым его носом щелкнул замок. Бант на груди Нестерова развязался. Он показался сам себе каким-то смешным, игрушечным, жалким...

— Змея!—прошептал он, поправляя бант и скрежеща зубами.

Когда вышел в комнату, где сидел дьяк, там увидел восемь попов. Стояли они с понурыми виновато головами, долговолосые, оборванные, в лаптях. По всей вероятности, деревенские попы. Он остановился против них и спросил с ехидным любопытством:

— Вы чего тут, отцы?

Никто из них даже не шевельнулся. Дьяк отложил перо, поднялся.

— Обвинены в посулах они... На суд пришли... Написали в росписи исповедовавшихся исповедовавшимися... И из сего числа явились некоторые и укрывателями раскольников. Брали с них деньги и записывали их принявшими исповедь в православной церкви, а у государства доход от сего отбивали.

Нестеров покачал головой: «Ну, и дела!». Напаяли с сердцем на себя шляпу и, не ответив на поклон дьяка, мурлыча в волнении что-то себе под нос, заторопился вон из архиерейских покоев.

«Подожди, твое преосвященство!—забурлила злоба в нем, когда он вышел на кремлевский двор.—Рассчитаемся мы с тобой».

Верхом на лошади въезжал в кремлевские ворота губернатор.

— Здравствуй, Юрий Алексеевич!..

Ржевский, пыхтя, слез с коня.

— Добрый день, Стефан Абрамыч...

— Имею к тебе слово. Слушай. Видно у вас тут в Нижнем другое царство? Питербурхские указы писаны не для вас? Каково твое мнение?

— Что так?

— Взыскание штрафов за небытие у исповеди царь

считает самонужнейшим делом... Губернатор со своими ландратами<sup>1</sup> должен наипаче за этим следить... А у вас «заказчики», «десятильники» и фискалы питиримовские знатно оными делами орудуют, вопреки ландратам... Выше они себя ставят тебя—губернатора.

— Его преосвященство знает, что делает, и не нам с тобою судить его за эти дела. Подумай, брат, об этом,—Ржевский многозначительно кашлянул.

— Ты, Юрий Алексеевич, гляди,—плохо бы не кончилось. Ты губернатор, и не след тебе быть на поводе у попа. Срамно!

— Тише,—испуганно оглянулся по сторонам Ржевский.—Какой поп? Вельможа он...

— Ничего, не оглядывайся,—засмеялся Нестеров,—я ваших фискалов кремлевских не боюсь. Я отвечаю только перед сенатом, не забудь, и губернатору не подчиняюсь... А ты, Юрий Алексеевич, выходит, трус... Почто трепещешь, как лист, перед архиереем? Царский закон превыше всего. Не забудь.

— Знаю, но сам царь ни в чем не препятствует епископу, а я чином не велик, чтобы ему перечить.

Нестеров нахмурился:

— Подождите, будете вы помнить обер-ландрихтера Стефана Нестерова!..—И, повернувшись, быстро зашагал на площадь, где ожидал его возок.

. . . . .

Всем было ясно в последние годы, что с попами в нижегородской епархии творится что-то неблагополучное. Более семидесяти попов только послано на галеры. Многое множество других обложено непосильными денежными штрафами—по тысяче с пятьюстами рублей и выше, священнослужителей жестоко наказывали плетью и подвергали пыткам под пристрастными расспросами, наравне с убийцами и ворами.

Люди роптали, от церкви отвертывались: «Какие-де мы богомольцы, когда служителей престола, ровно псов, избивют?»

И многие решали по-своему:

— Никаких нам и не надо попов. Коли питерские ко-

---

<sup>1</sup> Л а н д р а т — административная должность при губернаторе; главная обязанность—сбор и учет налогов,

бели своих попов завели — исполать им! Пускай с ними и возятся!

И пошло... И пошло. Что мужик — то вера, что баба — то и устав.

— Не можно уразуметь, какое теперь творится, — говорили на деревне, — запутал нас всех царь-государь... У честных отцов, и у тех не найдешь концов.

И многие совсем отшатнулись, открещиваясь от церковных дел, как от навождения. Страх большой пошел от церкви, от соборов и монастырей по деревням и починкам.

Люди растерялись:

— Где теперя искать правды? В монастырях? Но те ныне все попортились. Ничего не стало. И чина не стало. Слепец слепцов водит и купно в яму впадают... А что приведе в чин нерея или диакона? То ли спасти себя и других, то ли прокормить жену и дети, и домашних. Плохо народу стало... Черные ризы не спасают, а белые губят. Все, видать, на Руси пошло не для Иисуса, а для хлеба куса...

Питирим, глядя на эту смуту, на растущее неверие, писал Петру:

«Указ о том, чтобы не исповедовавшихся штрафовать, а раскольников двойным налогом окладывать, очень помогал обращению; но сделалось препятствие большое — попы едва не все укрыли раскольников, то писали исповедовавшимися, то никак не писали, а на которых ландратом и поданы росписи, то ни штрафов, ни раскольщикам окладу не положено, а от этого — только благочестивые и обратившиеся в поношении и ругательстве. Требуем, чтобы для лучшего обращения штрафы на не исповедовавшихся и оклад на раскольниках ежегодно был правлен неотложно, а мы под тесноту штрафов и окладов писанием удобнее к церкви присоединять будем».

Это послание полетело в Питер. Что называется, подлил масла в огонь «божий командир». Царю только того и надо было. Сразу распорядился «взять у всех попов сказки с подкреплением, извержением из священства и лишением имения, а непокорных отсылать для наказания к гражданскому суду, в каторжную работу».

Разговор короткий у Петра: «слово и дело». Сам Федор Юрьевич Ромадановский в Преображенском приказе на кануне своей кончины допрашивал отправленных ему нижегородских попов, а попа Ивана Андреева, взятого



с Керженца, так допросил, что тот в скорости «умре в железах, без покаяния».

Вот почему и тряслись от страха в приемной келье епископа пришедшие для допроса попы.

Когда Питириим вышел, все они полегли на пол.

— Твари! твари! твари!—затопал на них в иступлении епископ.—Вижу я, что у вас в сердцах... Кто вам, проклятые расстриги, ближе: царь или мужичье? В «бедность»<sup>1</sup> захотели? Ищете Христа в народе? Но где более воровство, ежели не в народе? Тамо татьбы, тамо убийства, тамо молвы и мятежи... Ежели и есть богобоязливые и добрые, то и те за своими делами и утеснениями бога забыли и от молитвы отстали.

Окончив свою негодующую речь, Питириим указал пальцем на лежавших у его ног попов дьяку Ивану:

— В яму! Попы!

В книге своей, куда записывал примечательные события, чтобы доложить о них потом царю, Питириим внес:

«... Хамство и варварство в превеликом почете у нижегородского люда моей епархии. В сей день, июня седьмого числа, разыскивал попа с Ветлуги и посадил его в яму. Купно с дьяконом своим сей поп обличен в уккрытии раскольников, в татьбе, пьянстве и сквернословии с амвона. Поп воскресенский, именуемый Семеном Зиновьевым, получивши мой приказ о церковном благочестии и о мирских потребностях, как ими управлять следует, дочитав до 65-го пункта, швырнул он гонцу мой приказ в харю и изрек: «Кто-де пункты те составлял, тому-де провалиться сквозь землю». И бранил матерно. За означенное послушание и предерзостные слова попу Семену, выписав из указов, приказал учинить жестокое наказание: бить шелепами нещадно, чтобы подобное впредь чинить было неповадно. И от той церкви его отрешить, а на место его подыскать доброго священника. Несть более вредных врагов у меня, како православные попы. Помеха просвещению с их стороны явная. Варварство мужичье любо им, а прочее неприемлемо. И многие из них царские указы в церквах по вся праздники и воскресные дни прихожанам своим упорно не прочитывают, ссылаясь, что сие-де—дело не церковное. В епархии на пятнадцать дворов приходится по два попа, и много праздных безместных попов. Страх

---

<sup>1</sup> Тюрьма при Преображенском приказе.

берет от несметного полчища деревенских клириков. И не полезнее ли их было бы послать в рекрута, ибо не скрываются ли они от тягот войны и барщины? А какие то попы? Ненароком прозваны они в хартиях правительства, как «подлый род людей». Стыдно епископу оную тварь считать своею братией.

Монастырская братия алчностью к злату неслыханно недужна. Печерский и Крестовоздвиженский монастыри имеемые богатства укрывают, нищетою сказываются, печалуются, что государственная-де казна их разоряет, а то, куда деньги,—ведати не желают.

В числе монахов редко и грамоте знающе бывают, но по большей части простаки, невежды, темные люди. Оными мудрость царская просвещения ради и подавно не приемлется. По моему крайнему разумению, многие пакости сим сословием земли нашей содеяно. Пример народу неважный».

## XII

Софрон проснулся от шума голосов и визга чугушной двери. Ее тянуло несколько человек, о чем можно было догадаться по голосам. Медленно поплыла в тьму коридора проклятая надгробная плита. Софрон поднялся с земли. Поручни врезались ему в руки. Ноги запутались в цепях. Тело давно уже покрылось пузырями и болячками. Каждое движение вызывало нестерпимую боль.

Вспыхнул огонь, другой, третий. Под сводами земляной тюрьмы Духовного приказа раздалось однообразное тягучее пение:

Взбранной воеводе победительная...

В каземат медленно входили чернецы, держа высоко над собою большие восковые свечи. Войдя, замерли на месте. Сквозь их ряды быстрой походкой прошел сам Питирим. Остановился против Софрона. Одет он был в белый подризник, на груди блестел наперсный крест. Белый цвет подризника напоминал священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и беспорочную жизнь. Значит, епископ явился с молитвой. Отлегло от сердца... Тем паче—наперсный крест.

Лицо Питирима при свете казалось бледным. Черные вьющиеся волосы, обрамляя его, еще больше подчеркивали

бледность. Глаза смотрели как бы страдальчески. На губах застыла кроткая улыбка.

Силы Софрона в последние дни крайне ослабли, и новая пытка была для него большим несчастьем, и не выдержит он ее. Дьяка Ивана не было с епископом. Пытать не будут. И вид у епископа совсем другой, чем при сыске.

— Во имя отца и сына и святого духа... — сказал тихо епископ. — Чего ты добиваешься теперь, непокорный юноша?

Софрон задумался. Печальные глаза епископа глядели на него в упор.

— Жду милосердия. Не ведаю за собой никакой вины, — ответил Софрон.

— Бог добр и подаст блага достойным. Дьявол лукав и способствует в грехах всякого рода... Открой отцу твоему, епископу, страсти, кои смущают тебя, и я очищу ти и отпущу из гнилой тюрьмы... И расцвету радостью горькую юность твою.

Питирим сдвинул брови, повернулся ухом к Софрону, как бы ожидая ответа.

— Зачем хочешь винить меня, когда не знаю за собой никакой вины? Подобаает ли страха ради наговаривать на себя?!

— Несть человека, который не имеет вины. И я не без греха. Вот каюсь перед тобой, а ты скрываешь... учишь у епископа смирению.

— Церковь не острог, не обитель муки, а ты обратил ее в сосуд горчайших испытаний, отвращаешь от нее людей. Не хочу преклоняться лицемерием.

— Наказать и вразумить богохульников нашего града, закоснелых раскольников, врагов церкви и государя, обуздать вольницу и бесчинствующих — долг епископа. Ты же, юноша, находясь между чувственностью и нравственностью, между крамолой и юношеской верой в благость божью, опаснее богохульников и еретиков, и дать волю такому без покаяния епископ не может... Он — слуга даря. «Несть бо власти, аще не от бога». Повинуйтесь во всякой страсти владыкам не только благим и кротким, но и строптивым... А наш православный государь, великий Петр, законодатель, многие препятствия преодолевающий ради блага народа, служит нам светочем и в делах церкви...

Затем Питирим сделал шаг вперед и, сощутив глаза, спросил:

— Винишься?

— Нет,—громко ответил Софрон.

— Опомнись! Бойся будущего. Опровергая меня, колеблешь к падению все государство. Не задумано ли чего у тебя и у твоих товарищей на персону его величества? Нет ли каких тайных помыслов? Жалея тебя, говорю: винись!

— Нет!—еще громче ответил Софрон.—Не знаю, в чем виниться.

Тогда Питирим взял свечу у одного из чернецов и сделал знак им, чтобы ушли.

Оставшись наедине с Софроном, Питирим приблизился своим лицом к его лицу.

— Не винишься?

— Нет.

Питирим, понизив голос:

— А не мечтал ли о бегстве из Нижнего? Не слышал ли чего о царевиче Алексее? Нет ли у тебя друзей из беглых мужиков?

— Нет,—смутившись, ответил Софрон.

— Не теряй достоинства, будь честен и храбр. Понеже ты силен, ноги твои прямы и тверды, чего же ради притворяться хромым? Укрась гордость свою благородным честолюбием... Тернии не пугают правых, а ты убоялся... Скрывал ли ты желание бежать из духовной школы, из Нижнего, на вольное Понизовье, или нет? Отвечай точно, без лукавства.

— Не слушай доносчиков. Корысти ради они предают других.

Питирим странно засмеялся. Некоторое время помолчал, хитро посматривая в лицо Софрону.

— Хочешь ли ты знать, кто на тебя доносчик?—стукнул Софрона по плечу Питирим.

— Кто?

— Невеста твоя, Елизавета... Ты хотел с ней бежать?

Софрон откачнулся, будто на него плеснули кипятком.

— Елизавета?!—прошептал он, поднявшись с земли во весь рост.—Нет. Не может того быть.

Питирим пристально наблюдал за ним. Челюсти епископа двигались от волнения, щеки его загорелись румянцем, глаза сузились. Два великана замерли один против другого. Но вдруг произошло то, чего не ожидал епископ.

Софрон бросился на епископа, вышиб свечу и в темноте стиснул его своими закованными в железо руками. Питирим захрипел. Но он тоже был силен. Быстро освободился он от объятий Софрона и во весь голос крикнул чернецов. С чернецами прибежали и два пристава, караулившие колодников.

— Блажени плачущие, яко тии утешатся,—обтирая на лице пот, сказал Питирим, вскинув неожиданно из-за спины шелепы<sup>1</sup>. Софрон грохнулся наземь, запутавшись в цепях, и закрыл лицо руками.

По-звериному задвигались белки епископа. Спина его изогнулась, как у готового к прыжку хищника.

Софрон не издал ни единого стога. Чернецы отвернулись: они не должны ничего видеть, они не должны знать, что это их епископ, святой отец. Они обязаны только светить, боком вынычивая руки со свечами. Они знают порядок. Не первый раз. И шелепы они посят за преосвященным в глубоких карманах рясы, всегда наготове, не ведая, кому и когда последует битие.

— Аллилуйя!..—провозглашает епископ.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!—тянут, отвернувшись от епископа, смиренные чернецы.

Питирим снял с себя крест и отдал одному из приставов. Развязал на подризнике шитые серебром поручни. Торопливо засучил рукава, и удары шелепами один за другим с новой силой посыпались на окровавленного Софрона.

Через некоторое время Питирим остановился и, тяжело переводя дух, спросил:

— В похвальных словах к смертному убийству рудоскателя на реке Усте, Антона Калмовского, винишься?

Софрон, закусив губы, молча смотрел исподлобья на своего мучителя.

— Разбойников Климова и Евстифеева с мерзопакостною жонкою Анною до колодничьего железа знал, а может не знал?

Софрон молчал.

— Говори правду, попав в Духовный приказ. Не покаешься—на плоте повешу и вниз по Волге пушу.

— Не ведаю и слыхом не слыхивал я о разбойниках Климове, Евстифееве и о жонке их Анне ни теперь, ни

---

<sup>1</sup> Шелепы — многохвостая плеть, иногда с железными наконечниками, обычно употреблявшаяся в монастырских тюрьмах.

..прежь, а за правду и свою честь готов погибнуть во всякое время,—смело говорил Софрон, хотя голос и изменил ему, душила боль, падали силы.

— Аминь!—закончил вдруг епископ. И зашел громко и хрипло:

— Тебе, бога, хвалим, тебе, господу, исповедуем...

Чернецы подхватили молитву и медленно, с пением двинулись к выходу из каземата. Пели громко, задрав бороденки, стараясь перекричать один другого. Оять с пронзительным визгом захлопнулась чугунная дверь, и снова загревели железные засовы и ключи. Медленно уплывало вдаль унылое пение монахов.

Софрон потерял сознание.

### XIII

По доносу обер-фискала Алексея Нестерова, родного брата нижегородского обер-ландрихтера, был обвинен в воровстве сибирский губернатор Гагарин: мало доходов, оказывается, давал казне и многие деньги утаил от сената. Донос Нестерова подтвердился. Гагарин раскаялся и, так как он был старинный друг Петра, подал он прошение дарю отпустить его, бывшего губернатора, в монастырь молиться «о здравьи его величества» и о своих грехах перед ним. Петр выслушал Гагарина и написал на его прошении: «Повесить». Вот что наделал родной братец нижегородского обер-ландрихтера!

Питирим по этому случаю предостерег и Ржевского. Дело серьезное. Деньги теперь на первом месте. Ведь затем и на губернии разделил дарь Россию, чтобы больше из нее денег выколачивать, затем и финансовую камер-коллегию придумал в Питере, а с нею и ревизион-коллегию при сенате, чтобы все копеечки подобрать по областям и губерниям.

Юрий Алексеевич, правда, не принадлежал к числу тех губернаторов, о которых дарь писал, что они «зело раку последуют», и не грозил ему дарь, как другим, что будет с ним «не словом, а руками поступать». Нижегородские ландраты во-время гнали мзду в Питербурх по сборам: поземельному, хомутейному, шапочному, сапожному, извозничьему, пчельному, банному, с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, ледакольному,

водооийному, огуречному, по трубному от печей, по привальному на Волге и отвальному и по многим другим, конх не перечислишь. Высылали все, что полагалось по окладу, без задержки и за это в срок получали свое годовое двадцатирублевое жалование, а в иных губерниях с губернаторов и ландратов жалование в наказание взыскивалось обратно. Губернских комиссаров — передатчиков губернаторов в сношениях с сенатом, — людей, правда, совсем неповинных в денежных недоборах, повсеместно били на правее дважды в педсю, а в Нижнем этого не случалось.

Ржевский с епископом и камериром (надзирателем сборов) Фроловым, как и многие «прибыльщики»<sup>1</sup>, придумывали, как бы преподнести государю на войско, на походы, на оборудование городов и заводов еще сверх обычного оклада, взыскав безгрешно монету с народа, а главное — «без тяготы народной», словом, чтобы всем было хорошо: и царю, и его преданным холопьям, и взыскиваемому губернаторским вниманием посадскому и деревенскому люду. Царь объявил сенату: «денег, как возможно, собирать, понеже деньги суть артериею войны».

Как тут быть? Вот над этим голову и ломаешь. С дворян много не соберешь, хотя доходы их самих и велики. С дворцовых земель — и вовсе. А ведь дворцовой-то пашни больше крестьянской по всем волостям втрое, а в Лыскове и Мурашкине — и вовсе в четыре раза. Кабацкая контора поддерживает, но с каждым годом падает и этот доход. Развелось видимо-невидимо воровски укрывающихся шинкарей. Стали было взыскивать за рождение и крещение — родители начали младенцев утаивать. Из Питербурха пришел запрет. Разрешили только на мордву наложить «брачный налог». (Никто, пожалуй, на всем свете так не ненавидел мордву, как Питирим, которому с большим трудом, и то с «истязанием», удавалось обращать некоторых мордвинков в православие). Эту подать наложили и на черемисов, чувашей и татар.

Вообще, Питирим и Ржевский не щадили «замерзлых, — как говорил епископ, — лычников». Это было всем известно, однако и тут нельзя хватать через край, — да и доходы эти давно уже в росписи и государю известны.

<sup>1</sup> Прибыльщик, или вымысленник, — лицо, занятое изысканием предметов нового обложения в целях увеличения доходов казны.

Но что-то, все-таки, надо было сделать. Что-то нужно было придумать. Над этим и ломали теперь голову Питирим, Ржевский и Фролов.

Царь хотя и не здесь, далеко на войне, однако везде и всегда имеет свои «глаза и уши». Эти невидимые глаза зорки и проницательны и не щадят даже лиц царской семьи, — не от них ли сгиб и сам царевич Алексей? И не приведи ты, господи, коли заметит царь неисполнительность! Как ни жаться, а придется признаться. Вон в семнадцатом даже из-за границы царь прислал сенаторам выговор: «Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно будете делать, то пред богом, а потом и здешнего суда не избежите...» и вызывал даже за границу из дальних глухих углов губернаторов к докладу, «что по данным указам сделано и чего не доделано и зачем».

Как тут было не задуматься и нижегородским начальникам? А тем более... под боком Степка Нестеров, брат петербургского обер-фискала. Фискальным делом его брат Алексей, как моровой язвой, сумел отравить все губернии — везде шпионы, и неизвестно еще как следует, что именно привело в Нижний из северной столицы и этого Нестерова, Степку, дарицыной кормилицы мужа. Питирим поставил всех своих «духовных фискалов» и инквизиторов на ноги, чтобы они тайно и неотступно следили за ним. Да что в этом толку! Попробуй, спихни его. Питирим и Ржевский еще плотнее сблизились. Стали неразлучными друзьями.

А что Нестеров следил и за окладным делом в губернии, это очень хорошо теперь известно вице-губернатору и епископу. На днях обер-ландрихтер посетил Юрия Алексеевича и заявил ему, что-де и вице-губернатор и Духовный приказ собирали с монастырских крестьян оброк в прошлом году несправедливо: надлежало собирать одному Монастырскому приказу, ибо вотчины сии числятся за ним, а не за гражданским ведомством, и что, разоряя крестьян и обращая их в бегство, тем способствует вице-губернатор нищете, воровству и понижает доходность Монастырского приказа. А епископу Нестеров прислал промеморию о том, что он, епископ, знал о сборании оброка вице-губернатором и позволил себе вторично эту же дань собрать с монастырских крестьян. Ржевский с Иваном Михайловичем, своим помощником, переполошились, вознегодовали на Нестерова за эту промеморию.



— Сукин сын,—ворчал Ржевский,—и тут пронюхал. Иван Михайлович, по совету которого было это сделано, ругал матерно ландратов, не сумевших тихо, благопристойно провести по деревням вторичные поборы.

— Погибнем мы с тобой когда-нибудь тут: или голову нам отрубят по приказу цареву, или в прорубь спустят нас его верноподданные... бежать надо отсюда... бежать...

— Служить заставляют дворян... Никуда не убежишь, Юрий Алексеевич,—почесывая жирный затылок и поглаживая большие отвислые усы, вздыхал Волынский.

Питирим успокаивал Ржевского: «Экая невидаль, что дважды налог с черных людей взяли. Государь за это не разгневается. Вот, ежели бы вы налогу недобрали, то плохо вам стало бы. Мужик стерпит; куда ему бежать?!»

И вот теперь, сидя у раскрытого окна в доме вице-губернатора, под охраной преображенцев, Питирим и Юрий Алексеевич ломали голову над тем, как им безгрешно приумножить доход своей губернии, вывести ее, на зло Степке Нестерову, в первый ряд обычаем праведным и законным, чтобы к ним придраться нельзя было.

Питирим положил на стол копию с царского указа, разосланного по московским церквам, «о благочинии в церквах». А в нем говорилось: «Стоять в церквах надо с безмолвием и назначить добрых людей, кто бы смотрел за тем, подвергая бесчинников тут же, не выпуская из церкви, рублевому штрафу».

— В нашей епархии,—говорил епископ, оживившись,—немало таких, благочестие коих принуждением дается. Силен бес! В том числе и над Дятловыми горами он витает. Обратившиеся раскольщики у себя в скитах, стоя на молитве, ног не расставляли, боялись—бес проскочит, а у нас в церквах пояс спускают ниже пупа, в грязных рубахах ходят, и всяк из них крестится, да не всяк молится. За этим и надлежит присмотр поусилить и штрафом нещадным облагать. Деньгу собрать.

Ржевский обрадовался словам Питирима и с нескрываемым удовольствием спросил: много ли таких наберется богомольцев?

— Тысяч десять из-под девятисот куполов по губернии насобираешь—ответил Питирим.

Ржевский, схватив из-за уха гусиное перо, вписал дифирью «10 тысяч» в лежавшую перед ним тетрадь. Епископ властно продолжал:

— Пиши, Юрий. За мольбу по старой вере... пятнадцать тысяч.

— Уменье—половина спасенья,—приговаривал Ржевский, торопливо скрипя пером. Он сразу повеселел, считая себя гениальным хитрецом. Приглашая в этот вечер епископа, он знал, что «велик бог русский и милосерд до нас и после нас—моельщики всегда манну небесную казне приносили». И никакого греха тут нет. Надо думать, что и другие губернаторы не без<sup>1</sup> корысти слушают колокольный благовест церковный и уж, наверное, нигде ни одной раскольникчей бороды без налога не оставили.

— Сколь дней у господ бога впереди, столь и мзды будет у епархии, ежели сбудется то, что я задумал,—говаривал иногда епископ. Между прочим, и сейчас он рассказал Ржевскому о том, что сегодня, не выпуская из приказа, он с десяти раскольников—макарьевских торгашей—взыскал вторично по шестьдесят рублей за бороду, так как оные раскольщики никакого иного платья не носили, как старое, а именно: зипун со стоячим клееным козырем (воротником), ферязи и однорядку с лежащим ожерельем. А позавчера в соборе с двух богомольцев за первостатейно-купеческую бороду взыскал тут же в соборе по сту рублей. Расплатились, слова не сказав, с полною готовностью.

Ржевский вздохнул, вспомнив о том, что в последние месяцы в Нижнем многие люди стали резать себе бороды. Главный пример сему подал опять тот же Нестеров, разыскав «какого-то мерзавца», бродячего брадобрея-куафера из вольноотпущенных, в Арзамасской вотчине своего родственника Лопухина. Чего ни коснись,—езде Нестеров! А и то сказать, хоть и петербургский человек Степка, хоть и царицыной кормилки муж, а не понимает «новин», заведенных царем. Заводят их не для «подлого народа», не для смердов и холопьев, а для дворянского звания людей. Пускай посадские низы, и мужики, и купцы ходят с бородами, на то они и черная кость, пускай носят армяки, сермяги и лапти, «а мы, дворяне, будем бриться и камзолы носить». Так смотрит на эти дела и сам Петр. Не для мужиков же он устраивает ассамблеи?!

Об этих своих мыслях, ворча на Нестерова, и поведал епископу Ржевский.

В глазах епископа при воспоминании о Нестерове вспыхивали молнии: «Идол подворотный!..»

Ржевский радовался, следя за тем, как Питирим негодует на Нестерова. Любил он натравливать на него преосвященного. За спиной епископа было все-таки поспокойнее. А теперь он был особенно доволен гневом Питирима на Нестерова, — дело-то касалось денег, а нет ничего приятнее для губернатора, чем прибыток по Монастырскому приказу, и нет ничего безопаснее для его росписи доходов «божьих денег». Деньги, хоть и духовные, а все же с его губернии, и отчетность вести с «божьими деньгами» можно посвободнее.

Ржевский боялся делать, как другие. Иные губернаторы, радея о казенной прибыли, пускались на всё. Вон казанский губернатор Апраксин представил царю фальшивые ведомости о придуманных им новых доходах, да еще подарил царю из таких доходов сто двадцать тысяч рублей, а деньги драг, загнав до смерти татар, мордву, черемисов и других инородцев. А они поперли долой из губернии! Более тридцати трех тысяч дворов сбежало. И к тому же — многие в Нижегородскую губернию, увеличив ее тяглое население на процветание нижегородской казны. Апраксин причинил большой убыток казне своей губернии и был за такую «дурость» царем знатно наказан. Мордву лучше не трогать. Опасно.

Ржевский не хотел этого. Что же касается дел божьих, то они на совести и в ответе у епископа. За это губернатор не несет разыскания.

Питирим рассказал о своей работе над ответами на двести сорок заданных раскольниками вопросов и развернул перед Ржевским и камериром Фроловым свой план завоевания церковью Керженца, Ветлуги, Усты и Унжи. В лесах по этим рекам раскольники укрываются от многих налогов, и прибыли от промыслов и торговли остаются по-настоящему не обложенными, о чем хорошо знают и губернатор и Фролов. И немало уходит в скиты денег местных торговых людей на тунеядство скитников, на их разврат. Поэтому, как ни велики доходы от раскола, но если его уничтожить, пользы будет втрое больше.

— Правильно указывают в своих вопросах раскольники: у нас своих тунеядцев по монастырям зело много, и мы должны заставить работать их и давать знатный доход, а раскольники игуменствуют, усердно собирают большую жатву. Епархии от сего один убыток, ибо

соблазняют многих они и отвращают слабости нашей ради людей от православия. Надо уничтожить скитское идолопочитание. От сего большая утечка казне. И к тому же много там людей способных, торговых, великих добытчиков, а им не дают на государеву казну работать, боясь обогащения их и отложения на сторону правительства, что и бывало. Возьми Олисова, возьми Пушкикова... Мне все известно. И по сию пору молятся оба двуперстно и книги старые чтут. Но зато казне доход они дают видимый, и недаром царь соблаговолил согласиться избрать Пушкикова бургомистром. Ежели разбить раскольников на Керженце, великая польза от сего будет всем. Но надо благоразумно, главное оружие—слово. Благоразумие настолько же отличается от других добродетелей, сколь зрение отличается от прочих чувств.

Ржевский и Фролов выслушали Питирима с благоговейным вниманием, не шелохнувшись. Их убедил епископ, что громадную выгоду можно получить от разгрома раскольников. И если бы не «благоразумие», о котором говорил Питирим, Ржевский послал бы сейчас же Волынского с солдатами «покорять скиты», но теперь... он только почесал затылок, когда кончил Питирим, и вздохнул. А тот, как бы угадав его мысли, сказал:

— Силой пользуйся, когда нужно, когда слову она воспомогает... И не всем одинако. Одному внушай, другому воздавай благодарность, с третьим язык сдерживай, злого человека казни, а толпе старайся нравиться. Никогда не говори для одного удовольствия. Этим потешаются себялюбцы, а не слуги государства. И всегда будь готов умереть за отечество. С жизнью не спорь, но не цепляйся за нее.

Долго поучал Питирим, словно позабыв, что перед ним только два царских чиновника. А те сидели смирнехонько и терпеливо слушали, хотя половины того, что говорил епископ, и не понимали.

Перед расставанием с губернатором Питирим сказал ему:

— Крепкий караул мне нужен. Расколоучителей и заводчиков имею я намерение держать в Ивановской башне. Перевожу туда и кандальника диакона Александра... на долгое сидение. Чую недоброе. Фискалы доносят о заговорах. Царевич сидит у многих в голове... Никто не верит его смерти.

Ржевский поклонился Питириму:

— Мое войско — ваше войско.

И подошел под благословение.

— Благословенно имя господне отныне и вовеки.  
Аминь.

На кремлевском дворе было пустынно и ярко серебрились в лучах полнолуния кресты соборов. Черной высокой тенью шел Птирим через двор к себе в покои.

## XIV

На следующий день епископ вызвал настоятеля Печерского монастыря архимандрита Филарета, игумена Благовещенского монастыря Никандра и игуменью Крестовоздвиженского монастыря мать Ненилу и других иеромонахов, настоятелей монастырей. Сошлись они в покоях епископа после всенощной. Епископ начал с того, что монастыри в последнее время плохо налоги собирают, общие государственные подати и повинности со своих крестьян; плохо делают взносы в Духовный приказ, проявляя холодность и равнодушие к государственному устройству, укреплению в первую очередь самой же церкви, ибо и царская власть и войско стоят на страже православия и его служителей.

Освещенный колеблющимся пламенем пятисвечника отец Никандр, маленький седенький старичок, начал докладывать епископу, что монастырские вотчины, к великому прискорбию верующих, стали беднеть, ибо крестьяне, обраемые, кроме монастырских сборщиков, еще и ландратами, разбегаются... Число жилых дворов год от году уменьшается. Отец Никандр спрашивал: нельзя ли взыскивать оклады с монастырских крестьян не губернаторским ландратам, а самим монастырем, и деньги направлять не в губернскую канцелярию, а в Духовный приказ? Ландраты требуют с игумена неотложно уплаты взысканий и с «пустых дворов», за «пустоту»... Сами же крестьяне платить за «пустоту» не хотят, бегут за Волгу и на Дон. И многие становятся разбойниками и ворами. Обрабатывать же монастырскую землю некому... покрывается сорною травой. Отец Никандр говорил тихим скорбным голосом, держа обе руки на груди; маленькие глазки его слезились. Кончил говорить он как-то внезапно, так что речь его получилась незаконченной. И все ждали: что

будет дальше? А он жевал губами, мялся и обиженно глядел по сторонам, вот-вот заплачет, а потом сел.

Тогда поднялся с своего кресла широкий и рослый, похожий на черного таракана—в пышной острокопечной камилавке,—архимандрит Филарет. Он откашлялся басом, поправил наперсный крест на груди и густо забасил нараспев:

— В стенаниях, в воздыханиях, во слезах, в плачах, в рыданиях, в нестерпимой душевной боли бысть ныне народ, и трудно явить нам в себе доброго, кроткого, целомудренного пастыря и учителя. И хотел бы того или не хотел, но каюсь вам, святые отцы и сестра, заковал я в кандалы позавчера десять душ монастырских тяглов, мужиков, явившихся убо ко мне с предерзостным требованием: устроить свои поземельные дела самим и отправление податей и повинностей посредством избранных из их же стаи мирским приговором раскладчиков, чтобы-де за пустые покидные тягла оплачиваячи не разоряться вконец, до основания... Все оные десять душ мною выпороты знатно шелепами и накрепко посажены в цепи под монастырь. Дерзость у мужиков явилась бесподобная!

Оживившись, перебил епископ архимандрита:

— Доставь всех их в Духовный приказ.

Филарет деловито мотнул бородищей.

— Да будет воля твоя. Ныне за полночь под караулом приблудут. Но так как казна монастырская оскудевает, мое прошение к епископу: объявить по епархии мощи кого-либо из иереев, в бозе почившего, прожив по-христиански в обителях нижегородских до восьмидесяти лет отроду, огласить такового наравне с равноапостольными служителями церкви кафолической... И тогда, благочестия ради, стекутся православнии со всех концов оплодотворять церковную казну и оттеснят злых, негодующих и коварных врагов православия... Умерщвляя плоть свою, попесет народ лепту трудовую на благоуспевание святых церквей.

Питирим нахмурился:

— Недопустимо! Любомудрый великий царь приказал нам пересмотреть истории святых, не суть ли иные из них ложно вымышленные или бездельные и смеху достойные.

Тут раздался вкрадчивый и нежный голосок игуменьи Ненилы, еще не старой, миловидной, смуглой женщины.

Ее карие глаза засияли таким благочестием, что архимандрит Филарет закашлялся, и притом как-то неестественно. Питирим пристально посмотрел в его сторону. Отец Никандр нараспев, как бы ничего не замечая, зевнул, перекрестив рот: «ничего не поделаешь!»

— Прошу прощения, милосердные отцы, слово и я имею свое молвить...

— Говори,— ободрил ее Питирим.

— Чудесную икону непорочной девы Марии было бы возможно явить в нашем монастыре... Икона у нас имеется древняя, старого письма... Мнится мне—если бы православные христиане услышаны были о сем чуде—и жены и девушки, и младенцы потекли бы в наш монастырь, моления и поисков целения ради, безотказно.

Покачал головой епископ, улыбнувшись ласково.

Окружающие тоже улыбнулись. Питирим обратился к Нениле:

— В Питере разнесся слух, что в Троицкой церкви большой образ богоматери проливает слезы. Народ начал в великом множестве туда собираться. Появилось опасное толкование, что-де мать божия недовольна странною и слезами своими возвещает великое несчастье новому граду. Царь велел снять икону и отнести к себе во дворец. Оборотив доску, он отодрал жезл и, выломавши переклад на другой стороне, открыл обман. В доске против глаз у образа сделаны были ямки, а в них густое деревянное масло. Они закрывались задним перекладом. Растаявшее от близости свечки масло вытекало в дырочки у глаз. С тех пор царь запретил чудесные иконы, мать Ненила, а тем паче богородничные... Да и всякое трясение, отнимающее покой у православных, так и этак может быть истолковано, и даже на пользу врагам. Об этом подумай!

Ненила покраснела, опустила глаза. Филарет захихикал легонечко в волосатый кулак.

Питирим поднялся, обвел всех строгим, испытующим взглядом.

— А еще хотел я вам всем объявить,—произнес он, задумчиво поглаживая бороду,—как мне о том богомольцы рассказывают—мало молитесь вы о спасении усопшего царевича во царствии небесном, об упокоении его души. В каждой службе, в каждом своем слове к прихожанам поминайте его душу за упокой. Такова воля нашего великого государя. А по праздникам одевайте бедняков прос-

форами, вынутыми за упокой царевича. Пускай народ знает, что царевича уже нет и раскольникам не след на него надеяться.

Собравшиеся низко поклонились епископу.

— Да будет воля твоя...

Разошлись поздно. Филарет и Никандр поклонились епископу в пояс, подошли к нему под благословение и, облегченно вздохнув, степенно вышли на волю. За ними и все остальные.

Ненилу епископ задержал.

— Садись...

Села, стыдливо опустив глаза.

— Не говорила ли чего про меня в монастыре овчинниковская девка?

— Гордая она... что волка ни корми, все в лес смотрит. Царицей ей хочется быть... возвышаться надо всеми.

Епископ близко подсел к игуменье и тихо сказал:

— Построже с ней... Следить накрепко; будут какие разговоры, донеси. Она опасна теперь. Честолюбцы голову подымают. Слухи о царевиче действуют на всякую тварь...

— А гневаться на меня не будешь?—исподлобья взглянула Ненила на Питирима.

Питирим, смотря мимо Ненилы, твердо сказал:

— В сердце моем ее нет... И не было.

Лидо Ненилы осветилось радостью.

## XV

У Макарья в ложкарном шатре сидел поп-расстрига, беглый отец Карп, и говорил окружавшим его «ворам»<sup>1</sup>:

— Все мы лукавыми ныне стали. Тот поп, кой за бога, за веру—тот в леса убег, а кои совести изменили—те службы отправляют, мзду и хвалу от царя имут, и народ обманывают, оплетают бога и всех... И живут в довольстве, а измышленные Петром молитвы за престолом глаголят, воздев очи горе... Ныне церковь в оковах... А я не хочу, гордость имею, вот и прошу вас взять меня с собой странствовать.

---

<sup>1</sup> Слово «вор» применялось в ту пору и ко всем антигосударственным элементам, в основном—к беглым крестьянам.



Почесали «воры» затылки: мудреная штука! На Макарье колокол стукнул. Над Волгой потекло звонкое серебро. Сильно парило на воле—косички у попа слиплись, на красном носу повисли капли. Батька смотрел заискивающе, ждал.

Первым со вздохом отозвался «чебоксарский вор» Антошка Истомин. Говорил он задумчиво, не торопясь.

— Нам бы атамана теперь... а попов в нашей жизни как на собаке блох... Был у нас Никита Монах, вроде тебя, хороший был, чудной,—утопили мы его. Много молился, ныл, расстраивал... Может, и ты такой?

Мордвин Тюней Сюндяев, вдумчивый, желтолицый, с косыми глазами, толстяк, грустно покачал головой:

— Много же из-за бога народа погибло!

Он достал рожок с табаком, дал понюхать попу. Тот отвернулся. Тогда все, словно сговорившись, сорвались с места и, красные, злые от обиды, с силой ткнули попа носом в табак.

— Нюхай!

Поп запищал, расчихался, разбрызгался. От разбойничьего хохота поколебались полотна шатра.

После этого опять заговорил Антошка Истомин. Его слушали с уважением и внимательно, ибо силы ни у кого такой не было, как у него.

— Попов я не люблю—грабили много, больше всех воров на свете, а убивали их мало, и убивали их не воеводы, не цари, а по большей части православные же христьяне. А нас, несчастных, ворующих по чести, без прикрытия, в кандалы суют и в тюрьмы кладут, пытаются. По закону-то божьему надо бы и этого попика приглушить, чтобы не смердил, но... рожа его не опасная. Черт с ним! А дабы чин соблюсти посвящения в «воры», прикажем ему зарезать человека духовного звания...

С попом сделалось дурно. Упал ничком на пол и не дышит. Антошка Истомин поднял его, взял, как ребенка, на руки, вынес из шалаша и положил наземь.

Мимо шмыгнул чернец, побежал без оглядки. Две бабы-молочницы, схватив глиняные жбаны, озабоченно затопились к набережной. Истомин посмотрел в лицо попа и перекрестил его.

— Аз говорю тебе—встань и ходи. Теперь мы видим твою честность, старче. Для нас подходящ еси. В терпении своем стяжал мзду свою,—нараспев протянул Исто-

мин,—отринь от себя скорби и обиды, воровским вендом главу твою венчаем... Радуйся, иноче неназытный, приспе час твоего благоденствия...

Потом, склонившись над попом, он добродушно потрепал его за бороду:

— Вставай, батька... в кабак пойдем... к Макарию.

Отец Карп открыл глаза, улыбнулся и вздохнул. Снова вся ватага расхохоталась. Поп, озираясь с любопытством, встал.

— Мой совет тебе, отче, наперед,—сказал Истомин,—не говори ворам о бже: не зли. Не надо. Старый подьячий я, московский: в остроге пять лет сидел, хорошо знаю. Идем! Забавный ты, мы таких любим.

— Не обижайся. Народ мы бестолковый, но не злой... — сказал цыган Сыч.—Горе у нас одно, и радости одни.

Макарьевская ярмарка шумела. Ватага беглых из пятнадцати душ, с несколькими ружьями и саблями без ножей за поясами, чувствовала себя среди торговых людей, как дома. Кругом почет и уважение. И справа и слева поклоны и приветствия. Еще накануне уловитель разбойничьих шаек, пристав Ванька Ширяев, скрылся в Лыскове со своими стражниками, не зная силы беглых, испугавшись их появления под Макарьевом и страшных слухов о несметном их количестве (слухи пускали сами же монахи Макарьевского монастыря). В шапочном и ветошном ряду «воры» отобрали себе шапок и кафтанов—неклеяемых, продаваемых купчиками из-под полы, ибо одежда эта была сшита не по царскому указу, не немецкая, а старорусская, для лесных жителей, раскольников. Неклеяемые товары забрали они по совету самих же купчишек, которые навезли на базар их множество, не зная того, что ландратам приказ пришел из Нижнего строгий—ковать в цепи и немедленно сажать в острог подобных продавцов неклеяемого товара. Истомин с товарищами навязали громадные узлы и поволокли на спинах для продажи на низовье, куда они намерение имели спуститься после Макария, свалили все это на берегу и поставили сторожа.

Макарьевский монастырь был в обиде на Петра. Легко ли инокам пережить! Хозяйственное, полицейское и судебное, и все иное, касаемое ярмарки, в семисотом году было у них по государеву приказу отнято и передано приказу Большой казны, а теперь и вовсе с грамотой Петра приехал в монастырь важный царский чиновник,

ассессор Мошкин, для подробного описания движимого и недвижимого имущества монастыря.

Вот почему Антошку Истомина и встретили в монастырском кабаке с распростертыми объятиями; гудошники песню сыграли. Питухи высыпали на волю, хлопая в ладоши. Припожаловали и чернецы. Некоторые инокки немедленно намекнули, что-де в монастыре проживает дарский вельможа, и у него-де много золота, и грамоту имеет он к уничтожению ярмарочного торгова, и монастырский кабаки грозят закрыть, и что-де у этого ассессора Мошкина имеется наказ царя об истреблении жестоком по всей Волге разбойников. Ватажники слушали и хитро между собой перемигивались—«ладно, мол, пойте песни». Когда же подвыпили, во все их уши полился ехидный, натравливающий на Мошкина шепот монахов и даже к отцу Карпу прилипло трое иноков, каясь ему по секрету, что и они думают утекать из обители, ибо «оскуде казна монастырская», никакого не стало «прибытка», а на ярмарке «скушно» теперь, не то, что в былые времена. Они спрашивали Карпа—хорошо ли в ватаге? Карп ответил: «Как во царствии небесном». И в испуге перекрестился. Один иеромонах, изрядно подвыпивший, все-таки проговорился. Он сказал вслух самому Антошке:

— Однако, братцы, сколь ни общипывай, а монастырь богатеет и богатеет... Мы кого хочешь обманем, а нижегородского губернатора всех больше... а царского холопа Мошкина и того больше... Пейте за наше здоровье. Вот и все! Пей!

Беглые хлебали за монахов вино, действительно, с большим усердием—не первый ведь год породнились с иноками. Недаром Петр писал в одном указе о разбойниках: «по монастырям, пустыням, у приходских церквей и духовного чина они кроются под именем бурлаков, казаков, ханжей или трудников».

В кабаке было душно, взвизгивали бабы по углам, шипела брага, непрерывно бежавшая из бочек, а «воры» щелкали языком и подмигивали инокам, поддакивали, а сами нет-нет незаметно потрогают свое оружие. Не мешает.

Разговор зашел о том, что ватаге требуется умный, образованный и храбрый командир.

В это время как раз появился всем известный у Макария Филька-кузнец с верхнего посада из Нижнего.

Целую неделю живет он здесь. Давно ищет случая встретиться с ватагой. Уж он стал опасаться—не обманул ли Василий Пчелка? Подсел он теперь прямо к цыгану Сычу (водил краденых коней ковать к нему цыган, еще когда Филька работал в Кунавине). Сослался на Василия Пчелку. Цыган горячо приветствовал Фильку—облобызал, поднес ему чарку.

Филька отвел цыгана и Антошку Истомина в сторону и рассказал им, что под Духовным приказом в Нижнем сидит человек умный, образованный, имя ему Софрон, сын пономаря. Ученик греко-латинской питиримовской школы. Силой с ним и храбростью никто из воров здешних и московских не может сравняться и умом тоже.

Ватажники отвели Фильку Рыхлого в речейники за кабаком и заставили его побожиться, что он не врёт. Показывали книжалы. Вертели пистолью у носа. Филька крестился двумя перстами вдаль за Волгу и приговаривал:

— Утопите меня, братцы, в водах, спалите меня, братцы, в огнях, коли говорю неправду. Раскольник я, бедный человек, голь голянская, зло имею на богатых и знатных людей и потому указываю вам, братцы, на Софрона... И не кто иной, как я, открою ему кандалы...

Глаза у воров разгорелись. Человек, открывающий кандалы, достоин того, чтобы ему верить и, конечно, такого человека надлежит от души опоить и окормить (конечно, за счет макарьевских иноков)... Пускай запомнит эту замечательную встречу с «ворами» на всю свою голянскую, горькую жизнь.

Поволокли Фильку под руки в кабак. На душе у всех отлегло—вождь будет! Антошка Истомин давно тяготился водить ватагу на большие бои и довольствовался только мелкими кражами и ограблением благолепных церквей. На днях обокрали одну церковь в Лыскове—и зря. Добыли только церковные одежды, отдали их бабам и девкам на селе: куда их? А бабы сшили себе из стихарей и риз сарафаны и повязки. Потом всех их, голубушек, забрали в Нижний под Духовный приказ к Питириму в гости. Вот и все, что получилось от этого церковного похода. Антошка Истомин сам признавался, что он—«ловец мелкой рыбки в мутной воде». Да и работал он все больше в одиночку. А с ватагой ему и вовсе ходу нет—легко ли возиться с разбойниками, как с малыми детьми, хозяйство вести, суд и расправу творить, учить уму-разуму? С этими

делами он и сам с малых лет в разладе был. Пускай идет другой на его место, на кой дьявол эта забота!

Всю ночь бушевала ватага в кабаке, а утром выбрали на пристани лучшие струги, чтобы плыть, вместо низов, на верховье, встречь атаману, дожидаться его под Безводным, а купцы уцепились за струги, не дают: самим, говорят, нужно! Тогда Истомин побросал их всех по очереди в воду, сказав обиженно:

— Чай, не Стенька—на ковре не поплывешь.

Охватили простор, ширь речная,—взмахнули весла раз и два, и струги тихо отошли от берега.

— Не робей, братцы! Скоро мы у царевича егерями будем!—весело крикнул, обращаясь к собравшимся на берегу, Истомин.

## XVI

После поездки к Макарию, после встречи и разговоров с ватагой, Филька стал смелее. Вольный дух ватажный встряхнул его. Очень и очень призадумался он о себе, о своем будущем. Терпелив был он от рождения и не избалован. «Чин чина почитай, а меньшой садись на край»,—так думал он всегда и ходил вокруг и около счастья других, а сам ничего не предпринимал, довольствовался краем посадской жизни, ковал коней, ковал иногда и людей (в Духовном приказе), делал гвозди, скобки, молотки—вот и все. А теперь ему уже этого кажется мало. Бунтовать захотелось против власти. Зло брало на нее. Но как бунтовать? Головы терять не хочется никому, а тем более не дождавшись ничего хорошего; влезал на строгановскую дерковь, в птиду хотел обратиться и улететь,—выпорол, оплевали. Никогда этого не забудешь.

Вот тут-то у него и возникла отчаянная решимость действовать самому, чтобы освободить Софрона. Довольно надеяться на людей. Степанида только обещаниями кормит, пропадает дни и ночи у Нестерова. Совсем хозяйкой, шлюха, у него заделалась. И все утешает: «Ради праведной веры, ради старцев, ради тебя, милый, ради узников подземельных», а Софрон, Александр, рабочие с Усты—Климов, Евстифеев,—как были замурованы в подвале, так и теперь сидят, всеми забытые, покинутые... А если бы они были на свободе... тогда бы... берегитесь, бояре!

Филька знает, куда мысль влечет Софрона, он знает, чего жаждут буйные головушки рабочих с Усты. А разве не подвезло бы и Фильке в общей схватке? Но ясно теперь: Нестерову их не освободить. Ходит слух: не больно-то его слушает Питирим. Как ни храбрись ерш, а щука-то сильнее. Между прочим, Степанида стала наряжаться и платки какие-то цветные носит. Вот тебе и раскольница! Прежде ходила только в белых и черных, теперь ни за что не надевает. Ах, сука! Еще в монастырь метила поступить на Ветлугу. Филька думал о Степаниде и Нестерове, качал головой и вздыхал:

— Ой, Степанида, горе в ленте алой, в ситце пестром! Подобно змею огненному блистаешь ты. Но подобно лилии цветку можешь и засохнуть...

Однажды вечером, под воскресенье, он раньше обыкновенного запер кузницу и отправился на дом к жонке Степаниде. Либил ее крепко парень. Пленила она его своей здоровой красотой и необычайной для бабы силой, — подковыгнула молодица и при этом улыбалась... будто подсмеивалась на ним: «мужик, мол, а не можешь». Могучая! Грудь высокая, сама гордая и косы черные до пят; щеки — маков цвет. «Вот почему, — ревниво думал Филька, — приближена она и к архиерейскому дому, где даже бельё пресвященного допущена стирать». Степанида каялась насчет одного только пристава Духовного приказа Гаврилова. (Это теперь никого не касается. Дело прошлое.) Филька был безбрачник, а среди безбрачников таких жонков, что по своей воле сходятся и расходятся с женщиной, было немало, ибо «девствовать — лукавству подобно, а с попами и несть брака». Сам протопоп Аввакум сказал: «Аще кто не имать иереев, — живет просто». Да и раскольники на сходбищах рассказывали, что в келиях в уединении живут они с зазорными лицами и с духовными дочерьми, с девидами и женами, юноши или мужи берут к себе жен на сожительство и единокелейное пребывание и приживают детей с теми жонками и девушками. Как же может он, диаконовец Филька Рыхлый, осуждать Степаниду? А пристав она оставила в дураках. Первая на него наплевала — он без нее жить не может и теперь стал изрядно выпивать. Вот и выходит: дуры да амурсы, а Степанида в кремле-то свой человек и заглядывает там всюду, куда ей захочется, и в трапезной епископа не однажды еду принимала и пила квас, и даже доступ имела в покои епи-

скопа и в земляную тюрьму... А это теперь — самое главное.

Фильку она постоянно берет с собой на Волгу белье полоскать. Сколько смеху-то в те поры бывает и веселья! Сгорбившись, тянет сердяга тележку с бельем по Ивановскому съезду, а она, откинув голову, важно шествует позади с вальком, румяная, грудями вперед, глаза озорные: «вези, мол, вези, не оглядывайся!». Будто батрак какой, выбивается из сил Филя... А все из-за чего? Любовь! И поэтому и тяжести-то никакой не чувствуется, а одно только удовольствие.

На Волге — раздолье. Существует ли еще другая подобная река в мире, чтобы такой вольной волюшкой от нее на человека веяло? В такие-то дни Филька уже не раскаивался, что в птицу на колокольне не обратился и не улетел с земли. Как же без Степаниды-то возлюбленной? Шутка ли! Бог с ней и с птицей! И дурень тот злосчастный строитель, что с колокольни улетел, шут его дернул. Разве может кто иной, кроме него, Филиппа, именуемого Филькой, постигнуть — о чем нашептывают свободные, неугомонные волны? И могут ли тронуть холодное птичье сердце буйные песни о боевом, разудалом казаке, вольном атамане незабвенном Степане Разине? Птица птицей и останется, а человек? Нет такой мудрой головушки, которая может предсказать — чего добьется впереди человек? Много ли прошло времени со смерти Тишайшего царя Алексея Михайловича, а человек уж не тот. А дальше?.. В голове мутится от этих мыслей.

«Мы умрем когда-нибудь, — думает с растерянной улыбкой Филька, — а Волга увидит других людей, услышит другие речи, другие песни... Степанида, как хочется жить!» Только один раз живем на белом свете. О, если бы он был богат! Он засыпал бы свою возлюбленную подарками! Так это и будет, коли Софрона на волю выпустить. Озолотит он тогда их обоих.

И часто Филька нашептывал несвязные странные слова Степаниде, хвалился неизвестно чем, а она щелкала его по лбу: «Обуздывай жажду богатства! Не зазорна ли она для раскольника?».

Филька беззаботно улыбался, говоря, что в этом не он, а именно, она, Степанида, повинна. Она заставила его полюбить жизнь.

Степанида не возражает. Белье?! Бог с ним!.. Ей хо-

чется обняться с Волгой, с небом, с Филькой, с Стефаном Абрамычем; надо нырять в воде, носиться на пенистых гребнях волн, рассекать сильной грудью бурлящие воды; красоваться, как белая лебедь; рассыпать по волнам темные шелковые косы, словно хмельная от знойных утех русалка. Ей надо с томной улыбкой качаться на волнах, подобно раскинутому по воде лепестки водяному цветку, беспечному над страшной пучиной.

Степанида хорошо знает цену жизни. Она любит и небо, и людей, и наряды. Она смелая и любопытная.. И немудрено, что угрюмые чернорясные аскеты Духова монастыря, шевеля усами, сползают, как черные тараканы, по обрыву вниз, чтобы, укрывшись за широкими кустами, тайно полюбоваться на нижегородскую Вирсавию<sup>1</sup>, на эту чудесную рыбину во плоти человеческой. «Прости, господи, не легко в рясе жить на белом свете», — вздыхают аскеты, сокрушаются, а не уходят...

Степанида на днях, придя от Нестерова, объявила, что она никакому богу теперь не молится, потому что царь, назвавший себя императором, бога в тюрьму засадил и над ним насмехается, а бог ничего не может сделать царю. Какой же он после этого бог! Царь помыкает им, как холопом.

— Откуда ты знаешь? — спросил изумленный ее словами Филька. Она загадочно рассмеялась, а ничего не ответила.

«Ой, портит обер-ландрихтер девуку!» Уже давно подмечает Филья, что стала она опадать в вере, оголяться перед ним начала без стыда, не как прежде, — даже первая его вводила в соблазн под праздники. А разве устоишь?

«Подальше бы от Фени и греха было бы помене. Да как? Не выходит что-то», — застыдившись самого себя, подумал он.

Размышляя теперь обо всем этом, Филька Рыхлый то-ропливо шел к домику Степаниды в Печеры. Сердце его замирало от нетерпения. Волновался вдвойне: и Степаниду-то хотелось видеть, и дело-то очень важное было до нее. Сегодня все должно решиться. Довольно надеяться на Нестерова. Ну его ко всем дьяволам! Осел он битый, чтобы ему пусто было!

В кармане у Фильки железные крючки. Эти крючки

---

<sup>1</sup> Библейская красавица, которой увлекся царь Давид.



выковал он сегодня, под боком у кремля, тайно ото всех. «Двуперстие двуперстием, а зевать не след... Надо действовать», — твердо решил он, с замиранием сердца стукнув в окошко. «А вдруг дома нет?» Дверь отворилась. Шмыгнул в хижину. Степанида встретила в расшитом гладью многоцветном сарафане. Никогда ранее Филька не видел его. Уперлась руками в бедра, встала на дороге — розовая, большая, сильная. Ясно, что мысленно сама собой любит. Раньше этого не бывало. Ой, ой, Степанида!

— Чего ты такая нарядная?

— Задалил меня боярин Стефан. Не как ты!

Лучше бы не говорила, не растравляла Филькино сердце. Вынул из-за пазухи два железных крючка Филька и положил их на стол, деловито сказав:

— Любые вериги этими крючками откроешь...

Степанида быстро подошла к окну, закрыла его занавеской. Улыбка слетела с ее лица. Озабоченно стала рассматривать диковинные крючки. Он объяснил, что и как делать ими.

На улице ошалело горланили петухи. Может быть, солнце задорило птицу? Пускай. Не опасно. Не раскрыть ей замыслов Фильки, не понять ей того волнения, того великого гнева и тех соблазнительных надежд, у которых теперь он в плену.

Степанида приняла крючки и убрала их себе под тюфяк.

— Передашь?

— Передам.

. . . . .

Верхом на лошади въехал в Пафнутьево посол от ватаги гулящих, дыган Сыч. Бабы, каждая, думая, что она первая его увидала, повывезли на волю, платки белоснежные на ходу подвязали, заюлили:

— Не ищешь ли кого, добрый молодец? — спросили несколько женщин сразу.

Курчавый, черный, без шапки и веселый — глаза такие какие-то говорящие, будто для каждой из них у этого человека есть свое слово, — он ответил не сразу. Да еще бы, такой красавец! Такие не бросают зря слова на ветер, с разговорами не лезут.

— И во сне мне отроду не предвиделось такой стаи

нежных лебедек, и не знаю, как я теперь после этого расставаться буду.

А сам смотрит так ласково...

Разомлело бабье сердце. Да и чего же другого услышишь от такого «Егория Победоносца»!

И, конечно, если бы не высыпали из изб мужики, разговор Сыча с бабами слишком бы затянулся—слаб был человек, часто даже в походе отставал он от ватаги, благодаря какой-нибудь такой неожиданной встрече... Потом догоняет, как ошалелый, прибежит—еле дышит, а глаза воровские, бегают, ни на кого не смотрят.

Но товарищей не обманешь—уже очень хорошо все знали цыгана Сыча.

Первым подошел к цыгану староста, дед Исая:

— Давно от вас не бывали. Заждались мужики.

— Поклон вам, хрисьяне, от всех же моих товарищей! Сон потеряли—все думают о вас...

Слез с коня и низко-низко поклонился. А конь так и ходит ходуном, гладкий, красивый... ногами перебирает... глазами играет... Хвостом игриво обмахивается.

— Ну и конек у тебя! Загляденьце!..

— Арзамасский воевода мне его пожаловал по дороге, когда ехал в Нижний: «Бери, говорит, теперь он мне все равно уже не нужен». Я и взял. И впрямь, он ему теперь уже ни к чему! А между прочим, я к вам по делу.

— По делу, говоришь,—жалуй в избу ко мне.

Все двинулись к Исаяе в дом. Мужиков набралось полна горница. Всем было интересно послушать редкостного гостя.

— Ваши братья меня прислали к вам. Пропадаем мы без атамана и без вашей помощи. Задумали мы помочь вам, хрисьяне горемычные, и жизнь свою не жалеть для вас. Нам же все равно. Один конец. А за вас мы стоим до смерти... Но и вы, братцы, не должны забывать нас: все одно, что мы, что вы—одна же кость.

Задумались мужики. Дело-то оно понятное, да у самих-то уж больно тонко. До ниточки обобрали царевы сборщики...

— Исая, что ж ты молчишь?—толкнул Демид нетерпеливо старика.

— Вот пускай народ говорит... А потом и я,—зашевелил морщинами на лбу и пучками бровей дед Исая.

А цыган продолжал:

— Без помощи жить же нельзя. Надо помогать—по книгам так выходит. Слыхали, поди, про Касьяна и Николу, такие угодники божии были. Не мною придумано, а в евангелии написано... (Цыган двуперстно перекрестился.)

Исайя отрицательно покачал головою:

— В евангелии о Касьяне и Николе ничего не написано... Оные угодники проживали много позже...

Цыган не смутился.

— А не все ж ли равно: в евангелии или во псалтире, либо, скажем, еще где... О святых угодниках во всякой книге можно писать... лишь бы правда была и народу на пользу.

— Рассказывай... Что написано про Касьяна и Николу?—загадели любопытные.

Сыч обтер усы и оглядел всех торжествующе:

— Было это давно... В осеннюю пору увязил мужик воз на дороге. Беда! А дороги-то какие—чего тут говорить. Мучается мужик—знамо, кто бедняжке поможет. Идет собирать божью лепту с народа Касьян-угодник. Мужик, конечно, думал, что человек идет простого звания. «Помоги, говорит, родимый, воз вытащить». Касьян-угодник обиделся: «Есть, говорит, когда мне с вами тут валандаюсь!» Да и пошел своею дорогою. Что с него взять? Конечно, доведись это до меня, то я бы ему...

У цыгана вспыхнули глаза озорством, но он закашлялся и перекрестился, спохватившись.

— Немного ж спустя, идет тою же дорогою Никола-угодник... Мужик плохо разбирался в чинах, да как завопит: «Батюшка, родимый, помоги мне воз вытащить! Пропадаю!» Никола-угодник не стал спорить: «Ладно, говорит, что с тебя взять». Осмотрел его. А мужичонко драный, в старых лаптях. Вздохнул Никола-угодник, а все же таки помог... Куда ни шло.

— Заявились, после этого, Касьян-угодник и Никола-угодник, насобирав с народа лепты, к господу богу, в рай. Бог получил, что ему полагается, а потом и спрашивает: «Где же ты был, Касьян-угодник?» А тот и отвечает: «Был я в лесу. А попался мне на дороге мужик, у которого воз завяз. Он просил меня: помоги мне воз вытащить, а я не стал марать райской одежды». «Ну, а ты где выпачкался?»—спросил бог у Николы-угодника. Тот ему и говорит: «Я помог мужику воз вытащить». «Слушай, Касьян,—сказал тогда бог,—не помог ты мужику—

за то будут тебе через три года служить молебны. А тебе, Никола-угодник, за то, что ты помог мужику воз вытаскать, будут служить молебны два раза в год. Мало мужик на нас работает,—сказал бог,—мало он крови и пота для нас проливает, а ты, Касьян, не помог. Вот и получай себе наказание»...

— С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный только год служат молебн, а Николе два раза в год... Вот и выходит, братцы мои, по-божьему-то, вы должны помогать нам, и мы будем помогать вам... Друг дружку поддерживать станем. И все в рай попадем вместе, беспрепятственно.

Цыган Сыч перекрестился снова и замолчал, оглядывая всех смиренным взглядом. Перекрестились и мужики.

— Не зря послали тебя гулящие к нам,—улыбнулся добродушно дед Исайя.—На слова-то таких немного найдешь. Речист и писание знаешь.

— А что ж, не сам же я придумал... Во святых книгах читал,—как бы оправдываясь, заявил Сыч.

К вечеру Демид и Сыч нагрузили хлебом, мясом и крупю громадный струг. Им помогали с большою охотою многие бабы и некоторые из мужей этих баб. Посматривали эти мужья косо на бабье веселье: «Буде уж вам, бесстыдницы!»

На прощанье Сыч просил пафнутьевских сельчан расстараться поскорее насчет атамана. Демид взялся съездить опять в Нижний. Цыган говорил о том, что без атамана дело разваливается. Разбегаться стали. Демид дал клятву своим односельчанам, что не уедет из Нижнего, пока не достанет атамана.

— Ты поругай там кузнеца Фильку. Скажи, убьем его, если не освободит Софрона. Зря мы его у Макарья поили?!

Провожать цыгана и Демиду вышло все село; Сыч опять поехал верхом на лошади, а Демид поплыл в становище ватажников на струге.

Когда они скрылись из глаз, дед Исайя сказал:

— М-да, им надо помогчи... Поеду и я с Демидом... Вместе будем добиваться атамана, а может и диакона освободим.

Мужики охотно согласились со старостой, которого слушали и уважали, как отца родного.

Вышло только одно нехорошо: помощники цыгана переругались между собою, готовы были глаза выпарапать

одна другой, а потом полезли к мужьям сплетничать друг на друга. Деду Исае с великим трудом удалось восстановить порядок.

## XVII

Пристав Гаврилов, начальник тюремной стражи при Духовном приказе, невыразимо счастлив в эту пьянящую, знойную ночь — в одну из тех ночей, когда созревают злаки на полях, омываемые зарницами, и бабочки-бражники бьются у огней многоцветными крылышками, а в садах зарождаются яблоки и груши. Так тепло, так хорошо около Степаниды в эту ночь в яблоневом саду за приказом и так волшебным пахнет от девки немецкими духами, и ласковая она такая и мягкая вся, шелковая, горячая; пристав Гаврилов сразу забыл перенесенные им от нее обиды и радовался тому, что она снова к нему вернулась и снова его ласкает.

— Не любишь меня?! Ну так что же, как хочешь... Не люби.

— Я не люблю?!— в холодном поту вскрикнул изумленный пристав.

— Ни столечко!— и она показала на ноготок мизинца.— Другую полюбил... пригожее меня...

Гаврилов даже рубаху разорвал у себя на груди, задыхаясь от волнения, не зная, что говорить:

— Краля моя!..

Он не смог дальше подбирать слов, не мог говорить, он вообще не мог больше владеть собой... Весь мир, небо, земля и люди,— все провалилось куда-то вместе с Духовным приказом, все сожгла дотла лукавая, задорная улыбка милой Степаниды. Это он-то ее не любит? Напротив, он всегда считал, что она его не любит. Не он—она его бросила, и вдруг... Гаврилов обезумел, Степанида покорила... Щекотала лицо свежескошенная трава... Он этого не замечал. Где-то на кремлевском дворе стучала трещетка и где-то вдали, там, за кремлем, внизу, на Волге, растекалась в тишине унылая песня подъяремной бурладкой голи... И до этого ему не было никакого дела...

Потом пристав говорил:

— Филька твой—суккин сын. Ему по земле не ходить. Проглочу я его... Съем!

И, немного подумав, продолжал:

— А Степку Нестерова лишу я звания обер-ландрихтера дубиной из-за угла... Пускай, старый черт, не лезет, куда не след.

Степанида стала еще нежнее. Пристав даже почувствовал некоторую гордость и какую-то жалость к ней... «Что ни говори, а баба—первая стосковалась обо мне. То-то!» И сидел рядом с ней и ворчал на всех, ворчал без конца. И выходило из его слов, что лучше его нет никого и никогда не было на белом свете. Степанида жалась к нему, будто он и впрямь такой особенный,—ни в сказке сказать, ни пером описать.

— Значит, любишь меня?..

— Что хочешь, то и сделаю!..— снова набросился на нее пристав. Она отстранила его от себя:

— Завтра... а теперь...

Она сунула в руку пристава крючки, сработанные Филькой.

— Возьми... Передай...

Пристав вздохнул, помолился—не то на яблоню, не то на луну, и прошептал, оробев:

— Лихое дело!

— Святое дело!

— Не губи!

— На то ли я пришла к тебе, чтобы губить? Затем ли ласкала я тебя? Бедный человек! Зря я, что ли, нарушаю свою верность? Не стыдно ли тебе? Или ты хочешь, чтобы я разревелась на весь кремль?!

Пристав уцепился за нее, боясь, что вот-вот она повернется и уйдет. Он закрыл ей своей ладонью рот и сказал тихо, но решительно:

— Сделаю... Приходи завтра опять.

— Когда хочешь!..

В полночь крючки были переданы Софрону.

. . . . .

— Царю и воеводе помогают полки, солдаты, пристава, шпионы, но человек, борющийся со своими страстями, не имеет никого, кроме самого себя. Обуздать себя—это победа высшая, чем победа над врагом. Посмеяния достоин великий Александр Македонский, покоривший Азию и Африку, но побежденный гневом и в ярости убивший своих любимых друзей. Велика польза бывает от терпения.

«Стяжи себе зело терпения и сокровище обрящеши», — учит писание. А сокровище — это есть царствие небесное, — полулежа на соломенной подстилке, медленно говорил Александр, обдумывая каждое слово, и слова, налитые горечью, падали в тишине, как мерзлые капли запоздалого дождя. А теперь лето, солнце, воля к свободе и в руках крючки, которыми Софрон должен открыть кандалы и себе и диакону.

Целый день у Софрона с диаконом был спор об этом. Диакон не хотел бежать:

— Я не вор, не тать... Пускай сами сознают неправду и раскроют железа и тюрьму...

И вот теперь развивал свои мысли перед Софроном о жизни, о будущем, о царе, о епископе.

Софрон слушал старца с недоверчивой улыбкой. Он не считал себя ни вором, ни злым духом, мысленно стремился проникнуть в будущее, как и Александр, но видел там другое — борьбу и действительно большие, радостные перемены. «Велик и знатен бог, прославляемый в бесконечных совершенствах, но велик и силен и человек, и если бы не цепи, не подземные тюрьмы — люди были бы гораздо чище, умнее и сильнее». Выдернул бы, как худую траву из поля, всех тиранов Софрон из жизни. Лихое лихим изывается. «Страшно впасти в руки бога живаго», — говорится в писании. А кто такой этот живой бог? Они же самые, властители мира сего. Попы болтают в церквях эти слова, а не вдумываются в них. Они — боги земные — тираны. От них зло. Но у Софрона есть и своя мысль. Он не скрывает от Александра гордых замыслов. Впереди многое от него самого зависит, а главное, и матушка Волга рядом. Вольная волюшка сторожит его под окном, сердце не терпит: скорее бы! И недаром припоминаются выученные им в школе стихи Горация:

Я желаю, чтоб гордый ты был и свободен...

Это счастье его в руках. Он не верит ни в какое другое счастье.

«Слушать стариков да раскольников — от жизни отречься. Пропадай, кривда, выходи, правда, наружу! Правда светлее солнца, суда не боится. Была не была — сегодня ночью!»

И снова в голове стихи Горация: «Куда буря не закинет, гостем бываю. Теперь, гибок и проворен, погружаю-

ся в волнах гражданских страж твердый! И друг добродетели истыя...»

Софрон находил утешение и поддержку в повторении стихотворных речений Квинта Горация Флакка, особенно в тех местах его песен, где воспевались стойки. В твердости духа их и в презрении к жизни он видел завещанное ими людям могущество.

Прочь, сластолюбие! Проклятие Лизавете! Никакие мучения, никакие страхи не остановят его. Он должен быть таким же, как эти древние эллинские герои: гибок и проворен, глядеть в глаза смерти с усмешкой, на дыбе умирая, не издать ни единого звука.

Александр продолжал уныло тянуть тусклые нравоучительные слова:

— Не боготвори ничего сотворенного. Гордый боготворит себя. Своеволие овладевает его помыслами. Апостол Павел дает уразуметь, что диавол осужден за гордость. Апостол Петр сравнивает диавола со львом рыкающим и ищущим пищи, но и лев, и волк, и заяц, и даже всякая птица—все должны умереть... Чего же ради гордиться и зло другим творить?

— И волк и заяц,—сказал ему в ответ Софрон,—должны умереть, однако чего ради в пасть волку попадать зайцу?.. И нет такой твари, которая радуется тому, что ее съедят... А ты радуешься и не желаешь противиться!

— Смерть от злодея угодна богу. Сам Христос страдал от насильников,—упрямо твердил Александр.

— Но достоин ли нам радоваться страданиям христовым? Разумно ли это?!

И странно было Софрону глядеть на этого одурманенного священным писанием человека и хотелось громко прославить льва, которого апостол Петр осуждает за то, что он ищет себе пищу. О, если бы подневольные люди уподобились львам и стали гордыми и истребили бы своих угнетателей!

Александр уснул. Вытянулся во весь рост на земле вдоль сырой стены подземелья, точно умер. Софрон, убедившись в том, что старец спит, достал из-под соломы гвоздь, гнутый крючком, и приложил его к замку ножных кандалов.

От шума цепей Александр проснулся.

Софрон схватил его за плечи, склонился к нему:



— Бежим, бежим!

Диакон с сердцем отстранил его рукой.

— Не тяготит меня сия нора. Несчастия бежать не рассудно, не хочу обманом скинуть железа. Одного в душе желаю, чтоб со Христом мне вечно жить. Для него скорблю, страдаю, крест его хочу носить.

Софрон еще раз тряхнул его.

— Очнись, ужель тебе по душе каторжная подклеть? Владей умом и волею... Бежим!

Александр снова оттолкнул его.

— Бежать—значит страх свой казать злочестивым, а я не страшусь ни муки лютые, ни огня. Бегство не унизительнее ли страданий?.. Мысль моя не убьется никакого испытания... Умру с ней, а не выдам ее... Об этом скажи там, на Керженце... Влаstem же придерживающим всяка душа да повинуется.

Александр смотрел в лицо Софрона немигающим, застывшим взглядом. Он вытянулся, звеня цепями, и словно во сне, ровным, похожим на бред, голосом произнес:

— Познал тщету земных я благ. Блаженство тот наследует, кто духом нищ, кто слезы проливает, правды алчет, правды жаждет, в кротости, незлобivosti, миролюбив и сердцем чист, кто страдает от людей невинно...

— Стой!—схватил его за руку Софрон, трясаясь от негодования. Лицо его покрылось красными пятнами.— Человеку гнусно быть голубем, не хочу я в лапы попасть ни соколу и ни кречету, а тем более черну ворону. Богатый и знатный—что медведь пресыщенный в берлоге. Похитили они у бедняков единственную радость свободно любить, растить детей. В венце порфирном и ризе виссонной блаженствуют владыки мира сего на спинах рабов своих, а добродетелью, как кнутом, подгоняют. Бог казнит нас бедами, а их ублажает радостью и веселием.

Софрон с негодованием бросил цепь и гордо сказал:

— Уйду в горы, в леса, на Волгу расторгать сплетенные врагами сети. Противны мне предводители благоумные и смиренные духом,—они заодно с царями, боярами и князьями церкви, они предают нас, вводят в обман. Прощай, пустопоп благочинный! Противно мне твое смирение!

Богатырскими руками он ухватился за железные прутья решетки. Они погнулись.

— Помоги!—прошептал Софрон.

Александр попятился в ужасе в угол.

— Не хочешь!—засмеялся Софрон и со всей силой рванул решетку. Посыпалась известь.

Александр перекрестился, попятился к стене и сказал вслед Софрону, скрывшемуся в окне:

— Будь счастлив, юноша!

Слезы потекли по его щекам.

## XVIII

Ночью дьяк Иван вернулся в Духовный приказ из подземелья весь растрепанный, глаза в разные стороны, бледный, чумной. Остановился среди кельи и прошептал, с трудом дыша, «вельми непристойные слова, не по чину»...

Но, опомнившись, закончил:

— ... Мати пречистая, спаси нас!

Да в расстройстве неловко повернул задом, толкнув сложенную в углу колонку киотов. Она рассыпалась. Такой шум потрясающий в архиерейском доме произошел, что сам преосвященный епископ сначала сильно закашлялся, а потом торопливо зашаркал туфлями у себя в половине. Дьяк Иван позеленел от страха, нагнулся, начал скорехонько поднимать киоты. Но опоздал—дверь отворилась: в белой ночной рясе на пороге стоял епископ.

— Ты чего тут?—спросил он, сурово нахмурившись.

— Беда!—воскликнул дьяк.—Беда!

Питирим уставился на него удивленными глазами.

— Говори!

Вытянулся дьяк Иван перед епископом и, не переводя духа, выпалил:

— Сию ночь противу четырнадцатого июня известный вашему преосвященству колодник, пономарев сын Софрон, сломал у тюремного окна решетку, бежал, а после него в тюрьме найдены пожные железа, в коих тот колодник сидел, да деревянный ключ, да гвоздик железный, загнут крючком, которыми знатно те железа отомкнуты...

Питирим, в ярости, схватил дьяка за руку и так рванул его, что, несмотря на свою грузность, дьяк отлетел в угол, как перышко.

— Позвать пристава!—прохрипел епископ, как всегда в гневе прикусив верхнюю губу.

Дьяк от испуга не двигался с места... Минуту длилось молчание. Он, видимо, хотел сказать что-то в свое оправдание.

Питирим теперь дернул его со злостью за бороду:

— Чего стоишь?

Словно из-под земли, выскочил пристав Гаврилов и еле слышно произнес:

— Прощенья молю, ваше преосвященство! Слыхом не слыхивал, видом не видывал, как так мог утечь оный разбойник.

— Зови сторожа!—крикнул Питирим дьяку Ивану, ударив кулаком по столу, и обругался редкостно.

Дьяк исчез.

— Говори скорее! Диакон Александр где?—закричал епископ на пристава.

— Диакон Александр не пошел за утеклемом, не захотел послушаться твоей воли...

Питирим приказал ответ держать явившемуся с дьяком сторожу Федорову.

— В канун того числа к Духовному приказу пришед неизвестная жонка,—сказал Федоров,—которая спрашивала у тюремного окна колодников, а лицо ее было закрыто, и кого именно спрашивала она,—из караула расслышано не было...

Пристав покосился в ужасе на сторожа...

— Каково имя жонки?—опершись локтями о стол, уставился преосвященный глазами в лицо пристава.

— Не ведаю!—отступил в растерянности тот.

— Так ли?—прищурился епископ.—А ты?—обратился он к сторожу.

— Не ведаю!—пробормотал сторож, поглядывая на пристава.

— Иди!—махнул рукою на дверь Питирим.

Пристав быстро удалился.

Питирим подозвал сторожа к себе поближе и, отвернувшись к окну, начал молча перебирать четки.

Несколько минут длилось тяжелое молчание. Федоров стоял красный, весь в огне, мучительно подавлял дыхание, глазки его слезились, бородавка тряслась, выдавая внутреннее волнение.

Питирим продолжал смотреть в окно, как бы забыв о стороже. Вдруг раздался его тихий, какой-то незнакомо ласковый голос:

— Поговорим любовно. Слыхал ли ты, православный человек, какие разговоры той жонки с приставом Гавриловым?

— Многие разговоры она имела и привела еще двух девок, которые девки, как наслыхан я, утеклеца-де сестры, Авдотья и Настасья прозываются..

— А не видал ли ты: не было ли разговоров бывшего студента, пономарева сына, с бабами?

— Не! Не видал!..— упал в ноги епископу сторож.

— Так-таки и не видал?— улыбаясь, переспросил пересвященный.— И не видал, с кем спали бабы?

— Видал,— тихо ответил сторож, стоя на коленях.

Питирим сказал дяку: «Уйди». Дьяк Иван ушел.

— С кем?

— Убьет он меня. Разом перешибет.

— За лицемерные и подлые деяния сам же будет наказан смертью. Говори без утайки.

— Грозил мне смертоубийством.

— Питать буду.

Сторож съежился, заревел:

— Пристав Гаврилов уходил в ночь. С какой женщиной, впотьмах я не разобрал.

— Кто эта жонка?— продолжал наступать на него Питирим.

Сторож шепотом сказал: «Степанида».

— Убирайся!— проскрежетал зубами епископ.

Сторож, пошатываясь, побрел вон из архиерейских покоев.

Питирим зло посмотрел на вошедшего вновь дьяка.

— Допрошу всех самолично. Беглеца повелеваю сыскать большим повальным обыском, многими людьми; искать везде накрепко, не взирая на чины. Пристава—в кандалы.

Дьяк низко поклонился.

— Бог в помощь!— благословил его епископ, смягчившись.

. . . . .

В эту же ночь дьяк Иван верхом на взмыленном коне объезжал всех приставов, ландратов, фискалов, военачальников города с секретным сообщением о побеге опасного колодника. К заставам нагнали ярыжек и солдат. Ловили всех, кого ни попало, и тащили за ворот в острог: кого на Полевою, кого к Ивановской башне. Сажали в

колодки и обряжали в цепи на общих основаниях с держанием до розыска.

Ночами по квартирам, словно мыши, шмыгали ярыжки и искали беглеца под нарами и койками, на печках, в чуланах и на чердаках.

И стали ломать головы служки архиерейские и епископ сам: куда мог направить стопы свои беглец? Приходили в Духовный приказ и губернатор Ржевский, и его помощник Волинский Иван Михайлович, и бургомистр Пушников, осматривали казематы и диву давались: какую силу должен иметь такой человек, изломавший тюремные решетки. Затем, вместе с Питиримом, сидели и гадали — где скорее всего можно накрыть утеклца. То, что дорога одна лежит для всех бегствующих колодников — заволжские леса, — всем было ясно. Выходили на берег и смотрели в сторону лесов.

По Волге посланы были струги. Стояла сушь трескучая, пожгла до корня хлеба на напольной стороне. В нос лезла гарь лесных пожаров. Дымилось густо Чернораменское полесье: горели и тлели многие чащи, горела и тлела многая сухоболотная земля; черные клубы дыма выползали из глубоких недр торфяников, заволакивая небо желтовато мутною пеленой. Птицы бросали гнезда. Люди говорили о скором преставлении света: «Се ад чадит, се геена огненная просовывает к Нижнему свои языки изпод грешной земли, ад хочет пожрать гниющий в новинах грешный Нове-Град».

— Ух, и жарынь, людюшки, ух, и жарынь же, ух-ма! — говорил один монах, следивший из-за сарая на берегу за начальниками города, другому, ловившему на досках у сарая мух.

— Чего не жарынь — хушь блины напекай на тепле, — отозвался тот, поймав муху. — Жалкое существо, зачем живешь?

— Слыхал? — понизив голос, сказал его товарищ. — Погоню наряжают.

— Лови ветра в поле, — подмигнул тот. — Пожалуй, пойдешь проведать, да и останешься обедать. Недолго.. Ой, дела! Бунтом, мятежом пахнет...

Он оторвал у мухи крылья, бросил ее на землю и растер лаптем.

— А ты слышал, Потап, хозяин-то наш задумал попам да чернецам бороды брить...

— Чего уж тут! Смотри, икону повесили в часовне, Миколу Чудотворца без бороды. Что в этом?! Дадут приказ—и в лютерскую ересь обратишься. От них зависим... С Благовещенского собора да с Крестовоздвиженья колокола уже стянули на пушки переливать. В их власти.

— Ялтынъ царский—вот наша жизнь... За ялтынъ любую душу купишь и что хочешь.

Говорили монахи тихо, а сами посматривали в ту сторону, где стояли губернатор с помощником и Пушкинов.

— Фискалою меня хотят сделать,— на ухо произнес мухобой.— Доносить.

— Пойдешь?—спросил его товарищ.

— Пойду. Деньги платят, и воля большая.— Он оскаллил свои сильные жеребьячи зубы.

— А на меня донесешь?

Мухобой задумался. Его товарищ смотрел на него с нетерпеливым любопытством.

— Ну?!

Так ничего и не ответил монах своему товарищу.

Ночью стражники под предводительством дьяка Ивана с высоко поднятыми факелами в руках через кремлевский двор перевели диакона Александра в темницу Ивановской башни. Посадили его за тремя запорами, приковав к стене. «Поменьше мудрой—больше толку будет»,—погрозился на него дьяк Иван, уходя.

Александр, как всегда, молчал.

## XIX

Из архиерейского сада через обвал в кремлевской стене Софрон спустился к бывшей Стрелецкой слободе. Вот уже два с лишком десятка лет, как стрельцы «по указу государеву» сведены на нет, а домики их еще остались, лепятся они по склону каменистого берега.

Слобода опустела, обнищала. Некоторые дома без крыш, в них птицы гнезятся, они заколочены. В других, хотя и обитаемых, не видно людей. Бродячие собаки слоняются по дворам с унылым, голодным видом. А некогда здесь кипела жизнь. Стрельцы командовали берегом, дарствова-

ли на Борском перевозе. В кабаках разливались бесшабашные их песни, шла гульба. Панская улица, где в стародавние времена Грозного были поселены пленные литовцы, протянувшаяся низом по берегу от кремля до самых Печер, утратила былую роскошь, тоже обедняла. Доживали теперь здесь свой век старики и старухи. Здоровые мужчины искали счастья в войсках Петра: кто в гвардии, кто во флоте, кто на постройке заводов.

Но, хотя было и пустынно здесь, Софрон опасался именно тут быть узанным и пойманным. Скорее всего, можно было на этой полугоре столкнуться со стражей, охраняющей подступы к кремлю. Обычно конные солдаты спускаются к реке с верхней набережной по отлогому Коровьему съезду, огибавшему кремлевскую стену до самого перевоза. Удобный для них путь. В древние времена, еще до основания Нижнего, этим съездом пользовались ратники — мордва, охранявшая свое сельбище, раскинутое на горах над Волгой.

Софрон не сразу вышел из развалин слободы на съезд. Он притаился за кучею щебня и кирпича, выпавшего из-под пробоины в кремлевской стене (после недавнего обвала).

Внизу, в сумраке, чадит костер. Рыбаки копошатся у самой воды. Не Волга, а великое стекло, отражающее вечернее небо, — тихо, тихо. Днем здесь толпятся бурлаки, коноводы, крючники. Проходят струги с товарами по воде, парусные ялики. Вечером слышны всплеск рыбы и грустные песни бурлаков, по-настоящему чувствующих только на отдыхе всю красоту могучей реки, все величие мира... Днем бурлак слеп и нем, бечева тянет из него жилы, затемняет голову — до песен ли, когда потом поливаешь путь свой? И до красоты ли?

Быстро сгущался вечерний мрак. Софрон решил выждать, когда еще больше стемнеет и на берегу уgomонится народ. Во что бы то ни стало сегодня нужно перебраться на завожскую сторону.

Вдруг совсем недалеко на тропинке среди кустарников, уходящих вверх до самой Ивановской башни, послышались осторожные шаги и тихие голоса.

Софрон притаился. Притаились и те, кто крался в кустарниках. Вдруг совсем рядом раздался тихий, хорошо знакомый голос:

— Он должен быть здесь...

— Филипп?! — так же тихо спросил Софрон.

— Мы.

Давно не виделись два друга: богатырь Софрон и тщедушный Филька. Хотя один был и раскольник, а другой—православный, церковник, однако обнялись они, как родные братья. Одна забота всех единит, одна печаль, и забывают люди не только то, что они разной веры, но и то, что они на разных языках говорят. С одного взгляда понимают друг друга и загораются все одним огнем ненависти против угнетателей-бар. Филька слезу пустил от радости. Наконец-то исполнилось его горячее желание—освободить товарища от цепей! Стоявший немного поодаль Демид сказал озабоченно:

— Ребята, поторопитесь. Облавы не было бы...

— Этого не бойся,—указал Филька на Демиду,—свой человек, с Керженца. Самый мой друг...

— Пошли!—скомандовал Демид, подозрительно оглядывая кустарники.

Прохладило от расселин, по которым сбегали ручьи с горы к Волге. Пахло гарью, приносимой ветерком с берега, от костров. Стрекотали где-то кузнечики.

— Туда!—махнул Филька рукою по направлению к Оке.—Нора там у нас под собором Благовещения. Айда, кустами!

Все трое, гуськом, один за другим, с Филькой впереди, двинулись в путь. Софрон предупредил товарищей: епископ снарядит погоню, а может быть, уже и теперь рыскают его шпионы в прибрежных кустарниках, разыскивая беглеца.

Филька и Демид прислушались.

— Ничего. Идем.

Кое-где на горах замелькали огоньки: свечи и лучины в посадских домах. За рекою послышался одинокий унылый колокол. Он казался лишним, сердил Фильку. Кремль, вопреки обыкновению, молчал, темный, зубчатый,—все трое невольно, с тоскою, оглядывались назад, в его сторону. Кремлевская тишина, колокольное его беззвучие заставляют задумываться иногда, вспоминать об епископе.

А вон уж и Ока!

— Остерегайтесь, други. В этих кустах ночуют воры, а в числе их блудные, продажные монахи... Недавно купца кунавинского зарезали и бросили в Волгу, а донесли на мордвина-перевозчика, Тюнея Сюндяева... Донесут и о нас за сребренники... У них собачий нюх...



Филька все знает. За это его и уважают на Керженце. Такой человек нужен. Софрон с Демидом, пригнувшись, шли за ним по краю берега осторожно, но уверенно. Дорогой Филька рассказал Софрону про ватагу, которую видел под Макарием. Софрон слушал и радовался рассказу Фильки. Это то и есть, о чем он думал. Он сомневался, сидя в подземельи: может ли скоро найти какую-либо ватагу беглых людей. Оказывается, она уже готова!

— Много ли их?—спросил он с волнением в голосе.

— Ватага растет с каждым днем, только им нужен атаман. Тебя они и ждут там.

— Гожусь ли я?

— В самый раз,—ответил Филька.

Софрон улыбнулся той уверенности в голосе, с которой ответил кузнец.

По воде пробежала легкая рябь. Месяц поднялся из-за сосен на кунавинской стороне, на мысу, врезавшемся в Оку и Волгу. Легли серебристые дорожки по водяному полю.

В глубокой пещере под Благовещенским монастырем среди густых зарослей, собирались они, гонимые, отверженные, объявленные врагами церкви и отечества, «ревнигели древлего благочестия». Это место находилось на окраине посада, запрятанное, подобно гнезю ласточек, в обрыве над водою, и, чтобы сюда пройти, надо было знать одну, никому неведомую из посадских дорожку, опасную, ежеминутно грозившую утопить путника в волнах маташки Оки-реки. Сорваться вниз ничего не стоило, берег и сам обваливался. Сюда и привел Филька Софрона.

В пещере охватили сырость и холодок. На широкой рогоже, разостланной по земле, уже сидело трое «своих». Плошка с маслом освещала на коленях у беглого солдата Чесалова икону. Над ней задумчиво склонился седой, бородатый дядя Исайя. А с ним в таком же виде и старец Герасим с Керженца. У Чесалова в руке была зажата кисть, а у дяди Исайи черепки с чернью и белилами.

При появлении Фильки, Демиды и Софрона они оторвались от иконы.

— Честью творим привет!—поклонился Филька. Обменялись поклонами.

— Вот он,—показал Филька на Софрона.

— Экий Самсон-великан. А глаза голубые, детские...

Это хорошо. Такие бывают удачливы,—погладил Софрона старец Герасим, оглядывая его с ног до головы.—Садись с нами.

— Ох, братики, братики!—вздохнул Демид.—Торопиться бы нам надо теперь, по домам... Разъярился, поди, теперь долгогривый лешак. Погоню, чай, послал. Старца Александра все одно не спасешь. Сам не хочет противу власти идти... Запирается.

— Обожди. Угнемся, поспеем,—угрюмо буркнул Исая.—Дело у нас тут. Подарок антихристу за Александра готовим.

Чесалов, скосив язык, водил кистью по иконе.

— Что же у вас такое тут, братцы, за дела?

— Святого великого князя в старца обращаем,—ответил солдат Чесалов.

— Сними с него меч!—в сильном раздражении дернул Чесалова дядя Исая.

— И кольчугу замажь!—вставил свое слово уже и Демид.

— Да, брат! Надумали подарок послать преподобному Питириму... Он икону повесил в часовню в Пафнугтее, а мы ему ее обратно возвращаем. Пускай получит награду за старца Александра,—ехидно произнес дядя Исая.

— Стойте, стойте, голуби вы мои!..—ворчал Чесалов, усердно замазывая белилами шлем и лицо князя. Некоторое время все с чувством особой удовлетворенности любовались князем без головы, но рука богомаза разошлась вовсю. И вместо безбородой, в железном шлеме, на бывшем князе выросла другая, большая не по росту, седая, остриженная «под горшок» голова. Вместо кольчуги и белой туники, грязное рубище до пят, в крови; на ногах лапти.

— Аминь, великий князь!.. Сравнялся! Был и нет тебя,—торжествующе провозгласил солдат Чесалов.

— После победы над свейским королем такой манир пошел... Во все церкви иконы князей суют. Святых царей, князей да митрополитов в божницу мужицкую порывают зачихнуть. Нечцы богомазы объявились, и царь им заказы дает—писать новые иконы, без бороды, без усов, в великокняжеских и архиерейских одеждах... Николая-угодника обрядили, как нижегородского архиерея.

— Золотой парчой нас не подкупишь... Нам справедливость и совесть нужны...

— Истинно говорят люди—церковь стала не божья, а государева... антихристова.

Дядя Исайя был человек начитанный, и его все со вниманием слушали. Вот и теперь у него в руках две тетради, которые он привез с Керженца для передачи в Благовещенский монастырь одному знакомому монаху. Тетрадь в полдесть «об ипоке, выпадающем в блуд». Тетрадь скорописная: «Чин на разлучение души и тела». Среди монастырской братии есть шатающиеся, тайно оболъстившиеся раскольничьей прелестью люди. Дядя Исайя не забывает их снабжать книгами.

Теперь он сидел и думал над иконой: не надо ли чего еще прибавить?

— Да, братцы, не все здесь показано...—взяв руку солдата с кистью, объявил он.—Обряды старца в ножные и ручные кандалы, а за спиной—беса в архиерейской митре... С черной питиримкиной бородой.

Солдат Чесалов мог написать что угодно товарищам—с детства в селе Семенове расписывал ложки, чаши и сани. С отцом работали. Науку прошел. Пожалуйста! Вот и цепи. И получились они у него тяжелыми, жестокими, и морда беса в митре—самая натуральная. Прямо хоть сейчас его в Преображенский собор литургию оглашенных служить.

— Этого мало, братцы,—вмешался и Софрон.—У меня есть мысль. Надо вложить меч в руку сего старца...

Поднялись споры: зачем меч? Дядя Исайя разводил от удивления руками. Богомаз задумчиво ковырял в носу. Старец Герасим—на дыбы.

— Демон нашептал тебе, отрок, что ли, на ухо—меч? Старцева ли сия часть—держат орудия убийства в рудех?

— А доколе мы будем овечками?—громко спросил Софрон, дерзко оглядывая всех.—Если не меч, то копие или лук. Враги наши тоже сильны, их молитвами не одолеешь.

Здесь вставил слово Чесалов:

— Луком тоже много ты не сделаешь... Ружье. Мушкет.

В результате долгих споров Чесалов нарисовал в руке старца драгунскую саблю.

— Под Полтавой ею здорово шведам головы отшибали,—пояснил он.—Ежели бы да старцам и беглецам их дать, тогда капут питиримкиной гвардии...

Когда икона была готова, стали обсуждать: как ее доставить в архиерейский дом. Это было самым трудным

делом. В кремль лучше не входи. Ярыжки, фискалы, на-  
дворная пехота, монашеская стража; на всех стенах и баш-  
нях мушкетеры — везде глаза и уши митрофорного коман-  
дира. На каждом шагу ждет «слово и дело».

Долго раздумывали, ломали голову. Наконец, Филька  
заявил:

— Доверьте мне... выполню.

Все вопросительно оглянулись на него.

Дядя Исайя, задумчиво сдвинув брови и погладив бо-  
роду, остановил свои глаза на Фильке.

— Не было бы опасно?

— За небо не хватаемся и зря на полу не валяемся, —  
Филька хитро подмигнул. — Не бойтесь!

— А ты сам-то где работаешь? — спросил Чесалов.

— По милости боярской — сам себе Пожарский... По-  
садский кузнец.

— Мотри, не попадайся... — прошамкал в углу старче  
Герасим.

— Этому можно. Свой. Вместе мы с ним в Городце,  
в бегах состояли, — указал на Фильку Демид.

— То-то, — успокоился старик.

Софрон вынул из кармана листок.

— Вот мне пристав дал, — произнес он, приблизившись  
к огню, чтобы прочитать. — Списал он у дьяка Ивана до-  
ношение епископа царю: «Монахинь в лесах тысячи че-  
тыре будет, надлежит их взять всех в монастырь, а пища  
им хлеб и вода, а которые обратятся, тем подобающая  
пища; немногие из них останутся без обращения. Стари-  
цам, старцам и бельцам в лесах, полях, на погостах и по  
мирским домам никому жить не велять под смертной  
казнью».

Чтение было прервано общим возмущением слушате-  
лей. Старец Герасим сидел, нахмурившись, исподлобья  
оглядывая собравшихся. Демид обругал епископа. Дядя  
Исайя — хоть сейчас в рукопашную, рукава засучил и  
головой вертит победоносно глядя на своих же.

— Ах, сатана!.. Вельзевул мохнатый! — шептал он,  
весь покраснев от натуги и еле переводя дух от пры-  
ганья.

Софрон, обождав немного, продолжал:

— ...«только не надо ослабевать, а вину положить  
для отводу, что по лесам в кельях живут беглые сол-  
даты...»

Тут уж словечко вставил и солдат Чесалов, да такое, что старец Герасим уши зажал.

«...беглые солдаты,— читал Софрон,— драгуны, разбойники и разных чинов всякие люди не хотят службы нести и податей платить... Беспоповщина твое царское имя в молитвах не поминает, а поповщина поминает только «благородным», а «благочестивым» и «благодарным» не называют, церковь, догматы и таинства разными хулами хулят...»

— Буде,— хлопнул пятерней по бумаге старец Герасим, задыхаясь от волнения.

— Провалиться ему, брехуну проклятому... типун ему на язык, ироду поганому,— прогремел дядя Исая.

— Вилы ему в сердце, в печонку,— заскрежетал зубами Демид.

Филька вскочил с земли, выхватил у Чесалова икону:

— Пиши на обороте...

Чесалов взялся за кисть.

— Пиши: «Сколь ни клевети, сукин сын, ни распинайся перед Петрушкой, а попадет тебе по макушке!»

Все злобно фыркнули.

Тогда встал с своего места Софрон.

— Вот, братцы, мое слово: надо раздобыть ружей, сабель... Моя дорога лежит по Волге. Не хочу я навлечь на ваши мирные скиты гибели, не пойду к вам. Хочу я вступить в бой с питиримовской гвардией... Наберу я молодцов смелых, отважных и зачну разбойничать, преграждать путь врагам вашим на Керженец... Мне надобны струги, весла, ружья и сабли. А хлеб мы достанем сами... Вот он знает,— Софрон указал на Фильку,— у Лыскова набирается ватага. Атаманом прочат меня к ней. Благословите и помогите. Дело общее.

Старец Герасим первый нарушил молчание.

— Слышал я, говорил нам один из беглых солдат — Евфимий: не для народа петрова власть... Описал он всех человек, разделил на разные чины, размежевал неправедно землю.<sup>1</sup> Сим разделением земли, леса и воды сделал нас несчастными, наделив кому много, кому мало, иному же ничего, токмо единое рукоделие... Не для народа петрова власть... А теперь царевич Алексей жив, и власть его будет властью и нашей.

---

<sup>1</sup> Речь идет о народной (подушной) переписи 1718—1719 гг.

При упоминании имени царевича все оживились, лица повеселели. Демид начал крутить усы, длинный Чесалов растерянно-радостно оглядывал всех своими маленькими, птичьими глазками.

Софрон задумался:

— А правда ли это?

— Да, верные люди говорят, а в церквах попы нарочно его за упокой поминают... Для отвода глаз. Питирим приказал.

Филька пришел в азарт. Вскочил с места, ухватил Софрона за руку:

— Верь мне! Похоронили в Питере другого человека вместо Алексея... А от Петра не жди ничего. Готовь отряд... ватагу... Навстречу царевичу пойдем. Все двинемся... Мы не одни, из Стародубья большее войско тронулось.

— Яблочко от яблони недалеко ложится. Попусту не думайте о царевиче. Самим нам на себя надеяться надобно! Вот что! — отрезал Софрон.

— Дело говоришь, — вздохнул, поглаживая свой громадный нос, Чесалов. — Как видать из писанья епископа, другого выхода нет. Гроза надвигается на престолюдина... Надо защищаться. И я уйду на Волгу. С Софроном. Вместе будем, вместе биться с врагом, вместе, если надо и погибнем... Смерть нам теперь не страшна.

— Ну, что же, да будет так, — сказал Исайя. — Орлам летать и полагается... Я так и думал об этом молодце, — указал он на Софрона. — Он может. Взгляд горячий, сердце львиное и сила самсонова... И его ждут с нетерпением в ватаге у Макарья Гонца к нам присылали.

— Как ты, старец Герасим? — спросил, задумчиво поглаживая бороду, дядя Исайя.

Старец молчал. Все оглянулись на него.

— Чего же ты молчишь, праведник?

— А что я могу? — тихо заговорил Герасим. — Будь я помоложе, пошел бы и я, — божье дело. Вы молодые. Нагрешите, а после замолите, а мне уж времечко истекло. Не замолить.

Софрон выпрямился, тряхнул кудрями. Голос его звучал мужественно.

— Они подняли на нас меч. А в писании сказано: поднявший меч от меча и погибнет. Да будет так. Давайте нам ружей... сабель... и стругов... Диакон Александр призывает к повиновению и раболопству, а я зову вас к бою.

Убивать себя—великий грех. Не лучше ли, чем пожигать себя и детей своих, взять меч в руки и бить врага?

— Купцы помогут которые...—весело сказал Филька.— Деньги уже есть. Только их караваны трогать не надо. Олисов обещал.

Встали. Отец Герасим, разглаживая отекишие ноги, вслух прочитал молитву о низвержении врагов, захвативших престол и церковь.

Когда Филька вышел из пещеры, над Окой стоял теплый синий сумрак. Невдалеке тихо звенели брызги под торпливыми веслами. Месяц повис над Кунавинской гривкой. Чернели маковки сосен. Прокричал филин на той стороне Оки, в роще.

Филька, тихо и ловко ныряя в кустарниках, словно лисенок, стал взбираться в гору, на посад.

## XX

Монахи Духова монастыря испуганно тряслись, внимая грохоту бури. В темной пропасти под кремлевской горой бушевала Волга. Молнии рассекали ночное небо и, срываясь, тонули в реке. Вспыхивали кресты соборов, гордые своею суровой властью над людьми.

К архиерейскому дому, в темени, через кустарники, пробирался человек. Послышался голос стражи: «кто там?». Окрик повторился, но, кроме смятенного шелеста листвы и раскатов грома,—ничего не последовало в ответ. Человек нырнул в архиерейский дом. Вода ручьями лила с его черной рясы, скуфья съехала набок; весь он съежился от страха и промокнувшей насквозь одежды. Упал на колени перед Питиримом и тремя перстами несколько раз перекрестился.

— Благослови, владыко!—ткнулся он лбом в ноги Питириму.

— Благословенно имя господне отныне и вовеки! Встань, Варсонофий... Рассказывай.

Старец быстро поднялся с пола и поцеловал епископу руку, а затем около иконостаса жиденьким голоском, задыхаясь от волнения, пропел: «Достойно есть, яко воистину...»

После молитвы, отдышавшись, сказал:

— Пречестнейшему вождю церкви святых, епископу Питириму, низостно кланяюсь и вручаю ответы смиренных

старцев наших, скитожительствующих в керженских и чернораменских лесах.

Обнюхивая воздух, низко поклонился и подал Питириму пергаментный свиток. Епископ взял свиток, подставив Варсонофию руку, к которой тот и приложился.

— Всепокорный и неослушный раб его царского величества и вашего архиерейства по вашему зову явился и признаю, что представленные скитами вам ответы, за краткостью ума нашего, скудомыслия полны... И так как я не согласен с ними, то и подписи руки моей к ним не приложил...

— Много ли ответов тебе не показалось?—испытующе глядя на Варсонофия, спросил Питирим.

— Как-де правду сказать, мне и все они не кажутся.

— А вызвал я тебя, чтобы объявил ты там на Керженце и в Черной Рамени, что епископ не отпустит диакона до той поры, пока не разменяется с ними настоящими ответами перед самим народом... Надлежит мне таковую вашу неправду, приехав на Керженец, при собрании всего народа обличить. И когда приеду, тогда и вам свои ответы отдам. Пускай все видят.

— Да будет так!—смирненно поклонился Варсонофий.

Питирим молча, с любопытством разглядывал старца, у которого на худом лице засияла убогая радость, и вдруг, взяв его за тощую руку своей могучей дланью, подвел к скамье: «Садись!». Сел и сам рядом.

— Помоги мне. Вижу. Вижу, что свет истины живет в разуме твоём, и сердце твоё—сердце праведника. Ты можешь внять голосу пастыря.

Варсонофий чуть не заплакал, так его растрогал ласковый голос Питирима.

— Жажду я вашего благоуветливого, кроткого и мудрого врачевания,—сказал Варсонофий, снова поцеловав руку епископа.—Многое не по душе мне, творимое скитожителями... От многого я отрекаюсь навсегда.

Лицо епископа просветлело.

— Держи говоримое в тайне. Ответы ваши неправые есть, написаны человеком, не знающим святого писания. Возьми ответы другие, не основанные на ложных еретических сказаниях, а согласные с канонами святой восточной католической церкви.

И он достал из стола другой свиток и вручил его Варсонофию.



— Александра я не отпущу... Давай сказку поручительства за него, что он не уйдет никуда, тогда захватывай и его с собой на Керженец... Надеешься на его верность?

Варсонофий отрицательно покачал головой:

— Не надеюсь.

— Ночуй у меня в покоях, а завтра иди к губернатору. Он поговорит с тобой о выгодном для вашего согласия деле.—Питирим дал записку на имя Ржевского.—Леса сдаются вам на разработку для кораблей... Освобождаем вас от рекрутчины, от двойного оклада, от налога за бороды, щедрую плату за работу иметь будете... Объяви там.

Варсонофий вповь приложился к руке епископа, благодаря его за эту милость.

— А теперь иди, спи!..

Но не скоро легли спать епископ и Варсонофий. Почти до самого утра просидели они, беседуя. Питирим учил, что должен Варсонофий сделать в скитах к его приезду на Керженец. Между прочим, оказалось, что Варсонофий кое-что знает об обер-ландрихтере Нестерове. Пять дней подряд следил он за ним: «Вредный человек этот Нестеров». И к побегу кандальников безусловно причастен, и в скитах на него надеются, им обнадежены. Питирим, от радости и удивления усердию старца, обнял его, дал ему перо и бумагу и велел все написать, что он знает о Нестерове.

Гроза сходила на пет, ветер улегся в горах, только за раскрытым окном крупные и редкие капли дождя шуршали в листве. В покои епископа входил теплый, душистый, увлажненный дождем воздух. Светало.

В саду над Волгой бродили сонные монастырские стражники Масейка и Назарка. Только под утро, когда с колокольни Спасо-Преображенского собора сорвались и потекли над садами четыре грузные удара, увидели они, что в покоях епископа погас огонь.

Но, как ни зорко охраняли они архиерейский дом и Духовный приказ, однако не заметили того, что в сад под окно кельи епископа забралась некая загадочная персона, влезла по бревнам до самого окна, сунула в него набитую чем-то котомку и, не хуже любой кошки, пала наземь, скатилась вниз по горе, перепрыгнула через обвал стены и побежала по волжекому обрыву вниз к реке.

Только утром сторожа-простофили узнали о происшедшем.

— Вот вы как, сучьи дети, охраняете кремлевские святыни!—рычал на них дьяк Ивап. По обыкновению, засучил рукава, откинул космы на затылок.—Я... я... ва-ас...—надвигался он на сторожей, процеживая сквозь зубы в самое сердце разящую ругань.

Говорит и крадется. И вдруг со всего размаха—хватить! Сначала Масейку, а потом Назарку. Ой, как здорово! Тя-ажелая рука! После этого всякая охота ко сну пропала у ребят, хотя и не смыкали глаз во всю эту ночь. Что подлаешь! Почесались, поклонились дьяку и пошли прочь.

Под вечер разъяснилось. Инокс Духова монастыря по секрету все рассказали: икона кощунственная ночью была подвунута кем-то епископу в келью, а на иконе той неизвестная рука «на память его преосвященству» начертила: «Сколь ни клевети, ни распинайся, сукин сын, перед Петрушкой, а попадет и тебе по макушке!». Питирим даже свою чашку расписную с херувимами, из которой молоко всегда пил, разгрыз зубами. Так рассказывали.

Масейка и Назарка находились в раздумьи: караулить ли им следующую ночь в кремле или сбежать, как и другие, на ту сторону Волги, пока не заковали? А может, и так пройдет? Еще дадут раза два по заливку, поматерят, и тем благополучно дело и окончится, а убежишь—«врагом» объявят и казнят... Но вышло все по-иному—напрасно беспокоились, дело ограничилось лишь двадцатью ударами шелепов в Духовном приказе, причем дьяку Ивану зачем-то понадобилось, чтобы поролн сами же они друг друга: Масейка Назарку, а Назарка Масейку. «Стану руки я марать о...»—презрительно заявил дьяк Иван. Все обошлось благополучно, только Масейка остался в немалой обиде на товарища: он выпорол Назарку дружески мягко, а тот, стараясь выслужиться перед дьяком Иваном, нахлестал таких рубцов Масейке на задy, что присесть после никак нельзя было: очень больно!

«Рад, что дорвался, балда!» Утешило их то, что шипнули как следует за самое живое местечко и «божьего генерала»... Так ему и надо! А «Петрушка»...—это не иначе, как царь. И ему так и надо. Давно пора!

— На иконе, поданной Питириму,—монах рассказывал шепотом на следующую ночь,—был закрашенный святой великий князь... Сняли с него «мономахову шапку», золотые латы и сапоги, а обрядили в седые волосы, встхую сермягу, мужицкие лапти да в цепи заковали. Вот какие

бывают богомазы! Наверное, из нашего же брата. Не иначе.

И целую ночь все ходили Масейка и Назарка по кремлевскому двору, таская на себе тяжелые старинные мушкетеры (хорошо гвардейцам, у них новые ружья, легкие и бьют без фитиля). И все раздумывали они: зачем Питири-му подсунул кто-то эту икону?

Конечно, неспроста, а что-нибудь да обозначает. А подсунули ее, как тот же монах объяснял, раскольники. Рассвирепел на них пуше прежнего грозный епископ. Теперь жди! Не пройдет это им даром!

Не остались в долгу у своего начальства и Масейка и Назарка—слух об иконе пустили они по всему посаду; и многие посадские возрадовались и возликовали, услышав об архиерейском посрамлении.

## XXI

Сбитые с толку люди и людишки потеряли всякое понятие о жизни—что и куда и зачем, и даже какому богу молиться. Старый бог попал на положение колодника, а нового никак придумать не могут. Ломают головы в Питере, в Москве, в Киеве, в Нижнем, а ничего не выходит. Да и самая царская власть стала вызывать сомнения.

Василий Пчелка ходил по церквям и на паперти кричал во всеуслышание:

— Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, деспот посрамлен!.. С мечом, на коне, грядет избавитель, православный царевич Алексей...

И почти всегда восклицал он это там, где не было ярыжек, и всегда исчезал, словно провалившись сквозь землю, именно тогда, когда они должны были появиться,—словно ему воробьи в ухо чирикали, что, мол, спасайся, ярыжки идут.

О том, что ему сочувствовали все кликуши, нищие и многие из посадских жителей, и говорить не приходится.

Где он скрывался, где жил—об этом никак не могли пронюхать власти. А нюхали они старательно и не скупилась наполнять помещения своих острогов задержанными по подозрению в сочувствии Пчелке, бросались на людей, как собаки на кость, оцетинившись.

А насчет кликуш губернатор объявил: «Дабы прекратить в сих людях зловыдуманную болезнь, происшедшую не от чего иного, как от их невежества, нарушающую тишину и наводящую посадских и сельских жителей на какую-то думу и беспокойство, ловить их и сажать в острог». Замечено было, что припадки с кликушами делались большею частью при «выносе даров», когда провозглашали здравицу за царя и его семью. И еще больше подозрений вызвало то, что в остроге с кликушами не случалось никаких припадков... Сразу выздоравливали.

Охота отчаянная началась на этих жонок и девок; ловили их десятками и сажали в острог. Потом начали ловить нищих, а Василия Пчелку все-таки никак выследить не удавалось и ни одного слова не могли в застенках выколлотить о нем у забранных на паперти церквей убогих.

А он становился все смелее и смелее, и однажды залез на колокольню, и давай бить в набат.

Когда же сбежался народ, он выскочил на паперть и крикнул на всю площадь:

— Выстройтесь в боевой порядок. Все, натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против народа. Идите на него со всех сторон.

А потом начал собирать деньги, приговаривая:

— Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо строит он землю истуканов и на болоте, уложенном костями, воздвигает дворцы идольским страшилищам... Трудовая лепта разрушит сей Вавилон<sup>1</sup>, обогатит силою и освятит победу меч восставших...

И деньги под его речь сыпались из карманов бедняков и зажиточных в изобилии. Опустив монету, люди крестились, говоря сквозь слезы с нескрываемой радостью: «Помогай вам бог!».

Собранные деньги Василий Пчелка отдавал солдату Чесалову, с которым встречался по субботам за Печерами на песках.

Однажды Чесалов, принимая деньги, спросил его:

— А правда ли, что царевич Алексей убит?

— Два медведя в одной берлоге жить не могут,— сказал Василий Пчелка.— Старый медведь задушил молодого... Так было в Питере. А у нас в лесах—сколько

---

<sup>1</sup> Под Вавилоном подразумевается С-Петербург.

хочешь медведей, и всем место найдется... Ты молчи. Ни кому не говори. Своего сына, Алексея, убил Петр, а убить парвенча Алексея в пароду ему не удастся... Молчи. Охотнее деньги дают... Скажи Софрону—пускай не унывает... Дело идет.

Когда ярыжки появились и, увидев Василия Пчелку, бросились на него, чтобы арестовать, из толпы вышло двое с пистолетами и ухлопали одного из ярыжек, а другой, сломя голову, и сам убежал.

После этого от губернатора вышло самое строгое распоряжение—во что бы то ни стало изловить Василия Пчелку. Тогда он и совсем куда-то пропал.

Но... «бог не без милости,—говорили ярыжки—попадется, не уйдет».

В конце концов, ярыжки добились своего.

А вышло так: начальник кабацкой конторы Печерского монастыря, грешный человек, отец Паисий, хотел как-то раз спрятать во храме некую мзду, полученную им, вопреки уставу, за тайную продажу вина проезжим купцам. И полез он, как всегда, под икону, под «божью мать скоропослушницу». Полез и отскочил, как ужаленный: чересчур сильный дух вырвался из-за иконы, и живое существо заворочалось. Сел отец Паисий на деревянной приступочке амвона и думает: «Обязательно бес». И взяло его сомнение—не перед концом ли то света? «А может, и впрямь теперь правит Россией не царь, а антихрист?» Пока он раздумывал так, бес выскочил из своего угла под иконою да как хватит медным подсвечником отца Паисия по черепу. Тот, как был со мздою безгрешною в руках, так и остался с нею лежать без памяти у царских врат до прихода в чувство. Но получилось так, что за отцом Паисием давно следил схимонах отец Гавриил, искавший удобного случая обличить келаря в мздоимстве и плотоядии... Гавриил ведь был схимонахом, и обидно было ему всегда видеть веселых, непотребных жонков и вино в келье Паисия. На его стороне: схима, отречение от жизни, от ее радостей, а рядом—разгул и сластолюбие... Красных девиц духу не мог слышать человек, а они на глаза лезли. Не обидно ли? Он хоть и схимонах, а человек...

И вот, когда бес вылетел из храма,—в него вдруг вцепился отец Гавриил, думая, что это Паисий. Поднялся крик, шум невообразимый... А монастырским ярыжкам только этого и надо было... Вылетели, раздувая ноздри,

из своих нор, схватили за ворот беса. А он оказался именно тем, кого так долго и бесплодно разыскивали — юродивым Василием Пчелкой. Справиться с ним, конечно, особого труда не представляло — голодный был старче и обессилел. Скрутили ему руки и торжественно повели в кремль, ожидая получить солидную награду.

И, действительно, губернатор с большой радостью встретил весть о поимке Василия Пчелки. Сам вышел к нему во двор, поздоровался с ним и спросил:

— Ну, что, Вася, как поживаешь?

Василий Пчелка ответил:

— Хорошо.

Ржевский весело похлопал его по плечу, а он ему руку укусил. Губернатор вскрикнул от боли, посмотрел на свою руку с двумя синими рубцами и сказал Волынскому:

— Надо выпороть.

А Василий Пчелка со смехом:

— Пори. Все одно, подохнешь. По харе вижу: недолговечен ты!

Ржевский расстроился, плюнул в лицо Пчелке и пошел в свой дом. А Пчелка повел разговор уже с Волынским:

— Я — товарищ Питирима... Позови мне его сюда! Я пожалуюсь на вас, псов, его преосвященству. Он такой же бродяга, как и я, он был против церкви и царя, как и я... Меня сажают, а его нет... Посадите нас вместе! Я так хочу. А звать его не Питиримом, а Петром. Меня не обманешь. Вместе с ним людей грабили.

У Ивана Михайловича дух захватило от такой пчелкиной распродажности. Он мотнул головой и крикнул ярыжкам, чтобы уши заткнули. Они послушались, да не совсем, оставили маленькую скважинку, чтобы было слышно, что будет говорить Василий Пчелка... У этих юродивых бродяг много интересного можно узнать. Хоть и ярыжки, а тоже люди... хочется... Василий Пчелка начал ругать царя и восхвалять царевича Алексея. Волынский дал знак стоящему вблизи барабанщику бить в барабан у самых ушей ярыжек...

## XXII

Возвращения Варсонофия из Нижнего с нетерпением ждали в скитах. Всяко думали, всяко гадали. Но больше всего молились. И многие возносили молитвы «ко господу

богу—об упокоении души епископа Питирима». Зажженные свечи держали фитилем вниз—верная примета, что человеку, о котором молятся, плохо будет.

Молитва тем и дорога простолудину, что за себя можно помолиться о хорошем, за врагов—о плохом. И так и этак можно ее вознести. И никто, конечно, того не знает, и никогда не узнает, сколько людей и какие молитвы о царе читают,—знай царь Петр всю правду об этом, он и молиться бы «под крепким истязанием» запретил. Тоже ведь понял бы человек,—если так люди молятся, что-нибудь это да обозначает. Непременно бы запретил. Вот почему вслух-то читаются не все молитвы, а некоторые. Особенно в лесах.

Приплытые—народ легкий и смехотворцы—издевались над богомольцами:

— Этим его не проймешь. Вот, если бы попасть в кашевары к епископу—скорее бы... господь бог его прибрал.

Но один знающий человек осадил их:

— Не больно-то! Он, милые мои, сначала кашевара заставляет отхлебать, а потом и сам. Его не обманешь.

Бродяги приходили в азарт, начинали каркать:

— Напрасно, божьи старцы, усердствуете, не вернуться вашему отцу Варсонофию. Сидит, поди, хлопотун в колодке, подобно диакону Александру. Не ждите его, светики...

Старцы огрызались:

— Типун вам, безбожники!

Всем было известно, что у ревнителей древнего благочестия нет более преданного, более честного защитника и близкого друга диакону Александру, чем «смиранный во Христе» старец Варсонофий, не убоавшийся и в эти лютые дни отправиться в Нижний Нов-Град хлопотать об освобождении диакона.

Неужели в темницу? Ведь он же повез ответы епископу. Он поклялся старцам скорее голову сложить на плахе, чем хотя бы в одном слове уступить митрофорному палачу... Теперь ведь только и остались два помощника у диакона—Варсонофий и Герасим. И оба в Нижнем гостят.

Повседневно выходили керженские люди на берега реки и далеко спускались вниз по ней, встречая старцев, которые должны были приплыть по Керженду с Волги. И возвращались каждый раз вновь одни, поникнув головами и скорбно вздыхая... Беспастушное стадо.

А ночью, когда луна усаживалась, пригорюнившись, на макушках сосен, в моленных проливались горючие слезы о многострадальном диаконе Александре. Доведется ли когда-нибудь свидеться?

И вот, однажды, когда все были на работах: кто в лесу, кто в поле—прибыл долгожданный стружок из Нижнего. Вышли: Варсонофий, Герасим, Демид и Исайя. А того, кого особенно ждали—диакона Александра,—опять не оказалось.

Варсонофий был мрачен, старец Герасим глядел исподлобья, сердито. Демид, как всегда, имел вид беззаботный и даже шутить порывался, вылезая из стружка на берег. Но, как всегда, так и теперь дядя Исайя его одернул:

— Буде уж. Сапун. Попридержи язык. Не к месту.

— Как справились? Благополучно ли?—спросил Варсонофия Авраамий.

— Нанялся волк в пастухи—добра уж не жди.

— Что так?

— И слышать не хочет. Куда там!

Отец Авраамий пытливо посмотрел в лицо Варсонофия.

— Ответы взял?

— Взял и передать велел всем вам, что ответы наши-де написаны несправедливо, и поэтому надлежит ему такую нашу неправду, приехав на Керженец, при собрании народа обличить; и когда сюда придет, тогда и свои ответы при собрании же народа даст. Упрямый бес! Уж он надо мной смеялся и ругался, уж он меня и всякими-то лютыми казнями стращал, насилу я ноги уволок от него...

— А как же с диаконом Александром?

— Отказал. Говорит: «Если же диакон уйдет, укроется, то с кем же мне при народе тогда спор вести и кто мне станет за него, за диакона, отвечать, коли он сбежит?» Я просил его на поруку, под расписку, но епископ и слышать не хочет... Куда тут! Головою своею ручался я за диакона, но он—ни в какую.

Варсонофий долго говорил о строгости епископа, а об этом, пожалуй, не нужно и говорить—об этом и так всяк знает.

«Лесной патриарх» превеликое множество видел разных разностей на своем веку, и в глазах его навсегда поселилось недоверие к людям. Он слушал Варсонофия и, улыбаясь, почесывался. Сподвижники диакона Александра—старцы Герасим и Филарет, один—бурный, седой, волосатый,



другой — сухой, молчаливый, какой-то пришибленный, — слушали Варсонофия вздыхая:

— Ох, ох, ох, господи, укроти сына погибели! Спаси и сохрани нас и дай нам жизнь вечную!

Авраамий подслушал эти слова старцев Герасима и Филарета и сказал им сердито:

— Смертному должно представлять о себе смертное же, а не бессмертное. Охать нечего, а надо научиться стоять за себя.

«Лесной патриарх» вообще держал себя настороже. У него в голове родилась своя, особая мысль. Он старался угадать, оглядывая всех, пытая глазами: «кто из них предатель?» И никто бы не смог его уверить в том, что здесь нет предателя.

По его убеждению, теперь среди старцев обязательно должен объявиться Иуда. Среди апостолов, и то оказался, а среди этой голодной толпы, среди собравшегося здесь со всех сторон сброда — неужели нет?

«Без подкупа вряд ли и Питирим поведет такое дело», — об этом постоянно думал, встречая скитников, приехавших из Нижнего, «лесной патриарх», считая Александра кем-то преданным.

Вечером в этот день в лесу было большое собрание: сошлись и скитники, и крестьяне, и вольница из беглых... Всем им Варсонофий поведал о намерении епископа в скором времени приехать на Керженец для размена вопросами и ответами с расколуучителями. И просил он мужиков оповестить об этом все соседние деревни.

Варсонофия выслушали в глубоком молчании. От епископа добра никто и не ждал. Надеялись слабо.

Варсонофий же, вместо веры и бодрости, своими рассказами о лютости Питирима нагнал на всех такого страха, что хоть сейчас, не дожидаясь приезда епископа, ложись и помирай. И у многих появилось желание по своей воле пойти и пожечься в огне.

— Чего болтать попусту, — говорили такие, — гореть надо; в огне токмо и познаешь покой да истину.

Старцы суетились в своих черных рясах и куколях-кофтырях, не отходили от Варсонофия. У него был вид степенный, лицо сосредоточенное. Пугал, а сам держался твердо. Поневоле потянешься к такому. Спокойнее с такими-то.

— Мне что? — говорил он. — Могу и в огонь и в воду

за скитскую братию, за древнее благочестие... Куда хочешь. Это легко. А по-христиански-то, по нашему уставу — надо не умирать, а жить и укреплять свою силу, ибо на нашей стороне правда... Правильно говорит старец Авраамий.

Голос его был спокойный, уветливый. От рыжевато-золотистых сединок веяло благоуханием розового масла. Среди убогих старцев, лесных мужиков и разного бродяжьего люда, с виду Варсонофий — не расколоучитель, а настоящий никонианский архиерей... Нарядный какой-то.

Поднялись споры у мужиков и у вольницы. Вместо божественности, началось сквернословие... Не все были на стороне Варсонофия.

Один кричал ему:

— Сатана тебя толкнул ехать к Питиримке! Не надо было!

Другой:

— Черничка-плут за сткляницу вина душу продаст!.. Взогать им — что воды напиться.

И пошли бурчать в разношерстной толпе:

— Черт с ними, и с ответами!.. Какие просит, такие и дать ему, лишь бы отвязаться, лишь бы сюда не ездил на погибель нашу. Бог с ним! Ему и в кремле не пыльно. Чего уж... Пускай там и живет, а к нам не надо.

Зашипели, заворчали вокруг скитников беглые:

— С вами тут, со святыми отцами, опять в острог попадешь... Ясности у вас нет. Одна муть.

— Или захотели вы лоскут на ворот, а кнут на спину?

— Образ божий не в бороде, а подобие не в усах... Чего спорить? Денег бы теперь побольше.

— А по-нашему, — сказал здоровенный парень с вырванными ноздрями, — «помилуй, господи», а за поясом кистень. Вот как! Беритесь за ножи, святые старцы, не ошибетесь. Воевать надо. Резать, жечь, топить, а на войне и смерть красна... И умереть можно лучше, чем на ковре... веселее. Право слово: веселее!

Голос Варсонофия разливался в сумрачной тишине хмурых сосен до поздней ночи. «Лесной патриарх», прислонившись к сосне, слушал его с глубоким вниманием. Варсонофий говорил о том, что над ответами всем старцам надо опять призадуматься, обсудить еще и еще раз... Пересмотреть их. Не надо озлоблять лютого гонителя раскола: благоденствие скитов дороже самолюбия... Не

надо навлекать нового гнева со стороны царских палачей... «А воевать нам не к лицу, да и где же нам, сиротам».

Согревало хвойную крепость теплое июльское небо. Раскольники задумались. Варсонофий осмелел, стал доказывать необходимость не идти на открытую борьбу с Питьиримом, чтобы не погубить скитов... Доказывал горячо... И, кажется, многие задумались.

## XXIII

Бурлак, убежавший с Дона после разгрома булавинского восстания, рассказывал:

— И пошли за ним, за Булавиным, вся работная гольтьба... Двинулись на грабление богатых домов. Из всех-то хоперских, бузулукских, медведицких и иных речных городков набрался народ. Нагие и босые, пешие и конные. Полторы тысячи бурлаков... Задорились идти на воевод, на рындарей, полковников и всяких начальных людей... По дороге к нам пристала чернь разная... А потом нас в бою всех разбили... Правосудный царь приказ дал: выжечь и разорить все города по Хопру до Бузулука, по Донцу, по Медведице... «Оные жечь без остатку,—отписал он,—а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья, дабы отнять у людей к восстанию и к воровству охоту, ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть»... А пришлось и царю трудно. Многих дворян и князей посажали мы в воду. Восьмой год пошел с той поры, а не могу я того забыть, как потешились мы над боярами,—никогда не забудешь. Равности, ведь, хотел Булавин для народа. Знатные казаки жили в Черкасске по куреням, а наши бурлаки по анбарам и по базам... Справедливо ли это?

Истомин с досадою потер лоб.

— Ладно... Умолкни... Сами знаем...

Отец Карп добавил:

— Всякая зело кровожадная тварь лопнула бы, не поместила бы в своем чреве столько крови, а нашему императору все мало... Все просит и требует...

Волга играла с привязанными к берегу стружками. Качала их, дергала, цепляясь за борта, сталкивала один с другим и отступала, ухая и шелестя песком, насыщая собою разбухшую сырую отмель... Ватага расположилась

поодаль на поемном дугу, среди зелени и ярких желтых цветов. Жгло солнце. Приятно звенел водоплеск.

Братаны вальжничали: кто лежал, распластавшись, кто сидел, калясь на солнце, в одних портах, кто играл в зернь; соседи их, растрепав губы, глазели на игру, а некоторые с хмурыми лицами, вскидывая головами, пели грустную лесную разбойничью песню.

Ты свети, свети, красно солнышко,  
Над горою ли свети над высокою,  
Над дубравою свети над зеленою,  
Обогрей ты нас, добрых молодцев,  
Создат беглых, безуютных.  
Как пониже-то села Юркина,  
А повыше-то села Лыскова,  
Против самого села Богомолона,  
Протекала тут речка быстрая,  
По прозванию — речка Керженец;  
Выплывала тут косная лодочка,  
Воровска, косна, вся изукрашена...

Ватага истомилась в ожидании Софрона. Кочуя с места на место под Безводным, она перебралась сегодня на луговую сторону, решив, если и сегодня Софрона не будет, больше его не ждать, искать атамана в других краях. Но вчера с Керженца проезжал мимо ватаги в Безводное любимый многими крестьянами и многими беглыми старец Авраамий, «лесной патриарх», и сказал он, чтобы ватажники никуда не уходили. Софрон скоро будет здесь же. Вот почему на пригорке по очереди и стоят теперь караульные и следят за судами, идущими со стороны Нижнего. Ватага в эти дни никого не грабила. Все ранее награбленное сложила на хранение в Сельских Мазах, под Лысковом, у одного раскольника-крестьянина, друга ватажников. Впрочем, и судов в эти дни ходило мало — напуганы купчишки были, опасались. И поэтому к каждой лодке, к каждому челну присматривались караульные: не Софрон ли? И когда Филатка, стоявший на карауле, неистово закричал вдруг радостным голосом, размахивая шестом с привязанной к нему рубахой, все певуны вмиг повскакали со своих мест и стали вглядываться в даль.

Со стороны Нижнего под парусом шел стружок. Видно было отчетливо — дают знаки со струга, машут рубахой. — Они! — закричали братаны, повскакав с земли.

Антошка Истомин схватил весло, обвязал его рубахой и, крича: «О-о-о! скуды!», начал размахивать им.

Все ватажники пришли в движение, натягивая на себя рубахи, оправляясь тщательно. Охватила радость всех: «дождались-таки!».

Некоторые были обряжены в синие кафтаны с кушаками, некоторые — в мужицкие армяки, а один и вовсе в громадный не по росту немецкий камзол (сразу видно, что дворянский).

Звали этого парня Игнашкой. Смеясь, обступили его: по какому такому случаю камзол? Оказалась простая вещь: убил помещика в лесу, когда тот из Нижнего ехал в вотчину, сермягу оставил ему, а себе камзол.

— Пускай я и мужик, а не желаю разниться от благородных кровей. Царь-то хоть и всея Руси, а эти финтифанти да немецкие куранты одним только дворянам прописал. Хитрый! Не хочет, чтобы смешивали. А я смешаюсь!.. Крепостных у меня одна душа, да и та моя, никакая другая. Между прочим,— такой же вор и душегуб я, как и дворяне, только оболочка разная, а теперь и по оболочке<sup>1</sup> я—боярин спозна.

Антошка Истомин слушал его с громадным удовольствием.

— Попы и помещики испортили наше ремесло... Народ запугали... К человеку приходишь по делу, а он в погреб. Чудаки!

Слушали Антошку, как всегда, со смехом и уважением. Некоторые не только смеялись, а прямо рычали. А главное, всем было весело теперь от того, что подплывает долгожданная лодочка. Неужели атаман?! Даже не верится. Уж очень крепко его держали-то. Молодец Филька! Не кто иной, как он, освободил. Слово дал под кинжалами—не соврал, значит—жить будет. «Не жалко! Пускай!»

А стружок вот уж, совсем близко, бойко катит, пересекая волны.

И видно стало—из стружка знаки делают саблями: солнце ловит лезвие, зажигает его.

— И-их, мать честная! Гляди-ка, как блестит!—раздался возглас. И с новой силой дружная лесная песня понеслась над водой.

Стружок с размаху врезался в отмель. Из него выскочили: Софрон, солдат Чесалов, татарин Абдул, работав-

---

<sup>1</sup> Оболочка — так называют верхнюю одежду на Ветлуге и Керженде.

ший вместе с Тюнеем Сюндяевым на Кунавинском перевозе, известный всему Нижнему и сбежавший с посада от казни за возведенное на него ложное обвинение в убийстве купца. На веслах сидел Демид.

— Поздравляйте, ратнички! Купцы поддержали... Денег дали...

— Уж вы гой есте, купцы нижегородские! Отворяйте-ка вы кошель широкие!—кричал великан Антошка Истомин, своим басом заглушивший самое Волгу.

— Вот он,—показал Чесалов перстом на Софрона,—наш атаман. И будет его имя отныне Иван Воин. Иван—потому, что он наш, мужицкий, а не немецкий и не дворянский, а Воин—потому, что он не разбойник, а защитник, и мы не воры, а воины... ратоборцы за правду. Согласны ли?

— Жги, пали, в полон бери,—нараспев произнес, благословляя Софрона, отец Карп.

— Не зря ждали,—произнес раздумчиво цыган Сыч.—Видать, орленок...

Чесалов вынул из кармана крепко кованую цепь и подал Антошке Истомину.

— Рви!

Все с любопытством столпились вокруг Антошки. Он натужился, покраснел, обругался, а разорвать цепь так и не смог. Бросил ее с досады в песок.

— Проклятая!

Поднял ее другой силач—татарин из Казани, Байбулатов; рванул—только кровь из пальцев хлынула, а разорвать так и не разорвал.

Чесалов взял у него цепь и молча отдал Софрону.

Все с любопытством обступили парня. Слышно было, как люди неровно дышат от волнения. Софрон обернул вокруг ладоней цепь, отошел в сторону и, оглядев всех с добродушной улыбкой, развел локти, напряг мышцы и разом рванул цепь... Ахнуть не успели—цепь разлетелась пополам... Два куска ее болтались теперь в пятернях Софрона, врезавшись в тело. Он отодрал куски цепи и отдал их Чесалову.

— Поняли?—щелкнул языком солдат.

— Да-а!—почесав затылки, ответили ватажники.

— Жги, пали, в полон бери. Благословляю на богатырство!—снова полез к Софрону поп. Двое его оттащили. А Истомин погрозил ему:

— Смотри, пустопоп, с богом не надоедай! Не к месту! Забыл мои слова?

Отец Карп прикусил язык, притих.

— Ваше слово, братцы?—опять обратился к ворам Чесалов.

— Кто ты такой будешь?—спросил цыган Сыч, засунув правую руку за борт кафтана и выставив правую ногу вперед.

— Софрон я, Андреев, пономарев сын, и отныне взял я в руки саблю и ружье... Не молещик я на белом свете, а такой же, как вы, бурлачишка. А если угодно, атаманом стану и царевы стружки топить буду и убивать бояр... Согласен на это.

Чесалов застыл, вытянувшись рядом с Софроном. Налитыми кровью глазами он рассматривал каждого человека, словно силился разгадать мысли ватажников: понравился или не понравился им парень?

— Отвечайте же, други,—вновь громко спросил Чесалов.—Атаман он или нет?

— Дело решенное,—раздалось в толпе.

— Орлом глядит,—надо быть, и когти орлиные...

— Что говорить! Парень дюжий и, видать, удачливый...

— Спасибо Фильке-кузнецу! Не ошибся.

Кругом загалдели. Маленький, безусый Филатка (из деревни сбежал отрок искать проданного помещиком отца), подкрался к Софрону и пальцем его потрогал. Всем понравился, оказывается, молодец, и согласились единодушно все окрестить его Иваном Воином. Потребовали, чтобы он разделся и в воду влез. Долгоногий великан, «чебоксарский вор» Антошка Истомин, забрался на корму струга, простер руки в воздухе над головой Софрона и нараспев провозгласил:

— Слава отцу и матери и святому духу, что безгрешно родили такого-этого сына, желаем ему допьяна пить вчера и ныне и вовеки с нами, а затем—аминь. Величаю умное во крепости стояние непоколебимое сего большерослого юноши. Обнажаясь, вошел в воду и выйдя из оной, Иваном Воином наречется! Аллилуия, аллилуия!

Смеялось солнце, прогревая радость сердца, наполняя их горячей отвагой, веселили чайки, задоря крылом, а в речных просторах гудела разноголосая, бесшабашная «аллилуия», разносился грозный мужицкий рев.

Сбив шапки набекрень, разинув зубастые рты, вольные

люди, голь голянская, тянули «аллилуию» с чувством и озорством; и смешивалась в этом пеньи молодецкая удаль с гневом и отчаяньем...

Дело сделано: Иван Воин—атаман ватаги. Облобызав всех поочередно, поставил он молодцов в ряд и сосчитал: двадцать пять с атаманом. У кого не было, тому он роздал оружие: кому пицаль, кому самопал заморский, кому саблю. Свинца роздал на пули. Со всеми поговорил. Рассказали, кто и почему бежал на Волгу: иные от барской неволи, иные от военной муштры, от рекрутчины, чтобы не поставили «чертову печать», а отец Карп признался, что ушел из епархии за ненадобностью. Церквей попам, оказывается, нехватает, и богомольцев тоже, а у помещиков домовые церкви Питирим поломал.

— Чтобы ему ни дна, ни покрышки,—ворчал поп,—поневоле татьбою и займешься. Да и не один я—многие попы ворами стали и даже убийцами.

Софрон слушал внимательно и расспрашивал о том, как фамилия того или иного помещика, а солдат—из какого полка...

Автошка Истомин облегченно вздохнул. С большою охотсю он уступил свое первенство Софрону. Отец Карп и тут подоспел:

— Ты чего какой скушный?—дернул он за рукав Автошку, а сам косится на Софрона, кивая в его сторону.

Автошка сокрушенно развел руками:

— Как же мне не скучать? Надо бы мне было давеча тебя, родной, утопить, а я, как всегда, мягким сердцем сдобрился... Ей богу! Дурака сваял.

— Вода меня не примет...—хотел поп отыгаться шуткой.

— Давай попробуем.

Истомин сделал шаг по направлению к отцу Карпу. Батя убежал.

— Зря мы его приняли. Порядков наших не понимает,—буркнул ему вслед Истомин.—О царствии небесном много говорит.

Хлебохранителем и кашеваром ватага определила быть попу. Наиболее подходящее для духовного сана дело. Все посмеялись над ним, как всегда. Получив хлеб, он отложил краюшку и смиренно проговорил:

— И на водах жить можно, только обязательно нательный крестик носить надо, а то водяной захватит



в кабалу: в своего батрака обратит, заставит на него работать, переливать воду, перемывать песок, рыбу ловить...

— По-твоему, значит, выходит—в воде тоже кабала?—негодующе спросили его товарищи.

— И даже на небе,—вздыхнул отец Карп.—Только на небесах последние будут первыми, а первые будут последними.

Прислушивавшийся к их разговору Софрон сказал:

— Последние будут и на земле первыми, прежде чем на небе. Имейте такую мысль.

У всех глаза оживились,—ловко сказал атаман, а Филатка стыдливо признался, что он во сне видел, будто он на барине на своем верхом ездил отца разыскивать.

Все расхохотались. Истомин крепко его обнял и поцеловал, приложившись к Филатке.

— Только не как Иуда, а по-настоящему... Ну! Лобзай лыцаря!

Поп обиделся, раскрыл рот, показал беззубые десны. Выяснилось, что зубы ему пять лет назад его барин-помещик выбил за то, что отец Карп не помянул в обедню его тещу, «болярыню» Василису<sup>1</sup>.

От смеха и шуток перешли к делу. Обрядились по-боевому и припасы в мешках привесили по бокам, сумки с порохом, со свинцом. Софрон дал наставление:

— Страхом не страшиться. Не роптать. Досыта не наедаться, но и с голоду не умирать. Что с бою взято, то свято. Милости ни от кого не ждите. Чей берег, того и рыба. Нас ворами зовут, а мы не воры. Известно. Водки остерегайся, народ оберегай—Стенька пропил свою силу и народ в печали оставил. Нам не годится так. Глядите в оба, помня: лес видит, а поле слышит. Кругом враги.

Слушали атамана, затаив дыхание, и диву давались: откуда у такого молодого парня премудрость подобная? Словно книга во рту запихана. И облегченно вздыхали: «с таким князем дружина не пропадет».

Антошка Истомин, ковыряя саблей песок, заявил громогласно:

— Теперь не подвертывайся никто под руку. Беда! Никого не помилюю—порешу без оглядки. И пушкой меня не испугаешь. Ярость во мне появилась.

---

<sup>1</sup> В поминаниях дворян поминали с прибавлением слова «болярыня», «болярин».

Софрон ему возразил:

— Нельзя так. Люди разные, и польза и вред человечеству от них разные. Без разбору губить нельзя. Это разбой будет.

Истомин потупился.

Софрон говорил о том, что единственные враги—это помещики, бояре, дворяне, офицеры и подобные Питириму палачи чернорясные. Он говорил, что «не только люди,— бог, и тот попал в кабалу к царским холоум. Никак не может освободиться; а в царских казенных лапах ему хуже, чем было на распятии». Епископ, вроде Пилата, руки умывает. По его же наущению брат шпионит за братом, а сын за отцом, и появились такие шпионы родных кровей даже в семьях правоверных раскольщиков. Дочь купца Овчинникова именно так предала своего родного отца.

Говоря об этой девке, он стал печальным, укусил губу до крови, а закончил свою речь так:

— Силу вражью надломить должны мы, а за нами пойдут и мужики... На тиранство откликнемся лютыми казнями. Нам говорят о чести, о долге перед богом и царем, но кто более бесчестен, кто более посрамляет бога, нежели царские холопы, от них же первый—Питиримка?..

Слушая атамана, задумались молодцы. Впереди ждет кровь. Много ее пролито, а в будущем прольется еще больше. Правда не дешево достается людям.

Поп и тут вылез, оглянувшись с опаской кругом и тихо сообщил:

— Нонче проходил у нас из «Починок» один, побывал он в Питербурхе, сказывал: а больше всех прольет крови царевич Алексей, больше Петра... Воины царевича будут лютовать во сто крат злее петровских. За каждого убитого стрельца сожгут по сотне генералов, сержантов и гвардейцев.

— А ты бы стал жечь их?—спросил Истомин.

Выскочил Игнашка, подсморгнулся, мазнул рукавом под носом и выпалил:

— Вся бы деревня наша пошла...

Филатка за ним:

— Наша тоже.

Говоря это, ватажники посматривали на Софрона, который сочувственно улыбался этим речам.

— Когда возьмет власть царевич, никто не знает,

а Ржевский с солдатами может на нас напасть во всякое время... Об этом и надо думать,—строго сказал Софрон. — А теперь нам надобно порядок у себя завести такой, чтоб голыми руками нас самих не взяли...

К вечеру собрались сниматься с места. Сообща выбрали для ночевки остров под Безводным. Веселые, шумные, вдруг почувствовав в себе большую силу и уверенность, отправились братаны к стружкам за своим молодым атаманом-силачом... И, усевшись за весла и ударив с чувством ими по воде, грянули они бодрую, удалую понизовскую песню о Разине... Заколыхались стружки в ласковых волнах Волги, у всех на душе сразу стало легче: конец беспастушному стаду!





**Ч А С Т Ь  
В Т О Р А Я**







1



везды бледнеют. На исходе ночь: кремлевские башни и соборы во мраке. Внизу, под стенами, белое воздушное озеро; туман окутывает Волгу, набережную, гостинный двор, кремлевские сады и улицы. Нижний Новгород—страж Москвы, оборонитель ее от понизовской и «крыющейся в лесах голытьбы»—спит тем безмятежным сном, который обычно приходит на посад в долгие осенние ночи в канун зимы.

Холодно на воле и сыро от Волги, от Оки, от многих болот и прудов. Туман теснит дома, храмы, остроги, сторожевые будки... И хорошо и уютно только под тулупами, бараньими и беличьими покрывалами, под медвежьими шкурами, обшитыми тканью... Пускай на воле туман, сырость от воды и холод—на своем куту тепло, сон крепок, затихают тревоги.

Епископ Питирим не спит. При свете ночника неторопливо собирает он пыльные книги, старые пергаментные столбцы, тетради. Прежде чем уложить все это в сумку,

внимательно просматривает и, сдвинув брови, обдумывает прочитанное. И то и дело подходит к кувшину и моет руки, смахивает соринки и пыль с шелковой рясы.

Дьяк Иван и иеродиакон Гурий перешептываются в келье Духовного приказа, ожидая приказаний преосвященного.

Утром епископ с отрядом гвардейцев выступает в леса, на Керженец,—к этому походу подготовка ведется уже несколько дней. Последнюю неделю Питирим всю безысходно провел за своим столом, читал, писал, писал без конца. И теперь на лице его хладнокровие и самоуверенность. На все двести сорок керженских вопросов он заготовил подробные ответы, подкрепленные выдержками из догматов первого и второго вселенских соборов, из определений некоторых поместных соборов, бывших до Никона; недаром изучил епископ и греческий язык—многое взято им из мудрых речений учителей восточно-кафолической церкви, неоконстантинопольских «здоровых словес». Многие ночи просидел епископ над книгами и древними рукописями. Вместе с толмачом, учителем греческого и англиканского языка, переложил он некоторые сочинения греческих мудрецов, перевел лютерское и кальвинистское разглагольствование «о задачах святой церкви». Все, что ему надо, он собрал в своем уме, обдумал наедине и теперь полон жажды сразиться с мудрецами, керженскими расколоучителями.

Епископ взял звонок со стола и тихо позвонил. В келью вошел дьяк Иван.

— Освободи от цепей диакона Александра. Поступи с ним, как истинный христианин. Мы не должны томить людей за недостаточность естественного способа богопознания... Он поедет с нами в село Пафнутьево. Выдай ему новый кафтан и сапоги.

Брови дьяка Ивана полезли на лоб от удивления, но он тотчас же овладел собой, снова с бесстрастной готовностью и послушанием глядя в глаза епископу.

— Всех раскольщиков из земляной тюрьмы выпусти, о чем объяви по церквам, дабы священнослужители слово имели к прихожанам о добродетели и о пороках, о лукавстве и о милосердии, о вреде ереси и раскола... о великих и добрых делах благоверного государя... Иди.

Дьяк поклонился и вышел. Отец Гурий изнывал от любопытства, сидя в приказе в ожидании дьяка Ивана, и

когда тот вышел из покоев епископа, набросился на него с расспросами.

— Дякона Александра велено освободить и выпустить из ямы других узников-раскольников.

Отец Гурий так и присел. Старику сделалось нехорошо. Дьяк Иван потер ему уши. Обычно дьяк быстро приводил в чувство своих захмелевших собутыльников этим способом. Зная целебность сей экзекуции, не задумался он применить ее и в данном случае. И не ошибся. Отец Гурий открыл глаза и сказал: «Спаси христос!». Встал, перекрестился не то на дьяка, не то на портрет царя и ушел.

С факелами двинулись дьяк Иван и пятеро мушкетеров через двор к Ивановской башне, в которой заключен был дьякон Александр. Ключарь-караульный открыл двери. Керженский вождь, спавший на полу на соломе, поднялся, прикрыл ладонью глаза от яркого пламени факелов и глухо промолвил:

— Кто бы дал мне, яко птице, два пернатые крыла? Перелетел бы я скорее в те превышние края.

— Буде уж! — грубо дернул его за цепь дьяк, открыл кандалы и отрывисто сказал: — Идем. С епископом поедешь в Пафнутьево.

— В Пафнутьево? — удивился Александр.

Дьяк Иван промолчал. Мушкетеры с факелами окружили дьякона, и все пошли в Духовный приказ. Где то были псы. Глухо доносилось ворчанье скрытой во мраке Волги.

У епископа уже сидел в полном походном облачении Ржевский. Он вполголоса рассказывал Питириму о том, что в Питере открылось новое какое-то воровское дело, которое расследует сам государь... Есть слухи, что в этом деле замешан и брат Стефана Нестерова — воитель правды, кичившийся своею непогрешимостью, начальник всех фискалов Алексей Нестеров. Слух еще путем не проверенный, но если это так — какая радость будет среди вельмож и купцов! Не кто иной, как Нестеров Алешка, обвинил многих «вышних бояр», в том числе и самого близкого царю человека, князя Якова Федоровича Долгорукого, в сговоре с купцами, в получении им взятки от торгашей, за невыгодные для государства поставки. И даже Строганова припутали. Всех озлобили нестеровские фискалы.

— А Долгорукого он — за то, что Долгорукий обозвал



его и всех фискал на заседании сената «антихристами и плутами»... Вот он и отомстил князю. А теперь, видать, и сам влез в кашу,— оживленно играя выпуклыми рыбьими глазами на жирном, лоснящемся лице, говорил Ржевский, и ясно было, что он от всей души желает, чтобы слух об Алексее Нестерове оказался верным.

Питирим о чем-то думал, слушая Ржевского,—какая-то своя мысль была у него насчет этих событий.

— М-да,—вздохнул он, дослушав до конца,—трудно дарю... Угождая дворянам, он губит себя, и казня дворян — тоже.

— Трудно и губернатору,—вздохнул и Ржевский.— Провинциал-фискал с его тремя помощниками, якобы при мне состоят, а за мною шпионят. Это я знаю. Один у Ивана Михайлыча даже под постелью почевал. Моего помощника проверяют...

Питирим улыбнулся.

— И донес оный фискал, будто твой Иван Михайлыч с игумном из Печер целую ночь вино тянули,—сказал епископ.— Иль тебе неведомо?

В эту минуту дьяк Иван доложил о приводе диакона Александра.

— Давай его сюда,—приказал Питирим.—С честью.

Ржевский и епископ переглянулись после ухода дьяка. Питирим насмешливо кивнул головой в сторону двери, откуда должен был появиться диакон Александр. Ржевский услужливо хихикнул.

В сопровождении дьяка тихой походкой вошел Александр. Прямой, высокий, бледный и с тем же выражением непокорства на лице, с каким некогда шел в земляную тюрьму. Он поклонился и застыл на месте.

— Здравствуй, святой отец. Поедешь с нами—сказал ему Питирим.—В гости к вам отправляюсь, в Пафнутьево.

И, некоторое время подождав, спросил:

— Ну, что же молчишь? Или не рад гостям?

Александр посмотрел удивленно в лицо епископа:

— Нищ и убог я—како гостей буду принимать? На пустынных древесях пиршество волкам токмо, плотию человеческой питающимся...

Питирим ответил ласково:

— Вместо музыки, вместо песен, я и пением птиц удовольствуюсь и кукованием кукушки. Не велик человек я...

Жил и в палатах лесных, живу и в палатах каменных, — повсюду мудролюбцев божий будет богат, свободен, пригож, понеже он честен; правды ради страдает... понеже проникнут любовью к жизни и государству своему. Не так ли?

Александр ничего не ответил епископу и даже отвернулся от него.

— Помни, — сказал епископ: — обижаемые должны защищаться от обиды и не должны пренебрегать защитой! Защищаться — дело справедливое и доброе, а не защищаться — дело неправильное и дурное. И ты должен обогнаться от меня. Иди!

Вслед старцу Александру Питирим покачал головой.

— Мой отец вот такой же был. Жаль человека, но без таких беден был бы род человеческий. Такие люди тоже нужны.

Встал и строго сказал:

— Веди, Юрий Алексеевич, солдат.

Высоко подняв в одной руке факел, в другой — крест, говорил гвардейцам Питирим:

— Блажени миротворцы, яко тии сынове божии нарекутся. Меч принесет нам мир. Закону должно идти на помощь, а с беззаконием ратоборствовать. Враги ополчились на православную католическую восточную церковь. Церковь — крепчайшая опора монаршего трона и орудие обуздания злодейств и беспорядков, могущих возбудить общество. Путь вам предстоит не беструдный. Да отвратится слух ваш от всякого воровского навета, а коли придется, да бряцает грозно ваш меч истребления. Пускай беспощаден будет он, как огонь небесный.

Гвардейцы слушали епископа, обнажив головы. Лица их были деревянные, тупые. Моросивший с утра дождь мочил их головы, темнил зеленые мундиры с красными обшлагами.

Здесь же, в кремле, около Духовного приказа, шеренгою во главе с учителем монахом Савватием, обучавшим эллино-греческой науке, и Тимофеем Колосовым, обучавшим славяно-российскому догмату, вытянулись поповские дети, ученики духовной школы.

— И к вам обращаю я. Будь проклят тот, кто соблазнится омерзительным примером беглого вора и отступника, разбойника Софрона. Смерть лютая его ожидает через колесование, яко неблагоугодного, неверного раба,

и бесчестие вечное после казни. Вы поедете с нами в Пафнутьево же видеть методу вразумления и увещевание раскольщиков.

Юнцы испуганно ежились, не понимая толком, в чем дело. Многие из них с большою бы радостью последовали примеру Софрона. Отды всеми мерами старались не отдавать их в питиримовскую духовную школу. «Да разве это школа?—говорили они,—это солдатские казармы или тюрьма». И многие из попов придумывали всякие способы, чтобы обмануть епископа. Тайно они приписывали своих детей к ведомству крестьян. Недаром Питириму пришлось рассылать строгие указы «к духовным судиям, дабы они через нарочно посланных от себя посылщиков» направляли поповских детей «с особыми смотрителями». И, слушая теперь питиримовскую речь, не особенно бодро выглядели ученые юноши—таилось в их взглядах недоверие и страх.

Ржевский стоял рядом с Питиримом, толстый, румяный, ростом на голову ниже своего друга. Когда дошла до него очередь говорить, он выкрикнул скороговоркой:

— Верные сыновья доблестного войска государева! Послужить вы должны честно, не жалея жизни. Крамольников бить до смерти, и чтобы после смерти помнили они, окаянные!

Питирим одернул его.

— Бить никого не будем. Мы идем не на битву, а на состязание мудрецов. Солдаты — охраны ради.

Ржевский закашлялся, снова уступил место Питириму. Епископ сказал гвардейцам, чтобы они меч свой не вынимали из ножен, пока к тому нет нужды никакой. В лес они идут — на случай защиты от разбойников.

— А противу старцев,—сказал он,—имею я оружие более верное, чем пицаль или меч. Оружие превыше всех страстей земных, превыше пушек и мушкетов. Оружие оное — слово. Огонь рубить мечом не должно.

Гвардейцы, вытаращив глаза, стояли навтыжку перед епископом и в ответ на его вопрос, готовы ли они постоять за веру в случае надобности, ответили:

— Слово и дело!..

Ржевский широко, самодовольно улыбнулся, когда солдаты гаркнули выученные по его приказу слова.

## II

Студепые утреники пригибали траву к земле, закручивали листья колечками, серебра их. Но, как только из-за белых стен Макарьевского монастыря показывалось солнце, тут же сбегало и серебро, и травинки поднимались, и земля становилась влажной, курилась душистой дымкой. И Волга, слегка волнуясь, отгоняла от себя мороз—всходившее солнце разрывало в клочья студёные туманы. Макарий, вынырнув зубчатыми стенами и башнями из воды, одобрительно поглядывал в Волгу, расплывался белыми пятнами в ее темных водах, посматривал кругом, как удачливый монах в своей лукавой улыбке.

В одну из таких утренних зорь, вниз по течению, к высокому берегу причалило несколько стругов. Сидели в них люди смирнехонько, не шевелясь,—в руках ружья, пищали и сабли. На одном из стругов на корме стоял богатырь Софрон. А в ногах у него, сгорбившись, примостился старичок. Версты за две от Макария остановились. Привязали струги к кустарникам, и все повыскакивали на берег. Прохладило, особенно на воде. Теперь все стали отогреваться, прыгая по земле, толкаясь друг с другом.

— Не весело, братья, в бегах быть, а главное—где же бегать-то? По своей же земле хоронясь якобы во вражеском стане...—сказал Софрон, поднявшись на берег и оглядывая окрестности.

— Холодно, студено, атаман...—съежившись в своем кафтане, пробормотал Истомин.—Надобно о теплой одежде позаботиться...

— Господь бог не оставит нас, горемычных,—отозвался поп.

— Что за жизнь наша?—тоскливо проговорил один из ватажников.—Ни жены своей не видишь, ни детушек. И что с ними там, на деревне? Живы ли они? И что думают они обо мне, злосчастном?! Побираются, чай?!

На его слова никто не отозвался, только лица у всех стали еще более угрюмыми, суровыми.

Одян Софрон проговорил строго:

— Полно горевать, лишнее! От того лучше не будет.

Старик остановился у высокой сосны, указал на нее рукой.

— Вот она, эта сосна, растет. Повесили на ей вольные люди разиновские одного боярина. Лютый был холоп царев

тот боярин. Заслужить хотел любовь цареву. Стал губить мужиков за двуперстие и неприятие посылаемых книг и икон. Пришел час—повесили его. Царь и распорядился тогда розыскать эту сосну и порубить. Завились палачи... давай божье творение подсекать. Хлоп раз, хлоп два, хлоп три! Рубили два дня и две ночи. Срубят сосну, не успеют оглянуться,—а она опять выросла. Срубят опять,—она вырастает вновь. Рубили-рубили, замаялись и ушли. Вот она и растет. Она самая.

Старик нежно погладил ствол.

Софрон взглянул на дерево. Высокое, гордо покачивает своей косматой верхушкой, цепляясь за белые комья облаков. Толщина—около полуторы сажени в обхвате. Зеленые, пухлые лапы восьмиконечным колючим крестом раскинулись над головой. Пестреют врезанные в ствол медные образки, крестики, складни... Казалось, дерево живет,—не иконки это на нем, а застывшие молитвы, слезы и проклятия «подлых людей», скрывающихся в лесах.

— А зовут ее «крестовая сосна»,—продолжал старик.— Вся в крестах она в мужицких. А что такое крест? Известно всем. Это наша горькая доля, наше мучение. Вот за то мы ее и любим, и паломничаем сюда... Горе наше в ней, в ее стволе.

Софрон, сдвинув брови, взял нож и вырезал на сосне кривую саблю.

— Это наша метка... здесь будет наш стан. Разобьем шатры тут, выкопаем пещеры.

Все с ним согласилось. Многим было удивительно, какое понятие имеет человек о «красоте божьего мира». Главное, и Макарий отсюда виден, с его зубчатыми стенами, и башни, и поля, горы, леса, Волга. И память о Степане Разине. Выбора лучше не придумаешь.

— Как сосна, так и наш брат,—весело сказал он товарищам.—Ее рубят—она вырастает. Так и с нами: нас убьют, казнят,—другие на наше место появятся... Понял? Никуда отсюда мы не пойдём. Это наше место и есть. Тут мы и будем сторожить Питирима.

И все опять с ним согласилось, а беглый поп, вскочив на пенёк, как галка, воскликнул что было мочи:

— Рази их, подобно архистратигу Михаилу!

На лице его выступила злоба. Это всем понравилось, и поэтому стали его все со вниманием слушать. Отец Карп принялся ругать царя.

— Хищник, ограбитель, озлобитель! На пиру его иродовом едят людей, пьют кровь их да слезы, пьют кровавые трупы человеческие, а бедных крестьян своих немилосердно мучат. Им до пресыщения всего довольно, а крестьянам и укруха хлеба худого недостает. Сии объедаются, а те ачут. Сии упиваются, веселятся, а те плачут на правежах... Хорош царь!

Истомин за косичку попа дернул, а тот ни с того, ни с сего обернулся и сказал:

— Дай мне, господи, сто рублей покрыть нужду мою горькую!

— Пойди в Макарьев, зарежь купца,— вот те и монеты, только бороды не трогай... Царю оставь. Они с Питиримкой сто рублей за нее слерут. На корабли...

Захотали ватажники. Над волжскими водами заскакало эхо, грохоча, как воплотившаяся в жизнь давнишняя буйная мечта беглых. И вдруг все смолкли—забрезжило в уме у каждого что-то радостное и загадочное, как белый парус в синей дали волн. Кто там под парусом? Неизвестно. Что сулит он? Тоже. Однако, глаз от него не оторвешь. Так и эта мысль волнует теперь всех.

— Час приближается,— сказал Софрон.— Здесь, именно здесь, пойдут питиримовские струги. Здесь станем в засаде.

Все беспокойно и озабоченно взглянули вверх на реку. Там было зловеще тихо и пустынно. Сосна крестовая со значением, а за ней сыр-бор дремучий на многие растянулся версты. На случай поражения есть куда животы упрятать от гибели. Об этом тоже не забывали подумать.

— Ратные люди вольные, место это отныне наше. Здесь мы будем караулить питиримовы струги. Здесь же и опустим, после казни, в водяную епархию его преосвященство.

Антошка Истомин подбросил в воздухе кистень. Повертелся со свистом кистень наверху и шлепнулся вновь ему в руку:

— Подползу к епископу да кистенем его по гриве!

— Какой Ягорий храбрый объявился!—засмеялся Филатка, отойдя от Антошки. Тот сверкнул белками:

— Душно, Филатка! Дай, хоть тебя поглажу... испробую. Снизойди!

Филатка отступил еще несколько шагов назад. Все рассмеялись. Улыбнулся и Софрон, покачав головой.

— Храбростию не кичись. Нужен разум.

Солдат Чесалов и другие вязали узлы с добром, набран-ным раньше в боях и позавчера в одной вотчине, и по церквям. Тут были и мундиры гвардейских капралов, побитых и брошенных в Волгу, и монашеские рясы, и церковная утварь, кресты и ризы от икон, золото и серебро, и купецкие кафтаны, и товары, отбитые у макарьевских торговых людей, было и оружие и даже книги. Атаман хранил их для себя. Всякую свободную минуту он читал.

Много хлопот причиняло это богатство ватаге. Отца Карпа пришлось отставить. Стяжал два креста и привязал их на ремешке под рубахой у чресел, опоганив кресты. Солдат Чесалов расвирипел так, что едва не утопил батюку под Работками. Насилу откачали убогого. Антошка Истомин спас попа. Когда отец Карп пришел в себя, выдрали его сообща на отмели с приговорками и велели клятву дать всем решительно товарищам, что больше не польстится ни на что, не будет красть у своих.

Софрон в хранители богатства назначил солдата Чесалова.

— У этого — не забалуешь. Зубами скрежещет, когда близко кто-нибудь подойдет, не то что.

Ватага численностью своею росла не по дням, а по часам. Все новые и новые люди приставали к ней. Теперь уже считали более двухсот. Не легко Софрону было с ватагой. Не позволял он пьянство, — ворчали многие. Он говорил:

— Надо любить умеренные пиры, какие у благорассудных римлян были в обыкновении. На пиру приятнее человек не пьяный, а в добрых делах — не беззаконный.

И рассказывал он своим товарищам о Риме, о войнах, о Греции, о мудрецах.

— Кто хочет препятствовать тому, чтобы кремлевский тиран не опережал и выше нас не подымался своею силою, тот да противустоит влечению страсти, не поддается голосу слабости, которые не укрепляют, а губят. Солнце часто омрачают облака, а рассудок — страсти. Каждый из нас должен быть силен, здоров и разумен, как славные спартанцы или железные римские воины.

Слова Софрона дышали заботой о товарищах и разумной любовью к свободе. Это чувствовали даже каторжные душегубы, имевшиеся не в малом числе в его ватаге. Они тяжело вздыхали, опускали взор. Не смотрели атаману в глаза. Им было не по себе, холодило кожу. Боялись

они Софрона, и не все им было понятно. И нет — нет, да и прорывалось у кого-нибудь из них: ограбить на дороге крестьянина. Хотя и не богаты пожитки, а все хватит пображничать. Одного такого грабителя Софрон убил из пистолы у всех на глазах. Но все же эти люди не могли себя побороть и решались опять и опять делать то же.

Один из таких сказал однажды Чесалову по секрету:

— Друг, уничтожь меня, слаб я, сам робею — помоги... Зипун мой возьмишь и семь рублей деньгами. Не по себе мне от таких порядков.

Чесалов дал просителю по загривку и, ни слова не сказав, пошел опять паклевать струги. Горлапаны, драчуны примолкли, стали побаиваться Софрона.

Теперь все были настроены особенно серьезно. Важный момент подходил: истребить Питирима с отрядом монахов и солдат и губернатора Ржевского. Его помощник Волинский остался в городе. Питирим должен спуститься до Макария, а там пройти по Керженцу до села Пафнутьева лесом. Все известно Софрону. Верные люди рассказали. Сам Питирим этот путь назначил; в Нижнем каждый знает об этом на посаде. Питирим не скрывал о своем походе на Керженец.

Большая часть ватаги оставлена была Софроном под Васильсурском на реке Суре. Чувашины и черемисы помогали прокормить ватагу, а также и уведомляли ее об опасностях, сторожили ее покой. И когда воевода из Курмыша сунулся со своим войском разорить становище Софрона, в лесу все деревья начали стрелять и земля разверзалась ямами, куда и проваливались всадники с головой. Воевода, не доехав до становища, спасся бегством. Понял он, что не только каждый мужик и каждая баба, но и каждое дерево и каждая птица в лесу и, казалось, само небо, земля и вода на стороне «разбойников». Отступил в ужасе и окопался в Курмыше. Соседние воеводы давно уже об этом позаботились и сидели в боязливом ожидании. Со времен Ивана Грозного это место служило убежищем для разбойных ватаг.

Всех губернаторских гондов из Нижнего перехватывали ватажники, и почту отбирали, а самих забирали к себе в плен. Воеводы были отрезаны от губернской власти. А мужики пускали слухи, пугавшие воевод, сбивавшие их с толку. Софрон не беспокоился за свое главное становище. Но время шло — минул день, другой, третий,



а питиримовских стружков не видно. Софрону казалось, что, уничтожив епископа, он облегчит народу жизнь. День и ночь мечтал он о том, как он казнит Питирима, собрав деревенских, высказав все епископу в лицо, и отрубленную голову отошлет в Нижний Волынский. Но... давно бы епископу нужно было появиться на Волге, а его все нет и нет.

И вот однажды на рассвете разбудил Софрона Чесалов и сообщил, что из лесов ожидает человек. Хочет поведать атаману что-то важное. Вышел из шатра своего Софрон, наскоро захватив оружие. Незнакомый ему монах сказал, что прислан он-де с Керженда «лесным патриархом», отцом Авраамием, уведомить о том, что Питирим переправился через Борский перевоз, у самого Нижнего, а дальше поехал на конях, лесами. На стругах по Волге плыть он передумал.

Теперь стало ясно, что и тут Питирим схитрил, всех обманул, объявляя на посадe, что он отправляется на Керженец через Макарьево.

Софрон ушел в шатер, бледный, задумчивый. Стыдно ему было и перед ватагой. Зря людей морил. Питирим ускользнул из его рук. Какой же он атаман после этого?

### III

Через Волгу переправлялись на двух новеньких паромах. Поставили по двадцати коней на каждом. Епископ — в лисьей шубе, покрытой атласом красивного цвета. Шубу он накинул, сядя на паром. Люди ежились около коней. Питирим, положив ногу на ногу, тихо рассказывал что-то Ржевскому, кивая головою на кремль. С Волги кремль со своими белыми зубчатыми стенами, башнями и соборами, в зелени садов, был прекрасен, и даже хмурые гвардейцы залюбовались им. К красоте были глухи они вообще; какая красота, когда с неделю тому назад каленым железом клеймили их — ставили знак на руке, чтобы не бежали в леса, будучи в походе с епископом! Начальство опасалось раскольников соблазна. И все-таки... Никто не может запретить им любоваться этими горами над Волгой. Ключья тумана таяли в лучах восходящего солнца. Небо чистое, нежно-голубое, дышало бодростью; разбивалась гладь реки двумя дюжинами весел; бушевали пенистые круги около паромов.

Глаза снова и снова невольно обращаются к Нижнему. На самых гребнях гор, над Почаинским и Похвалинским оврагами машут крылья ветряных мельниц купца Пушников, а у берегов—множество торговых судов с мачтами и без мачт, некоторые только что подходят, причаливают к берегу, свертывая паруса; среди прибрежных садов гремит перезвоном мелких колоколов строгановский храм, красный, с сверкающей на солнце главою. Колокольный перезвон дрожит над водой. Лошади шевелят ушами, косятся на воду.

Впереди левый берег Волги, а на нем, среди леса, торговое и разбойное село Бор. Диакон Александр и раскольники, освобожденные из тюрьмы, сидя на другом пароме, точно сговорившись, отвернулись от Нижнего, который звали они «великим градом падений, темным Вавилоном со адовыми темницами в нем». Набожно осенили они себя двуперстием при виде леса, странно оживились. И, конечно, этого нельзя было утаить от взоров епископа: видел он, как раскольники крестились, как, при виде леса, с улыбкой перешептывались. И то, что они отвернулись от Нижнего, не прошло мимо его глаз. Он тихонько толкнул в колено Ржевского. Тот прикусил губу и нахмурился, крикнув на гребцов, чтобы скорее гребли. Солдаты, видя сердитое лицо начальника, вытянулись, а ученики духовной школы спрятались за коней. Вместо со всякими догматами святой церкви они крепко усвоили правило: по возможности, меньше мозолить глаза начальству, особенно епископу.

Когда паромы подошли к берегу, поднялась суета. Заржали кони, забеспокоились, стуча копытами о палубу, жалась один к другому. Вскочили люди с своих мест. Старцы перекинули через плечо котомки, готовясь к высадке, перешептывались. На лицах их было написано упрямство и самоуверенность. Гвардейцы «ели глазами» начальство.

Первым с парома сошел Питирим, опираясь на посох и накинув на плечи шубу, поддерживаемый монахом. За ним—его послушник, чернец Андрей, потом Ржевский, а затем с грохотом, под гиканье гвардейцев, упираясь передними ногами и фыркая, потянулись по мосткам кони. Старцы шли самыми последними.

Епископ и Ржевский с бугра наблюдали за высадкой. Когда все оказались на берегу, раздалась команда Ржевского.

Тридцать молодых построились с конями в колонну. Питирим и Ржевский сошли вниз. Им подали двух коней. Ржевскому — белого, епископу — вороного. Ловко, по-военному, сел и Питирим в седло и, дернув повод, загарцевал на берегу. Восемь учеников духовной школы тоже уселись на коней. Только старцы остались пешими.

— Для вас коней не припасли, — сказал чернец Андрей, подъехав к раскольникам. — Его преосвященство приказал отряду ехать шагом, дабы вас не истомить.

Старцев пустили в середине. Сзади них поехал Андрей с учениками.

Солнце уже поднялось из-за реки и золотило сосны, играло в воде... Когда вошли в лес, сразу стало теплее, тише, уютнее.

Епископ впереди всех. Шубу он сбросил, отдал Андрею, сам остался в теплом подризнике, подбитом беличьим мехом. На голове — бобровая шапка с бархатным доньшком, наперсный крест и панагия (круглый образок «божьей матери») — на груди. Держался в седле он прямо, молодцевато. Лошадей знал с детства, и в Стародубьи хаживал с воровской конницей на царских ратников. «Чего не видел и не знает епископ?» — думал послушник Андрей, следуя позади него. Бывали такие минуты, когда епископ говорил с Андреем, как с равным, и многое рассказывал ему из своей жизни, из истории войн и церкви. И невольно Андрей проникался уважением к епископу. Он следил за каждым его словом, за каждым движением. Это был не страх перед начальством, а удивление и привязанность к всезнающему архиерею.

Конь под епископом вдруг упал на оба колена, готовый нырнуть в болото, но епископ ловко удержался и опытной рукой с силой натянул повод, подняв коня. Раскольники перешепнулись между собою: «Бог не хочет, чтобы он ехал в скиты».

— Тихо, с оглядкой! — крикнул Ржевскому епископ. — Болота...

Справа и слева среди сосен потянулись знаменитые чернораменские болота, трудно видимые глазом, покрытые ржавчиною, мохом и мелким кустарником. Вместо дороги — узкая гать, по которой проедешь, только хорошо зная местность. А когда гать кончилась, пошла песчаная тропа, обезображенная корневищами столетних деревьев. Великаны-сосны, уходя ввысь, делали лесное утро сумер-

ками. Нудно каркало воронье, испугнутое людьми, шмыгали зайцы в чаще. В последние дни шли непрерывно дожди, и кругом было сыро и мрачно.

Питирим уверенно вел отряд. Родился и вырос он в керженских лесах — все лесные тропы ему были известны. Ржевский растерянно глядел на обманчивую гладь, окружившую их со всех сторон между деревьев, и зорко следовал по тем местам, по которым шел конь епископа.

— Ничего. Не робей, Юрий Алексеевич! — сказал, обернувшись к нему, Питирим. — Тут спокойно. Хорошо.

Ржевский, раздувая ноздри, оглянулся по сторонам.

Можно ли назвать покоем эту загадочную тишину?

Ржевский подозрительно осмотрелся кругом.

Раскольники шли позади угрюмо, молчаливо. Старец Александр не пожелал даже одеть новый кафтан, выданный ему дяком Иваном, и остался в изодранной одежде, в которой сидел в темнице. На людей смотрел он так, как будто ничего с ним и не было. Иногда наклонялся к соседям и подбадривал их. Они слушали Александра почтительно и сосредоточенно, исподлобья косясь в сторону епископа. «Дух ложный, противный, погибельный и убивательный, вскую тишишь доказать нам свою правоту?» — думали, глядя на Питирима, усталые от тюрьмы и похода старцы.

И были они уверены «в божьей справедливости, в божьей помощи», в своей духовной силе и сочувствии народа. Были уверены они в мудрости своего вождя, диакона Александра, в его неподкупности и прямоте, в его превосходстве во всем над антихристом-епископом... В том, что епископ будет поражен мудростью керженских расколоучителей, никто из старцев не сомневался.

Скорее бы дойти до Пафнутьева...

Когда вступили в более широкий проселок, Ржевский поровнявшись с Питиримом, заметил на его лице волнение. Питирим оглянулся на Ржевского:

— Все я здесь знаю с малых лет. И тогда так же было... — Он осмотрел с какой-то скорбной улыбкой теснившиеся по сторонам дороги сосны и ели. — С отцом ходили в бор, валили сосны. А весной сгоняли плоты по Керженцу. Отец был строгий, но достойный человек. Умер он недавно. Проклял меня перед смертью. — Питирим отвернулся.

Ржевский хотел как-то успокоить епископа и со вздохом сочувственно сказал:

— Все слагается и разлагается и снова возвращается туда, откуда пришло: земля в землю, дух к небу... И нам когда-нибудь настанет черед.

Питирим внимательно посмотрел на него.

— Нам ли говорить с тобою о смерти? Но, хотя я и не хочу умереть, а смерти не страшусь. Епископом быть, да в нижегородской епархии,— улыбнулся Питирим,— куда страшнее! Если бы мой отец то знал, не прозвал бы меня злоречивым, зломысленным, злотворителем. Мои сестры и теперь меня так величают. И, может быть, в Пафнутьево придут они и будут также поносить меня. Но что я могу? Хороший пастух и хороший царь,— говорил мудрец Платон,— меж собой сходственны. Храм божий созидаю, ближнего не разоряю я, а хочу, чтобы люди, слушая колокола, от жизни не отрекались и ради царствия небесного не забывали царствие земное, а за оное меня кланут и анафеме предадут, и даже отец родной.

Питирим с сердцем рванул коня, повернулся и строгим взглядом окинул солдат, учеников и старцев. И, вновь подъехав к Ржевскому, произнес строго:

— Держись благоразумно. Не допускай утеснений солдатами поселян. Народ почитай, а гнев обуздывай. Не походи на апостола Петра, сгораяча не руби.

И речь епископа полилась плавной спокойной проповедью, которую молча, стараясь быть внимательным, слушал Ржевский, как всегда, половину из того, что говорил епископ, пропуская мимо ушей, а зачастую и вовсе не понимая.

#### IV

После отъезда Питирима и Ржевского на Керженец Иван Михайлович почувствовал себя настоящим «великим князем нижегородским». В ночь на следующие же сутки сотворил он у себя на дому такой пир, что после этого целую неделю на посаде только и разговоров было, что об этом пире.

Готовиться он начал к нему с самого раннего утра. Заглянул и в знаменитые по древности кремлевские выпинные подвалы, между Часовой и Тайницкой башнями. Подвалы были заложены дерном, чтобы не смущать людей.

Пир предстоял многообильный по части пития.

Иван Михайлович пригласил себе на помощь многоопытного в сих делах мужа, начальника кабацкой конторы Печерского монастыря, отца Паисия.

Остороженько, соборне с отдохавшим теперь дьяком Иваном, на заре, когда все спали, приподняли они все втроем куски дерна с цветочным крестом, помолились на небеса и полезли в подвал. Когда на колокольне Спасо-Преображенского монастыря звонарь ударил к обедне, из погреба высунулась голова Волынского, огляделась кругом и вновь утонула в дерне. Еще через несколько минут заговорил колокол и на Казанской церкви — тогда высунулись все трое и, наконец, подпихивая снизу бочонок, красные, отдуваясь и рыгая, появились на поверхности дьяк Иван и отец Паисий. Волынский застрял в погребе. Ему подали руку. Только тогда помощник вице-губернатора получил возможность стать твердой ногою на кремлевскую почву. Все трое, покачиваясь, поволокли бочонок в дом Ивана Михайловича, забыв заложить дерном ход в подвал.

. . . . .

Вечером в доме Волынского начался пир. Первым, как всегда в таких случаях, прибыл обер-ландрихтер Стефан Нестеров, тайно друживший с Иваном Михайловичем, — свела их воедино крепкая привязанность к «ассамблеям» и застольным «философиям». Припожаловал в дом Ивана Михайловича, в высокой меховой шапке, в шубе, опираясь по-боярски на посох, и бородастый почтенный гость Афанасий Фирсов сын Олисов, самый видный купец из иконного ряда с гостиного двора. За ним подъехал в возке и другой герой «гостиной сотни», купец Шилов, прославившийся в рыбном ряду привозимую с низов, с синего моря, рыбою. Не забыл, конечно, своего друга и бургомистр, гордость нижегородского купечества, Прохор Пушников. Человек умный, бывалый, — не зря торговые люди выбрали его бургомистром. А главное, к царю ездил и тому пришлось по душе, получил подарок с похвальною грамотой. Царь всемерно поддерживает купечество и даже образовал мануфактур-коллегию для защиты промышленников. Об этой коллегии и повел разговор приехавший на пир к Ивану Михайловичу рудонскатель с Усты, купец Калмовский. Пока дьяк Иван да отец

Пансий хозяйничали с Волынским на кухне, Калмовский рассказал о разорении его заводов работными людьми и о главных зачинщиках, Климове и Евстифееве, сидевших теперь в подземелье Духовного приказа. Все тяжело вздыхали и охали: «Ой, как народ избаловался!». Пушкиков, почесав под бородой, грустно покачал головою:

— Корабельные леса приказано готовить, но работы, конные и пешие, упорны стали к найму, не идут, разбегаются.

— Как не бежать!—окружив себя дымом, вступил в разговор Нестеров.— В Адмиралтействе в строении кораблей и то произошла остановка. Не дают хлеба достаточно и денег мастеровым и рабочим. Вот плотники и бегут. Даром работать не желают.

— Оно так и идет,—вздыхнул Пушкиков,—царь сказал сенату: «Немедля потщиться в купечском деле лутший порядок сделать», а где оное видно?

— Царь велел развивать рудокопное дело, а меня разорили на Усте, меня, рудоискателя, и нигде защиты мне нет и помощи никакой,—вклинился в разговор Калмовский.

Нестеров зло усмехнулся.

— Поны следствие ведут, к ним и обращайся. Оберландрихтера отставили от судейного дела, вот и жди. Расколы ищут во всем и к каждому делу приписывают раскол. Все дела засорили поисками раскола. Царь и в самом деле подумает, что единственные преступники здесь — раскольники, а Питирим — единственный рачитель о государствах благополучии. А мы, судьи, так себе, ушами хлопаем...

Тутдьяк Иван подтолкнул Нестерова, тихо, с двумысленной улыбкой, сказав:

— Батюшка государь, небось, все знает и раскол ставится в вину не попусту, а со значением... Лучшие бы нам с тобою о том помолчать.

— Друзья, похвально ли это! — растерянно спросил Нестеров присутствующих.

Все нахмурились, промолчали.

Нестеров продолжал, осмотрев гостей прищуренными глазами:

— Правильно сказал однажды Остерман голландскому резиденту Деби: «У нас нет ни одного человека, который бы понимал торговое дело».

Пушников вздохнул:

— Правильно да не совсем.

— Люди есть,— тихо отозвался Олисов,— как не быть.

— Путюводства только много, вот о чем я и хотел сказать,— смело продолжал Пушников.— Вот в чем суть.

— Чего уж тут!— перебил его, раздувая ноздри от негодования, Олисов.— Креста на людях нет. Вымышленные подряды какие-то подсовывают в Питербурхе. Нас, нижегородских торговых людей, забывают. А может ли у нас, в Нижнем, такая вещь произойти? Никогда.

— Наипаче среди ревнителей древлего благочестия,— вставил свое слово и Нестеров.

Купцы оглянулись. Пушников погрозил пальцем Нестерову:

— Смотри, смотри, Стефан Абрамыч. Не припутывай.

— А что, неправда? Раскольники — народ честный. Сам царь за них заступался. Вспомните Денисовых. А бояться нечего здесь, все свои.

— Этого мы не знаем,— громогласно перебил Нестерова Олисов.— А вот нижегородского купца хорошо мы знаем. Никогда он не будет царя обманывать. Работу свою он ведет домовно и генерально. А питерские купцы вельможами избалованы, напутано ими много. У нас тут не забалуешь. Все на виду, о каждом все доподлинно известно, ни от каких дел не укроешься. До баловства ли тут?

Купцы прыснули со смеху:

— Какое уж тут баловство!

Снова заиграли нестеровские глаза:

— Овчинников об этом вам расскажет. Он знает; недаром в яме посидел. А вот, и сам он появился. Легкий на помине!

В комнату робко вошел недавно освобожденный из-под Духовного приказа купец Овчинников. Невысокого роста, рыжий, курчавый, с испуганными глазами. Мягко подошел он к сидевшим и низко всем поклонился.

— О тебе разговор, батя...— засмеялся Нестеров.— Сочувствуют тебе.

— Полноте, Стефан Абрамыч, чего мне сочувствовать?— смутился Овчинников.— Мне хорошо.

— Две лавки получил в гостинном дворе. Плохо ли,— с нескрываемым злорадством проговорил Калмовский.— Это не то, что мы: разорили—так будто и надо.

— Проси и ты у епископа. Пускай посадит в яму,



а потом лавки даст. Он богатый, может...—засмеялся Нестеров.—А что тебя разорили—дело небольшое. То ли бывает у нас! В Москве у Шустовых фискалы по приказанию царя заграбастали из-под полов и из-под сводов дома и вовсе четыре пуда червонцев, да китайского золота, да старых московских серебряных монет сто шесть пудов. Вот это разорили!

Пушников солидно кашлянул:

— Не надо прятать. Государь зря не обидит.

Овчинников, видимо, довольный тем, что о нем забыли, сел в уголке у окна, посматривая на волю. Нестеров не оставлял его в покое.

— Ты чего же там? Молви слово.

— Что нам молвить! Чай, известно: тело государево, душа божья.—Скорбная улыбка заиграла на лице Овчинникова.

В это время в комнату вошел Волинский, за ним отец Паисий, а позади них шесть дюжих солдат—все с подносами, а на подносах кувшины с вином, бокалы, жареная птица, разварная рыба, баранина, яблоки и многое другое. Гости чинно приподнялись, посторонились. Волинский, слегка хмельной, в расстегнутом камзоле, суетился около солдат и, обернувшись, пошутил:

— Вы, того... Располагайтесь в моем доме, как Авраам в раю. Видите, сам за вами ухаживаю. При его святейшестве, епископе, не пришлось бы нам с вами таково домовито, толстотрапезно с принятием родниковой, кремлевской водички, повеселиться. Все мы простые, грешные люди, где нам в святости соперничать с его святейшеством! Рассаживайтесь смелее за стол, не робейте!

Наконец, уселись вокруг стола. Иван Михайлович сбросил камзол и остался в одной рубашке. Дьяк Иван косматою рукою наполнил чарки:

— Отец Паисий, провозгласи за его величество государя Петра Алексеевича...—отдуваясь и рыгая, проговорил дьяк Иван.

Все встали, подняли свои чарки.

Отец Паисий нараспев провозгласил:

— За здравие его величества, многомудрого, достохвального, всемилостивого великого государя нашего императора Петра Алексеевича воспримем оную первую чашу!

С великим усердием и подобострастием все опрокинули в рот наполненные вином чарки.

Сели. Принялись за еду, сохраняя приличное сему моменту благопристойное молчание. Только слышалось звяканье посуды, чмоканье, жевание и умильные вздохи.

После некоторой паузы заговорил дьяк Иван:

— Ну, а теперь было бы не лишнее нам принять оное—он указал на кувшины с вином—и за его святейшество епископа Питирима.

Нестеров шепнул на ухо сидевшему рядом с ним Пушкинову: «И чтобы он провалился там сквозь землю».

В ответ на возглас дьяка Ивана, однако, все быстро вскочили со своих мест.

Дьяк Иван, усерднейше придумывая разные льстивые славословия епископу, провозгласил за него здравицу. Все выпили свое вино с не меньшим аппетитом, чем за царя.

Потом принялись за питье и еду безо всяких здравниц, но с великим усердием, с чистою душою и веселою дружеской застольною беседою.

. . . . .  
Второй час ночи. Много выпито вина, много всего наговорено. Прохор Пушкинов, распустив пояс и положив нога на ногу, вразумительно поучал Шилова:

— В Богородске кожу делаем по-новому. Старое забыть надо, понеже юфть делается с дегтем и когда мокроты хватит, распалзывается, и вода проходит.

Иван Михайлович бил кулаком по столу и, покраснев, громко отчеканивал:

— Воистину, во всех делах, как слепые, бродим и не знаем, что и будет. Стали везде великие расстрои, а где прибегнуть и что впредь строить? Леший знает.

Его старался слушать и понять совершенно раскиснувший от вина и обиды на свою судьбу Калмовский, но, хотя он и кивал в знак согласия головою, однако, говорил совершенно не относящиеся к делу слова:

— Мошенники! Воры! Заколю! Заколю!

Дьяк Иван неподвижным, мутным взглядом смотрел на пустые кувшины и тихо, злоево, рычал:

— Истребить! Истребить!

Нестеров, сердито насупившись, отвалился к стене, в обнимку с Овчинниковым, и медленно, хриповато тянул что-то непонятное. Овчинников плакал. Сквозь слезы ныл:

— Распростись навеки со мною, ненаглядный мой цветок... Рай пресветлый... Дочку мою... дочку в монастырь заточили!..

Нестеров тряхнул его со всей силой:

— Молчи, Иуда! Рай пресветлый променял ты на две лавки в гостиниом. Продал веру, продал совесть, продал дочь родную—и помалкивай.

Овчинников сокрушенно качал головой в такт словам Нестерова: «продал», «продал», «продал»! И опять у него потекли слезы.

— Оставь его, не тронь!—тихо, наклонившись над ухом Нестерова сказал самый трезвый из всех — Олисов.— Нешто он один? Я три церкви построил православных и сопричислен к стае трехперстников. Понял? И хлебную торговлю по Волге мне отдали, и бороду не бреют, хожу в кафтане, в каком мне угодно. Понял? А за что? За проданную совесть. Что уже тут! Одурманены. Беда! Совесть ныне—дешевый товар и нечего о ней говорить! А вот три церкви... Мало ты думаешь мне это стоило? Подумай!

— А нешто даром ты строил?—заплетающимся языком перебил его Нестеров.—Врешь, сукин сын, ты не такой!.. Ты знаешь... Царь оплатит тебе... Подавишься от богатства, ненасытная твоя душа!

Олисов вскипел, стал, брызжа слюнями, не говорить, а шипеть, крепко сжав руку Нестерова:

— Ты подавишься! Ты! Ты! Вы, царские тиуны, дьяки да подьячие кровь из нас пьете. Великая власть вашей волчьей породе над нами дана... Без посулов ни одного дела не делаете! Воры вы! Кровопивцы!

Нестеров с недоумением глядел на Олисова, стараясь вникнуть в то, что он говорит. Олисов могучей пятерней сжал ему плечо:

— Увядает благочестие, процветает же злое бесчестие. С виду златецвет, много всякого блеска, а посмотришь в нутро—пустые цветы, тернии. Вон в Питере преподобная тройда: адмирал Апраксин, Шафиров и Петька Толстой, благо у царя в доверии, завели фабрику шелковых парчей. Привилегию на пятьдесят лет взяли, а потом, псы алчные, заскулили: «Отдайте подряды купецким людям!». Не справились. Полотна, демоны, настряпали в заморский отпуск узкие, а Федор Веселовский из Лондона промеморию прислал: «За эту юзость полотна плохо

продаются». Не за свое дело дворяне хватаются. Вот что. Дворянам воевать, купцам — торговать. Вот что. Понял? Плохо еще кунцов денят. Да, плохо. Вот что!

Дьяк Иван, стиснув за горло кувшин, хриплым, властным голосом, басил: «Степка Нестеров — анафема, будь проклят!» Но, видя, что на него не обращают внимания, он вдруг дернул за кафтан Овчинникова и, пьяно улыбаясь, показал рукой на Нестерова:

— Не говори ему. Предаст.

— Молчи, подкидыш поганый, чернопузая змея.

— Ладно, Степка. Все одно повесят. Я знаю.

Отец Паисий пьяно расхохотался около самого лица обер-ландрихтера. Нестеров толкнул его так, что тот съехал на пол, выкрикнув:

— Зверь! Зверь! Тигра!

Нестеров, отвернувшись от Олисова, еще крепче обнял Овчинникова и тихо на ухо спросил:

— Неужели откачнулся?

Овчинников молчал.

— Ужели и тебя сломили? Страшно мне.

Отец Паисий повернул пьяное, злое лицо в сторону Нестерова. Насторожился.

Овчинников прошептал:

— Хоша убей, — ничего не скажу.

— Запугал?

— Нет.

— Подкупил?

— Нет.

— В чем же дело, птишка ты желтобрюхая?

— Идет жизнь не по-нашему, и мы не можем управлять. Вожжи не у нас в руках. Сила у них. Посмотри на ружья мушкетеров. Где фитильно-колесный замок? Где?

— Не к делу говоришь.

— К делу! — капризно вскрикнул Овчинников. — Ружье зажигает кремьень. Стреляет скоро и метко. В писании сказано: от кремня и чугуна погибнем. С запада сила великая идет на нас, и ружья новые. Торговлей токмо, деньгой зашибеешь антихриста. Его нутро требует злата. Сила в богатстве. Алчными надо быть!

Олисов, стоявший в нетерпении около Нестерова, хлопнул его по плечу:

— Оставь, говорю, недужит он после тюрьмы. Заговаривается.

Нестеров даже в пьяном виде уважал Олисова и, крепко облобызав бородача, потянулся за ним через комнату. Олисов его увел. Иван Михайлович, опустив голову на стол, богатырски храпел на весь дом. Пушкинов откинувшись затылком на спинку кресла, дремал. Заслышав шаги Нестерова и Олисова, приоткрыл глаза:

— Куда?!

— На волю,— ответил Олисов.

Калмовский тоже очнулся; мутными, заплаканными глазами недовольно осмотрел Нестерова. Дьяк Иван сопел, опустив голову на грудь, отец Паисий спал на полу, около дьяка, уткнувшись головою в стенку. Олисов ухмыльнулся.

— Вот они, светона начальники наши.

— Тля! Червь!..— процедил сквозь зубы Нестеров в сторону дьяка Ивана.

На дворе было темно и холодно. В ограде разваленного Архангельского собора таякали волкодавы, гремя цепями, да в слободе кремлевской дребезжала трещетка. Четкие светили звезды.

— Пойдем пройдемся,— указал Олисов рукой на кремлевский двор перед Духовным приказом.

— Идем.

— Сколь мне показалось, Стефан Абрамыч, хороший ты у нас человек, однако... говори, делай, но без дальней огласки—неровен час. Знаешь наши порядки? Языки кругом. Языки и уши... Между прочим, понятно и без того: не в свое дело лезут попы.

На минуту он остановился, остановил и Нестерова, как бы осматривая залитые луною храмы и дома. Хмель понемногу улетучивался.

— Какая красота ночью!—и, понизив голос, вдруг спросил:— А как по-твоему, Стефан Абрамыч, кто у них возьмет верх: Питирим или Александр? Кто кого переспорит?

Нестеров ухмыльнулся:

— Питирим. Он же и скиты погубит.

Олисов тяжело засопел, втянув голову в высокий воротник шубы.

— Не допустим.

— Кто?

— Мы... купечество... гостиная сотня.

— Полно,—засмеялся Нестеров,— своя рубаха ближе к телу.

Олисов загорячился:

— Не дело говоришь. Возьми меня: построил я три православных храма в Нижнем и даже около своего дома в Пушкарской слободе храм Жен-мироносиц, а все же на скиты дал, даю и дам много больше.

— А другие?—с любопытством спросил Нестеров.

— И Пушников, и Строганов, и Шилов, и многие другие. Всяк из них по-новому крестится, да не всяк молится.

— Однако поморский вождь Андрей Денисов и на молитвах поминает в своих скитах «о пресветлейшем императорском величестве». И не он ли писал достохвальное сочинение, выражавшее «высоту и отличие в российских венценосцах первого императора Петра Алексеевича?» Что скажешь на это, Афанасий Фирсович?

Олисов, немного подумав, ответил:

— Богови—богово, кесарево—кесарю, купеческое—купцу. И царь не забыл Денисова. Старец Андрей им же и скиты обогатил. Немало денег заработали выговские скитожители на Повенедких заводах. И Денисов не забыл царя.

— А вот оно то-то и есть,—вздыхнул Нестеров.—Деньги всё делают, и еще—остроги, и еще—зарожденная в канновом нутре жадность, алчность. В заклинания я не верю, а естествословие на стороне Питирима. Когда-нибудь помянешь мои слова. Раскольники народ хороший, но пестрый, и многие сами себя бьют, путаясь в понятиях. В тумане ходят.

— Кто такой себя бьет?—опешил Олисов.

— И ты, и другие купцы из гостиной сотни.

Вблизи вынырнул из темноты сторож с трещеткой. Оба замолчали.

— Пойдем скорее отсюда... от греха...—поташил Нестерова за руку Олисов.—Идем.

Дьяк Иван очнулся, встал и облатил Пушникова.

— Чего хочешь, проси,—сказал он, чмокнув его в губы. В глазах блеснуло пьяное добродушие. Пушников поморщился, но сейчас же лукаво улыбнулся.

— А не обидишься?

— Нет. Для мил-дружка и сережка из ушка.

— Тогда—прими! От чистого доброго сердца.

... Пушников сунул в руку дьяку Ивану горсть червонцев.

Тот что-то промышал, молниеносно спрятав деньги в карман. На пьяном лице дьяка появилось озабоченное выражение.

— На Ладогу, для рытья канала посылать хотят с Керженца молодых торговых людей... Бью челом, Иван Дмитрич! Заступись! Польза государству! — нашептывал Пушкинов на ухо дьяку, который посмотрел на него с деланным изумлением.

— Тебе что?

— Держащиеся старой веры живут богаче ревнителей веры новой. А это показывает, что бог благословляет не новую, а старую веру. Мы тут ни при чем.

Дьяк Иван, не глядя на Пушкинова, пьяно ухмыльнулся. Пушкинов продолжал:

— Торг любит волю, а ум — простор. Не так ли? Пуганый хлеб ни кормит, ни поит. Надо смело торговать, а в кабале да в пристрастии какая может быть торговля!

— На вашей улице праздник. Запомни! Я знаю, — угрюмо молвил дьяк.

Пушкинов достал список керженских торговых людей и сунул дьяку в руку. Тот посмотрел в список, нахмурился.

— Барин за барина, мужик за мужика, а купец, выходит, за купца. Кожа коже споровит. Всяк за своего, — проворчал дьяк, пряча записку в карман. — Сукины дети!

Хотел Пушкинов еще что-то сказать, но дьяк провел своей дланью по его лицу:

— Довольно! Всякая сосна своему бору шумит.

Дьяк Иван оперся локтями на стол и задумался.

— Ты о чем, Иван Дмитрич? — спросил озабоченно Пушкинов.

— Об епископе.

Больше дьяк Иван ничего не сказал, а Пушкинов счел удобнее отойти от него и сесть в кресло якобы подремать. Пушкинову, однако, не дремалось. Его мысли были о торговых людях старой веры. Втайне он желал им успеха, ибо сам был мыслию с ними. И на исповедание стал ходить в православную церковь, и бургомистром согласился быть только ради общего дела. И не один он. Так же поступали и Строгановы, и Шилов, и многие другие именитые нижегородские купцы, а зато — берега Оки и Волги заселены сплошь торговыми людьми — раскодниками; и судоходство и судостроение, токарная

посуда, обработка кож, приедение льна, рыбные промыслы — все в руках раскольщиков. Все торговые дороги, идущие по Нижегородской губернии в разные соседние области, заняты ими же, а рынки в Макарьеве, Горбатове, Павлове, Городце — полностью во власти «рачителей древнего благочестия».

Пушников самодовольно улынулся и, оглядевшись кругом, скорехонько осенил свою широкую грудь двуперстием.

После этого вечера у Волинского много передумал всего Олисов о себе, о купечестве и больше всего о раскольниках. Да, он твердо решил уклониться от порабощения керженских старцев на лесной работе. И вести о ватаге Ивана Воина его взбудоражили несказанно. Возмечтал и он обо многом, а тем более, что ватажники его струги с товарами ни разу не тронули.

Он, как всегда в минуты больших размышлений, достал из сундука библию в тяжелом, кованом серебром переплете и стал читать любимое место из книги пророка Захарии; и то, что читал он, все относил к судьбе керженского раскола и к своей торговле.

«...Ликуй от радости, дочь Сиона (т. е. Керженец), торжествуй, дочь Иерусалима (т. е. Нижний); се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной».

Афанасий Фирсович, как и многие другие, был убежден в том, что царевич Алексей Петрович жив, скрываясь где-то в лесах Стародубья, и что он явится, рано ли поздно ли, в Россию и свергнет своего отца. И поэтому с особой радостью читал он дальнейшее:

«...Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли».

Олисов встал на колени перед иконостасом и помолился «о здравии раба Алексия», несколько раз с чувством и сердцем стукнулся лбом об пол. А затем опять стал читать:

«...А что до тебя...»

Олисову представилось, что пророк Захария говорит это о Петре.



«.. ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещено, воздам тебе вдвойне...»

Опять оторвался от библии Афанасий Фирсович, засуетился, снова распластавшись перед иконостасом, с особою, необычайною богомольностью и усердием...

Дальше он читал со слезами радости:

«...Ибо, как лук, я натяну себе Иуду (Петра, по мнению Олисова) и наполню лук Ефремом (расколом, по мнению его же) против сынов твоих, Иония (против никонианцев), и сделаю тебя (царевича Алексея) мечом ратоборца».

«...И явится над ними господь и, как молния, вылетят стрелы его, и возгремит господь бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных...»

И долго в глубоком волнении читал Олисов библию, и ко всему он находил объяснение, и все разгадывал по пророчествам Захарии и иных библейских «мудроучителей».

Перед сном он подсчитал доходы истекшего дня, оставшись ими весьма доволен, помолился еще и еще раз и пошел к себе в спальню, где уже давно почивала, купаясь в золотых сновидениях, его супруга Варвара Степановна Олисова, родная племянница купцов-солепромышленников Строгановых.

Он погасил свет, заглянув заботливо в окно. Над Нижним светили холодные осенние звезды...

— Ладно, светите...

Олисов с самодовольной, лукавой улыбкой уснул, обернувшись на постели к окну...

## V

На другой день после веселья в доме Волинского в Нижний примчался верхом на неоседланном коне помещик Петр Трофимович сын Всеволоцкий: без шапки, в холщевом кафтане и прямо к Волинскому. Помощника губернатора он застал во дворе, в бане; тот, выкупавшись, сидел в предбаннике, закутанный в белоснежную простыню, и, облизываясь, тянул из кувшина брагу. Опохмелялся после вчерашнего. Удивленно вскинул глазами он на ошалелого гостя.

— Бью челом, Иван Михайлыч, будь благодетелем, спаси! — еле переводя дух, говорил Всеволоцкий. — Гибнем! Помещики покидают дома свои, чтобы женам их и детям от разбойников побитыми и пожженными и поруганными не быть. Голытьба обнищала, обозленная, озверелая, а во главе ваш нижегородский клирик какой-то, добралась и до наших мест. Близость керженских скитов охрабрила крепостных мужиков... Непослушание и дерзость в их глазах... Слухи зловещие идут из скитов, нарастает бунт... Грозят нападением воров. Мужики повсюду выходят из повиновения!

— Знаю... — спокойно сказал Волынский, протянув гостю кувшин. — Хлебни с дороги-то. Питиримовский ученик это... Софрон, или Иван Воин, как его прозвали на посаде... Ловим мы его.

Петр Трофимов жадно вбирал брагу, обеими руками запрокинув кувшин.

— В Васильсурске тюрьму разбили, — продолжал он, вернув кувшин Волынскому. — Всех колодников на волю выпустили... Сыщников в наших местах нет... Воеводы запуганы. Что делать? А глядя на воров, бунтуют и мирные бурлаки и крестьяне, бьют купцов и воруют их товары. И солдаты, вместо честного солдатского званья, с охотою приемлют на себя воровское имя.

Волынский, отдуваясь, встал неторопливо со скамьи, поморщился и принялся равнодушно обтираться простыней.

— Все это многоизвестно... Позавчера из Питера новый опять приказ пришел о ворах. Царь напомнил о всеконечном суровом искоренении воров и разбойников и становщиков.

Волынский стал одеваться, деловито разбираясь в своем белье. Всеволоцкий сидел, отвесив губу и глупо уставившись глазами в угол.

— М-да-с! — вздохнул тяжело Волынский. — Приказано казнить их разною казнию без всякого милосердия...

Всеволоцкий оживился. На лице его мелькнуло любопытство.

— Какою же казнию?

Иван Михайлович, затягивая ремень на талии, сказал с веселым блеском в глазах:

— Вешать за ребра, резать языки, колесовать. Которые помещики знали про разбои и ничего не доносили —

их тоже вешать... Понял? — щелкнул языком Волинский. — А если старосты и выборные крестьян знали и молчали, то колесовать их... Больше же всего стараться получить воровских атаманов... Понял? Сыщикам за пойманного разбойника пять рублей, а за открытие притонодержателя — все его имущество...

Помещик завертел головой:

— Ох, трудно! Ох, трудно! Сам народ их скрывает. Да что говорить... пристают воры и по монастырям и пустыням, у приходских церквей... у духовного чина... и у церковных причетников, под именем бурлаков или казаков, ханжей и трудников. Это ж известно!

Волинский надел теплый халат и молча, вразвалку отправился к себе в дом.

— Ох, ох, ох! — вздыхая, семенил за ним следом через пустырь Всеволоцкий. — Что же теперь нам, дворянам-то? делать?

— Воюйте! — засмеялся помощник губернатора, но сейчас же его лицо стало серьезным. — У нас, братец мой, есть дела похуже этого.

И он рассказал Всеволоцкому под великою тайною следующее:

— Сын Петра, царевич Алексей, как известно, в прошлом тысяча семьсот восемнадцатом году скончался июня двадцать шестого дня в семь часов пополудни в граде Санкт-Петербурхе и погребен бысть по христианскому обычаю с великокняжескими почестями. А в народе, в лесах, болтают люди, что царевич жив. Об этом рассказывали схваченные губернатором мужики из Поредкой волости Алатырского уезда, дворовые люди из вотчины царевича Алексея, которые будто бы сами были с поклоном у живого царевича и были им премного обласканы и облажены.

В лесах, по деревням луговой стороны, говорят: «не надо-де сокрушаться, царевич-де жив и скрывается от отца в лесах стародубских, собирает войско, и польский король ему помогает».

— А ты знаешь, что сие значит? — спросил с тревогой в глазах Волинский.

— Нет, не знаю... — упавшим голосом ответил дворянин.

— Это значит, что наш уезд в крамоле обвинить могут. У нашего государя это недолго, и всем нам тогда

петля. Царь разбирать не будет, придет свою гвардию, да палачей, и конец! Конец всем нам и вам!

Волынский рассказал: в Духовном приказе, под пыткой, раскольники стали упорнее, и в глазах их суровая уверенность, а один даже крикнул на дыбе: «Подождите, псы поганые, сгубят и вас!».

Из Питера одна за другой идут бумаги об истреблении сеющих смуту странников и об учинении «жестокой расправы с замерзлыми раскольщиками и иными изуверами и бродягами, болтающими во вред государственному и церковному устройству, не щадя людей, какого бы звания и чина таковые ни были, не взирая на лица».

— А ты говоришь о разбойниках...—покачив головой, сказал Волынский.—Так и жди бунта, а ты о себе трепещешь и о своих бабах... Чудак! Давай-ка лучше выпьем... Присаживайся.

Волынский скрылся в чулан, уронив что-то там в темноте и ругаясь неизвестно на кого...

Без него откуда-то, словно из-под земли, появился в горнице почевавший у Волынского обер-ландрихтер Нестеров. Поздоровался с Всеволоцким, крикнул и завопил гласом великим:

— Михалыч... Неси... Душа лезет вон...

Волынский вернулся с громадным кувшином в руке. Нестеров засуетился. Достал со стойки чашки. Всеволоцкий машинально подвинул одну из них себе.

— Разбойники его, видишь, одолели, воры,—сказал, отдуваясь, Волынский Нестерову.—Жалуетесь...

— Об истреблении разбойников многие взыскания чинятся, и многие сыщики жестокие посылаются и многие разговоры ведутся,—наливая себе вино, сказал Нестеров рассеянно, не смотря ни на кого.—Однако разбойники числом приумножаются и лютее день ото дня становятся. Это понятно. Ничего нет удивительного.

Нестеров опрокинул чашку с вином в рот, стал жевать хлеб с куском рыбы. Откусит хлеб, посмотрит, понюхает, потом начинает терзать зубами рыбу. И все говорит и говорит о разбойниках, да как-то спокойно, вроде как сочувствуя им. Всеволоцкий опять плаксиво зажалобился на воров. Волынский слушал его спокойно, с любопытством, а потом, указав на рыбу, заявил:

— Судачок замечательный. Пожуй. Арестанты вчера мне целый пуд наловили...

Всеволоцкий покорно взял кусок судака. Нестеров ухмылялся:

— Ежели бы во всех градах, во всех слободах дворянских и у приказных людей порядка и правды было поболее, и людей не мытарили бы так, то и воров бы в лесах и на дорогах число сократилось бы...

— Ладно. Пей. Потом поговоришь,—хмуро оборвал его Волынский.

Дворянин вздохнул обидчиво. Нестеров и Волынский запалили рожки с табаком.

## VI

Было пасмурно—день Покрова, день праздничный, а скучно... Небо суровое. И пошли разговоры на Керженце: «веру переменить—не рубашку переодеть—сказывается»; «бог не хочет видеть волка в овечьей шкуре среди праведных старцев». А другие: «Что солнце? Что нам миром увлекаться, если должно в гробе лечь?» И чем страшнее, безрадостнее шли слухи из Нижнего, тем скорее хотелось этим умереть, закрыть глаза навеки, чтобы ничего не видеть и ничего не слышать. И бродили по лесам люди, проповедывавшие «красную смерть» на костре. При получении известия, что в Пафнутьево едет Питирим, сожглось на Керженце уже три семьи. «Куда же деться? Нужда стала»,—говорили они перед сожжением. А в лесу да в изгнании, да без крова, без хлеба, да еще накануне зимы, и так и этак—голая гибель. И земля и небо холодны к таким беднякам.

Сафонтьевцы, проповедывавшие самосожжение, становились толпами у окон по деревням и пели стихиры о «красной смерти».

— Святая Русь, крестьянская Русь горит!—причитывали кликуши и юродивые, выматывая душу у крестьян своими нстущенными голосами.

Но епископ шел, неотразимо приближался к Пафнутьеву—об этом доносили в скиты разведчики; он имел свою цель и верил в свою звезду. Было страшно. Люди умирали от ужаса перед будущим, а у него не только не было страха, но заключена в уме своя цель, своя мысль, он что-то знает, знает то, чего никто здесь не знает. Ну, не антихрист ли? Ведь и смерти он не боится, «злой

демон духа!» «Лесной патриарх», глядя на смятение старцев и поселян, хмурился:

— Этим пламя не заглушишь, а токмо больше раздуешь... Пожалуй, сожигайтесь, Питиримке только того и надо. Малодушие!

Варсонофий собрал в скиту всех старцев и соседних старцев, и бельцов, и мужиков, и заявил во всеуслышание:

— «Лесной патриарх» прав: держись спокойнее... Да! Епископ — не волк, а тоже человек. Ума терять не след. Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь. Не мешает хитрость свою иметь.

«Лесной патриарх» смотрел недобрыми глазами на Варсонофия и говорил соседям:

— Гляди, как вертит. И меня припутал... Ах ты, погибельный сын, бес преисподний!.. Не верю я тебе!

Даже уведомление о том, что диакон Александр возвращается на Керженец, теперь мало кого утешило. Отец Авраамий смотрел на трусливое смятение старцев и с грустью качал головой:

— Истинно сказано: «Тогда пошлет в горы и в вертепы и в пропасти земные бесовские полки, во еже възскати и избрести скрывшаяся от очию его и тех привести на поклонение его».

По скитам из рук в руки передавалась картинка: внизу налево, под красным балдахином, сидит на престоле антихрист и указывает рукою вперед: перед ним вправо военный отряд, руководимый синим дьяволом, направляется к скиту, стоящему среди дремучего леса. Наверху высокие горы с тремя пещерами; в них спасаются иноки, мужики, женщины с детьми. Два отряда гвардейцев, ведомые дьяволами, поднимаются туда по лесистым склонам. Антихрист одет в царские одежды, с короною на голове.

Над этой картинкой немало было пролито слез и произнесено было немало горячих слов.

Но «лесному патриарху» и этого было мало. Он громко говорил:

— Ослабли мы, нет в скитах прежнего согласия, нет среди нас той крепости, какая бывала раньше. Яко кроты прячемся каждый в своем скиту,— напугал епископ всех до смерти. Ой, срам! Ой, стыд!

И бросилось Авраамию в глаза, что больше всех волновались те, кто побогаче, кто посытее, больше всех бегали и говорили, а сами все к отцу Варсонофию так и

жмутся, как мухи к меду. И Варсонофий деловито секретничал с ними,—куда и игривость его девалась!— уходил с ними в лес, подальше с глаз. Бедняки жались к молебням, слезы проливали, бились лбами о пол перед иконами: «Отведи, господи, гибель от нас!» — и плакали.

Беглый холоп, с серьгой в ухе, дернул «лесного патриарха» за рукав, ухмыляясь:

— Из осинового дышла тридцать шесть холуев вышло.

Авраамий понял, на что намекает этот замухрышка с серьгой. Тридцать шесть толков раскольниковых теперь насчитывалось на Керженце, и каждый толк старался показать, что на его стороне правда, спорили, ругались, храбрились, рвали друг другу бороды, а начальства страшились, в кусты прятались. В деревне Вязовой объявился «христос» и собрал вокруг себя двенадцать «апостолов», а как приехали на Керженец пристава, он убежал в лес. Искали, искали новоявленного «христа» пристава, да так и ушли обратно: нешто найдешь? Кого ни спросят — один ответ: «На небо вознесся». Выходит, и этот не что иное, как обманщик!

Человек с серьгой все чаще и чаще встречался с «лесным патриархом». Куда ни пойдет Авраамий, везде, словно из-под земли, вырастает и он. Что за оказия?! И все заводит разные разговоры о том, о сем, а больше насчет крестьянской бедности, о тяготах государственных, ложащихся на народ, и все-то ему нужно, и все-то его волнует:

— Вот и опять: придет епископ, снова потребуют коней... А им что? Из сохи выпряги, да под солдат дай... А споры эти ни к чему. Что из того, что расколзучители покажут ученость свою, опровергнут Питирима? Ничего! Отсеки собаке хвост — овцой, все одно, не станет. Только обозлится пуще. Тут надо действовать иными способами.

Отец Авраамий заинтересовался речами незнакомца. Спросил, как его звать.

— Богданом зовут, а Богдашкой прозывают. Не здешний я. Из-под Астрахани, из Разгуляй-города. Там такая же распутица: раньше крепко держались раскольники, верили по-разному, а царю не продавались... Теперь многие откупаются... Платят двойные, тройные оклады. Царь купил и старую веру и прежнюю совесть. Богатеям из вашего брата дорога открыта. Посадские животы толстеют, а совесть худеет. А почему? У начальства пистолы, а у нас прибаутки христовы... Что сильнее?

— Имя христово сильнее,— смутился «лесной патриарх», в душе сам негодуя на богатых раскольников.

— Пистоль сражает, а имя христово утешает...

— А что ты скажешь о старце Варсонофии?

— Скажу одно: лиса кур не оборонит, а старче похож на лису, а вы все на кур...

— Мы этого не допустим...

— Кто вы?

— Диакон Александр, Герасим, я...

— Вороне соколом не бывать, запомни, «лесной патриарх». Где вам!

Отец Авраамий с глубоким вниманием посмотрел в озорные глаза Богдана, но не обиделся.

— А по-моему так,— продолжал озорник.— Кошка — лапой, а медведь ее — пятерней, так и тут. Есть и у нас пистолы... И мы можем. Не так ли?

Богдан нагнулся над ухом отца Авраамия:

— Разбойнички у Лыскова-то ждали гостя дорогого, а он перемахнул на Бор.

— Что? — расширив глаза от испуга, переспросил Авраамий.

— Его... Питирима ждали... А он, ишь, через Бор поехал... Довес кто-то...

— Чего же ты хочешь? — похолодел «лесной патриарх». — Чего тебе от нас нужно? И откуда ты знаешь?

— Покончить бы с ним в Пафнутьеве...

— Что ты?! Что ты?! Не дело это... Не дело. Зорить будут всех нас... Головы отрубят.. Сожгут... — залепетал старец в ужасе. — Спаси бог! И што будет — ужаси!

— Ладно. Не пугайся. Такого приказа мне не было. Подводить ваши скиты не хочу.

— Да кто ты есть сам? Почто пришел?

— Уродила меня мать, что и земля не примат, а Питиримку, чтобы ему на том свете икалось, здесь мы не тронем. Подождать велено.

К вечеру питиримов отряд остановился недалеко от Пафнутьева, в лесном починке «Убежище». Кругом болота, сумерки делали дорогу опасной. Питирим, осадив коня около самой нарядной избы, на каменном фундаменте, пропустил мимо себя сначала гвардейцев, потом раскольников и затем учеников духовной школы. Велел сытно



накормить старцев и переодеть их в чистые одежды, которые везли в особой повозке с провиантом и книгами два монаха.

Соскочив с лошадей, Питирим и Ржевский вошли в этот дом. На пороге встретил их хозяин, низкорослый бородатый толстяк. Маленькие глазки на пухлом лице — угодливые, заискивающие. Склонился перед епископом. Питирим неторопливо, торжественно благословил его. Вошли в избу.

— Перепочуем в починке, — отдал Питирим распоряжение Ржевскому. Тот немедленно вышел на волю. Остались только Питирим и хозяин дома.

— Ну, каковы новости, Васильич? — обратился к нему епископ, усаживаясь за стол.

Почтительно стоя перед епископом, Васильич тихо ответил:

— Светоносец ты наш светозарный, томлюсь я мыслями. В голове моей не думы, а сухари истолченные... толча.

— Что такое у тебя тут? — вскинул на него пытливый взгляд епископ.

— Оторопь берет, ваше преосвященство, — како скажу?

— Дерзай.

— Великое смятение поднялось в лесах...

— Ну?! ..

Васильич нагнулся:

— Смертной кончиной грозятся увенчать вашу достоятельную жизнь. Опасайся, владыка.

Питирим нахмурился.

— Знаю, — сказал он. — Ну, а еще что?

— Беглых появилась тьма-тьмушая, и есть которые с мушкетами, пистолями и кинжалом. Слышны в лесах непрестанные нападения. Я претерпеваю в дому своем горькое беспокойство...

Питирим спокойно сказал:

— Раскольщики намерены сотворить смуту. Царевич Алексей в Австрии заговор великий породил... Иноземных королей поднимал на отда, на Русь... Меж нами не должно, однако, быть никакого замешательства. Воля царская превыше всего.

В это время в горницу вошел Ржевский. Питирим сказал хозяину дома: «Оставь!» и указал на дверь. Тот покорно шмыгнул в нее.

— Оставайся здесь в починке с гвардейцами, Юрий Алексеевич... Нехорошо солдат казать. Слово божье могу ли я мушкетом подкреплять!

Ржевский, озабоченно поглядывая через окно на улицу, где шумели гвардейцы около коней, заметил епископу, что «бог-то бог, а беды остерегаться не мешает; под охраной солдат победа надежнее, и жизнь будет сохраннее». Он также сообщил Питириму, что слышал, будто на его жизнь готовится покушение. Строил страшные глаза и, видимо, хотел своими рассказами напугать епископа, но тот смотрел на него с усмешкой:

— Недавно помер, и опять я живой; хотел Овчинников меня убить—сам в яму попал. Дочка его отравить меня замышляла—и тоже. Чего, братец, не чаешь, то скорее сбудется. Небось, не карась—в вершу не заманишь.

— А вот село Пафнутьево и есть та самая верша... Народ здесь злобный, коварный,—продолжал уговаривать Питирима Ржевский.

— Не боюсь. Всю жизнь дело имею только с врагами. Друзей у меня: дарь, Феофан Прокопович и ты. Три друга во всем мире, а врагов не исчислишь. И прошу тебя убедительно—и носа ты не кажи в Пафнутьево. Пойду один я туда, пешком, с чернецами, с раскольниками и учениками духовной школы. Объяви им всем. Смерти я не страшусь. Помни это. Позорнее малодушия и трусости я ничего не знаю.

## VII

Словно овцы, встревоженные близостью медведя, всю ночь не смыкали глаз керженские скитники и миряне, съехавшиеся в Пафнутьево для встречи епископа. Настоятели скитов и деревенские старшины были обязаны «сказками»<sup>1</sup> известить всех людей для явки на состязание. Съехалось и сошлось немало разного люда. Многие не имели, где преклонить голову, и ночевали под открытым небом: развели костры. Около огня ежились сонные старухи, старики, бабы с ребятами, поминутно вздыхая и крестясь. Ночь выдалась студеная; иней лег на соломенные крыши, на луга, осыпал искрами ели и вороха об-

---

<sup>1</sup> Сказки — подписка.

рубленных ветвей. Пар шел от дыхания. Окна домов хотя и почернели, но кое-где все же мерцали огоньки. Там читались псалмы, возносились молитвы.

Старец Александр и другие раскольники, приведенные Питиримом из Нижнего, были отпущены по домам. Стенело, когда диакон Александр пришел в скит диаконовского согласия. Никто не вышел навстречу учителю. Только тогда, когда весть разнеслась о прибытии диакона по всему скиту, в келью к нему пришли скитожительствующие иноки со старцем Варсонофием во главе. Троекратно облобызались все со своим вождем. Помолились. Но разговор не вязался. За шесть месяцев разлуки у многих диаконовцев начали остывать чувства к нему. Бросилось в глаза даже самому Александру, что в отсутствие его большую власть приобрел над народом Варсонофий. А заговорили скитники и миряне о делах, отношения к богословию не имевших. Оказывается, скит принял на себя разработку леса, получил хорошие деньги от губернатора, а самые преданные диаконовскому согласию миряне Антип Старостин и Клим Ежов, ближние помощники диакона, уехали в подряд на Ладогу на прорытие канала. Варсонофий пророчил большую выгоду от этого предприятия. Когда диакон стал возражать, что, мол, разъезжаться диаконовцам не след, можно обратиться в пыль, которую сатана и сдует, как пепел, Варсонофий сослался на самого творца диаконовских догматов, поморца Андрея Денисова. Он-де сам работает на канале и всех диаконовцев и всех ревнителей древлего благочестия призывает к тому.

Александр не стал больше спорить; на этом и расстался. Диакона клонило в сон, давала чувствовать себя сильная усталость.

. . . . .

В маленькой деревянной церкви «трех святителей», в селе Пафнутьево, построенной недавно Питиримом в виде опоры православия здесь в лесах, на самой Семеновской дороге, по которой раскольники возили свои товары в Нижний, епископ отслужил обедню. По окончании богослужения вышел он из церкви в полном облачении, с крестом и евангелием в руках и, окруженный расколоучителями, стал на приготовленное для него Варсонофием возвышенное место. Пахло смолой, хвоей из лесной чащи, омытой талым инеем, травой.

Собравшиеся в глубоком молчании, с любопытством разглядывали нарядную парчевую ризу, шелковый подризник; перешептывались. Пробившееся сквозь облака солнце позолотило одеяние епископа, излучаясь в драгоценных камнях митры. В толпу керженских скитожителей и приехавших из деревень крестьян вонзились черные глаза епископа. Здесь были и не-раскольники, просто крестьяне, желавшие напомнить о своих нуждах, мужчины и женщины из мирян и даже малые дети на руках у матерей.

Негоропливо помолившись на евангелие, положенное на аналое, Питирим откашлялся, взял крест и благословил их собравшихся. Потом, отойдя от аналоя, снял митру, облачился при помощи послушников и, оставшись в малиновом подряснике, громко сказал:

— Отцы и матери и вси православнии христиане! Пришел я к вам и никоего оружия не принес ко устрашению вас, но токмо общее наше христианское оружие песу, хранящее нас: святое евангелие и животворящий крест. Я пришел сюда при вас с диаконом Александром вопросами и ответами разменяться. В прошлых годах послал я вам свои вопросы, требуя на них ответствования. И ныне мы при вас разменяемся ответами на упомянутые вопросы, и об ответах между собою поговорим. А вы смотрите и рассуждайте, кто будет из нас прав.

Затем он поднял свиток бумаги и спросил негромким, ласковым голосом:

— Ваши ли это вопросы, что в мае вы мне вручили?

Диакон Александр и старец Варсонофий, взяв из рук епископа свиток, посмотрели на подписи под вопросами, и Варсонофий ответил:

— Наши.

Епископ снова спросил:

— Вручаете ли мне новые ваши ответы, вместо этих, на мои вопросы? Готовы ли они у вас?

— Готовы,—ответил Варсонофий, покосившись на диакона Александра.

«Лесной патриарх», следивший за старцами из толпы, вдруг крикнул: «Варсонофий!». Но голос его был услышан только близстоящими мирянами, которые испуганно шарахнулись от него в сторону; зато, откуда ни возьмись, появился человек с серьгой. Он оскалил в улыбке желтые зубы, сочувственно кивнул головой Авраамии и, подмигнув хитрым глазом, прошептал:

— Дерзай!

— Вот книга,—начал епископ, подняв над головою книгу в кожаном переплете,—ответы, написанные мною противу диаконовских вопросов, но вначале хочу я приветствовать вас, мои любезные друзья.

Питирим раскрыл книгу и начал читать свое приветствие:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Божиею милостию смиренный Питирим, епископ нижегородский и алатырский, богом порученный паствы моея, Балахнинского уезда, чернораменных лесов жителям, старцам Александру, Иосифу, Варсонофию, Герасиму и всем вашего согласия, зовомого диаконовщиной, как монашеского чина, так и мирского, как с вами и окрест вас живущим, так и во градах и в уездах обретающимся,—всеусердно желаю здравия, спасения и всякого благополучия, мира и тишины и соединения со святой восточной и великороссийской церковью.

Собравшиеся хмуро молчали.

Питирим продолжал:

— Приняв помянутое число вопросов, поскольку мне господь бог дал разумения во славу его, единого бога, и в общую вам и прочим пользу, ответы по требованию вашему написах и вручаю их вашему согласию. А ежели кто из вас по коварству и по злобе станет написанные нами ответы и положенную в них сущую правду и самую истину превращать и растлевать на возмущение народа и на непокорение святой церкви и ее пастырей, то такого раздирателя святой церкви христовой судией буди сам господь бог и святая церковь и помазанный богом государь царь Петр Алексеевич.

Прочитав свое послание, Питирим обвел добрыми, приветливыми глазами толпу и подозвал к себе диакона Александра, старцев Варсонофия и Герасима. Он вручил диакону свои ответы, сказав:

— Видите, хочу я долговременный сей раздор церковный уврачевать. Мои ответы вручаю вам за приписанием собственной моей руки по листам. Извольте пользоваться, беседу нашу поведем мы с равным достоинством для примирения в рассуждении публичном.

Потом, обращаясь к собравшимся вокруг него выбранным старцам от сафонтиева, онуфриева, беспоповщины и других согласий, поочередно спрашивал каждого о том,

согласен ли он с диаконом Александром, одобряет ли он диакона, отрицающего значение соборов и стдвов церкви, и может ли существовать священство без епископской хиротонии и можно ли народу избирать, кого ему вздумается, епископом? При этом Питирим напомнил собравшимся, что даже Христос ошибался и выбрал себе в апостолы Иуду. Питирим в длинной, горячо произнесенной речи, называл «сеумудрием» учение диакона Александра. Окончив речь, он громко, так, что слова его гулким эхом отозвались в соседнем бору, спросил:

— Согласуете ли вы, старцы, и приемлете ли ответы диакона Александра?

Раздался зычный голос из толпы: «Нет!»

Старцы переглянулись между собою. И потом по очереди пролепетали:

— Нет! Не согласуем и не приемлем, однако уважаем диакона за вельми мудрую голову и честность.

Питирим снова спросил:

— Не приемлете?

— Не приемлем!—глухо ответили старцы.

Затем епископ обратился к диакону Александру с вопросом: что именно понудило его составить несправедливые ответы на предложенные ему епископом вопросы.

Диакон задумался. К нему были направлены все взоры раскольников. Питирим тоже смотрел на него и, притом, с ласковой улыбкой.

— Ну, ну... Подумай,—ободряюще сказал он.

Диакон молчал. Позади него зашуршала бумага. Это Варсонофий неторопливо развертывал новые ответы епископу, приготовленные им и подписанные старцами Герасимом и другими видными раскольниками.

Варсонофий решительно вышел вперед и вручил Питириму тетрадь с ответами.

— Прими, владыко, новые ответы наши и доношение.

Питирим приказал старому подъячему прочесть это доношение диаконовцев во всеуслышание. Упомянув о вопросах Питирима и своих собственных, равно и об ответах, расколоучители признавали в доношении полную победу епископа над собою.

— О наших ответах,—жиденьким, резким голосом стал читать подъячий,—кои мы ранее подали вашему преосвященству, рассуждали мы многое время и разумели подлинно, что противу оных ваших вопросов отвечали неправо и

не противу вопрошения вашего, а на многие вопросы и вовсе не отвечали, ибо мы не возмогохом, како бы отвечать праведно. И того ради просим доношением оным...

Чтец запнулся, еле переводя дух от усталости и волнения. «Лесной патриарх» снова ощутил на себе взгляд Богдашки. Обернулся к нему Богдашка лицом, приоткрыл зипун на груди—показал дуло pistols. Он загадочно кивал головою «лесному патриарху» и подмигивал. Что он хотел этим сказать, забубенная головушка,—неизвестно, только Авраамий нахмурился и отрицательно покачал головою, как бы останавливая Богдашку. Подъячий продолжал:

— ...По совету же всего нашего согласия, ваше преосвященство, остави нам таковые прегрешения наши и прости нас без истязания<sup>1</sup> в оных наших неправедных ответах, так как мы отвечать не можем ныне и впредь; а мы оные наши ответы полагаем ни во что, якобы они и не писаны. Если же наши неправедные ответы мы, или кто нашего согласия духовного и мирского чина, ныне или в предбудущие годы станем похваляти и за правые вменяти тайно или явно, и между собою, и в народ переписывать и писанием издавать,—буди на всех на нас и на всех нашего согласия святых отец, всех вселенных и поместных соборов клятва в сем веке и в будущем и суд божий и царев. А сие мы просительное доношение вашему преосвященству приносим по совету всего нашего согласия волею, а не по нужде и не по насилию, но своим добрым произволением.

Питирим слушал это, смиренно потупив взгляд, а затем обратился к старцам:

— Извольте отвечать на всякий свой ответ подлинно... Хошу проверить и обсудить вместе с вами.

Среди старцев произошло замешательство. Они разом все низко поклонились, кроме Александра, и Варсонофий сказал от лица всех:

— Прости нас! Мы не можем ничего иного отвечать, кроме того, что в доношении нашем написано. О сем и просим.

Сколько ни требовал епископ вступить с ними в споры, расколоучители только низко кланялись, оставаясь без-

---

<sup>1</sup> Истязание в данном случае подразумевается как допрос, оспаривание и т. п.

молвными. Диакон Александр с грустью смотрел на них, но тоже оставался неподвижным.

Тогда Питирим показал рукой на толпу и сказал Варсонофию:— Не найдется ли среди них человек, который пожелает иметь свое слово?

Варсонофий подошел к краю помоста и крикнул:

— Извольте вы! Кто может, тот выступи и отвечаай, а мы больше сего отвечать не можем, что у нас написано в просительном доношении.

В тишине прошел говор людей, вполголоса начавших обмениваться мнениями.

— Братцы!— вдруг раздался громкий, густой голос.— Не дадим себя постыдно оглаголать!

Говорил это «лесной патриарх». Старцы испуганно озирались по сторонам, отыскивая глазами смельчака. Питирим сразу увидел «лесного патриарха» и стал рассматривать его своим строгим, властным взглядом. Человек с серьгой снова подскочил к Авраамии.

— Пускай ответит нам епископ: ходил ли Христос на собеседование к книжникам и фарисеям с воинами и мушкетерами?

Питирим улыбнулся.

— Войско не мое,— ответил он громко.— Оно государево. И не ради меня оно пошло в леса, а токмо того ради, что губернатор Юрий Алексеевич Ржевский поехал по губернии. Я же весь тут перед вами, безоружный, смиренный. Грудь моя открыта; кроме слова божия ничем не защищен я. Хотите убить меня—убивайте!

Варсонофий вновь обратился к толпе:

— Кто может—выступай и говори.

Люди мялись. Некоторые ворчали: «Где нам? Он оглаголет хоть кого». Так больше никто и не сказал ни слова. «Лесной патриарх» стоял, прислонившись спиной к стволу ели, красный, смущенный. Тогда Питирим торжествующим голосом заявил:

— Православнии христиане! Слушайте, что вам скажу: надобно неотложно диакону с товарищами о неправых своих ответах подробно отвечаати, а они не отвечають больше ничего, только приносят свою вину доношением, что они на вопросы мои правдиво отвечаати не могут, а что написали ответы и мне вручили, а те ответы сами признают они неправыми, полагают их ни во что, якобы и не писали... Не по душе мне безгласность ваша!



После этого Питирим заставил уже Варсонофия второй раз прочитать составленное расколоучителями доношение. В угрюмой тишине облачного холодного утра голос Варсонофия звучал монотонно, фальшиво. «Лесной патриарх» зло улыбался, глядя на белые комки, облепившие солнце, — будто митра, напыленная на седые космы. Солнце не греет простой люд, оно ублажает властелинов и тиранов. И теперь старец Авраамий сам стал искать глазами Богдашку. Увидев его, поманил к себе. Тот подскочил, тряхнул серьгой, подставил ухо.

— Где твоя пистоль? — прошептал «лесной патриарх».

— А пошто тебе? — удивленно вскинул бровями Богдашка.

— Рази! Рази его в сердце!

Богдашка остолбенел.

Питирим, как нарочно, вышел вперед, к самому краю помоста, и, указав на старцев-расколоучителей, обратился к народу: — Православнии! Что нам с ними делать? Зрите! Кроме поданного доношения, ничего не отвечают.

На лице диакона Александра появилась грустная улыбка. Все думали, что он что-нибудь скажет, но он, как и все другие расколоучители, упорно молчал.

«Лесной патриарх» сам полез было за пазуху к Богдашке, но тот ловко вывернулся и исчез в толпе. «Лесной патриарх» крикнул, но горло его душили спазмы, и голос его затерялся в говоре людей, только стоявшие рядом с ним слышали, что он прокричал: «Варсонофий — предатель!».

Питирим внимательно выслушивал подошедших к нему церковников-мирян. Они жаловались епископу на взяточников-ландратов, на злоупотребления монастырских сборщиков. Старцы униженно стояли в стороне. Один диакон Александр, все время гордо державший голову высоко и с достоинством, быстрыми шагами сошел с помоста на землю и, не оглядываясь ни на кого, пошел в скит. Питирим, хотя и беседовал с мирянами, а все же пристально посмотрел вслед диакону и улыбнулся одними губами, тонкими и плотно сжатыми. Глаза же епископа не улыбались и глядели строго и холодно.

Под конец беседы с раскольниками Питирим благословил всех и сказал:

— В губернии нашей есть люди, своею волею предающие себя сожжению. Сие есть безумие и окаянство! Бог

наш не есть Нерон, ни Каракала, которым мучить людей за забавку было. И каковы плоды могут быть от таковых безумных страдальцев? И еще говорю вам: развелись в лесах и такие люди,—как хотят, так творят. Безумцы эти говорят: «Ежели меня мучили, то и мне не грех другого погубить». Они враждебностью и отчаянием дышат. Только то страдание угодно богу, ежели за известную истину, за догматы вечной правды, за укрепление державы родной... Злострадающие, не обретая себе покоя, бешено вливались в бунтовские полчища булавинские противу царя, противу веры... Усердно молю здесь и увещеваю керженских мирян и скитожительствовавших избегать сего окалнства и гибели. Гнать от себя мстительных и вредных проходимцев... Если среди вас есть такие, пускай они убьют меня, но я повторяю: это самые враги и есть... Не слушайте и ловите их!

На этом и кончилось собрание в Пафнутьеве. Епископ в кругу своих приближенных в доме настоятеля пафнутьевской церкви, священника Ивана Петрова, высказал досаду, что «раскольщики безответно молчали, не защищали себя».

— Был и я раскольников и супротивничал со смелую отваяю, а они молчат... Доброго успеха им от сего ожидать не можно... Без твердости и воли может ли существовать ратоборство за догмат? Стало быть, им не дорого то, за что они стоят...

Керженские скитожители, расходясь по домам, молились: «Избави нас, боже, впредь от неистового дождя словес антихристовых». И отплеывались.

Снова собрались диаконовцы в келье Александра. Лица у всех были красные, смущенные. Сам Варсонофий избегал взгляда вождя.

— А что можно было сделать?!—сокрушенно вздыхал старец Герасим.

Явился в келью и «лесной патриарх». Он был угрюм и порывист.

— Обляпали грязью самих себя,—процедил он сквозь зубы.—Срамота!

Варсонофий метнул в его сторону беспокойный взгляд:

— Нырай, да под плот не угождай!

«Лесной патриарх» промолчал.

Как перед собранием, так и теперь, разговор у диаконовцев не клеился. Сюда пожаловали и расколуучители от

опуфриевцев, филипповцев «бегунов», самокрещенцев и другие. Все выглядели озадаченными, приниженными.

— Опутал нас противник божий, судия сатанинский! — печаловались они.

Варсонофий старался ободрить старцев. Он говорил:

— Дух святой, истинный и животворящий всегда одержит победу над тьмой, и не кто иной, как бог, подсказал нам написать те непротивленческие ответы. Дух ложный, противный погибнет, не взирая ни на какие ухищрения. Последний суд будет в граде небесном, а не в граде падений и темноты, в граде вышнем Иерусалиме, и руководителю и всему миру хранителю — спасителю — все видит и знает.

На Варсонофия взглянул Александр пристально, нахмурившись:

— Спаситель видит: где правда, где обман, а ты хочешь, чтобы мы, обманывающие власть, не знали, что мы делаем?.. К лицу ли нам извятие словес, которого мы не хотим слышать даже от Питирима?

Расколуучитель бегунов встрепенулся и сказал с желчью:

— У власти все человецы в покорстве состоят, и покориться властям — значит покориться образу антихриста, ибо по Апокалипсису он будет иметь свой образ, свой порядок...

Александр остановил его:

— Нет! Вспомни слова апостола Павла: всяка душа властем предержащим да повинуется.

Бегун заволновался:

— Врешь! Не в покорении ему святости верных утверждают, но на брань возбуждают. Молитися за царя — значит молитися против себя, значит молитися об истреблении христиан, то есть странников и бедняков.

— Вы погибнете! — закричал Александр на бегунов. — Не имея ни града, ни села, ни дому, бродяжничая по «любезным пустыням», вы не имеете связи меж собой... Вы мухе подобны необщительной...

— И будут у вас, — вмешался Варсонофий, — одни беглые, бездомные и бедняки, и не будет у вас богатых, оседлых людей, и погибнете вы в нищете, о чем и сказал вам наш мудрый диакон Александр.

Старец Варсонофий почтительно поклонился диакону.

Бегун обругался. Волосы его растрепались, рубаху на воротах он разорвал, оголив загорелую грудь. Хриплым го-

лосом он проклинал керженцев за бессловесную рабскую податливость.

— Отвечай, диакон, вождь глухих овец, что теперь делать всем нам?

Александр, после некоторого раздумья, сказал:

— Ограждайся своей правой верой, как камень, будь тверд в своих мыслях, опасностей не бегн, закон царей выполняй, но душу им не продавай...

— Все вы сребролюбием и суетою помрачены! Гады вы! Гады вы! Гады!..

Бегун рванулся к двери, сквернословя и отплевываясь.

— Душе тяжело! Дышать не можно! О, горе нам, странникам! — простонал он, скрываясь за дверь. — Горе нам, отверженным!

Александр страдальчески улыбнулся. Варсонофий, закрыл глаза руками. Александр гневно сказал:

— Стыдно мне смотреть на вашу барсучью ярость! Не приведет она к добру. Занедужили христианские души. Гордость и алчность заслепила всех...

Тут вмешались в разговор онуфриевцы, поддерживая Александра. Они стали упрекать диаконовцев и поморцев, что они, действительно, на злато прельстились, алчностью снедаемы и захватить в свои руки все подряды и промыслы устремляются... что-де бога забыл и сам равноапостольный вождь Поморья Андрей Денисов, отмечавший «высоту и отличие в российских венценосцах первого императора Петра Алексеевича», а они, онуфриевцы, его, Петра, считают не кем иным, как антихристом и тираном. Повенецкие заводы и канал на Ладоге доходы поморцам дали премногие... Вот почему Денисов подался на сторону Петра. Царь торгашам обогащаться пособляет.

Один расколоучитель выступил с обвинением против диакона Александра: почему он молчал, когда Питиримка народ обманывал? Варсонофий вступился за Александра... Поднялся шум, разгорелись споры. Старцы полезли друг на друга чуть ли не с кулаками...

— Он книжную мудрость и разум в себя пачерпал, а перед епископом стоял, будто истукан, — визгливо кричал расколоучитель, тыча пальцем в сторону Александра.

— И ты прельстился! — кричал он истступленно.

Поднялась суматоха. Старцы толкали друг друга, «пыр-скали, яко козлы». «Лесной патриарх» вцепился в бороду Варсонофию. Старец завизжал...

— Пошто льстивые, угодные Питиримке ответы под-  
сунул... Пошто одурачил всех голодных, несчастных!—  
неистово кричал «лесной патриарх».

— Дьявольская выдумка это: и вопросы и ответы! Не  
в них дело! Дело в закабалении нас, в поднятии смуты и  
междоусобия между вами!— завопил бегун.

Послышалось много голосов, одобряющих его слова.

Александр отошел в угол. Теперь он ясно видел, как  
изменилось все на Керженде за те шесть месяцев, которые  
он просидел в Духовном приказе... Несогласие круговое.  
В глазах Александра появились слезы.

— О, горы! Падите от гнева за нас распятого!..—про-  
шептал диакон, в ужасе прижавшись к стене.

На обратном пути с Керженда Питирим высказывал  
Ржевскому свое неудовольствие. Епископу было обидно,  
что так легко покорились старцы, не показав свою уче-  
ность. Он уверял вице-губернатора, что посрамление рас-  
кольничьей гордыни ума и суетумудрия было бы тогда еще  
сильнее.

— Словно из пращи поразил бы я их.

Ржевский усмехнулся:

— Мои солдаты и того лучше бы истребили их... По-  
вели, владыко!

Как и всегда, епископ выступил с горячим возраже-  
нием. Он говорил, что воинским оружием и силою—веры  
не убьешь, это показано всей многовековой и многозначи-  
тельной историей еврейского народа. И притом же пуля  
и меч не разбирают, избивают всех равно, а у раскольни-  
ков народ тоже есть разный, и у раскольников есть доб-  
рые и злые, сытые и голодные, алчные до наживы и бес-  
сребренники, приверженные царю и враги наши явные...  
«Будут еще мятежи и молва на Керженде великие, и уже  
ныне вижу я разделение между людьми, и укрепляется  
вера у меня в мое дело, ибо я знаю, как различать лю-  
дей и кому что воздавать».

После этого ехали молча. Питирим, сидя верхом на  
своем вороном коне, о чем-то глубоко задумался, немного  
уклонившись в сторону от Ржевского... Лицо епископа  
было бледное от усталости и бессонных ночей, но глаза  
горели мрачным зловеющим торжеством победителя.

## VIII

Вернувшись в кремль, Питирим немедленно собрал фискалов и инквизиторов. В своих покоях провел с ними долгую секретную беседу. Из его слов выходило, что борьба только теперь начинается. А в приказе-то думали, что вот после размены ответами дело, наконец-то, пойдет на «мировую». Выходит — ошиблись. Взяв со всех клятву о том, что до поры до времени они будут молчать о всем, от него слышанном, епископ предупредил, чтобы всем им быть наготове: предстоит большой поход на раскол.

Каждого фискала потом Питирим принимал в одиночку и, накрепко запирая двери, опрашивал: что и как?

Фискал Семен Лисица — рыжий, сутулый говорун — рассказал о душегубствах, татьбе и разбоях, чинимых знатым и плавающим по Волге торговым людем Софроном и его шайкой. «В селе Безводном 25 сентября часу в первом дня — доносил Лисица, — приходили воровские люди многим собранием, то село разбили, прикащика жгли и мучили, разбоем взяты сборные деньги, письма и лошади».

Не трогают только они людей старой веры, кои предъявляют им окладные листы.

Питирим, выслушав фискала до конца, благословил его и собственноручно подарил ему рубль:

— Иди, благодать духа святого над тобой.

Последним вошел к нему в келью человек с серьгой. Он подал епископу железную пистоль и поклонился.

— Говори, — приказал Питирим. — Кто?

— Поп Авраамий, прозванный «лесным патриархом», токмо он. Не кто иной.

— Как было?

— Толкал он меня в бок, полез за ворот ко мне за пистолью, мигал глазом... «Убей, мол, его».

Донес он епископу еще и о том:

— Софрон с воровскими людьми, наехав на вотчину Левашова, на деревню Заболотное, двор помещика сжег. Страшно подпасть их гневу. И ниже, у Васильсурска, побили они еще многих людей до смерти, а на разбое в той шайке собрались беглые солдаты и драгуны, беглые крепстьяне, поп-расстрига, чуваша и мордва.

Выспросив все о «лесном патриархе» и о Софроне, Питирим приказал:

— Плыи к Макарию, в становище ватажников, будто

бегун. Скройся там, а о чем сыск иметь, иди на приказ к Юрию Алексеевичу,—скажет.

Благословил епископ и этого фискаля и одарил пятью рублями.

Не успела «серьга» исчезнуть, как в келью ввалился дьяк Иван.

— Помилуйте! — простонал он.

— Говори...— ткнул дьяка в грудь епископ, а «серьге» показал на дверь, чтобы скорее уходил.

Дьяк Иван снова вытянулся и однообразно, скороговоркой, затаив дыхание, продолжал:

— Колодники—два человека, Климов и Евстифеев,— изломав у тюремного окна решетку, бежали, а после них в тюрьме найдены ножные железа, в которых те колодники сидели, да деревянный ключ, да гвоздик железный, загнутый крючком, которыми они те железа отомкнули.

Преосвященный дернул дьяка за бороду.

— Дьяк ты или скворец?!

— Дьяк, ваше преосвященство.

— А коли дьяк, придется тебе ответ держать... Допрашивал на розыске сторожей и приставов?

— Допрашивал. А в розыске сторож Федоров и пристав Гаврилов сказали: означенные-де колодники были скованы в ножные кандалы и сидели под приказом в особой подклети, под тем же-де приказом и в том же каземате, где сидел ранее старец диакон Александр...

— Знаю...— нетерпеливо оборвал Питирим дьяка Ивана. — Говори толком...

— А караульщики, мушкетеры Масейка и Назарка, напившись вина в кремлевском погребе, скрылись...

— Долой с моих глаз, собачий лишай!— вскрикнул епископ, с силой ударив дьяка посохом.

Вечером он вызвал к себе Ивана Михайловича Волинского. Тот пришел красный, сконфуженный, склонился под благословение. Епископ резкими рывками перекрестил его. Волинский, смиренно опустив голову в пышном парике, молча встал в сторонке. Питирим, барабая пальцами по столу, строго нахмурился.

— Нельзя из кремля уехать мне ни на один день, ни на едину ночь,—сказал он с укором в голосе.— Что ты тут содевал? Куролес ты, Иван Михайлович, а не помощник губернатора... Зачем погреб открыл?

Волинский, приложив руку к сердцу:

— Ваше преосвященство!.. Не вы ли сами, государева дела ради, приказали нам с дьяком Иваном Афанасьевичем ассамблею сию сотворить с именитыми нижегородскими гостями?.. Да во хмелю и попытать их?

— Ну и что же! Не вижу я ни сыску, ни розыску, никаких ведомостей об оной ассамблее, а вижу бегство изпод приказа колодников и их охраны, мушкетеров.

— Есть и сыск, ваше преосвященство...— таинственно подмигнув, сказал Волинский.

— О ком?

— О Нестерове... обер-ландрихтере... И дворянин Всеволодский вам скажет... Найдена персона и другая...

— Кто?

— Гостинного двора гость Олисов... Меж ними сговор, а Нестеров работает на раскольщиков и купцов совращал—ныне доказано.

Волинский поклялся в правдивости своих слов и даже крест на груди преосвященного облобызал.

Епископ усадил его и начал расспрашивать.

Искать беглецов, кроме отряда, были посланы трое фискалов и подьячий Иван Санинский—юркий бородач. Все они старались проявить неслыханное усердие перед епископом и лезли назойливо всюду, где их не спрашивали, совали свой крысиный нос во все щели и закоулки, шмыгали в церквах, монастырях, на базарах, на судах; заглядывали в печи, в трубы, в колодцы, в отхожие ямы, удивляя посадских своим проворством и озлобляя их.

Один монах почему-то повесился внизу под горой, над ручьем, стекающим из кремля и из которого, будто бы, епископу носили воду для питья. Пошла молва: «Не к добру это!». А что монах повесился назло Питириму—в этом не было никакого сомнения.

Купцы гадали у ворожеи, под горою, у Похвалы. Жила она в полуземлянке и славилась своей прозорливостью. О чем гадали—тайна! Только жаловались на стороне: борьба с расколом мешает торговле.

Ворожея брала у гадальщика ключ от его кладовой или от сундука с деньгами и записочки о желаемом; вкладывала все это в псалтырь. Ключ запихивала в псалтырь винтовым кольцом, а круговой конец его связывала с псалтырем веревочкой. Гадальщика ворожея заставляла держать ключ с псалтырем на указательном пальце, просунутом под веревочку. После этого она читала тайно какой-то



псалом. Если в это время псалтырь на пальце завертится— значит хороший признак, и гадальщик уходит радостный, поглаживая самодовольно бороду, обдумывая свои дела бодро, с надеждой. Если псалтырь не вертится, это худой признак,— гадание не обещает ничего хорошего.

В эти дни сыска псалтырь почему-то ни у кого не вертелся. Известие об этом передавалось из уст в уста. Чего только ни делали гадальщики и гадальщицы, как ни крутили пальцем— псалтырь ни с места. Православные попы хихикали:

— Раскольница она, ворожея-то, вот и не вертится. Попадет под приказ,— небось, завертится...

Ворожея исчезла. Искали ее пристава— как не бывало старухи. Многие об этом плакали. А другие подмигивали:

— Небось, никуда не денется, наша будет.

Из посланных на розыски беглых рабочих с Усты, Климова и Евстифеева, и мушкетеров Масейки и Назарки первым в Духовный приказ заявился подьячий Иван Санинский. Он доложил епископу:

— Идучи-де дорогой, нам попалась жонка Ирина Панфилова, про которую мне, подьячему Санинскому, приставу, сказали, что она-де с утеклемом многие разговоры имела. Ту жонку я, пристав, взял, да по указанию той жонки Ирины взяли еще двух девок: Авдотью Федорову, дочь сторожа, и Феклу Андрееву, которая недавнего утеклеца Софрона-де сестра. Да взял и еще жонку Наталью Лукьянову с дочерью Настасьей, да вдову Серафиму Андрианову, у которой есть девка. А она девка в том дворе заперлась и осматривать себя не пускала, а потому все те жонки и девки в Духовный приказ приведены к допросу и заперты в каземат.

Питирим поморщился, выслушав Санинского:

— Откуда ты столько девок да жонок насобираешь?— И подозрительно, исподлобья посмотрел на подьячего, покачивая головой. Тот переминался с ноги на ногу, покраснел; видно, не знал, что ему ответить. Тогда забасил дьяк Иван:

— А на допросе те жонки...

Во время доношения дьяка в комнату на носках вошел сам рудоискатель Калмовский. Он раболепно поклонился Питириму и заискивающе, певучим голосом сказал:

— Ваше преосвященство, отец наш родной, обратите ваше внимание на покорного раба своего...

Безбровое, белобрысое лицо Калмовского глядело обиженно, и весь он, маленький, кривоногий, в зеленом кафтане казался таким смиренным невинным страдальцем, что прямо хоть на икону. Он говорил о том, что царским указом торговые люди и промышленники поддержкою сугубою обнадежены, а гражданские власти, хотя бы и обер-ландрихтер Нестеров, никакого внимания к нему, Калмовскому, не проявляют, напротив — даже насмеваются. Одна надежда теперь на его преосвященство, на его суд скорый, правый и суровый.

Питирим приказал Калмовскому, как человеку, дорожащему, государевой правдой, написать ему, Питириму, о Нестерове без утайки и без прикрас все, что знает. После этого епископ отпустил рудоискателя домой с миром.

— А теперь пиши ты, — обратился он к дьяку Ивану:

«...приказным сторожам, приставам, хотя из них сторожа колодничьим караулом и не обязаны, однако ж, надлежало над приставами смотреть накрепко, чтобы они караул свой над колодниками имели неослабно и ежели что усмотрят непорядочное, о том надлежало им доносить приказным людям. А приставам, хотя которые при той колодничьей утечке на карауле и не были, но у которых за их караулом тюремные сидельцы имели у себя ножи и плети лапти и потому можно было признать причину, что они имеют ножи, а в тюрьмах нигде так не ведется, и, усмотря, надлежало те ножи у них отобрать, и о том донести приказным же людям. Они же при вышеписанном следовании показали, что к помянутым-де колодникам приходили многие девки и жонки, которых они, присмотря, чего ради — под караул не имали и приказным о том не доносили.

За те вины учинить им всем наказание, вместо торговой казни, — бить шелепами нещадно. Впредь сторожам над сторожами и над делами в приказе и над приставами, приставам над колодниками — иметь смотрение. О том обязать их сказками по приказному регулу. А над ними над всеми для достоверного смотрения определить в том приказе дневальных и подъячих, которым каждому свое дежание дневать и ночевать в том приказе неспходно. Обязать их в том сказками же. А над всеми теми сторожами и приставами и подъячими прилежно смотреть дьяку, а ежели из них кто в чем явится неисправным, докладывать преосвященному епископу».

По распоряжению Питирима Ржевский посадил своего помощника Ивана Михайловича на десять суток под арест: «Дабы впредь было таковое творить неповадно. Пей, а ума не теряй». Так было сказано и в губернаторском приказе.

После совещания с епископом Ржевский издал приказ: «Всех гулящих и слоняющихся по городу людей, а особливо которые под видом будто бы чем промышляли и торговали, хватать и допрашивать. Также накрепко смотреть приезжих, какие люди, и чтоб всякий хозяин тотчас объявил, кто к нему станет и какой человек».

На дьяка Ивана наложил Питирим строгую эпитимию: сто поклонов каждодневно в соборе утром и вечером, не вкушать вина в течение года.

— Настает пора, когда не до этого,—сказал ему Питирим.— И работы тебе будет немало.

Дьяк слушал епископа, подавляя в себе тяжелые, грустные вздохи.

Самым же большим событием этого дня была отправка Ржевским по приказу Питирима в Васильсурск семи стругов с гвардейцами для поимки Софрона и иных «воров».

## IX

Филька примчался к Степаниде веселый, возбужденный; глаза его сияли таким торжеством, что Степанида подумала: уж не клад ли какой парень где-нибудь выкопал. А Филька—шапку об пол и на колени перед иконой, да за юбку Степаниду:

— Вставай, молись!

— О чем?

— Ватага под Лысковом разбила гвардейцев. Семь стругов на дно пустили. Благодарил господу бога... благодарил... Экая ты, право! Он подарок тебе прислал, Софрон, а мне десять рублей деньгами. Молись!

Степанида охотно стала на колени.

— Говори... Слава тебе, господи, потопившему в водах струги питиримовы... пускай пожрет их на дне пучина окяна-моря, слопают колдун речной, а богатства несметные останутся народу голянскому и нам с тобой.

Степанида радостным голосом послушно, слово в сло-

во, повторяла выдуманную Филькой молитву, а когда молитва кончилась (как показалось Степаниде—по случаю того, что Филька не знал, что дальше говорить), она поднялась с пола и стыдливо спросила:

— А подарок?

Филька достал из-за пазухи большой шелковый платок-ширинку с золотыми каймами и кистями и отдал ей.

— У княгини у одной отбит,—шепнул Филька.

Степанида и сама видела: кому же иначе такую нарядную ширинку с кистями носить? Глаза ее разгорелись, заиграли... Но Филька не велел долго любоваться:

— Убери, неровен час, соглядатай какой под окном.

Степанида упрятала ширинку в подполье, закрыла ставни на окнах. Потом оба пересчитывали, перекладывали с руки на руку серебряные рубли-крестовики. «Хитер царь-антихрист, чего придумал!» Чуть не сорвалось у Фильки: «Дай бог ему здоровья». На рубле был крест из четырех букв «П», отчего и рубль этот назывался в народе «крестовиком». Хоть и антихристова печать, а деньги... И любовались на эти рубли Филька и Степанида с большим удовольствием, забыв обо всем на свете.

— Польза большая народу будет от ватаги. Помогать ей надо... Богу за нее надо молиться,—говорил растроганным голосом Филька.

— Да хранит их всевышний...—набожно произнесла Степанида, сочувственно вздохнув. А потом с тоской спросила:—Почему ты не можешь найти клада?

Филька, как бы дразня ее, с горящими глазами, стал рассказывать о том, какие у разбойников бывают большие богатства и как они зарывают их в землю... Таких кладов много в лесах и на горах Поволжья... «Вот бы нам с тобой!»

Степанида просила его рассказать что-нибудь о кладах. Любила она слушать такие рассказы. Да и не одна она. В народе везде мечтали о кладах, ибо «от трудов праведных не наживешь палат каменных, а вором быть не всякому доступно». — Помечтаешь о кладе, на сердце как будто повеселее становится.

Фильке именно того и надо было. Толкнул он, шутя, Степаниду, та, конечно, взвизгнула, опустилась с томными глазами на постель так, что затрещали доски. Филька загоготал, устроившись на скамье против нее.

— Слушай...

Он вобрал в себя воздух, облизнулся с таким видом, будто собирается поведать что-то до крайности редкое, какую-то из ряда вон выходящую историю, а сам ни с места.

Степанида от нетерпения и любопытства тяжело дышала, беспокойно шевелила коленями. Филька нарочно не торопился, чтобы больше раззадорить бабу.

— Были в смутные времена паны,— начал он не спеша.— И ходили те паны-ляхи по земле нашей и пригинали народ к земле, как былинку. И вот выбрали паны притон в одном месте, у нас в лесах. И стали из него наезжать и грабить. Всего чаще по праздникам, когда народ расходился по церквам и на базары. Заберут паны, что получше, а деревню зажгут. Этим они вывели народ из всякого терпения. И вот согласились против них три волости. Окружили притон так, что разбойникам некуда деться. Стали они награбленное добро зарывать в землю в кадке, и не просто, а с приговором, чтобы то добро никому не досталось. Атаман ударился о землю, сделался черным вороном и улетел. Товарищей же его всех захватили и «покоренили»<sup>1</sup>.

— Улетел?—спросила Степанида.

— Да. Улетел, окаанный.

— А добро?

— Так и осталось в земле. Искали его, искали, да нешто найдешь? Вот откуда в землях неведомые богатства и кроются...

— Всё?

— Всё.

Степанида разочарованно покачала головой:

— Мало.

— Довольно.

— А Софрон как же?—спросила загадочно Степанида.

— Что Софрон?—спросил Филька.

— Он тоже разбойник?

— Только не такой. Он — свой, наш.

— А куда же добро он свое деваает?

— Куда?! Экая ты, право, острая... Чего тебе?

— Пускай скажет он тебе, куда зарывает...

— Как же, скажет!

<sup>1</sup> Особая казнь. С одной стороны корни дерева подрубались, дерево наклоняли и засовывали в образовавшуюся под деревом пустоту человека, а дерево опять ставили прямым.

— Коли умрет или убьют, или улетит, все одно—пропадет... Уж лучше бы нам досталось.

— Человек улететь никуда не может. Врут всё... Сказка!

— Ну, убьют или сам умрет—тогда пропадет клад? А если Софрон наш—он должен сказать нам это.

— Ладно, там увидим!—зевнул он,—спать пора.

— Нельзя... Нестеров просил прийти...

Филька нахмурился.

— Опять?

— Ночью стирать буду... Надо приготовить...

— Не уходи,—просительно проговорил он, взяв Степаниду за руку.

— Нельзя. Выгонит.

И ушла. Филька остался на месте,—не дерзнул задерживать Степаниду: «ах, бедность! бедность!» подумал тоскливо он.

. . . . .

О ватаге шли большие разговоры по деревням, много говорилось и на посадке; которые хотели видеть ватагу победительницей в борьбе с правительством, рассказывали о ее подвигах дивные сказки. А в тех сказках—новые, приятные для слуха и кружившие голову слова: послушаешь—будто нанюхаешься прекрасных лесных цветов или насладишься в теплую летнюю ночь соловьиным пением. От этих речей было весело, хотелось жить, верить в свою звезду. Но были люди, которые смотрели исподлобья и упрекали других за бодрые мысли, говоря, что чудак, имеющие надежду, похожи на дядю, который «поутру резвился, к вечеру взбесился, а к утру помер». Еще больше стали ворчать эти угрюмые мудрецы после того, как на деревне появилась Степанида, приезжавшая за ягодами, и разболтала по бабьей словоохотливости, будто ей сам оберландрихтер Нестеров клялся перед иконой, что царевича Алексея давно уже и на свете нет и что будто бы он сам его хоронил, в бытность свою в Питербурхе.

Хотела этого или не хотела Степанида, а слова ее переположили все деревни и починки на Керженце, вселили отчаянье и сомненье в крестьянах, помогавших Софрону, разбили драгоценную надежду на «доброего» царя.

— Коли царевич умер, кто нам даст спасенье? Может ли скиталец, именуемый Иваном Воином, спасти нас от

бесчестья, от ран и побоев, дать нам землю и волю? Хватит ли у него могущества и славы затмить силу Петра-царя?

И когда Демид пошел однажды собирать по дворам просо для ватаги, чтобы доставить его в стружке на Суру под Васильсурск в становище, то многие мужики, особенно ворчуньи и маловеры, наотрез отказались дальше кормить ватажников.

— Самим есть нечего,— говорили они.

И Демиду трудно было их убедить, да и у самого у него положение было такое же: семья сидит голодная. Однако, он не смущался—шел дальше и, насобирав провианта, сел в стружок и отправился на Суру. Стружок шел быстро, но это не радовало Демиду—он вез ватаге ровно вдвое меньше проса, чем полагалось.

Софрон выслушал его с глубоким вниманием.

— Да, царевич давно поконится в земле, задущенный отцом...—сказал он серьезно.—И если бы он был жив, не лучше бы стало народу. Под шапкой Мономаха сидит кабала мужицкая... Все дело в вас самих. Может быть, мы и погибнем, но не на псарне дворянской и не в конюшине от батогов, а в славном бою с царевыми холопами, умрем за правду, за бедный наш народ!

Демид удалился из становища с тяжелым чувством. Теперь ему никто уже не вернет кабана, подати с него никто не снимет, по старой вере молиться никто ему не даст. «В нас самих»... А что мы можем сделать? Ах, ах, ах, ах!»

И небо над Волгой было серое, хмурое. Глубокая осень. Тяжело было на душе,—хоть домой не возвращайся.

## Х

Наслушавшись фискалов и других разных людей, доносивших на Нестерова, в том числе и бродившего по Нижнему без дела помещика Всеволоцкого, Питирим, после совета с Ржевским, решил, наконец, действовать. В глазах епископа Нестеров был главною помехой в дальнейшей борьбе с расколом. Вызвал к себе в келью из приказа дьяка Ивана и, обязав его клятвой «в молчании», усадил за свой стол и приказал писать письмо кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову в Питер.

Шагая по просторной рабочей келье в любимой рясе

своей черного штофа, подпущенной коричневой голью, епископ диктовал:

«С раскольническими учителями, с диаконом и прочими разменялись мы вопросами и ответами, и та размена попремному церкви святой благополучна, а на ответы их я имею намерение сделать возражение. Люди из расколу ныне к нам zelo стали быть к обращению наклонны, да обращаются, и надеемся на милость божию, что обращение умножится».

Питирим остановился. Нахмурился. Дьяк приник к столу, почти касаясь носом бумаги.

— Пиши! — продолжал епископ.

«Только пыне нас нечаянный случай попремному опечалил и навел сомнение: враг святой церкви, царьцыной кормилицы муж Стефан Нестеров к нам в Нижний определен бысть обер-ландрихтером, в Нижний не на устроение нашему делу, но на разорение. Раскольщики по сие время у нас весьма были бессильны и ни от кого помощи в том и надежды не имели. А сей враг хоть и неявно, но лестною стал их помощью обнадеживать и от того будет все неустроение. Юрий Алексеевич Ржевский впредь при том деле быть попремному боится, ибо кормилица Параскева Яковлевна, жена Нестерова, станет на него клеветать государыне-царице; от сего не только господин Ржевский, но и я не без опасения. А я с ним, с врагом, колико мучился, он не тайно раскольников защищал, но явно и нагло...»

Питирим повысил голос. Подошел к небесному глобусу, забарабанил пальцем по нему. Лицо его покрылось красными пятнами, глаза запылали гневом.

Дьяк от страха еле дышал. Грозен бывал в такие минуты епископ, и малейшая неосторожность в слове или во взоре могла привести человека, кто бы он ни был, из кельи преосвященного прямо в земляную тюрьму.

Епископ повысил голос:

«...но явно и нагло за них противу нас старался, а ныне у Юрья Ржевского в сыску раскол его, Нестерова, явно показан от многих свидетельств... Смирный Питирим, епископ нижегородский, кланяется покорно».

Раздувая ноздри от волнения, он тяжело опустился в кресло. Дьяк окаменел, уткнувшись носом в бумагу.

— Гораздо? — спросил епископ, улыбнувшись.

— Гораздо, ваше преосвященство.

— Тайны держись крепко, благодушно отложив.



бахвальство и языка игривость. Иди. Искусно пиши послание. Будет читать сам царь.

. . . . .

Вернувшись к себе в приказ, дьяк крепко задумался. Епископ требовал, чтобы его дьяки и подьячие и монастырские писаки излагали свои доношения и письма «зело внятно и хорошим штилем», как того требует от служилых людей сам царь Петр Алексеевич.

Слова царя Питирим объявил по всей своей епархии, чтобы этому строго следовали и писали кратко, только о деле. Поневоле теперь задумался дьяк Иван. Да и к тому же писать приходится явную жалобу на обер-ландрихтера, на царского вельможу, близкого ко двору. А если узнает он об этом? Бояре дерутся, а холоп виноват. Не получилось бы и так.

Дьяк широко перекрестился и, вынув гусиное перо из-за уха, робко сунул его в чернильную чашу. «И то сказать,—успокаивал себя дьяк Иван,—не срубить дуба, не отдуть губы. Что делать!»

. . . . .

Ржевский свое не забывал. Каждую ночь проводил обавы в разных слободах посада. Все остроги были набиты задержанными. Он тоже писал царю:

«Ныне до вашего величества послал раскольников не-обратных и замерзлых; они же и указу твоему учинились противны—положенного оклада платить не хотят, и за то биты кнутом и вынуты ноздри, и посланы в каторжную работу, числом 23 человека. А в том числе послан раскольник необратный Василий Пчелка, который под образом юродства многих развращал в раскол и пакость деял; да женска полу 46 человек замерзлых послал в девичьи монастыри, положенного оклада платить отреклись и за то учительницы их биты кнутом 13 человек».

Плач был великий у застав. Окруженные гвардейцами с ружьями наперевес, озаряемые факелами, в цепях, еле передвигая ноги, согнув спины под тяжестью мешков, набитых скарбом и сухарями, вышли за заставу толпою, полураздетые, бородатые колодники на глазах у своих жен и детей. У некоторых были железные рогатины на шее,

кольца с острыми длинными зубьями. Уныло звенели колокольца. Некоторые были босы, несмотря на осеннюю стужу,—это бобыли, о которых некому было позаботиться.

Ржевский умалчивал в письме, почему люди идут в тюрьму и подвергают себя пыткам и рванию ноздрей. Да и не тронуло бы это Петра. А получилось так потому, что людям нечем было платить налогов. Это были крестьяне и нищие посадские; никаких воров в толпе арестованных не было—сплошь горькие бедняки, непричастные даже к расколу.

Василий Пчелка, закованный в ручные и ножные кандалы, шагал бодро, распевая стихиры об Аввакуме. Он был в косматом треухе и, выйдя за заставу, крикнул Ржевскому, верхом на коне пропускавшему мимо себя колодников:

— Прощай, собачий лапоть! На том свете встретимся... Подметка монастырская... Погань! Обождите, вам еще шею свернут!

Один из тюремщиков хлестнул его по лицу кнутом, желая выслужиться перед начальством. Пчелка охнул, зажав рукой глаз. Присел.

А около заставы иеромонах в облачении старательно кропил святой водой проходящих мимо него колодников: «Благодать духа святого над вами!». Волосатые, почерневшие от грязи и горя люди машинально косились в его сторону, смотрели тупо, с недоумением.

Но вот шлагбаум снова опустился, и на посаде опять стало тихо и темно, только издали доносилось лязганье цепей, покрикивание тюремщиков и вой арестантов. Медленно скрывался в темноте осенней ночи хоровод факелов, одевших это скопище несчастных.

Шлагбаумы были устроены недавно по распоряжению губернатора на всех концах нижегородских улиц. По ночам они опускались, преграждая дорогу. У шлагбаумов находились в постоянном наряде сильные караулы солдат.

В каждой слободе и на каждой улице выбраны были старосты «для смотрения за порядком», а с каждых десяти дворов—десятский из тех же обывателей. Десятский должен был за своим десятком «накрепко смотреть, чтобы чего не учинилось противного запрещению», а о случившемся обязан был немедленно сообщить старосте.

И что ни день—все новые и новые строгости, все новые губернаторские выдумки. Недовольство на посаде,

хотя люди молча и подчинились новым порядкам, росло. Раньше не было ничего подобного, а жили так тихо и так спокойно, а теперь... И глаза бы не глядели! Надсмотра много, а то и дело убийства и грабежи, и редко кому удастся на посаде спокойно проспать до утра.

В церквях с амвона попы, задыхаясь от страха, провозглашали приказ Петра:

— Буде кто беглого сыщет или донесет и по его доносу сыщутся, давать доносителю по пяти рублей; а на тех, кои беглых держали, править за три года солдатское жалованье.

Многие старались от нужды заработать пятерку—рыскали по переулкам и закоулкам, хватали по ошибке не того, кого полагалось, иногда подвергались избиению тут же на улице, но охоты получить царские рубли не теряли. Лезли к другим. Глаза их горели, как в лихорадке. И многие из этих людей рассчитывали на добытые пять рублей прокормить семью не менее чем с месяц. Дело дошло до того, что Ржевскому нельзя было показаться на улице. Доносчики следовали за ними по пятам, «не давая покою везде во всех местах», а потому Ржевский принужден был напомнить царев указ 1714 года, в котором доносчики предупреждались, что в случае несправедливого доноса их самих ждет смертная казнь.

Тем не менее, съезжая изба у Ивановских ворот не пустовала. Ни одно орудие наказания в ней не оставалось без дела. А орудий этих было немало: и розги, и ременный, сыромятный кнут желобом на коротком кнутовище, чтобы удар был сильнее, и кистень в звеньях с увесистым набалдашником. Пожилой кат, или заплочных дел мастер, работал без отдыха. Любого человека он одним прикосновением руки делал калекой. На Нижнем базаре, особенно в гостинном дворе, за ним ухаживали, задабривали его товарами, подарками, хотя все презирали, как поганого. «Не дай бог никому в палачах быть, и без него нельзя!» — говорили со вздохом на посаде.

И жил он отщепенцем, презренным человеком в своей норе, рядом со съезжей избой. Ржевский его награждал, подбадривал, хотя и сам, как и все, презирал ката.

Пришло время, и Ржевский стал сдавать, ослабевать душой. Питирим, хотя и был ему другом, но замучил его, никогда не оставлял его в покое и даже по ночам вызывал его к себе в Духовный приказ. Водил в подземелье,

допрашивал при нем узников. Ржевский не мог отказаться. Боялся ослушаться Питирима, покорно ему подчинялся.

Вот почему и решил он однажды тоже написать письмо царскому секретарю Макарову о себе. Долго Ржевский, однако, не мог привести в исполнение своего намерения. Боялся. Наконец, все-таки написал:

«Прошу тебя, мой милостивый государь, Алексей Васильевич, дабы я по высокой твоей милости указом царского величества от дел Нижегородской губернии был свободен и из Нижнего бы меня уволить, понеже отягчен делами многими и несносными, того ради всепокорно прошу, пожалуй меня, милостивый государь, не учини меня в просьбе моей забвенно, за что должен я за тебя, милостивого государя, вечно бога молить.

А ежели, мой милостивый государь, невозможно того учинить, чтоб от дел уволить, то прошу, чтоб указом повелено было мне, хотя на время, быть в С.-Петербурхе, доложить его царскому величеству о раскольниковских делах.

Покорный ваш моего государя слуга Юрий Ржевский».

Никто, кроме жены губернатора, Ольги Ивановны, не знал истинной и главной причины письма его к Макарову.

А причина была простая. Испугался Юрий Алексеевич будущего, того, что должно было в скором времени совершиться в Нижнем и уездах. А узнал он об этом от самого епископа Питирима, задумавшего великий и страшный поход на раскольников. Обессилел губернатор угождать епископу, тираня и уничтожая людей. Юрий Алексеевич — военная кость, капитан гвардии, участник боев под Нарвой и под Полтавой, не находил себе он удовольствия в тиранстве безоружных людей. Да и супруга его, Ольга Ивановна, давно требовала, чтобы ушел он с губернаторского поста, и уехали бы они вместе снова в Питербурх или к себе в вотчину. Она часто плакала и проклинала Питирима, ненавидя его искренне и горячо. Епископ властно и решительно, как ей казалось, повелевал ее бесхарактерным мужем. А человек Юрий Алексеевич от природы был, действительно, мягкий и многое творил в должности вице-губернатора против самого себя, неогласно со своими мыслями и совестью.

Вот почему и обратился он с письмом к статс-секретарю Макарову, сохраняя это в тайне от епископа Питирима и от всех своих приближенных.

На верхнем посаде, недалеко от кремля, рядом с Дворянской слободой, в крохотном бревенчатом домике поселился невзрачный, незаметный человек, возбудивший, однако, неслыханное брожение в умах, разрушивший все исконные представления нижегородцев об образе и подобии человеческого, великий реформатор, путь которого оказался в Нижнем не менее тернист, чем путь звездочетов итальянских. Этого человека ехидно подстерегали, когда он выходил от утрени из церкви, и били с особым усердием в глухом переулке кабацкие питухи, били его молча и усердно монахи, били дьяки и подьячие, били бурлаки, пекаря. Даже «незнакомые жонки» и девки лезли царапать его. И не к кому было этому человеку взывать о помощи, не у кого было ему просить защиты, ибо никто не был уверен в необходимости самого существования его.

Этот человек — первый в Нижнем открывший у всех на виду брилью, «куафер» из вольноотпущенных, Пронька Болдырь. Он, именно он, неожиданным приходом своим в Нижний с кощунственным лезвием и зеркалом возмущил умы и сыграл на понижение государственных доходов казны, срезая бороду, сей наиболее благоприятный предмет обложения, который легче всего было взыскивать и учитывать бюстителям царских доходов.

Юрий Алексеевич Ржевский с виду доброхотно разрешил Проньке существование на белом свете, хотя эта неприятность и произошла у него в губернаторстве. Но ведь сам царь приказывает брить бороды! Сие — закон! Против нового обиходного регламента может ли идти губернатор? Даже он, первый, посетил на новоселье «куафера Болдыря». Однако против всенародного и общедоступного избияния брадобрея он тоже мер не принимал. Тем более, и у самого у него втайне каждый раз чесались руки при виде услужливого, расторопного Проньки, и самому ужасно хотелось вложить некую лепту в общее дело. Что ни говори, а сумма, намеченная им в приходе за бороду, облетала, худела под пронькиной бритвой.

Епископ посматривал косо на «Пронькин приказ» и не однажды задумывался над вопросом: — нельзя ли и этого кавалера списать в раскольщики, сыскать вину и посадить в Духовный приказ? Мешало этому то, что, хотя Болдырь и смерд, и «тля», и «подлый человек», а дело единое

с епископом творит, наступая на староверскую ересь о небритии. К тому же, фискалы донесли в Духовный приказ, что Пронька — мордвин, недавно окрещенный, и впасть в раскол такой человек никак не мог, не имел к тому времени, а также и о догматах церкви он тоже не имеет никакого понятия, и возможно, что крестится не только тремя перстами, а всей пятерней. Что с него взять? Язычник был — язычником и остался.

Таким образом, Пронька Болдырь со стороны политики и церкви, как нельзя лучше оставался неуязвимым. Больше того, день ото дня власть начинала чувствовать все отчетливее и отчетливее в нем своего союзника. Офицеры, ландрихтер, ландраты, пристава стали наперебой заказывать ему парадные парики. Благообразить лик «по маниру столицы» было не только желательно для каждого городского дворянина и чиновного служаки, но и обязательно. Дворянству, по мысли даря, надлежало идти далеко впереди «низкого подлого рода людей», к которому, как известно, сопричислялись крестьяне, мещане, попы и прочие мелкие сошки. И нетрудно понять даже глупому, что Пронька Болдырь, как его ни презирай, а человек полезный и нужный: выдумщик предметов, входящих в роспись новин, обязательных для дворянства, у коего должно быть и в облике отличие от мужиков. А это — самое главное.

Деньги потекли рекой в карманы Проньке, не успевал он их пересчитывать и упрятывать.

На посаде, у обывателей, несмотря ни на что, установилось все же мнение, что Пронька Болдырь совершает какое-то нехорошее, противународное дело, вредное, грешное. Пронька оправдывался, а в душе и он не был понастоящему уверен — точно ли он прав? Иногда мучила совесть, какое-то раскаяние. Особенно досаждали ему в базарные дни приездные торговцы. Один поймал его в кустах около Похвалы и со слезами в глазах заговорил:

— Отринь от себя злый обычай, еже брады брить и подстризати, сие бо еретический есть обычай; православным же христианам не подобает сего творити и божью заповеданию противитися.

Говорил и плакал, и обнимал Проньку нежно, как брата. Пронька тоже заревел. Потом Пронька купил вина и наполнил этого прасола. Тот, глядя пьяными глазами в безбородое лицо Проньки, продолжал приставать:

— Запомни, друг, сотвори бог не человеки, а кошки и псы, оставя им без брад едины усы. Зачем же ты подобишь себя этим тварям? Пожалей меня! Больно мне!

Плачет и водку пьет. Пронька дождался, когда он плакать перестал, а пить продолжал, и на ухо, как глухому, крикнул ему, что не ради антихристовых прихотей бреет, а ради избежания голодной смерти. Прасол согласился. Не стал больше укорять Проньку.

Всяк по-своему на жизнь смотрит. Вон возьми офицеров, дворянское военное сословие, — почетно, а жидковато, и что касается чести — были бы деньги, и честь найдется. Получается, хоть и груб род человеческий и жесток, хоть и косятся все на Проньку, однако ни на какое другое ремесло не променял бы он своего доходного дела. И это многие понимают. Завидуют.

Филька Рыхлый, приняхавшись к брадобреевскому промыслу, сон потерял, по ночам бредил тысячами, а днем, сидя в своей кузнице, вздыхал, почему «господь бог одного кормит работой, а другого хлебом?». И забывал он тогда, что он — ревнитель «древлего благочестия», что совесть его «голубиною чистотою красуется», что «ад смущает людей златолюбием и блудом», что «грех возлюбити самого себя»... Теперь, пожалуй, он согласен поменяться с Пронькой своим промыслом. И, пожалуй, не прочь бы и сам резать бороды без страха и угрызения совести, хотя и раскольник.

Вот что и привело Фильку Рыхлого в одну из суббот к Проньке Болдырю в брадобрейную избу. Стали они большими друзьями в последнее время. Филька даже со Степанидой познакомил Проньку, а Степанида после этого знакомства с укоризной говорила:

— Учись! Вот как люди живут!

Это было обидно слушать Фильке. Он преисполнился еще большей завистью к Проньке, еще сильнее захотел разбогатеть.

Войдя в избу брадобрея, к великому своему изумлению, Филька увидел против зеркала помощника губернатора. Оробел. Попятился к двери, а Иван Михайлович его ласково окликнул:

— Воротись, милый, ты куда?

Послушался приказания и с дрожью в коленях уселся Филька на скамью, ожидая, когда цирюльник справит свое дело и когда освободится из его рук Волынский.

Сидел и думал он: «как это так, в брилью пожаловала такая высокая персона?» Слыханное ли это дело? Как никак, а помощник губернатора! И зачем — к тому же — эта персона могла его окликнуть. Что такое? «Пресвятая богородица!»

Пронька намочил лицо и плешь Ивана Михайловича какою-то пахучею жидкостью, намазал его салом и, сопя и приседая, принялся лезвием оскребать щетину с головы и со щек его.

Пыхтел Воынский, бурчал, топал ногами, скрежетал зубами... Два раза выругался нехорошими словами, потом у него потекли слезы.

— Легче родить, чем у тебя лицо побрить...— процедил он сквозь зубы.

Фильке было жутко смотреть и на мелькающее в руках Болдыря лезвие ножа, и на синее в цепких руках брадобрея пухлое лицо Воынского, но он виду не показывал и даже старался не дышать...

Получалось, будто у помощника губернатора Пронька вытягивает изо рта здоровый зуб, а Иван Михайлович упирается, дрыгает ногами и кричит: «Спасите! Помогите!».

Когда крик прекратился, Пронька, обтирая лезвие, сдвинув озабоченно брови, сказал:

— Жесткий волос... Торчит...

— Ирод ты, душегуб, сам ты торчишь! На шпагу тебя, дьявола, посадить, а не деньги тебе, козел вонючий, платить!—ворчал сердито Иван Михайлович, доставая из кармана недавно отчеканенные медяки.

Филька встал, почтительно отодвинулся к стене. Воынский, сопя и ворча, расплатился с Пронькой и подошел к Рыхлому:

— Чего рот разинул?! Работы у нас предвидится изрядно... Приходи в понедельник, покалякаем. Один ты, гляди, не справишься, кличь подмастерьев. Важная, государственная работа. Об этом запомни. Приумножь свою снасть, людей сыщи, и пойдет. Довольно баклушничать!

Иван Михайлович теребил свои опущенные книзу усы. Из-под густых бровей Фильку рассматривали прищуренные испытующие глаза.

— Оголь известен ты епископу?

— Колодников обряжал в Духовном приказе.

— Раскольник?

— Нет, —бойко ответил кузнец, не моргнув.



Волинский поморщился, вздохнул:

— Приходи.

И ушел, гремя по полу чудовищным папашом, запятым в бархатные ножны, и громадными немецкими сапожниками.

После его ухода Филька и Пронька некоторое время молчали, вопросительно глядя друг на друга.

— Боишься? — тихо спросил Пронька.

— Боязно,— прошептал кузнец.

— Точно ли ты в архимандричьей темнице людей ковал? — испуганно тараща глаза, поинтересовался Пронька.

— Да,— пролепетал тот, покраснев.

Помолчали. Пронька стал точить о камень свою бритву, отвернувшись. Будто не хочет больше говорить.

— А что?

У Фильки зародилась в эту минуту злая мысль против брадобрея.

— Так, просто,— не оборачиваясь, ответил брадобрей.

Филька с досадой почесал затылок и вышел из бритни. Дорогой ломал голову над тем, о чем донести в розыск на Проньку?

В понедельник он отправился в губернаторский комиссариат. Оделся по-праздничному. В новую поддевку с расшитыми желтой и красной гладью бортами и воротом. Расчесал бородку, новые сапоги дегтем намазал. Приосанился.

В воскресенье, хотя и виделся он со Степанидой, но ничего ей не сказал. Не обмолвился ни единым словом. Да и не знал еще: можно ли рассказывать о беседе с Волинским. «С огнем не шути,— раздумывал Филька,— с водой не дружись, ветру не верь! Со всех сторон нужна оглядка, недолго и сглазить, коли выгодное что — у всех очи завистливые. Голодные люди стали. А что касается Проньки — шути, асмодей, мед пьет. Это всем известно. А чего стыдиться? — размышлял Филька, подходя к приказу. — Когда сыт, тогда и знай стыд».

Иван Михайлович встретил в дверях ласково.

— Добре! — приветствовал он. — Честь лучше пива, а ты теперь у нас свой будешь... Наш. Понял?

Волинский провел Фильку в свою комнату, запер дверь.

— Внимай!.. Безместного двора купец ты. Издали еще так и сяк, а вблизи никак, пустота!.. И тут не звенит, и

там не шуршит...—Волынский похлопал себя по карманам.—И башка твоя почти что твоя наковальня—всяк по ней бьет. И всяк над тобой насмехается... Не так ли?

Филька утвердительно кивнул головой.

— Вникай! Не зря призвали тебя на боярский двор. Пускай смеются! Того ради — не унывай... На государевых дрожжах и твое тесто вспухнет. Только молчок. Разболтаешь — язык откусим. Проньку Болдыря с бритвой позволим. Твоего друга.

После этого Волынский наклонился к уху Фильки и сказал:

— Вице-губернатор и епископ подряд сдают тебе на всех колодников монастырских и гражданских. Ковать воров будешь, изменников.

— А много ли их? — спросил почему-то Филька побледнев.

— Хватит. Дом построишь... Тысячи будут. Ожидаем... За каждого с головы полтину. Дело наживочное.

У Фильки в мозгах помутилось. Разве не понимал он, что подряд предлагают ему неважный, зазорный? Понимал. Ковать придется ведь своих же страдальцев-пустыножителей и нищих-утеклецов, скрывающихся от ига барщины и военщины. Филька Рыхлый — человек посадский, зоркий, грамотный, — чувствует, чем пахнет от губернаторских милостей. И проснулось колебание в нем, зажглась обида внутри... Нет! Недостойно ему, ревнителю древнего благочестия, противу своих братьев такую работу вести.

— Нет! — сказал он. — Не гожусь я в слуги боярского, воеводиного приказа. Малоумен я и языком слаб, каюсь, и сердцем зело недужен... Не гожусь. Самый последний человек я... Убог от первого дня своего рождения...

Волынский заиграл глазами, поводил в раздумьи языком под верхней губой. Усы зашевелились. Кончик одного уса он взял в рот. Очень противно было это Фильке.

— Нам ведомо, что соответствуешь ты сполна, а у нас от врагов найдешь верное прибежище и защиту... Не бойся. За тебя казнить людей будем. Не посмеют.

Филька Рыхлый не поддавался.

Волынский достал из кармана целую пригоршню серебра.

— Вот это тебе... на обзаведенье... пятьдесят крестовиков.

Дрожь пробежала по всему филькиному телу: пятьдесят рублей! В груди стеснило дыхание, голова закружилась. Никогда в руках не держал он таких денег, и только видывал он такие вещи в руках гостинодворцев и прасолов. И хотел этого или не хотел Филька, но протянул дрожащие руки и крепко прижал к груди серебро, слезливо взирая на Воынского, который подал перо Фильке, усадив его на скамью:

— А теперь подпись руки положи под этой сказкой, сокол мой!..

Воынский подсунул Фильке бумагу.

.....  
Всю ночь молился перед иконами у себя в горнице Филька Рыхлый. Молился и плакал:

— «Среди самых юных лет вяну я, аки нежный цвет! Господи, помилуй!» «Ты разбойникам прощаешь, рай блудницам открываешь! Господи, помилуй!» «С верой днесь к тебе взываю и любовьию пылаю! Господи, помилуй!» «Ниспосли нам благодать, чтоб безропотно страдать!» «Возложили крест нести — ты приди меня спасти! Господи, помилуй!»

Все стихиры и акафисты, что знал Филька, — «нести числа» — перечитал он их до полночи. И стало ему после этого много легче. И то сказать: «Все христиане криво едут».

В полночь от Нестерова пришла Степанида. Так уже давно установилось, что домой приходила она почти на рассвете. Филька по бедности своей и незнатности примирился с этим, а Степанида домой носила и мяса, и масла, и молока, и денег от Нестерова.

Она удивилась, что Филька не спит.

— Больше не ходи к боярину... будет, — строго сказал Филька.

— Что так?! — удивилась Степанида.

— А что? — зло посмотрел он на нее.

— Осерчает... Боюсь.

Но не успела она высказать того, что хотела, как Филька размахнулся и ударил ее по спине. Не было такого случая раньше во всю жизнь, чтобы Филька руку поднимал на свою «любовь».

— Сосуд погибельный, пакостный! — прошипел он, завертываясь в одеяло, и прибавил еще бранное слово,

которым также никогда в жизни не называл Степаниду. Она заплакала. Слушая ее всхлипывания, Филька смягчился:

— Да будет честен брак и ложе нескверно!

— Что же ты... брачником хочешь быть? — спросила сквозь слезы Степанида.

— Да, брачником. Найдем попа и повенчаемся...

Степанида в ужасе закрестилась, слушая Фильку.

Оба они, и Филька и Степанида, были беспоповщинского толка, поморского диаконовского согласия, коим брак, освященный попами, не допускался.

Филька продолжал:

— Бракоборцы ныне подаются. На Поморье уже брачуют. И деньги у меня будут... И не надо нам никакой помощи от ландрихтера. Ложись! Утро вечера мудреней.

Степанида медленно стала раздеваться. Лицо ее было, на удивление Фильки, не таким уж радостным, как он того ожидал, наоборот...

## XII

Дьяк Иван хвастался перед отцом Гурием, что у него рука «зело легкая». Правда, колодники Духовного приказа и стражники были другого мнения, но одно дело — колодники и стражники, другое дело — отец Гурий. Ему, этому тихому иеродиакону, ничего не стоило втереть очки. Моргал, слушая, старый тщедушный батя, пощипывал тощую бороденку, сквозь которую проглядывал подбородок, и покачивал в знак внимания головой. А теперь и совсем растрогался: слезы увлажнили его бесцветные глазки — слезы радости, благопокорности и смирения.

Не зря в этот день хвастался дьяк Иван легкостью своей руки, не зря... Как тут не поверить?! Доказательство налицо.

В ответ на письмо, писанное им по приказу Питирима кабинет-секретарю Макарову, из Питербурха прикатил в Нижний специальный гонец. Привез письмо. Это письмо дьяк Иван и прочитал иеродиакону Гурию.

Вот оно: «По сему прошению епископа Питирима запрещается всем ему возбраняти в его равноапостольском деле; но повелевается паче ему вспомогать. Ежели же кто

в этом святом деле ему препятствовать будет, то безо всякого милосердия казнен будет смертию, яко враг святыя церкви; а буде кто из начальствующих не будет помогать, тот лишен будет имени своего. Петр!»

Отец Гурий встал и, дрожа всем телом от страха, сотворил молитву о здравии государя Петра Алексеевича. Сделал три земных поклона перед иконою и облобызал письмо.

— Вельми мудрый царь,—прошептал он.

Дьяк Иван рассказал, что епископ распорядился письмом это во множестве переписать и разослать по епархии, чтобы в церквях было прочитано всенародно, и объявить его же всем военным и гражданским чинам в Нижнем, а в первую очередь Стефану Нестерову.

Отец Гурий улыбнулся.

— То-то теперь будет!

— Спаси поубавит наш судия теперь...

— Ох-хо-хо, хо-хо-хо-хонюшки!

— Так и надо. Распустили народ, воров расплодили. Уж и судьи!

— И-их, владычица!.. Грех ходит кругом. Распутство. Разбой. Жить страшно!

— Макарьевские воры к Нижнему прицеливаются.

— Господи, спаси и помилуй нас, грешных!..

— Языческую мордву и чувашей поднимают... Одного монаха убили...

— Свят, свят... Упокой душу старца во царствии...

— А где власть?—дьяк Иван хватил кулаком по столу.

— Высокомудрый Никола, помилуй нас...

— Ржевский сбрендил... поддаваться стал. Помощник его, Иван Михайлович...

Тут дьяк Иван запнулся. (Только вчера целый бочонок высосали с Иваном-то Михайловичем). Отец Гурий не обратил на это внимания, он стал на колени и давай молиться:

— Дай им, господи, всем царство небесное и вечный покой!

— Кому это?—удивился дьяк.

— Убиенным попам и монахам...

— А-а!—равнодушно протянул дьяк.—Дело не в этом.

Отец Гурий встал с пола, долго отряхивал пыль с коленей на ясе,

— Ржевский-то сразу проспался... в себя вошел... Три облавы ночные сотворил по городу. Заглаживает...

Отец Гурий шептал про себя молитвенно:

— Еще беззаконие не зриши, господи, господи, — кто постоит?! В беззакониях зачаты мы есмь, и во гресех родили нас матери наши...

Дьяк Иван, глядя на него, стал громко, нараспев, зевать... Больше он уж не разговаривал с отцом Гурием. Скучно!

. . . . .

Ответа на свое письмо кабинет-секретарю Макарову Ржевский не дождался. Теперь он, прочитав письмо царя на имя Питирима, еще более пал духом, но старался виду в том не показывать. Внешне бодрился.

Питирим, однако, заметил, что с Ржевским творится неладное.

— Не очень печалься о том, что горожане находятся в смятении, иди средним путем между крайностями. Верная победа,— сказал он ему в виде успокоения.

### XIII

Получив от Питирима в копии письмо Петра, Нестеров запил, а через несколько дней к нему приехала жена. Вышло неловко. Параскева Яковлевна наткнулась на жонку Степаниду в то время, когда она меняла с плеч Стефана Абрамыча белье. Сам он не мог этого делать, так как не тем был занят. Перед ним стоял кувшин с вином и блюдо с разварной рыбой: он усиленно жевал рыбу, в безвольном подчинении сильной и ловкой Степаниде. Видя все это, Параскева Яковлевна плюнула в упор на жонку, обозвав ее коротко и ясно, по-солдатски, а мужу дала затрепину и выругала его «старым кобелем».

Степанида, несмотря на свой громадный рост и на свою удивительную силу, так испугалась, что в суматохе, убегая, забыла шелковый платок, подарок Стефана Абрамыча, бежала без оглядки до самых Печер. Нестеров, не взирая на такую баталию, проявил неслыханное равнодушие к совершившимся в его доме происшествиям, стараясь не замечать жены, и даже не спросил у ней ничего о Питере, о царе, о друзьях и врагах—сидит, наливает

себе брагу в кубок и неторопливо потягивает, облизываясь и причмокивая. Столько не видались,—и этакое равнодушие!

— Так бы и растерзала! Ух!—тряслась от негодования жена.

Ей все стало понятно теперь. Толстая, рыжая, с веснушками на груди и на руках, она, конечно, не могла сравниться с этой дородной, румяной девкой, которая пригрелась под бочком у ее слабохарактерного мужа Стефана Абрамыча.

Упреки жены, всхлипывания ее Нестеров воспринимал, как нечто, совершенно к нему не относящееся. Продолжал неторопливо, с достоинством, наливать и выпивать брагу, пьяно улыбаясь своим мыслям. Один раз даже про себя сказал вслух: «Я еще им покажу!.. Обождите!». Жена оглядывала его со всех сторон, как чудо какое заморское, а он, как бы очнувшись, пьяными глазами взглянул на нее и небрежно бросил:

— Уйди! Не мешай думать.

— Ах, ты, бесчувственная колода!—налетела на него Параскева Яковлевна. И пошла... и пошла... Тут только Нестеров почувствовал, что, действительно, к нему приехала жена.

После веселой беспечной жизни во дворце и милостивого обхождения царицы таким неприветливым, скудоумным и холопским показался ей Нижний, а муж совершенно неприемлемым после молодого сержанта Семеновского полка. Пьяный, небритый. Как только могла она за него выйти замуж? Удивительно! И жалела она, зачем сюда приехала.

«Противный-то, противный,—думала она,—да еще пакостником оказался, мухобоем и повесой, омерзелым плутом. То ли дело сержант Митя! Молодой, красивый, умный, в вечной любви каждый раз клялся. Интересно! Никогда не забудешь его ласк. Всю жизнь во сне будут снится. Лучше не думать!»

Стефан Абрамыч, однако, не унывал. Мало ли какие оплошности бывают в жизни? Да и кто мог ожидать, что жена так скоро прибудет в Нижний? Между прочим, Степанида, хотя и низкого происхождения женщина, а может любить не хуже дворянки, даже лучше. Стефан Абрамыч это очень хорошо знал, и об этом он постоянно думал. У него во многом изменились взгляды на простой низост-

ный люд. И не зря на посаде его стали считать защитником убогих и гонимых. Степанида много нового открывала ему в жизни. Он почувствовал в ней большую силу и большую любовь. Через нее породнился он с теми, кого раньше презирал. Одним словом, у него появилась огромная приятная тайна. Это его утешило теперь, в минуту сей вулканической ярости Параскевы Яковлевны. Это утешало его и в минуты тяжелого раздумья о наступлении на него всех его нижегородских врагов во главе с Питиримом. Радовало то, что молодая дева не погнушалась его солидным возрастом и полюбила его, как человека, равного ей по летам и по положению. Полюбила честно, как давно уже разучились любить боярышни в Питербурке. Вот он, народ!

Нестеров приободрился и на другой же день решил наведаться к своему другу, купцу Афанасию Фирсову сыну Олисову.

И в голову не приходило дворянину Нестерову, что за эту «близость» к народу он и должен будет пострадать.

Параскева Яковлевна с мужем не разговаривала. Он тоже надулся. Молча разоделся, распустил бант на груди и поехал к Олисову советоваться насчет того, как понимать письмо Петра, которое в копии разослал всем представителям гражданской власти епископ.

Олисова он застал в разговоре с подручными ему приказчиками. Афанасий Фирсович чинно встал со своего бархатного кресла и радушно приветствовал гостя. Облобызались. Помолились на иконы. Олисов кивнул своим приказчикам, и они немедленно исчезли из горницы.

— Не помешал ли я тебе, Афанасий Фирсович?

Олисов махнул рукой.

— Нет. Что ты! О лесе говорили... Губернатор и епископ приказали лес рубить для кораблей. На Керженце участок мне отвели.

— Так...—отдуваясь, заерзал на своем месте Нестеров.

— Не в чести наше купечество у епископа! Ах, ах, ах! Торг—великое дело. Не лишнее всем судьям и властям об нас попечение иметь неоскудное... Купечеством всякое царство богатится. То и батюшка-государь понимает. Великое охранение нашего брата блюсти надлежит, дабы приплод царю мы несли с усердием, а нас окладами здесь замучили... Работы не те навязывают.

Нестерова всегда раздражали жалобы купцов на их



якобы трудное положение. Он не верил даже и своему ближайшему другу Олисову.

— Полно, дорогой мой... Вам ли не житье теперь!— невольно вырвалось у Нестерова, но он тотчас же спохватился и прикусил губу. Олисов покачал головой.

— Не ждал я слышать от тебя таких речей, Стефан Абрамыч! Запомни, дорогой: воинство воюет—купечество помогает. Несмысленные люди токмо купечество ни во что ставят и гнушаются нами... Можно ли принуждением лес готовить, да еще к тому же в керженских и черно-раменских местах?

— До всех добрались... Что говорить!—вздыхнул Нестеров, стараясь загладить свою оплошность, и, вынув из-за пазухи копию царского письма на имя Питирима, подал ее Олисову.—Читай, что пишет царь Питиримке!

Олисов подошел с бумажкой к окну и по складам про себя стал читать письмо. Слова: «а буде кто из начальствующих не будет помогать, тот лишен будет имени своего...»—прочитал он вслух и посмотрел со значением на Нестерова. Тот обтирал на лбу платком пот. Глаза его растерянно бежали.

— Стало быть, он нужнее дарю, нежели мы с тобой. Вот и все. О чем же я тебе говорил?!

— Мы с тобой тиранством таким над раскольниками и народом рук марать не будем. Кровь человеческая нам поперек горла стала... блевать начнем. А епископ только усы обтирает и облизывается. Ему все мало.

Олисов подошел к двери и запер ее на задвижку.

Нестеров понизил голос:

— Слыхал?! Опять гонение началось.

— Знаю,—грустно покачал головой Олисов.—Для сего не много храбрости надо и доблести. Лавры Диоклетiana—не великая честь для духовной особы.

— Острог укрепляют. Караулы на берегу усилили. Готовят что-то. В Печерском монастыре другую земляную темницу вырыли...

— Господь знает, что творится!

Олисов перекрестился двуперстно. Нестерова он не боялся. Он близко сошелся со Стефаном Абрамычем. Знал, что обер-ландрихтер втайне тоже поддерживает и защищает «ревнителей древнего благочестия».

— Спорить нам с ним нельзя,—сказал он с суровым выражением на лице,—но ослушаться придется... На Чер-

ную Рамень или в семеновские, керженские леса я не пойду.. На помощь в защиту нас и в понуждение рабочих людей посылает он с нами гвардейцев, а кого мы теми гвардейцами бить будем?.. Не керженских ли старцев?! О, лучше бы на свет не родиться, чем вгонять в могилы своих же! Неистовство такое не к лицу нижегородским гостям. Пушников сулил погудотить с епископом о сем предмете... Ждем...

— Посоветуй же, Афанасий Фирсович, что мне делать? — простонал Нестеров.

— Крепиться. Мы тебя в обиду не дадим! — сказал, как отрезал, Олисов. — Человек ты нам нужный по юриспруденции. Человек ты наш. Купцы защитят. К царю обратимся, в случае чего.

И, задумавшись, добавил:

— Может, денег тебе?

— Я уже и так у вас в долгу...

— На правее не потащим, — засмеялся Олисов. — Многие дворяне, не ты один, у нас в долгу.

Олисов прильнул к нестеровскому уху:

— Под Макарием разбойники пять стружков ко дну пустили. Тридцать гвардейцев утонуло...

— Как так? — изумился Нестеров.

— Иван Воин утопил. Напал врасплох со своей ватагой на них из-за стержня под Исадами... Храбрые люди!

Лицо Олисова ни в какой степени не выражало печали о погибших губернаторских стружках с гвардейцами, — напротив, в глазах его светилось бедовое любопытство. Нестеров весело оживился. Надул самодовольно щеки.

Олисов продолжал:

— Ржевский в угоду Питириму послал стружки наказывать разбойников за ограбление вотчин — рад стараться!.. Того ради готов на все! А их утопили. Ватажники стоят крепким станом под Макарием и грозят Лыскову... Снова бунт хотят поднять там. А главное — мордва, чуваш и прочие иноверцы за них.

Нестеров был доволен тем, что затея епископа не удалась. Вообще, о разбойниках он был иного мнения, чем другие. Сочувствовал им. Он не считал их «ворами».

— Сам царь говорил нам, — оживленно выпрямился Нестеров, — что бегут на разбой от худого распорядку в дворянских вотчинах и полках. Не может раб без причины оборотиться во льва. По земельному, судейскому

и иному неустройству разбойники рождаются. Во всех государствах христианских и басурманских разбоев нет таких, каковые у нас на Руси. Головосечением, колесованием и рукосечением делу не поможешь... Сам я ландрихтер, но и я скажу — суд у нас гнилостный, правды в нем нет... Для знатных и богатых он всещедрый, для убогих — гиблый.

Олисов внимательно посмотрел Нестерову в лицо. Прекратилось его сочувственное поддакивание. Когда Нестеров кончил, Олисов вздохнул.

— Из тли орла не сделаешь... — сказал он задумчиво.

— Ты о чем это, Фирсович?

— Об убогих и голытьбе... Сочувствую я им, но не верю. Есть они и у меня на работе. Знаю я их. Рабами родились, рабами и сдохнут.

— Рабами никто не родится, потом людей делают рабами, — возразил Нестеров. Он вспомнил о Степаниде и ее любознательности, о том, что она очень быстро научилась сносно читать и писать по-немецки, о ее силе, о красоте, об энергии, об ее старании через него помочь обездоленным, — и готов был возражать Олисову. Хотелось многое сказать в защиту голытьбы, однако, не желая раздражать Олисова, не стал ничего ему говорить.

Олисов с явным недружелюбием слушал слова Нестерова, который перед уходом спросил:

— А другие гости как насчет леса?

— Новое даяние согласны все поднести губернатору на корабли... А сверх указанных денег ни один не будет на Керженце порубать леса... Хлеботорговец я и рыбак; Пушкинов мануфактурничает, Строганов солью промышленяет, а дела лесные люди лесные и ведут артельно. Их и должно власти расположить к себе добром, а не кнутом и секирою... Дать и им заработать с прибытком... Солдаты тут ни к чему. Егда торг будет купечеству дан свободный, то и польза государству будет явная... и казна царская не оскудеет, и власть прилипнется к купечеству с пользою себе. На Керженце есть свои умные головы... Не надо им препятствовать. Жестокость добра не принесет.

Нестеров, прощаясь с Олисовым, еще раз спросил совета, как ему теперь действовать, когда всякое его слово епископ может истолковать, будто «помеху» своему «святому делу», а за это царь грозит не иначе, как наказать без всякого милосердия смертию казнию.

Олисов успокоительно похлопал по плечу:

— Не робей... Застоем.

Немного погодя, он, нагнувшись к уху Нестерова, шепнул таинственно:

— Давно я хочу спросить тебя, Стефан Абрамыч, да все не решаюсь... Правду ли говорят, что царевич Алексей убит и что в Стародубье его нет и польский король ему не помогает?

Олисов застыл в ожидании. Глаза его блестели лихорадочно.

— Ну, что вы, Афанасий Фирсович! — рассмеялся Нестеров. — Сказки все это. И кто это разболтал такую дурь? За язык бы того. Петровы прихвостни, по его же приказу, задушили Алексея и давно схоронили его... Видел я собственными глазами, как его отпевали. Отец при всем народе проливал слезы. Сам велел умертвить, и сам плакал...

Олисов даже зашатался от неожиданности. Опустился на скамью, глубоко, мучительно вздохнув: «Та-ак!»

Нестеров продолжал:

— И не верьте. Выбросьте это из головы. Никакого царевича Алексея нет и в помине.

Олисов пожал ему руку.

— Ну, ладно. Спасибо, что прояснил... Спасибо. Великое дело сделал.

Они распрощались.

Нестеров очень рад был тому, что оказался полезен Олисову. Он знал, какую силу день ото дня отвоевывает себе в государстве гостиная сотня. Вышел от Олисова он успокоенный, радостный. И даже решил мысленно помириться с женой и бросить пить винище, а с Питиримом повести борьбу еще упорнее и крепче.

. . . . .

После ухода Нестерова Олисов долго бродил из угла в угол своей горницы, заложив руки за спину. Он обдумывал рассказанное ему Нестеровым: «неужели помер?».

Вошла его жена — пухлая, белотелая пожилая женщина в чепце. Глаза ее беспокойно остановились на муже.

— Ты чего, Фирсович? Или расстроил он тебя чем? Напрасно ты его пускаешь к себе... Не доведет этот человек тебя до добра...

— Да,—вздыхнул он тяжело.— Я уж и сам теперь думаю... Э-эх, Варвара!

Горячая испарина выступила на его лбу.

— То-то...— тревожно приглядываясь к выражению лица мужа, сказала женщина.— Уж не стряслось ли какой беды?..

Олисов остановился против нее.

— Ратьше у Питиримки было два копыта, когти и хвост... А теперь ему государь приделал к голове острые пронзительные рога... Всех бодать будет... Поняла?

Варвара с недоумением слушала мужа.

— Рога?!

— Да. Грамоту ему такую дал: казнить, кого он хочет, без суда и расспроса. Это раз. А во-вторых, царевича-то и в самом деле нет... Убит он давно. И враки все, что собирает он войско. Поняла? Становись. Помолимся...

Набожно преклонили колени перед иконостасом, вознеся вслух пламенную молитву «об упокоении души убиенного царевича Алексея». Обильные слезы катились по их лицам. А когда, поднявшись с пола, тщательно обтерли глаза полотенцами и сели за стол, Олисов угрюмо произнес:

— Не к чему нам теперь валандаться и с ватажниками, и с Нестеровым, и с керженскими прихлебателями... Бог с ними! Пускай, как хотят. Своя рубашка ближе... Торговое дело превыше всего.

— Ну, вот. То же самое и я тебе все время говорю... Узнает епископ, засадит тебя, как и Овчинникова, в подземелье. Что я тогда буду делать?!

И стала причитывать... Варвара очень бойка была на язык, и Олисов обычно сердился на ее многословие, а тут слушал, да еще с большим вниманием.

— М-да...—вырвался у него мучительный вздох, когда она кончила.—Надо будет поговорить с товарищами. Собирай-ка меня, мать... К Пушкинову.

— Зачем?

— К Ржевскому поедem... Размяк он совсем. Надо ему отвезти... Давно уж просит. На обмундирование гвардейцам...

Сказал, почесал затылок и добавил:

— Такое уж наше дело. Надо все во-время.

Сильно похолодало. С севера вниз по Волге дули упорные ветры-водогоны. Беляки грядями бороздили речную ширь. Ветлы на берегу сгибались до самой земли.

В урочище под Макарьем кипела работа. Ватага готовилась к зимовью. С большим старанием долбили братаны, кто чем попало, землю, углубляясь в обрывистые склоны ущелья. В землянках вмуровывали котлы для пищи, делали подтопки. Хорошо еще, зима задержалась. Осень стояла долгая и сухая.

Софрон, стоя на бугре над Волгой, в прутьяке ольхи, глядел на бушевавшую реку и думал о том, как бы облегчить ватаге тягости предстоящего зимовья. Землянки — не надежда. Звали старцы на Керженец в укрытые места, да как пойдешь?! Неладное творится и там, в лесах: раскол предвидится и среди раскольников, а это может развалить ватагу. Да и угроза облавы там ощутительнее. Питиримова беседа, как того и следовало ожидать, не прошла даром. Соблазнил он многих, особенно баб. А слух о том, что царевич Алексей убит и что напрасно ждять от него спасенья, окончательно сбил с толку народ.

Умаялись бороться в Заволжье. Город забивает. Бывало, туда не добраться. Не всякий воевода решался, и не всякий латник, — в Черную или Красную Рамень ходить. А ныне и ландраты, и пристава, и вестовые-гвардейцы, и попрошайки-нищие свободно шляются на Керженец, на Ветлугу и на Усту. Тропинками избороздили лесную глушь. Спасенье лишь весною в островах по реке Керженцу, а теперь и та должна замерзнуть. Ватажники в неустроенни измаялись; двое больных лежат на гребешке, оба укутаны в медвежьих тулупы. Поит их поп настойкой из каких-то корней, а им день ото дня хуже. Придется, видно, скоро попу псалтырь над ними читать.

Ог сильного ветра пищали прутья, как птенцы. По небу неслись белые комы облаков.

В раздумьи побрел Софрон перелеском по берегу — высокий, в суконном сером кафтане, в оленьих сапогах и с пистолетом за поясом. Опадали бывшие бодрые мысли его от холодной тоски, как листья ольшаника от осеннего холода и ветра. Ему казалось, что плохой вышел из него оружиеборец. С тем врагом, против которого он поднял оружие, ему приходится сталкиваться мало; бить и

тонить в Волге сельских жителей и посадских людишек, разбойником прославиться, воров—тоже душа не лежит, хотя и требует этого его плутовская рать. Не останавливается она ни перед чем—и даже перед разорением крестьян, и недавно самовольно сожгла под Работками деревушку Заречье. Коноводил разбоем Антошка Истомин, неисправимый «чебоксарский вор», который поощряет разбойников в их бестолковых грабежах.

Ватажники сделали передышку в работе, расположились отдохнуть, перекусить. Отец Карп сказал:

— О, если бы желудок не нуждался в пище!

— Тогда бы не было ни господ, ни рабов, ни воров, этого и надо добиваться!—оживился бледный юноша, недавно бежавший из Нижнего, из духовной греко-латинской школы, от питиримовского просвещения, Георгий.

— Такой ты умный—зачем же ты променял учение на разбой?—спросил его Чесалов.

— Ну, что же!—возразил Георгий.—Греческий философ Диоген сказал: ведь и солнце проникает в отхожие места, однако не оскверняется... Так и я. А ты чего бросил службу?

Солдат Чесалов печально ответил:

— Чего служить? Все богатые и знатные от служб лыняют, а бедные и старые служат. Бояры, хоша и сытые и молодые, а служить не хотят. Многие из них записаны в полки, в солдаты, а едва на службе и бывали ли... а отпущены к делам своим... Чего ради и нам служить?

— Ну, что сказывать,—подхватил мордвин Тюней Сюндяев.—А нашего брата, мордву, и вовсе ни во что ставят и накормить его не хотят. И тем стеснением принуждают к краже и ко всякой неправде и в мастерстве к нерадению... И противу желания крестами опоясывают.

Чесалов продолжал:

— Возвещена была царем всякому чину воля, если похочет в солдаты идти. Коли кто желает-де, тогда иди! И многие из домов ушли, бросали вотчины: и я из холопов Исупова качнулся доброхотно в драгуны. Но царь, батюшка-государь, куда хитрее нас, воров. Дал которым волю от барщины, повел тех под Нарву,—кто не сдох там от голода и холода и хворя, тот в бою poleg, а кто уцелел, того под Ригу угнали. Вот я и убежал и пошел на бездомное житье. А ныне в девятнадцатом подушная пере-

пись... некуда деваться от царских псов. Везде наши следы унюхивают...

Чесалов печально покачал головой.

Антошка Истомин, присмиривший в последние дни, сказал:

— Скушно, други! Ежели собаке оставить один хвост, какая уж это собака, кусать нечем... Так и я. Не губя христианских душ, я в рай все одно не попаду, а на земле разбойником не буду. Чего же ради поститься? Уйти от вас надо. Не хочется мне в бедности жить, хочу роскошества... Спокину я вас, братушки, это уж так... Не выживу.

Опять вскочил словоохотливый юноша Георгий:

— Диоген же философ говорил: «Еще никого я не видел тиранствующим по причине бедности, а по причине богатства многих видел»... Почто же ты, товарищ, тоскуешь о тиранстве? Убивец—тот же тиран.

Антошка удивленно посмотрел в глаза юноше; почесал затылок.

— А ты не врешь?—спросил он его недоверчиво.— Вора грешно обманывать... Смотри, на том свете нехорошо повесят.

Поп Карп ответил вместо Георгия:

— Раз учился на попа, а в попы не захотел, значит не врет... справедливый...

— А чем жить будем?—стонал Антошка.— Зима... Холод приходит... Зубы стучат, как у волка.

— Купцы помогут.

— Раскольщиков-купцов грабить не приказал атаман, а православные купцы умнее стали, дома высиживаются... Жар-птицу легче унять, чем купца православного опростать...

Об этом же думал теперь и Софрон, идя по берегу. Раскольничьи купцы и керженские скитожители обещали ватаге оказывать помощь, но требовали, чтобы Софрон, как атаман, приобщился к расколу и дал полагаемые по догмату обещания.

Ради ватаги и мшеница епископу и властям Софрон согласился и нарочно ездил на Керженец, и там при крещении дал клятву: «Страдальцев-раскольников защищать везде и во всякое время; внешних, то есть никониан, ни в чем не хвалить и ни о чем, хотя бы справедливо и честном, с ними не рассуждать; икон новых, кроме своих



мастеров, ни откуда не принимать и не поклоняться им, кроме древних; всех людей, кои не их согласия, за еретиков вменять и ни в каком случае не одобрять; купцов-раскольников не трогать».

Ко всему этому принудили Софрона керженцы, обещая кормить ватагу, давать ей денег и одежды и оказывать помощь ей во всем и всегда, уверяя, что даже среди нижегородских властей и духовенства есть много скрытых раскольников, тайных скитских сообщников.

Некоторые, узнав об обращении Софрона в раскольников, из ватаги ушли, образовали свою грабительскую шайку. Истомин же к ней не примкнул. Поп Карп, однако, в угоду Софрону тоже принял раскол.

— Жалованья государева попам нет, от мира никакого подаяния нет же, и чем им питаться, бог весть... В расколе наши животы поддерживают праведные старцы, умереть от голода не дают...

Ватажники втихомолку подсмеивались: «сатаман и поп заодно».

Но... Раскольникья помощь не спасает ватагу... «Западную Римскую империю,—раздумывал Софрон,—разрушило христианство, а Восточную—Муггамед. И не погубит ли раскол силу мужицкую? Царь не дает воли богу, уразумел это и церковь подчинил себе. Питирим тоже понял, что христианская мудрость не спасет его, митрополитом Филиппом не хочет он быть, и стал тоже против церкви, а я ухватился за раскол, надеясь на его помощь. Не напрасно ли это?» Новые буйные мысли, родившиеся в голове Софрона в тюрьме, стали плесневеть, обесцвечиваться... С болью в сердце он это чувствовал.

И все чаще Софрону приходилось стыдить своих ватажников: к чему алчность? К чему желание захватить из добычи себе больше всех?

— Сколько бы богатств мы ни захватывали,—говорил он,—все равно мы нищие, бедняки, лишенные наиглавнейшего: свободы и власти над дворянами и богачами, и не спасет нас междоусобное лихоимство, а сгубит. Не полезнее ли было бы не себе прятать отбитое у бояр и купцов, а раздавать тяглецам тайно, спасая их от черного зорения ландратами и приставами? Ваша глухая жадность и мизерное себялюбие безобразны... Так богатые только упражняются в промыслах своих и, разоряя житницы свои малые, создают на месте их большие. А бедняки?

Страданий их и не исчислишь: иных до крови бьют бояре, иные на правежах мучимы, и уже во многих душа едва в теле содержится... И всякое добро, награбленное нами,—мужикам принадлежащее, ибо оно взято же купцами и боярами у бедняков.

Но никакие разумные речи не дают выходов... И многих попрежнему тянет к воровству, к убийствам на больших дорогах всех без разбора, даже ни в чем неповинных поселян и бедных служилых людей... А помещики—которые убиты и пограблены, которые бросили все и ушли в Нижний, в Москву, которые живут под охраной воевод и губернатора—с ними стало трудно и опасно бороться, да и люди в ватаге устали, приуныли.

«Ничего нет легче,—говорил Демосфен,—как обманывать самого себя: каждый думает, что хочет; да дела часто слагаются не по его желанию»,—вспомнил Софрон. А может быть, он тоже обманулся, когда мечтал, сидя в каземате, что народ поймет его, поймет свои выгоды, свою цель и поднимется на помещиков, как было при Разине?

Не хотелось верить в возможность ошибки.

На дороге Софрону попался недавно приставший к ватаге бродяга с серьгой в ухе, назвавшийся Zubовым. Он ходил в рощу за хворостом.

— Барсука вспугнул в роще... большущий!..—Потом взял за руку Софрона и сказал:—Забыли нас купцы, хотя бы и раскольщики. Перед моим уходом из Нижнего Олисов и Пушников теплыми зипунами солдат в крепости одарили, а мы холодаем...

Софрон пытливо посмотрел в лицо Zubову. Не нравилось оно ему. Особенно эти зеленые бегающие глаза. Когда пристал, был молчаливый, тихий, а теперь больше всех говорит, а главное, как заметил Софрон, много секретничает по кустам с ватажниками.

— Не твое дело,—отрезал Софрон недовольно.

— Дело общее... Я не за себя—за людей. Всем стужено теперь... болезнь пойдет.

— Так чего же ты хочешь?

— Я знаю один амбар с теплою одеждой. За монастырем он... От Великого Врага верст двадцать будет. Там полно одежды и сапогов. Могу провести...

Софрон задумался.

— Чей амбар?

— Губернской канцелярии. Тюремной стражи одежда... и военная...

— Ладно. Поговорю я со своими есаулами. Иди скорее, там ждут тебя...

Зубов побежал заботливый, серьезный.

Вернувшись в становище, Софрон созвал есаулов: солдата Чесалова, Георгия, Тюнея Сюндлева и татарина Байбулата, чтобы совет держать о нападении на губернаторский дейхгауз. Все одобрили.

Чесалов ругал купцов-раскольщиков, а остальные ему поддакивали, особенно человек с серьгой.

— Мы им дали разбогатеть... Сколько они сплавли товаров на низы! Мы их не трогали, а теперь они православные церкви строят, солдат одевают, подкупают власть, а на нас дают денег скудно и с оговорами.

Тюней Сюндлев, как всегда, сказал коротко и печально:

— Двум богам молиться—не годится! А они молятся.

Идти вызвались Антошка Истомин, Филатка, Тюней Сюндлев, цыган Сыч и еще десять человек. Все переоделись, кто нищим, кто чернецом. Софрон приказал Зубову, как человеку, хорошо знающему Нижний, отнести в Крестовоздвиженский монастырь монахине Надежде письмо. Под видом ли нищего или богомольца Зубов должен подойти к монахине Надежде и передать ей незаметно это письмо.

Ватага оживилась. Засиделись братаны. Ноги стали отекать. Надоело «под святыми сидеть»!

Антошка Истомин пистоль засунул под рубаху, два ножа прихватил и, подмигивая, говорил остающимся товарищам, глядевшим на него с завистью:

— Пить нашу кровь—дело дворянское, а выпускать ее—дело крестьянское. Это мне моя бабушка говорила.

Антошка помолодел даже, глаза его блестели отвагой и радостью, щеки покрылись румянцем.

Софрон улыбнулся.

— Смотри, не попадайся... Горяч ты слишком.

— Ничего,—засмеялся Истомин.—И попадусь—не беда: кузнец закует—поп запоеет, Питирим дарю донесет: «Великую благостью всевышнего и вашею монаршею волей изловили мы вора и убийцу великого Антона сына Истомина...»

Слушали Истомина, покатываясь от хохота.

Шутя и смеясь, собрались четырнадцать человек идти в Нижний. Захватили пороху, топоры и пошли, провожаемые всей ватагой.

Человек с серьгой все настаивал, чтобы с ними шел сам атаман, но Софрон возложил команду на Георгия.

— Рано еще, — сказал он. — Не пришло мне время в Нижний идти. Но и такое время будет.

Человек с серьгой вообще суетился больше всех. Такой хлопотун оказался — всем на удивление! А главное — всезнающий человек. Кому же, как не ему, и письмо атаман должен был вручить для передачи монахине Надежде? Он и монастырь этот хорошо знал, и многих монахинь, и даже самое игуменью, с которой познакомился за заставой, ограбив ее там. Расстегнул ворот — царапину показал, будто бы от ее ногтей. Многие царапину потрогали пальцем и покачали головами.

Отправляя письмо, Софрон мечтал снова увидиться с Елизаветой, чтобы увести и ее с собой на низовья Волги.

Где бы он ни был, что бы ни делал, мысль о том, что он снова встретится с ней и узнает, правда ли все то, что о ней говорил Питирим, и действительно ли она стала так близка этому деспоту, что предала отца! Вспоминались тайные свидания с дочерью Овчинникова, робкие надежды на лучшее будущее в их жизни, нежные ласки, ее честные, невинные глаза и тихий, трогательно звучащий ее голос, когда она говорила о том, что она добьется согласия у отца на их брак... Как же после этого можно поверить всему тому страшному, чудовищному, что ему, Софрону, приходится слышать о ней?!

Он до поры до времени держал втайне от товарищей свое намерение в ближайшие дни, пока еще Волга не замерзла, перекинуться на низы. Дальше пребывание здесь становилось опасным. Но бороться надо. Лучше умереть, только оружия из рук не выпускать...

Временами, однако, он старался убедить себя, что Елизавета не достойна того, чтобы о ней страдать. Она предала отца, она была наложницею епископа, изменила ему, Софрону, невзирая на горячие клятвенные обещания бежать с ним из Нижнего и разделять с ним все невзгоды беглеца. Она не достойна того, чтобы думать о ней, но... рассудок уступал любви. Теперь, накануне расставания

с Нижним, особенно хотелось снова увидеть Елизавету. Любовь не умерла. Она с новой силой проснулась в Софроне. Этого мало. День ото дня крепло убеждение в том, что и она, Елизавета, страдает о нем. Не может быть, чтобы, находясь в неволе, опозоренная, обманутая, она не вспомнила его, Софрона. Конечно, и она хочет его видеть и, конечно, уйдет с ним из Нижнего с радостью и полным доверием к нему.

Если бы она была вновь с ним, казалось Софрону, он был бы храбрее, удачливее, непобедимее. Постоянная тоска о ней не проходила даром. Сказывалась и на делах.

После ухода товарищей Софрон сильно волновался — огромное счастье казалось ему теперь и близким и несбыточным...

## XV

Филька совершенно случайно узнал об ограблении дейхгауза. А вышло так: цыган Сыч деловито толкался по Конной площади на Арзамасских выселках за городом, присматривая товар, тут же бродил и Филька, прицепясь к коням (Степанида просила купить, чтобы ездить ей к тетке на богомолье в Кстово на праздники). С бельем, хотя бы и архиерейским, она уже покончила; больше ни у кого не берет, только стирает себе и Фильке. (На Нестерова и вовсе рассердилась она так, что имени его не могла слышать. И все из-за того, что приехала к нему жена).

Итак, около одного белого жеребца, которого продавали монахи, столкнулись Филька и цыган. Посмотрели один на другого, огляделись по сторонам, потом бочком друг к дружке приблизились. Сыч шепнул: «Не мешай! Вечером приду». Филька отошел, не стал мешать. А под вечер явился домой Филька, не купив ничего, раздосадованный, усталый, а цыган у его дома на задворках уже кормил здорового красавца-жеребца, приговаривая:

— Буде тебе баклушничать... барахло монастырское возить... Послужи теперь разбойничкам, как служил понам...

Демид помогал цыгану—носил ему воду из колодца. Цыган не спеша чистил коня, то и дело отходил от него и любовался с гордостью, как мать на своего ребенка, которого купает в корыте.

Филька почесал затылок, увидя все это, а из горницы, словно ошпаренная, выскочила Степанида, до того следившая чересчур внимательно в окно за цыганом, и стала она ругать Фильку, на чем свет стоит. Цыган незаметно подмигивал ей: «Валай, валай, мол, так ему и надо!». Сыч был слишком красив, а зубы такие белые, здоровые сверкали из-под усов, что даже Степаниде сделалось завидно. Ходил он вокруг коня как-то мягко, пригибая голову, и ласкал он его нежно, как что-то очень близкое, дорогое. Все это еще более подогревало степанидин гнев.

— Где же обещанный твой конь? Ах, ты, мухомор! Карась бесхвостый! Крыса посадская! Только бы тебе лошадей чужих ковать да всем кланяться! Только бы тебе людей обманывать!..

Так и полыхает баба, словно в огне, в лютой небывалой ярости, да еще при чужих людях. Что такое с ней случилось? А когда Филька разбитой походкой, опустив голову, вошел в дом, она прошипела, как змея:

— Затем я спокинула всех, одному тебе далась, чтобы ты обманывал меня? Как же теперь я к тетке поеду? На чем?!

И заплакала. Прямо, хоть беги опять на конный и покупай какую ни попало лошадь, лишь бы Степанида замолчала, лишь бы ее успокоить.

А потом, когда Филька стал на коленях просить прощения, она сказала:

— Я провожу цыгана до Кстова. Он меня на лошадь посадит, а сам пешком пойдет... В Кстове мне надо увидеть свою тетку. Там я и ночую.

Филька вздохнул, но согласился. Степанида достала брагу из подполья. Наполнила ею глиняные кружки. Послала Фильку за цыганом и Демидом.

— Ну, поладили, видать! весело сказал цыган, входя.

— Горячая она у меня...— бодро отозвался Филька.— Замучился я с ней!..

— Люблю горячих!—гаркнул цыган, тяжело усаживаясь за стол.

Демид улыбнулся:

— Я тоже...—скромно сказал он, пригубив брагу.

Филька покосился на того и на другого, словно кот, у которого хотят вырвать из лап мясо. «И Демид—тихоня, забитый монастырский раб—и тот туда же! Что ты будешь делать?!»

Степанида сделала вид, будто не о ней идет разговор. Филька настроился философски:

— У тех, кои преданы плотским удовольствиям, проводя время в ястии, питии и наслаждениях, пока они едят или пьют,—хорошо, но скорбь великая после постигает,—говорил он нескладно, заикаясь, но со значением.

Цыгану стало скучно. Он зевнул. Степанида, заметив это, толкнула Фильгу в бок:

— Буде! Угощай-ка лучше гостей.

Филька послушно опять наполнил кружки брагой. Тогда оживился цыган. Облокотившись на стол, он сообщил:

— Сегодня ночью мы разбили чихауз позади Печер. Оболочку зимнюю товарищам выбрали... Пристава порешили и монаха-соглядатая тоже...

У Фильки от страха едва не упала кружка на стол, а Степанида заинтересовалась.

— Не оживут?—спросила она.

— Что ты!

Цыган, улыбаясь глазами, подставил ей пустую кружку. Она цоспешно налила.

— Нагрузили челны под горой полнехонько. Работы было много. А этого коня я для атамана захватываю. Подарок... В Нижний ему ездить... Позаботился.

Филька заерзал на скамье. Так бы, кажется, вскочил и убежал. Его трясло от страха. И сам-то он никак понять не может, что такое с ним стало. Раньше, бывало, радовался таким делам, а теперь стал бояться. А Степанида хоть бы что! Слушает цыгана и сочувственно качает головой, будто ей жизни человеческой не жалко.

«Вот бы мне такую бабу!»—думал цыган, облизывая губы.

Нечто подобное мелькнуло в голове и у Демида, но он перекрестился, отгоняя соблазн.

— Ты чего молишься?—спросил удивленно Сыч.

— Вспомнил...

— Чего вспомнил?

— О временах наших... Тяжелые времена! Эх-эх!

Цыган и Степанида нахмурились: нехстати Демид заговорил «о временах». Один Филька обрадовался случаю и стал разглагольствовать:

— Слепой слепого водит ныне... Плевелы лжеучений растут. Церковь старая и новая на кулачный бой вышли.

Как устоять тут слабому человеку? Терпишь, терпишь — и поскользнешься. А поскользнувшись, и не встанешь.

Демид посмотрел на Фильку подозрительно, но тот, не взирая ни на что, упрямо продолжал:

— Поскользнешься—и развратишься... Долго ли! Вот Ивана Петрова Бартенева, били кнутом на площади нещадно за то, что брал жонок и девок на постелю...

Сыч рассмеялся:

— Злее будет. Стеганный бойчее... По себе знаю. Это наша наука.

Степанида вздохнула, как бы сконфузившись:

— Полноте! О чем могут люди говорить!

Цыган, взглянув на нее, тоже стыдливо вздохнул.

— Я—эх, господи! Как мир устроен!

Фильке было не по себе. Он вскакивал, как будто бы хотел куда-то бежать, суматошился и без конца повторял:

— Пейте! Пейте! Еще есть! Степанида, лей!

Вечером, когда мрак окутал Печеры, цыган Сыч тронулся в путь. На лошадь верхом уселась Степанида. Перед этим Филька накручивал целый час всякой всячины на спину лошади. И когда Степанида взяла поводья, он спросил ее заботливо:

— Ну, как? Мягко ли?

— Сойдет,—ответила всадница, дернув удила.

Жеребец рванулся, вскидывая передними ногами, зафыркал, но в сильных руках степанидиных,—об этом Филька хорошо был осведомлен,—любой зверь станет кротким. Вот почему жеребец быстро смирился и, опасливо косясь на Фильку, суетившегося в темноте, пошел ровным красивым шагом вон из Печер. Цыган Сыч был очень вежлив с Филькой, покидая его гостеприимный дом.

Демиду цыган еще до этого рассказал, что его должен видеть один человек. Встретиться они должны в Крестовоздвиженском монастыре за Арзамасскою заставой. Указал час и место в храме.

— Больше некого нам послать... Услужи. Софрона ты знаешь, а это для него. В монастыре его невеста, овчинниковская девка... Ее надо нам украсть у монахинь. Тот человек тебе все расскажет... Беглопоповец же он. Имя его — Григорий Никифоров. В ухе у него серьга... Запомни.

Вот почему, не сказав ничего об этом Фильке, ушел



от него и Демид Охлопков, которому цыган велел переименоваться в Андреева. Не Охлопков, а Андреев. Об этом твердо должен был помнить Демид.

И остался Филька один-одинешенек.

«Что за человек?—думал он о Степаниде.—Мало ей одного, который любит ее и богу о ней повсечасно молится. Мало! Не успеваешь за ней следить. Как за дитёй малым. Недавно только покончила ублажать Нестерова, а с неделю назад опять ночевала в архиерейском доме. Белье теперь не стирает. Что же ей там делать? Какую-то шелковую рясу приволокла себе на платье, а над приставом Гавриловым, которого из-за нее же и посадили в острог, смеется. То есть жалости у человека никакой нет. Так же ведь и со мной она может поступить. Теперь, гляди, с цыганом потешается. Смеются, лиходеи». Вот кого Филька в эту минуту с радостью заковал бы в кандалы, чтобы держать в своем доме «неисходно и никуда не пускать». Довольно уж! И так не в обиде! А ведь и всего-то ей отроду двадцать три года—другая во всю жизнь того не увидит, что она в юных летах.

Филька начинал вспоминать других девок и жонок, сравнивал с ними Степаниду, и выходило у него так, что он—самый несчастный человек на свете.

И решил он грусть-тоску развеять в кабачке под горою, близ перевоза. Там не так многолюдно и мало встречается начальства.

На улицах была тишина, лаяли псы изредка и тяжело дышала темнота в оврагах. Филька шел и ворчал про себя, не особенно ласково поминая Степаниду. Быстро спустился он под гору к берегу, где ютился небольшой кабацкий теремок.

Вошел внутрь с твердым намерением крепко напиться с горя. Сел у окна за столик, за которым нахохлился в медвежьей дохе какой-то человек. И—о, ужас! На него глянуло насмешливое лицо обер-ландрихтера Нестерова. Что же это такое? Как мог обер-ландрихтер в кабак попасть?! Чудно!

Филька смутился и, поклонившись судьбе, хотел уйти в другой угол. Однако, Нестеров схватил его за руку, сказав решительно: «Куда?». Нестеров был уже во хмелю.

— Садись и рассказывай, только не кажи вида, что я—начальство. Рассказывай.

— О чем?—опешил Филька.

— Сколько ты людей заковал в последнее время? Не терпишь ли убытка. Доволен ли?

Филька не знал, что ему ответить. Говорить о том, что он делает в приказах, он не имел права никому, а тем более — в кабаке, при людях; а ведь в кабаке было немало народа и кроме них. Правда, в галдеже этом трудно слышать посторонним их разговор, но все же... А тем более — спрашивает сам судья. Может, испытывает?

Нестеров продолжал сверлить его своим взглядом.

— В твоём промысле урожай... Скоро ещё больше будет. Свою краю разоденешь по-царски... Готовься!

Филька молча налил себе кружку браги и выпил разом.

— За ваше здоровье! — сказал он бойко, обтирая рукавом усы.

— Бабу ты себе отхватил сдобную, дородную, не по себе. Счастье таким никудышным людям, как ты.

Филька насторожился, хотя поданную ему кружку опорожнил быстрехонько.

— Ты — сударь, и я — сударь, ты — мужик, и я — мужик, и оба мы дураки... Обоих нас ужалила сия ядоносная тварь.

Нестеров печально склонил голову на грудь. Некоторое время сидел молча, о чем-то раздумывая.

— Был я в Питере, был за границей и много видел разных женщин, а такой не знаю... Одна только подобная есть... Очень схожая с этою... Ей богу!

— Кто? — встрепенулся Филька.

— Жена Петра... Катюша, — тихо и скорбно улыбнулся Нестеров.

Филька, точно его окунули в прорубь, похолодел весь: «Батюшки мои, господи Иисусе!..»

Оглянувшись он с опаской по сторонам: не слышал ли кто?

— Такие бабы, если захотят, дают счастье даже безумцам, останавливают кровь изрубленному жестокой жизнью, заставляя верить в бессмертие, и зимние сугробы обращают в цветы... Во грехе они рождают истинную любовь к жизни, но в нужную минуту они проявляют мужественную благорассудительность и, подобно матери, заботливо могут спасти человека, падающего в пропасть. У них больше средств принести добро или сотворить зло, чем у нас.

Он задумался и затем добавил:

— А могут и столкнуться... Понял?

Фильке показалось, что по щекам обер-ландрихтера текут слезы. И, действительно, Нестеров вытер глаза платком.

— Меня она столкнула... Видишь сам.

Филька смотрел на Нестерова, слушал печальную его речь и не верил себе: «Может ли это быть, чтобы боярин, такой знатный и дворянин, так полюбил холопку?»

— Я врагов имею столько теперь, ради нее, сколько камней по берегам Волги рассеяно... И самый главный враг—Питирим.

— Кто?!—спросил окончательно обалдевший Филька.

— Да. Епископ. Вся его злоба ко мне через нее.

— Через Степаниду?!

— Ну, да. Она мне все рассказала... Питирим так же пострадал от нее, как и мы с тобой, дурачок... Она все рассказала мне о нем, а ему обо мне. Все, что я говорил ей, все известно теперь епископу. А это значит: кто-нибудь из нас должен погибнуть... Она способствует преступлениям и фискалит... И теперь я вижу, что он и ко мне отпустил ее ради своей выгоды, ради того, чтобы сгубить меня.

Однако, немного погодя, Нестеров поправился:

— А может быть, я и ошибаюсь... И не хочу я верить в такую гадость...

Филька положил голову на руки, точно собиравшись уснуть на столе.

— Очнись, парень!—потрепал его за кудри Нестеров.— Не убивайся.

Поднявшись, Филька, тяжело двигая ногами, вышел вон из кабака. На воле было все так же тихо, все так же пустынно. С Волги тянул прохладный ветерок. На самой середине в одиноком челне виднелся огонек: кто-то жег головню, надо думать—рыбаки... Филька подошел к самой воде. В темноте набегала она на камни, на песок, неутомленная, беспечная, равнодушная к происходящим в человеке страданиям, но готовая для человека сделать многое, сказочно огромное, ибо она—сила, вольность, неумирающая жизнь...

Филька глубоко вобрал в себя прохладный легкий воздух, помочил голову из реки и сказал вслух: «На то вы и дворяне, чтобы с вами так-то!»

Нет! Для него Степанида—другая. Он злобно погрози́л в сторону кабака, где остался Нестеров...

## XVI

За Печерами, в оврагах, пришлось прятаться от конного патруля. Власти шарили, искали воров, разгромивших цейхгауз. Цыган Сыч сумел положить лошадь на брюхо и обошелся с ней так, что она не шелохнулась. Он весь прижался к ней, обнял ее шею, дул зачем-то ей в морду и тихо приговаривал: «родной, родной»... Успокоил. Степанида, ревнуя, глупо смеялась; он сердился, дергал ее за рукав, шикал. Патруль прошел мимо. Цыган снова повеселел.

— Глупый человек Филька!—И вздохнул:—Эх, какие же люди бывают на свете!

— А кого ты считаешь умным?

— Кто в песнях и в лошадях толк понимает,—задумчиво ответил Сыч.

Задумалась и Степанида, но через некоторое время свесившись с коня, сказала тихо:

— А я умным считаю богатого...

Цыган засопел, а потом с сердцем сплюнул:

— Не думай так... Похудеешь, а потом умрешь...

— Чтой-то?!—удивилась Степанида.

— У Кстова есть лесок, а в том леске хорошо, и Волгу видно, и людей нет... Там я тебе и расскажу.

И вот теперь—как раз этот лесок. Привязав лошадь к сосне, Степанида весело ухватила цыгана за руку и стала просить его, чтобы он рассказал ей—почему она похудеет, а потом умрет, если о богатстве будет думать?

Сыч обтер усы и бороду и ласковым голосом:

— Дай я тебя, голубиная радость моя, поделую...

— А расскажешь?

— Расскажу.

— Ну, что же...— и Степанида подставила ему щеку.

Через несколько минут цыган, облизнувшись, стал рассказывать:

— Жила-была на свете старуха. У ней был сын. Жили так себе, для виду. Есть было печего. Вог раз как-то пошел сын в чистое поле позавидовать на соседские озимые всходы. Вышел и видит: стоит недалече гора, высокая, ну, как Васильсурская, а на той горе на самой

макушке вьется дымок. «Мать ты моя родная! Что за . во такое?—думает он.—Уж давно стоит эта гора, никогда не видал на ней и малого дыма, а теперь густой пошел... Взлезу-ка на гору, посмотрю». Полез, сказать тебе, на гору, а она крутая-крутая. Насилу забрался на самый верх. Видит, большущий котел, полный золота, сгонт... Мать моя, батюшки! И подумал парень: «Это господь бог клад послал мне на бедность!» На кого больше-то надеяться нашему брату? Но только что хотел он горсточку зачерпнуть себе на бедность, замычало, будто корова: «Не смей этих денег брать, худо будет!». Оглянулся. Хуть бы чирей! Никого. Мать моя родная! И думает: «Верно, почудилось?». Нагнулся, и только протянул руку—опять замычало. Что такое, милый мой?!

Цыган Сыч, чтобы усилить впечатление, остановился. Степанида держится за него, дрожит:

— Ну, ну, дальше, дальше...

Цыган опять обтер усы и бороду:

— Дай-ка еще раз.

Степанида уж поскорее сама прижалась щекой к его губам. Он мечтательно закатил глаза:

— Хорошо! И вот, сказать тебе по совести, задумался парень. «Что такое? Никого нет, а голос слышу?» Думал-думал, подходит в третий раз к котлу. Опять нагнулся, и опять голос: «Тебе сказано—не смей трогать. А коли хочешь цапать золото, проваливай домой и сделай грех с попадьей, дяконицей и какой-нибудь сиротою. Тогда и приходи—все золото твое будет». Воротился парень домой. И-их, какие люди бывают! Рассказал попадье, рассказал дяконице, сироту одну разыскал и той рассказал... Они каждая порознь выслушали, покачали головой и ничего не ответили. Стыдно. Бабы! Не мужик! Но потом каждая завернула мыслью: как бы, сам-деди, парня на грех навести? А это,—чай, знаешь—дело не трудное: попадья вином угостила, когда поп в церкви молился, дяконица—тоже, сирота без вина—ну, вот как мы с тобой. Мать ты моя родная! Собрался после этого парень опять туда же, влез на гору: золото—сама знаешь—мучает. И парень смотрит, стоит оно нетронуто, так и блестит. Но только он протянул руку, опять крик: «Куда? Не все еще ты сделал, чтоб богатым быть». Рассерчал молодец: «А что же мне тогда еще сделать, чтобы золото было мое?»— «Догадайся сам».

После этого пустился он в разбой; всякого, кто только попадется ему навстречу, он допрашивает: «Что мне надо сделать, чтобы золото было мое?». И если не скажет—он убивает до смерти. Порядком загубил он душ: загубил мать, и сестру, куму, и попадью, и дьякониду, и сироту; и многих других, а всего—девяносто девять душ. И никто ему не ответил на его вопрос... И пошел он после в темный дремучий лес.

— Ходил-ходил и увидел избушку—малая, тесная, вся из дерну складена, а в ей скитник спасается, раскольник... вроде наших, керженских чудаков. Знаешь? Скитник спрашивает: «Откуда ты, добрый человек, и чего ищешь?» Разбойник рассказал. Скитник подумал, покачал головой: «Много за тобой грехов; надо наложить на тебя эпитимью». «Коли наложишь на меня эпитимью, а как золото достать, не скажешь,—так и тебе не миновать смерти... Загубил я девяносто девять душ, а с тобой будет теперь сто». Убил скитника, побрел дальше. Добрался до того места именно, где спасался другой скитник. Поведал ему все. «Хорошо,—говорит скитник,—больше ста тебе уж убивать нельзя. Дай бог вечный покой этим ста, а если убьешь сто первую душу—не видать тебе никогда золота». «Что же мне делать?»—заревел парень.

Взял скитник горелую головешку и поволок разбойника на высокую гору...

Сыч опять провел рукой по усам: «Голубиная моя радость...»

— После,—стукнула его по спине жонка.—Рассказывай дальше.

Цыган покачал головой, подумав: «Ого, как засургучивает! Ну и сила!». Почесался с удивлением и как-то недовольно продолжал:

— ...вырыл там старик, чтоб ему пусто было, яму и закопал, старый черт, в ней головешку, чтоб ему ни дна, ни покрывки!

Цыган остановился, опять почесал спину, покосился на Степаниду.

— «Видишь, спрашивает он, озеро?» А озеро-то было внизу горы, с полверсты этак. «Вижу»,—говорит разбойник. «Ну, полезай же к этому озеру на коленках, носи оттуда воду и поливай это место, где зарыта горелая головешка, и до тех пор поливай, покада не пустит она отростков и не вырастет от нее яблоня. Вот когда

вырастет от нее яблоня...»... как у Питирима в кремлевском саду, знаешь?..

— Ну, еще бы не знать! О, эта яблоня!—Степанида вспомнила несчастного пристава Гаврилова и вздохнула.

— Ладно, рассказывай.

— «... Зацветет эта яблоня да принесет сто яблоков, а ты тряхнешь ее, и все яблоки упадут с дерева наземь, тогда знай, что золото твое будет и ты станешь богатым». Сказал это скитник и пошел себе в свою келью спасаться попрежнему. А разбойник—на колени, да пополз к озеру и набрал в рот воды, взлез на гору, полил головешку и опять ползком за водою. Долго-долго этак он трудился. Целых тридцать лет. Выросла яблоня, расцвела и принесла сто яблоков. Тогда пришел к разбойнику скитник и увидел его, худого да тощего: одни кости. Ну, брат, тряси теперь яблоню». Тряхнул тот яблоню, и сразу все осыпались до единого яблоки, но в ту же минуту с патуги и сам он помер. Скитник вырыл яму и предал его земле честно. Так никакого золота и не получил человек, а жизнь прошла. Сколько грехов сотворил, сколько пота пролил, сколько здоровья потерял из-за жадности, добиваясь богатства, а что получил?! Вот почему я тебе и сказал: похудеешь, а потом умрешь. Поняла? Зря прожил жизнь человек, думая о золоте... Я так не люблю. И людей загубил зря...

Степанида положила свою голову на плечо дыгану.

— Айда к нам! Там развеселят... Напью на своего Фильку. Что он тебе? Истинный господь, говорю, таких людей, как я, не найдешь... Смотри—какие зубы, какие ноги, какие глаза!..

— А это правда, что ты рассказал про клад, или сказка?

Сыч не растерялся.

— Да ну, какая же тут правда! Время занять чтобы и человека развеселить, а ты—в слезы... Правда ли это или неправда, а так бывает. И это я к слову сказал, чтоб унять тебя, чтоб не думала ты о богатстве... Живи так, как живешь, по-ангельски, без корысти... Глупая! Дай, вытру твои глаза... Смеяться надо, а ты плачешь... воду льешь. Э-э-эх, и люди!

Он крепко обнял Степаниду: «Голубиная радость моя!.. дочка ненаглядная!» И пошел приговаривать...

Конь нетерпеливо бил копытом о корневища, фыркал...

Волга дышала холодом; по небу, словно камешек с горы, скатилась звезда куда-то в леса за Волгу... Из сосновой чащи шло тепло и покой... «Филя, ты, Филя—настоящий ты Филя! Сиди там, в Печерах, и думай, о чем знаешь... Какое нам дело!..»

. . . . .

Цыган пришел в себя скорее Степаниды.

— Ну, теперь айда! — крикнул он:— Пора!

А Степанида упирается.

— Нет, посидим еще... Я не знала, что тут так хорошо.

Цыган начал серьезничать:

— Да говорю же тебе, глупая, вставай! Конь зовет.

Она—нежно и лукаво:

— Вон Песья звезда, посмотри, в небе. Мне Питирим рассказывал... так же вот...

— Пес с ней и с Песьей звездой, особенно с питиримовской,—сердито проворчал Сын.—Лезь на коня! Клад покажу... — И сердито плюнул на землю.

— Э-эх, ты «голубиная радость»! А еще над Филькой смеешься!—сказала с досадой Степанида, поднимаясь с земли и идя к лошади.—Нешто так можно?

Цыган не обратил никакого внимания на ее слова. Все его заботы были перенесены теперь на коня.

. . . . .

В это же самое время Филька, вернувшись снизу из-под горы, из кабачка, совершил заговор над своею и степанидиною постелью, заговор на верность. Говорил он слова, которым научила его ворожейка.

Уставившись горящими глазами на то место, где всегда спала Степанида, он тихо про себя бубнил:

— «На море, на окняне, на острове на Буяне лежит доска; на той доске лежит тоска. Бьется тоска, убивается тоска, с доски в воду, из воды в полымя; из полымя выбегал сатанина и кричит: Филька ты, Филька, беги поскорее, дуй рабе Степаниде в губы и в зубы, в ее кости и душу, в ее тело белое, в ее сердце ретивое, в ее печень черную, чтобы раба Степанида тосковала всякий час, всякую минуту, по полудням, по полуночам, ела бы не заела, пила бы не запила, спала бы не заспала, а все бы тосковала, чтоб я был ей лучше чужого молодца, лучше родного



отца, лучше родной матери, лучше роду-племени. Замыкая свой заговор семьюдесятью семью замками, семьюдесятью семью цепями, бросаю ключи в окиан-море, под бел-горюч камень Алатырь».

Выпалив все это скороговоркой, он стал, медленно почесываясь и зевая, раздеваться. «Плохо одному-то ложиться. Домовой принес мне этого цыгана, чтоб ему пусто было вместе с его жеребцом и со всеми конями и лошадьми, коих перетаскал он у хороших людей. Провалиться бы ему там вместе с лошадыю... (только без Степаниды)».

Даже забравшись под свое узорчатое одеяло, он не переставал мысленно ругать цыгана. Ругая Сыча, вспомнил он, кстати, и Нестерова. Стал ругать и Нестерова. А тут припомнил и пристава Гаврилова, и его стал проклинать на чем свет стоит, и потом... потом незаметно для самого себя задремал и погрузился в беспокойный, тревожный сон.

## XVII

Налет на цейнгауз удался как нельзя лучше. Пострадал только один Антошка Истомин — ему прострелили ногу. Сплюховал «старый подьячий», погорячился, недоглядел. Остальные выдержали бой с честью и безболезненно.

В гору с берега Истомина внесли товарищи на руках. Ухаживать за ним взялся отец Карп. Он набрал каких-то трав, сварил их и примачивал ими рану на ноге Истомина. В эти минуты раненый приходил к мысли, что зря он напал на отца Карпа и зря хотел его утопить. Оказался нужным человеком.

— Хоть и смеялся я над тобой, а спасибо!.. Прости!.. На пасху за это пятак покажу... — шутил, пересиливая боль, Антошка. Все ему сочувствовали. Положили его в лучшую землянку.

Цейнгауз одел ватажников в мундиры тюремщиков, в преображенские камзолы, в офицерские шинели.

Смеху много было, когда, вместо разбойников, на берегу появились тюремные пристава и офицерство.

Однажды, когда ватажники пошли в лес дров нарубить, навстречу им попался цыган, а позади него лошадь, а на ней верхом баба. Ребята сразу о дровах забыли, из головы

вылетело. А цыган идет и нос задрал. Смотрит на всех свысока: «Что, мол, разинули рты, или не видали?» Баба глазами играет, румяная и вообще... Можно и завтра ведь нарубить дров, зачем именно сегодня?

Все бросились навстречу цыгану.

— Хороша, как писаная миска...—подмигнул Тюнею Сюндяеву Филатка при виде верховой женщины.

— Питер женится, Москва замуж выходит, Нижний так живет... Мир вам!—засуетился и отец Карп, болтая какую-то чепуху. А глаза тоже горят.

— Ишь ты!—показал на него пальцем Чесалов.—На руке четки, а в уме тетки... Смотри, батя! Не грехи!

Женщина, решившаяся доброхотно пожаловать в стан ватажников,—это ли не чудо?! Это ли не диво?! Цыгана и коня со всадницей окружили тесным кольцом. Наперебой начали расспрашивать: кто такая есть и зачем?

Цыган солидно ответил:

— В плен взял, вот и все. Атаману дарю вместе с лошадьёю.

Степанида томно улыбнулась.

— Ой, не похожа на пленницу! Ой, обманывает!—грозила пальцем на Сыча, с хитрой улыбкой, Байбулат.

— На то он и цыган, чтобы обманывать...

Сыч, не обращая внимания на все эти шутки, спросил, где атаман.

— В своем шатре.

— Так бы и сказали... Чудакн!

И он деловито направился сквозь толпу к шатру Софрона. Степанида послушно следовала за ним на своем белом жеребце, который во время разговоров не стоял на месте спокойно, причиняя ей немало хлопот.

— Молви хоть словечко!—умолял ее шедший рядом отец Карп. Она улыбалась. Видимо, ей было приятно, что ею так интересуются. Над попом смеялись.

— Что? Иль и тебя прихватило?!

Поп краснел, обливаясь потом, хотя и было холодно.

— Ну, вы, тише... тише... Не безобразьте,—одернул их цыган.—Испугать девчонку можно... Неловко.

Все расхохотались:—Девчонка! Хороша девчонка!

— Вот и девчонка...—огрызнулся цыган.—Вы в зубы ей не глядели... И не знаете...

— А ты глядел?

Новый взрыв хохота.

Поп никак не мог сдержаться, чтобы не вмешаться в разговор.

— Лобзания красивых лиц должно настолько же остерегаться, насколько укушений ядовитых животных...

Цыган показал ему кулак: «Видел?»

Опять хохот.

Из шатра вышел Софрон. Он удивленно встретил шестие, приближавшееся к нему.

— Здорово, атаман!—весело крикнул Сыч.—Пленнику привез,—указал он на Степаниду.—Отбил у неприятеля. Персидскую княжну.

Софрон улыбнулся.

— Здорово!—протянул он руку Степаниде.—Ты как пошла к нам?

Степанида ловко соскочила с лошади, сверкнув белизною коленок и малиновым шелком исподней юбки (перепинала из расы).

Софрон и цыган вошли в шатер, пропустив вперед Степаниду. Братаны остались на воле и, почесывая затылки, с разочарованным видом стали расходиться.

Цыган рассказал о всех своих приключениях. Софрон спросил его насчет Зубова. Оказывается, Зубов еще из Нижнего не возвращался. Софрон и вся ватага были очень довольны Зубовым. Если бы не он, не разбить бы дейхгауза.

Сыч сказал, что видел Зубова на базаре с каким-то другим человеком, оба они хотели идти в Крестовоздвиженский монастырь. Степанида насторожилась. Софрон спросил: значит, он еще не передал записку кому нужно? Цыган ответил: «Нет!». Тогда и Сыч и Степанида заметили беспокойство на лице Софрона. Степанида уже поняла, в чем дело. Смекалиста была жонка на этот счет, однако, промолчала. «И разбойники любовью занимаются...»—подумала про себя, но вида никакого не показала, ибо у нее своя была цель, ради которой она приехала сюда, в становище.

Цыган ушел. Степанида и Софрон остались одни. Им подали есть. Не весьма жирный ужин.

— Благодарствую.

Софрон низко поклонился жонке. Она ответила ему тем же.

— Ты — не кто иной — спасла меня от темницы... Это я знаю.

— Не я, а бедный наш народ... Наказали мне — я исполнила.

— Знаю все. А что стало с приставом?

— Сидит в земляной тюрьме.

— Жалко его. А как поживает дружок твой, боевой кузнец Филька?

— Тоскует.

— О чем же он тоскует?

— О бедности, о скудости... О скудости пожитка...

Софрон сказал:

— Корысть ненасытна. Богатство более служит ко злу, чем к добру. Не надо об этом беспокоиться.

Степанида не совсем довольна осталась этими словами атамана. У нее на языке вертелось свое, о чем она долго думала и ради чего, собственно, и приехала сюда.

— Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом займодавца... Об этом даже сам Соломон сказал. И в жизни так оно и бывает, и никто этого не изменил еще. А надо бы!

Степанида высказала свою мысль громко и серьезно. Лицо ее выражало упрямство. Видимо, она приготовилась стойко вести спор об этом, не желая отступать ни на йоту. Софрон тоже был серьезен, слегка нахмурился.

— Да, так это и есть. Не спору.— На лице Степаниды мелькнула насмешливая улыбка.— Может ли, однако, ватага существовать без денег?

Софрон удивленно вскинул бровями.

— Одним господним именем не прокормишься...

Софрон молчал.

— Тогда на что же надеетесь вы?

— На помощь вашей братии... На гостей нижегородских и керженских. На тех, за кого мы боремся.

— Плохо ты знаешь нашу братию. Они велеречивы, но скупы. Думают только об обогащении своем. От них нечего ждать. Я хорошо знаю. И вам надо иметь свое богатство...

— Что можем, берем своей рукой. Богачей не щадим.

— А раскольников? Ихних торговых людей?

— Не трогаем.

— Чего их щадить?! Они сами на стороне царя. И неужели до сей поры не скопили вы клада себе?

Софрон засмеялся.

— Клада?

— Да.

Степанида насторожилась.

— Мы кладов никаких в землю не зарываем.

— Куда же вы деваете отбираемое добро?

— Деньги проживаем. Одежду и скарб или продаем, или сами носим, или раздаем на подкупы, на подарки... Без этого нельзя. Все уходит, без остатка.

Лицо Степаниды выражало разочарование. Так кончился у них разговор. Того ли ждала она услышать от Софрона?! Софрон стал темне тучи и долго один бродил вдоль берега.

Степанида заботливо сварила на всю ватагу уху. Рыбы ей натаскали целую корзину. Хлеба и грибов у ватаги было вдосталь. Обедали весело, шутили, смеялись без передышки. Ночевала Степанида у Софрона. Наговорившись с ним за ночь, она решила, что нет никакого расчета оставаться ей в ватаге. И думала о том, что ватажники — самые несчастные люди, они бездомные и гонимые, и жалко их очень. «Плохо быть колодником, но не легко быть и разбойником, а лучше всего быть денежным посадским обывателем».

Днем Софрон рассказал ей о том, какие блага они обещают по деревням крестьянам. В первую очередь — разгромить помещиков и освободить дворы от барщины. Затем поделить землю по справедливости, чтобы не было бобылей и беглых бездомовников. Всех наградить. Но все это казалось Степаниде неправдоподобным — без богатства, без клада разбойники никого и никогда не победят. Нужны деньги. И выходит: зря она приехала сюда. А может, и не зря? Она теперь знает правду о ватаге и расскажет ее Фильке, и сама будет знать. Это тоже хорошо.

А на крестьян, и подавно, не надежа.

Степаниде мать рассказывала про мурашкинское и лысковское крестьянское бедствие. Поднялись и тогда против бояр, помещиков и попов люди. А что получилось? Почти половину жителей воеводы перебили и взяли в плен. Было это давно, а и сейчас народ забыть не может. В Мурашкине воеводы казнили и убили около трехсот человек да сожгли полтораста дворов у бедных тягловцев, угнали сотни две голов скота, разорили мужиков до последнего. И лавки и амбары были сожжены «без остатку», почти что вместо Мурашкина-то и не осталось ничего.

«Вот как идти против бояр-то и царей!»

Лежит и тоскует Степанида, и голова ее ломится от

забот: «Лукавый дернул меня залезть в разбойничье логово. Да и Софрон какой-то неинтересный, да и нет никого тут, чтобы можно было полюбить... А главное — никаких кладов у них в земле нет и нечем от них поживиться. Чего можно ждать от голи перекатной, от рвани бездомовной... Придет время — они и Софрона-то самого убьют и, пожалуй, съедят... От них можно всего ждать». Обманывает она самое себя. И не попади она сюда, — может быть, и хуже было бы: на пустоту надеючись, погибла бы и она. Эх, эх, хороши разбойники — ни одного клада нигде не зарыли!.. Перебьют их всех, и найти после нечего. Видно, без Фильки-то и не обойтись ей, Степаниде. Надеяться на разбойников — все одно, что журавля ловить в небе.

Перед Степанидой стал со всей упрямостью вопрос: за кого держаться — за Софрона с его ватагой или за Фильку? От кого ждать большей пользы? У кого дело вернее?

И с великой печалью в душе она пришла к заключению, что филькина сторона надежнее.

Перед вечером подали челн, в который Степанида с радостью и села. На берег высыпала вся ватага: пестрал, шумная. Цыган Сыч делал с берега какие-то знаки Степаниде, скалил зубы, мотал головой... Она отвернулась: какое ей дело до него? Взмахнула веслами и поплыла вверх по реке, без оглядки.

. . . . .

Разбойничья ватага, между тем, была в посаде у всех на языке. Легко ли сказать — тридцати гвардейцев как не бывало! А после этих тридцати — ограбление цейхгауза под носом у власти. Питирим разгневался на Ржевского и Волынского не на шутку:

— Что же это у вас за солдаты, когда их воры на дно пускают и на карауле убивают? — пытал епископ обоим своими черными, горящими гневом, глазами. — А что будет, коли узнает император?

Ржевский ссылся почему-то на свою болезнь — Питирим слушал его недоверчиво. Волынский много говорил о речных туманах. И его речь тоже была туманная. Это не укрылось от епископа. Он строго сказал:

— Пьешь много, зело много пьешь! Гляди, как бы тебе худа не приключилось.

Оба начальника губернии и войска нижегородского

много позора пережили от побития гвардейского отряда ватагой и от ограбления цейхгауза, а имя Ивана Воина стало приобретать громкую славу на посаде и уважение.

Пошли тревожные слухи, что Иван Воин скоро нападет и на самый Нижний и осадит кремль его со множеством беглого и крепостного люда: богатых будут убивать, а бедных делать богатыми. Последнее больше всего взволновало посад.

Дошли эти слухи о бедных и богатых и до Фильки. Задумался вдруг и он над вопросом: куда его-то сопричислят: к богатым или к бедным? И втайне со страхом решил, что «к богатым».

Затрепетал весь.

«Что Софрон! Он не один набежит на посад, а с ним разная гольтыба, люди беззаконные и голодные, а они захотят ли пощадить его, Фильку?»

В этом месте филькиных размышлений, о которых он поведал Степаниде, она растерялась, вздохнула тяжело и скорбно, и на лице у ней Филька подметил страх.

— Вот и выходит,—бубнил обиженно Филька,—лучше бы и совсем не надо его пришествия в Нижний. Подальше бы надо от Софрона... Бог с ним! И чего ему нужно?!

Степанида, вспомнив о бедности ватажников, о затруднительных их делах, о которых беседовала с Софроном, полностью согласилась после этого с Филькой, а он глубоко внутри подсадовал: «Почему разбойники утопили гвардейцев, а не наоборот?». В этом же роде мелькали уже мысли и в голове Степаниды. Она окончательно решила держаться за Фильку. Надежнее он. Смотрит на жизнь трезво.

И не один Филька — многие на посаде стали жалеть, что разбойники взяли верх. Особенно об этом вздыхали кто посостоятельнее.

— Становись на колени! — приказал Филька. — Молись!

И он начал сочинять молитву об ограждении посада от воровского нашествия, о предотвращении бедствий и преждевременной смерти от него, Фильки, и от Степаниды. Слова подбирал он путанные и нескладные, но все равно Степанида делала вид набожный и серьезный, ибо вспомнила она Сыча, вспомнила рошу на берегу под Кстовом, «Песью звезду» и рада была в этот момент чем бы то ни было, но только угодить Фильке, так как чувствовала себя «зело виноватою» перед ним.

## XVIII

Окна елизаветиной кельи выходят в поля, а за ними—горы и Ока. Вихрь бьет в слюдяные окна и тоненько пищит, застревая в щелях рам. В монастыре давно полегли спать. Елизавете не спится: не выходит из головы кремль. Когда она вспоминает о кремле, о епископе, о летних днях и ночах, которые она там провела, ей представляются лампы, цветы и деревья и чудный запах розового масла... Пламенный взор и улыбка... Когда вспоминаешь эту улыбку, весь мир кажется усыпанным яркими розами, колючими и пьянящими, но...

Теперь все смолкло, окаменело, окуталось холодом. И кажется сказкой кремль—осенней, навевной ветрами сказкой...

Елизавета хотела молиться, но не могла. Если бы она не слышала «его» голоса, не слышала бы «его» мудрых и красивых речей, если бы она не знала епископа так хорошо, так близко,—тогда бы она молилась...

Тщетно ищет она помощи у забившихся в угол испуганных икон, тщетно просит она их печальными впадлыми глазами своими,—молитва замирает на обледенелых губах. Иконы глухи, беспомощны сами. Писаны они рукой раба, не иначе. Их лики говорят об этом. Им передалось от руки раба что-то запуганное, холопское, будто списано лицо святого с тягледа-крестьянина. Иконам она тоже не верит теперь.

Питирим убил у нее веру во все. Отнял богопочитание, опустошил ум. И как страшно Елизавете при мысли, что ее отец, ее мать, ее братья, посадские и деревенские люди верят. О, если бы они знали! Все знали!

Она никогда не забудет насторожившихся по-зверинному глаз епископа в тот вечер, когда игуменья Ненила увозила ее в монастырь. Елизавета жаловалась ему тогда на его жестокость с ней,—он сказал, что так поступают лекаря с больными, «а какой же я буду лекарь, если я буду сам трястись от лихорадки». И добавил: «Я—богоборец, а истинный борец проливает не слезы, а кровь...» Говорить с ним было и трудно и страшно. Много непонятного было в его речах.

В монастырь он приезжал за это время только один раз, зашел к ней в келью. Ночью. При свете лампы. Хотела вскочить с постели, но он остановил, спросил о



здоровье. Глаза смеялись. Голос был ласковый. На груди блестел крест. Постоял минуту около нее и так же тихо и незаметно, как вошел, исчез в темном коридоре монастырского общежития. Зачем приходил—понять не могла Елизавета.

И вот теперь, в эту холодную, бурную ночь не спалось. Мучили беспокойные мысли. Монастырь давил. Почувствовала себя Елизавета схороненною, живую покойницей. Грустные напевы монастырских служений и постоянный гул и перезвон колоколов начали ей внушать страх и тоску, леденили тело. Стояние в церкви морило тоской. Игуменья Ненила представлялась теперь чудищем. У Елизаветы не нашлось подруг в монастыре, все были они деревенские, темные, стремились бродить по посаду, продавали свое тело под видом собирания подалий на монастырь. И многие, уйдя, не возвращались. Елизавету тоже потянуло вон из монастыря. Монастырь обнищал. Кормили впроголодь. Лучше смерть, чем тут оставаться.

Писала отцу, чтобы взял ее из монастыря, чтобы простил ее,—отец не ответил. Писала братьям—те тоже промолчали. А стороной доходили до нее слухи от беллиц, бродивших «христа ради» по миру, что отец ее богатеет и у губернатора и у епископа—первый человек. На посаде ему завидовали, и все его осуждали: «Веру и дочь променял на две лавки в гостинном дворе и на купеческую первостатейную гильдию».

Приходил один старец из посада к службе и провозгласил на весь храм:

— В нынешние времена несчастье хороших людей служит к счастью дурных людей. Люди живут по дурным законам. Стыд потеряян. Бесстыдство и наглость, преодолев справедливость, возобладали в нашей земле.

Старца схватили и увезли в кремль. Елизавета бросилась было заступаться за него, но ее отташили, а затем на нее наложили эпитимию: каждоедневно класть сто поклонов после утрени перед иконою апостола Петра. И никого не было у нее близкого человека, с кем можно было бы поделиться своим горем. Однажды на восьмидесятом поклоне она упала и лежала около часа в беспамятстве.

Елизавета торопливо оделась, зажгла тоненькую восковую свечку, раскрыла библию; глаза остановились на сле-

дующих строках «Книги Эсфирь»: «Воспою господу моему песнь новую. Велик ты, господи, и славен, дивен силою и непобедим».

По лицу Елизаветы пробежала грустная улыбка. Елизавета закрыла библию. Она теперь не верила в непобедимость бога. За окном бушевала ледяная ночь. Днем всю рошу вокруг монастыря и кладбища зачернили вороны. Деревья стояли, словно после гари. А закат был необычайно красный, кровавый. У Елизаветы мелькнула мысль бежать из монастыря, бежать... но куда?

Накинув шубу и со свечкой в руке, Елизавета осторожно, чтобы не разбудить никого, пошла коридором вон из кельи, захватив с собою огниво и трут.

На воле ревели деревья, хлопали где-то у церковных окон незакрытые щиты. Охватил холодный воздух, и все же стало легче здесь, чем в келье.

На дворе была сторожка. Жил в ней старикашка-привратник Иван Еж. Мал ростом, сухощав и необычайно бородат, любил рассказывать про нижегородскую старину, про чудеса, был весел, но любил рассуждать и о смерти. К нему в окно и постучала Елизавета. Из трубы сторожки шел дымок. Видимо, старик не ложился спать. Дверь отворилась не сразу. Иван Еж сначала подробно расспросил, кто и зачем, но, узнав, что Елизавета, радушно распахнул дверь.

— Вот-вот, боярышня, мне тебя и надо... Лежит бумага у меня. Чудак какой-то занес, с серьгой в ухе. Григорием Никифоровым зовут. За ответом он придет. Да другого он приводил; тот придет к вечерне.— И, понизив голос:— Тайно поговорить с тобою. Демидом Андреевым зовут его. Чей сын — не знаю...

Иван Еж на ухо Елизавете прошептал:

— Потаенный раскольщик он. Тоже говорил о тебе... Да еще с ними приходила наша старица Анфиса. Знает она Демиду-то. С Керженца оба...

— Анфиса?!—удивленно спросила Елизавета. Анфису она считала дурочкой, сторонилась ее.

— Она, она...

Елизавета села на скамью. «Чудно все!» В избе пахло гарью, кислой овчиной, но девушке показалось здесь так уютно, так хорошо и так спокойно теперь. Дедушка Еж ласково смотрел на нее и, приметив ее волнение, стал успокаивать:

— Не робей, девушка. Свои люди... Вот бумага-то. Она подошла к светильнику, стоявшему на рундуке перед псалтырем, и прочитала записку:

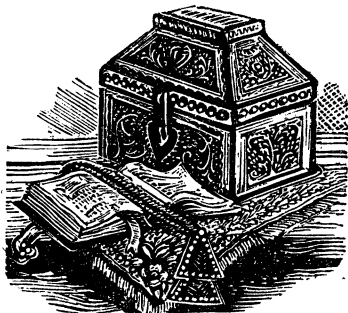
«Ищу видеть тебя, скоро буду... Софрон».

Елизавета не ожидала этого. Она считала его погибшим и на молитве каждодневно поминала за упокой. Радостью наполнилась лачуга Ивана Ежа. Девушка обняла и поцеловала старика, смутив его до крайности.

Первая мысль, которая пришла Елизавете: Софрон жив и может спасти ее. Елизавета думала много раз сама убежать из монастыря, но куда? Она могла бы задушить игуменью Ненилу, ведь это Ненила увезла ее из кремля, ведь это она следила за каждым ее словом и шагом и, конечно, она наговаривает на нее, Елизавету, епископу, когда бывает у него. О, как она ненавидит игуменью! Да разве она одна?! Все в монастыре знали, что была гулящею некогда Ненила, ходила по монастырям, что она кликушествовала и что сидела у Питирима в Духовном приказе, а потом сделалась его ближайшей помощницей, ближнею подругой. И по этой причине и определил он ее игуменьей в монастырь.

— Беги, не хватились бы,—добродушно проворчал дед Иван.

Хоть и не хотелось Елизавете уходить от старика и страшно было почему-то возвращаться опять к себе в келью, но пришлось. На дворе снова охватили холод и ветер. На монастырском кладбище чернели кресты. Но... Елизавета чувствовала теперь себя бодро, хорошо. Есть надежда. Не все погибло. Софрон жив и спасет ее!





**Ч А С Т Ь  
Т Р Е Т Ь Я**







## I

**Н**ижний, как и прочие города, отторжествовал «по-питерски» наступление нового, 1720 года. Пировали сначала у Ржевского, потом у Пушникова, потом у Олисова. Много истребили вина, много и браги и немало оттараторили здравец «за его царское величество»,—в ушах звенело от этого шума.

Целую неделю веселились купцы и дворяне. (Спесь дворянская растаяла в эти дни перед купедкой мошной).

У Афанасия Фирсовича Олисова побывал и Питирим. Появился епископ вдруг, неожиданно, и именно тогда, когда трапеза уже клонилась к перелому и у многих из них «душа с богом уже беседовать начала».

Большое смятение произошло среди городского дворянства и купцов, облепивших стол.

Питирим благословил трапезу и провозгласил здравие царя. Все повскакали, звеня посудой и шумя скамьями. Питирим произнес:

— Велик наш государь, рачительный хозяин столь великого дома, какова Россия, не упускающий ни малейших дел! Дай ему господь бог здравствовать многая лета!

Купцы проглотили свою порцию столь поспешно, что, пока Питирим успел только пригубить чарку, некоторые из них уже ухитрились выпить за здоровье его величества еще по две чарки. Подобное усердие не могло ускользнуть от епископа, и он, улыбнувшись, заметил:

— Далеко ехали, да скоро приехали..

Находившийся здесь же, в толпе гостей, Нестеров язвительно шепнул соседу: «Намекает»... И не нужно было этого объяснять—каждый догадался, о чем говорит епископ. А говорил он этими словами о том, что, мол, долго купцы, вышедшие из староверов, были холодны к царю, а ныне проявляют редкостное усердие, выпивая за его здоровье даже подряд по три чарки. Епископ ничего и никогда не говорит спроста. Сам он почти не пил ничего. В такие вечера он больше наблюдал и слушал, а это тяготило гостей. И на этой пирушке у Олисова даже протрезвели некоторые, встречаясь глазами со взором епископа.

Но... случилось событие, которому очень порадовались гости, хоть событие это впоследствии послужило причиною великих горестей для самих же почтенных гостей (купцов) нижегородских. Одним словом, в зал вошел гвардеец—вестовой губернатора и объявил, что в Духовном приказе дожидается «его преосвященство» гонец из Питербурха с письмом царя.

Питирим поспешно со всеми простился и уехал.

Письмо, которое вручил этот гонец епископу, гласило:

«Преосвященный епископ! Письмо ваше из Нижнего 1 сего числа ноября месяца мы здесь получили с великою радостью, что господь бог через ваш труд истину святая своя Церковь прославить и противников оной безответных сочинить изволил. Пред некоторым временем один раскольник письмо в соборной церкви на патриаршее место положил, который с оным сюда прислан и ему сии отречения керженских жителей объявлены, но он тому веры ять не хочет, требует видеться с тамошними их учителями; о чем просил, дабы ему позволено к ним писать, что ему и позволено, которое его письмо при сем прила-

гаю. Извольте призвать их к себе, им оное объявить, и чтоб они сюда ехали, без опасения, для объявления ему, что они учинили; также и ты изволь приезжать с ними сюда и подлинные пункты от них вам данные и от вас им ответственные, также и письмо их отрицательное о своих пунктах и прочие тому надлежащие письма привезти с собою. Из С.-Петербургх в 20-й день декабря. Петр».

Прочитав письмо, Питирим нахмурился, потер озабоченно лоб. Приходится ехать, а путь не ближний. Хотя епископ и рад был услужить царю и повидаться с ним, рассказать о своих успехах, но то, что он задумал, еще не сделано. Оно — цель жизни его теперь, оно интересовало теперь его больше всего. План своего решительного наступления на раскольников потихоньку он уже стал осуществлять.

Ржевский и Волынский, стоя, выслушали письмо царя, вытянулись по-военному, как будто царь сам был здесь перед ними. Питирим в их глазах вырос еще выше после этого, да и сам он держался так, будто хотел дать понять губернатору и его помощнику о своей обширной невозбранной власти над губерниею. Он тотчас же приказал составить ему справку о собранном окладе с раскольников, а также и о том, сколько их сидит в острогах и сколько сослано на каторгу с вырыванием поздрей.

— Помните, — назидательно говорил Питирим, — сила их, раскольников, еще приумножилась за сорок восемь лет, а не преуменьшилась. Занимают они ныне наивыгоднейшие для промыслов и торговли места, а их восемьдесят шесть тысяч душ. Ныне, отбывая в Питербурх, прошу я вас надзор иметь за еретиками неотложный. В острогах не будет места — гоните в монастыри, в кремлевские башни... А когда возвращусь, всею силою двинемся мы в поход на раскол, для его истребления.

После этого Питирим благословил по очереди губернатора и его помощника. Обоим протянул руку. Облобызали ее с чувством и почтением.

Питирим вызвал к себе дьяка Ивана и Филарета (игумена Печерского монастыря), которого оставлял при своих отъездах заместителем, и передал им сочиненную им, Питиримом, «клятву раскольника». Эту клятву должен был подписывать каждый вновь обращенный.



Начиналась она такими словами:

«Проклинаю всех тех, которые святейшего патриарха Никона называют еретиком и неправославным, да будут они прокляты и анафема!

Проклинаю всех таковых, которые ныне не исповедуют и не веруют во святей восточней и великороссийской церкви от архиереев и иереев совершающееся под видом хлеба тело Христово и под видом вина кровь Христову, да будут они прокляты и анафема!

Проклинаю всех таковых, которые ныне не веруют и не исповедуют во святей восточней и великороссийской церкви от архиереев и иереев совершающихся всех святых седми тайнах и о прочем их церковном действии, да будут они прокляты и анафема!»

Прощаясь на другой день с Ржевским, епископ сказал ему:

— Не должно унывать ни при каких обстоятельствах. И в трудных — не очень падай духом, и в счастливых — не спеши радоваться, а сперва высмотри конец дела. Не верь сердцу своему... Больше думай. Ум видит и ум слышит. Все остальное слепо и глухо. Жаль, что ты не знаешь греческого языка... Научись. Эллинские мудрецы большую помощь мне принесли. На тебя оставляю Нижний, охраняй его, дабы не повторилось того, что было.

Ржевский собрал сотских со всего города у себя в канцелярии и сделал им строжайшее распоряжение иметь неослабный надзор за рогаточными караульными, которые большею частью спят у себя в будках, пьют и якшаются с бездомными грабителями.

Рогаточные караульные назначались из дворовых людей и крестьян тех помещиков, чьи дома были на улице. Благонадежность их зависела от большей или меньшей склонности к пьянству. Грабители взяли в обыкновение таскать по ночам с собой бочонок вина и спаивать караульщиков.

— Кто идет? Что несешь?! — окликает рогаточный.

— Вино! — ответ.

Дальше следует выпивка, и грабители спокойно хозяйничают в пустынных улочках и переулочках.

Ржевский обо всем этом хорошо был осведомлен и под строгой угрозой обязал сотских накрепко смотреть за

десятскими и караульщиками у рогаток, да к тому же велел он сменить малолетних и дряхлых рогаточных, которые не только не могут бороться с ночными разбойниками, но и самих их надо охранять, чтобы их не убили. Недавно такой случай уж был.

У Ковалихинского моста мальчишку-караульщика зарезали и бросили в речку Ковалиху, а в будку посадили ворону, привязав ее за ноги к железному крючку лампы. «Все масло пролила, окайнная, икону святую, стерва, обгадила». Ворону казнили.

Смотрели-смотрели на это посадские, да и взялись сами за дело. Поймав вора, тут же его пристукивали «до мокроты». А это строго запрещалось. Убивать воров, судить их, рвать им ноздри, ломать кости и всякие другие «заботы» такого рода — все это лежало на обязанности губернаторских приказов, и незачем им было мешать.

И об этом еще раз напомнил сотским начальникам губернатор Ржевский.

— На то нам и власть дана от государя, чтобы вершить суд и расправу в народе. И за каждого убитенного не нашими руками человека будем взыскивать с вас по три рубли штрафа... Бог вам в помощь!

Ржевский был так запуган теперь Питиримом, что ни одного приказа не писал без того, чтобы не вставить слова «бог», и ни одной речи не мог вести, чтобы не упомянуть этого слова. Писал «божественно» и много.

Сотские проявили безграничное терпение, выслушав до конца своего губернатора, а выйдя, облегченно вздохнули, потихоньку между собою переговариваясь:

— Не к добру оные строгости и пустословие. И сам, видать, сбился с толку Ржевский. Тут что-то да кроется, да что-то замышляется. Не Питирим ли тут чего мутит? Так и знай — везде он!

## II

Неспокойно стало в скитах после размена ответами и вопросами с епископом. «Лесной патриарх», старец Авраамий, уводил некоторых старцев в лес и там по секрету, под клятвою, рассказывал, что ему приснился сон, будто между старцами завелся «Иуда-предатель» и что тот Иуда решил сгубить керженские скиты, разорить

все скитское общежитие... И намекал он при этом на Варсонофия.

— Кто волком родился, тому лисой не бывать,— кричал на всех перекрестках он.— Постникам вашим я не верю. Нечего гордиться постом. Всякий бо скот мяса не ест, ни вина не пьет: и вол, и осел, и овца. Постимся мы, а людей едим, предаем. Якобы правду глаголем, а лжем. Лыстим и коварствуем. Вот наша правда...

Старцы почли его теперь умалишенным. Уходили от него, крестились, отлеживались в страхе. А «лесной патриарх» на другой же день после того, как в скитах появилось новое воззвание епископа Питирима и Ржевского «о непротивлении сбору окладов», для каковой цели направлялись из Нижнего десять человек сборщиков, повел повсюду горячую речь и против царских денег. Он говорил:

— Истинным христианам нельзя брать в руки денег, заклеянных царской антихристовой печатью. Ни один странник не должен владеть собственностью, а все свое имущество должен отдавать в пользу общины...

Скитники возмутились, полезли в спор:

— Земля, земель, вода, водой, ими володеть нам не желательно, а деньги... Как без них быть?

«Лесной патриарх», выпучив глаза, кричал:

— Глаголы «мое», «свое» — проклятые и скверные, вся бы вам общая сотворил есть бог. Все вкупе и имяни вся общая, не так ли сказано в деяниях святых апостолов?

Поднялись крики, ругань. Александр дождался, когда стихнет, и обратился к «лесному патриарху»:

— Опасное ты проповедуешь, отец Авраамий, как быть без земли и денег? Скитаешься по миру, много ли прибытку добудешь? А без прибытку не может быть и ни один скит, и ни один монастырь. И врагов приумножишь, и лютоści на бедняков еще и еще навлечешь. Царь свое дело делает, мы — свое. И не гоже мешать друг другу... Запрещаю!

— Как же не мешать?!—в исступлении кричал Авраамий.— Надо мешать!..

Шуму было много. И что удивительно — сторону Авраамия принял священник православной пафнутаевской церкви, отец Иван; он звал к себе в дом «лесного патриарха» и до полночи беседовал с ним.

А на другой день пропали из Пафнутаева и Авраамий и поп Иван.словно сквозь землю провалились. Бежали по

лесу скитники, везде их искали, но нигде найти не могли. Ездили на разведку в Нижний, но и там толку не добились. Ходил Демид к Фильке Рыхлому, но того трудно и увидеть теперь—завод железный приказано ему строить на Оке, под Кунавиным, дляковки цепей якорных, плотовых и тюремных. Степанида от Духовного приказа и от Нестерова отстала—ничего не знает, да и знать ничего не хочет. Другая она какая-то теперь, беззаботная, и песни без дела поет, и ленточки в косы какие-то вылетает перед зеркалом. Вином угождала и сама тянет не меньше мужика. Через нее также ничего не смог узнать Демид.

И вернулись керженские разведчики ни с чем. Провалился куда-то Авраамий вместе с попом,—куда? Одному богу известно. Чудное дело! Особенно жалели «лесного патриарха» на деревнях. Никто, кроме него, так близко не сошелся с крестьянами. И многих он учил, куда и как обращаться с теми или другими челобитьями и сам писал даже мужикам челобитные грамоты.

От мирских дел не отмахивался он, как другие старцы. Что было в его силах, тем помогал он пахарю и его домашним; давал советы по хозяйству, по промыслам; лечил ребят, учил правильному рыболовству, столярству и многому другому.

На деревнях его уважали и радовались каждому его приходу. Мало таких было скитников. Не так давно на починок Прудиче напали воры. Отец Авраамий ночевал эту ночь в починке. Он смело вышел к ворами и стал ругать и стыдить их:

— Не туда вы попали! Идите к дворянам и купцам, в церкви и амбары, а бедняка-крестьянина какая корысть трогать? Сами такие же.

Воры его выслушали спокойно и сказали:

— Хоть и в рясе ты, а оказывается—прямой. Возьми вот этот нож, и если кто-нибудь из нас начнет воровать в этом починке, зарежь того.

Авраамий не отказался, принял нож и спрятал его под рясу. Воры переночевали в починке и ничего не тронули. Нож не пригодился. Тихо, зареку, ушли воры из Прудича. Отец Авраамий нож отдал старосте починка и сказал:

— Если я когда-нибудь примкну к какому-нибудь соглашению—убей меня. Хотя я и ревнитель древлего благочестия, но я не ревнитель бесчестия, подхалимства властям и покорности. Во имя отца и сына и святого духа.

Вот почему вести об исчезновении старца Авраамия с большей скорбью, чем в скитах, встретили по деревням. Мужики ходили, как потерянные, бабы плакали.

Старец Варсонофий стал распространять слухи о «лесном патриархе», что он-де «продан властям», и теперь горе будет керженским скитам. Авраамий — «царский випцион» и, если что случится со скитами, в этом никто не будет виноват, кроме Авраамия. Он припоминал все его речи, все его смелые слова и доказывал, что «патриарх» нарочно вводил в грех, испытывал скитников, а тем более — с православным попом знакомство свел и с ним же скрылся из скитов. Добра теперь не жди.

Кое-кто этому и поверил. Напрасно диакон Александр доказывал, что не может старец Авраамий быть таким, знает его давно, — встревоженные мысли заполнили головы скитожителей: где-то изменник готовит нападение на скитожителей. Это пугало. Варсонофий возражал диакону, умоляя его не верить самому себе, — отец Авраамий совсем не такой, каким кажется. Он вредный. Он — скрытый предатель, тайный фискал Питирима. Говорил Варсонофий со слезами на глазах, прося диакона не верить своим чувствам.

— Не ради себя, — говорил он диакону, — а ради тебя и всей братии скитской.

Диакон растерянно пожимал плечами. После отъезда Питирима, после размена с ним ответами, того, что было в скитах раньше, теперь уже не стало. И между диаконом Александром и его помощником Варсонофием тоже не стало прежнего. Пробежала черная кошка между ними.

Питирим в споре поповцев с беспоповцами принял сторону поповцев. Отсюда началась смута. Беспоповцы обвиняли поповцев в неустойчивости и нетвердости вероучения их, приятного якобы сердцу Питирима. Те тыкали пальцем в Варсонофия: ответы-де он, помощник диакона Александра, вручил Питириму. Они не видали и не подписывали и никогда бы и не подписали их, ибо «в ответах уступки догматические явно сказаны и показаны», и Питириму это наименее всего. За Варсонофия заступались брачники (беспоповцы, поссорившиеся с другими беспоповцами, которые стояли против брака), прозванные федосеевскими «новоженцами».

— Брачное сожитие, — говорили они, — основывается

на обетовании творца расти и множиться, и потому потребность жизни лежит глубоко в естестве человеческом, а по учению святого Иоанна Златоуста закон никогда не дается на истребление человеческого естества и его тpeбы...

Питирим писал и говорил то же и жестоко осуждал безбрачие. Брачники слышали тайно от Варсонофия, что диаконовцы также склоняются на сторону федосеевских новоженцев. Сам Варсонофий всегда защищал брак и «естество убо пола», да и сам Александр диакон был на стороне новоженцев. В этом споре беспоповцы разбились на два лагеря: одни за брак, другие против брака, и началась между ними борьба великая.

Все это послужило причиною больших несогласий в скитах. Но Питирим настойчиво указывал, а в своих ответах напирал на это особенно, что не может человечество развиваться, будучи безбрачным, и что, кроме разврата и непотребства, безбрачники ничего не добьются. Привел он даже стихи самих же раскольников:

Адска гидра пожирает,  
Бракобор, что взаконяет  
Повсеместное убийство,  
Явно гнусное бесстыдство...

И брачники втайне говорили «спасибо» Питириму, хотя и считали его своим врагом.

Разноречие пошло вавилонское по лесам из-за борьбы бракоборцев с безбрачниками, а особенно еще потому, что и здесь замешалось имя епископа Питирима. Безбрачники кололи глаза новоженцам, что, мол, «вы заодно с Питиримкой». А когда в леса пришли ландраты сдавать подряды на лес на выгодных условиях, брачники зазывали их к себе в избы, угощали их брагой и солеными грибами и говорили:

— Мы согласны... Мы ведь не скитники, мы, хотя и раскольники, а не против жизни... Мирское всяческое не чуждо нам... Да и домовиты мы, а не бродяжны.

И вместе с ландратами знатно посасывали брагу, а потом горланили песни. Жены подносили вареное мясо и огурцы к столу, заботливо ухаживая за ландратами.

После этого в лесах бойко застучали топоры брачников-федосеевцев и многих поповцев. А глядя на этих, пошли в лес и многие сафонтьевцы и онуфриевцы. Питирим,

узнав об этом, прислал им подарков разных, а больше того обещаний.

Старцы, преданные старозаветным догматам, приходили и упрекали лесорубов, что «в антихристово время не следует брать от власти ни паспортов, ни каких других рукописных бумаг и книг, а тем паче — приказов и наказов их исполнять, не следует брать денег и ради обогащения на царя работать». Лесорубы бойко отвечали:

— Забыли вы слова преславного и мудрого Андрея Дионисовича поморского, а сказал он нам: «Богови — богово, царево — царевн...»

Старцы сердито хмурились, глядели с тоской на поваленные деревья и, потоптавшись уныло около валки леса, уходили со вздохами и молитвами к себе в скиты.

Были у лесорубов противники и измирян. Например, Демид-беспоповец, заломив трюх, ходил в лес глядеть на лесорубов и говорил:

— Бог в помощь, рабы питиримовы, слуги губернаторов. товарищи ландратовы!..

Лесорубы помалкивали.

И началась такая смута среди керженских раскольников, что сам диакон Александр в страхе разводил руками. Глаза его день ото дня становились задумчивее.

— Питирим добился своего, — грустно говорил он: — посеял смуту в наших скитах.

С ним соглашались, но мириться никто не хотел, всякий толк крепко держался своего.

— Народ любит о нутре пещись более, нежели о боге, — жаловался он Варсонофию. Варсонофий молчал.

Об исчезновении «лесного патриарха» и пафнутьевского попа все позабыли, как будто их и не существовало никогда. Все заняты были своими делами. И вот тут из Нижнего на Керженец появился опять боевой солдат Матвей — всегдашний гонец епископа. Пришел и, вызвав на волю Варсонофия, вручил ему пакет. А в пакете оказался приказ Варсонофию немедленно явиться в Нижний под конвоем солдата Матвея.

Побелел весь Варсонофий, затрясся. Побежал в молельню лбом стукаться. Диакон Александр и тут хотел прийти человеку на выручку:

— Могу пойти за тебя и я, — сказал он Варсонофию, но солдат Матвей воспротивился:

— Приказано Варсонофию. Ты, батя, посидел под приказом, и буде с тебя...

На следующее утро солдат Матвей увел Варсонофия в Нижний. Опять поднялся шум в скитах. И многие начали молиться за старца Варсонофия, как за мученика, которому предстоит пострадать за керженских братьев.

В один из тех вечеров, когда Филька торжествовал на новогоднем купеческом разливаньи и там же, у гостя Олисова, започевал, к его домику на Печерском овраге подкрался человек. Подошел к окну и крепко постучал, сквозь зубы насвистывая что-то себе в усы.

Степанида отворила с радостью. Догадалась. Гость прошел в горницу и уселся на лавку, словно хозяин дома.

— Идала?

— Нет,—заотрекалась Степанида. — Нет! Нет!

— Забыла?

— Да.

— А это не беда.

Сыч поднялся, неторопливо снял кафтан и обнял ее:

— Напомнить можно.

Борода его, черная, курчавая, приятно зашекотала лицо Степаниды.

Она вспомнила Кстово. Прижалась к Сычу с улыбкой.

— Голубиная радость моя...

И пошло...

В этот вечер цыган много расспрашивал о Питириме. Как заметила Степанида, добивался узнать у нее — точно ли Питирим собирается из Нижнего уезжать и когда, и куда, и по какой дороге? Степанида сама ничего такого не знала, а если бы знала, то обязательно все рассказала бы этому курчавому красавцу, все без утайки. Поведал Степаниде цыган и о том, что в Нижний собирается атаман. И непременно побывает у нее здесь, в дому.

Когда сели ужинать, цыган завел разговор о Фильке.

— Что твой Филька? Болячка!

— Не твоего тела, и нет тебе дела...

— Что заступаешься? Не идет он тебе... не той масти.

— А какой же?

— Нечестный твой Филька. Будь он тут — удавил бы я его, твоего Фильку!

— Мели, Емеля...



— Не нравятся мои слова?

— Мне все одно.

— За что ты любишь его?

— Никогда и не любила и любить не буду.

— Ух, ты! Голубиная радость! Не люби его...

И, крепко обняв Степаниду, зарычал, точно кот:

— Чур, одному: не давать никому.

Степанида шептала:

— Он — сукин сын. Он — злосчастных в цепи обряжает. Совесть дьяволу продал. Он — Иуда, сребролюбец... волчий ухвистень...

— Лебедь ты моя белокрылая... Уйди ты от него, от шелудивого!.. Немало я коней с чужих дворов сходил, и никогда никто не знал того, а тебя сведу — сам царь со всем своим войском не сыщет: ни русский царь, из рогожи деланный, ни король цыганский...

— А Питирим?

Степанида с силою разомкнула сычевы руки, уставилась испытующе в его глаза.

— Не поминай о нем, — сморщился Сыч, — особенно на ночь... Присниться может.

— Чтой-то? Ужели такой он страшный?

— Демон преисподний.

— Нет! — отрезала Степанида. — Он не такой.

— А ты откуда знаешь?

— Стиривала у него... Хорошо знаю... Он не такой...

— Не тако-ой?! — Сыч подозрительно оглядел Степаниду. — А какой?

Степанида молчала. Задумалась.

— Не знаю, но только он ни чуточки не страшный... Филька страшнее. Ой, какой он страшный!

Хохот цыгана оскорбил Степаниду.

— Сравнила пупырь с оглоблей!

— Вот и сравнила. Он страшнее вас всех...

— И меня?!

— Никого я не боялась! И тебя тоже... — Степанида крепко прижалась к цыгану. — А его боюсь... Он опаснее и тебя и других разбойников... — Степанида вся дрожала от страха.

Сыч недоумевал, но, почувствовав Степаниду, горячо прильнул своими губами к ее губам.

### III

Ямщик из всех сил гнал лошадей.

Епископ был не в духе. На каждой остановке ворчал на ямщика, грозил ему каторгой, плетью, застенком. Надо было как можно скорее добраться до Питербурха. Слухи ходили: в январе царь опять уезжает за границу. (Не опоздать бы!)

С тяжелым сердцем покинул епископ Нижний. Пришлось бросить все дела в самый разгар подготовки наступления на раскол. Получилось так, будто стрелка, натянувшего тетиву, взявшего меткий прицел, вдруг схватили за руку со стрелой. Горечь и досада комком свернулись внутри. А главное... Софрон! Расставленные для него сети остались без надзора. Что Филарет?! Что и дьяк Иван? Ни воли, ни разума у людей,— разве они смогут?

В полях бушевала вьюга. Заметала дороги, топила в сугробах кустарники, врывалась внутрь кибитки, невозможно было открыть глаза. Небо разбухло, отяжелело от снеговых туч. Куски его свисали, поглощаемые вдали мятушимися снежными чудищами.

День, а потемнело.

Варсонофий, утонувший в громадном тулупе, видел только спину ямщика. Чувствовал он себя неважно. Близость епископа и его сердитые покрикивания, нетерпеливые привскакивания с места действовали на старца угнетающе. Снег таял на лице, стекал водою за ворот.

Успокоился епископ, когда поехали лесами. В проселках, прикрытых соснами, стало потише. Коня и сам ямщик прибодрились.

— Скоро ночлег,— наконец проговорил мирно епископ,— Ты не озяб?

Варсонофий заерзал в тулупе, стараясь обернуться к Питириму.

— Мне хорошо, ваше преосвященство, благодарствую.

Ямщик, услышав разговор позади себя, обернулся тоже к епископу и сказал с заискивающей улыбкой:

— Теперь потеплеет, ваше преосвященство. Вьюга, она к вечеру-то свернется...

От волков да от рысей (кстати, и от воров) епископ взял пистоль, которую и держал теперь в руке. На днях Волынскому, ездившему в Балахну на облаву беглых, пришлось столкнуться с волчьей стаей у деревни Копосово.

Чуть не сгрызли, окаянные, и самого помощника губернатора. Целое сражение произошло. Зверь обнаглел в последнее время, лезет в дома, набрасывается на путников, режет скотину — потерял всякий страх. Говорят старики: кровью человеческой пахнет на земле; ни одно царствование, даже Ивана Васильевича Грозного, так не смердило кровью, как нынешнее царствование Петра. Кровь проливается повседневно и повсеместно и обыкновенно. Дикая бродячая собака больше уверена в своей жизни, чем человек. Ни у одной твари крови не выпускается теперь столько, сколько у него, у человека. Вот почему зверь и задрал нос, стал нахальничать.

Так думал сидевший на облучке ямщик, так думали, собственно, многие и по деревням; человек на нет сведен — от этого все зло, поэтому и от зверя уважение к нему всякое пропало и страх тоже. Презирает и зверь людей. Заразился от царя. За слабость презирает.

Возок падал с одного бока на другой, наваливая то епископа на Варсонофия, то Варсонофия на епископа, хотя старец в испуге и делал всяческие усилия, чтобы не валился на его сторону. Пот выступил от напряжения.

К вечеру пристали к Гололовцу. Подкатили к дому одного знакомого епископу попа. Погода поутихла. Поп выскочил на крыльцо встречать со всей семьей — все полезли под благословение епископа. Звали попа Панкратий. Бородатый, широкоплечий, с большой лысиной поверх лба. Смотрел весело, не робел.

— Тоже был раскольщиком, — с самодовольной улыбкой показал на него Питирим.

Отец Панкратий низко поклонился.

— Тишанием вашего архиерейского священства приобщен к свету истины... Благодарствую.

Жена его, рыжая, худая и веснучатая беременная женщина с кроличьими глазами, тоже поклонилась. Дети, количества которых не мог учесть Варсонофий, толкались кругом, разинув наивно рты, блеяли, как стадо молодых овец. Питирим, важно откинув голову и распахнув лисью шубу, крытую черным штофом, быстро прошел внутрь поповского жилища. Хозяйка принялась возиться у очага, раздувая огонек, стуча горшками.

Когда уселись по местам, первые слова епископа к хозяину дома были о том, что слышно в окрестности о разбоях. Поп оживился. Жена его вздохнула, перестала возиться.

— Бабыя шайка пожаловала в эти места... Пограбили монастырь, монашенков разогнали... На Владимирской дороге купецкий обоз разбили...

Самый старший мальчик принес из соседней каморки какой-то листок и положил его перед епископом. Питирим погладил мальчика, потрепал за нос с добродушной улыбкой.

— Ну, посмотрим, что тут такое?

— В деревнях песню распевают, — с увлажненными от отеческой нежности глазами вмешался поп Панкратий. — Разбойничья атаманша сочинила, а он ее списал...

Питирим нахмурился, начал вслух читать:

Загуляла я, красна девица, загуляла  
Со удалыми со добрыми молодцами,  
Со теми же молодцами, со ворами.  
Немного я, красна девица, гуляла,  
Гуляла я, красна девица, тридцать шесть лет.  
Была-то я, красна девица, атаманом  
И славным и преславным есаулом.  
Стояла я, красна девица, при дороге  
Со вострым со ножичком булатным;  
Ни конному, ни пешему нет проезда...  
Загуляла я, красна девица, загуляла,  
На славное на петровское на кружало  
Без счету я, девица, деньги выдавала,  
Не глядя рублевички за стойку бросала:  
— Вы пейте, мои товарищи, веселитесь!  
Уж тут-то я, красна девица, бодрость оказала,  
Уж храбро я и бодро поступала,  
Атамановы поступки показала...  
Уж тут меня, девицу, признавали,  
По имени красну девицу называли,  
По отчеству меня величали;  
Назад руки красной девице завязали,  
Повели меня, красну девицу, в полицу;  
Подымали красну девицу на дыбу...  
Уж смело красна девица отвечала:  
Постойте, судьи мои, не судите, —  
Чего вам от меня больше желати?  
Сама вам, красна девица, повинюся...  
Судите, судьи, меня поскорее,  
Раскладывайте огни на соломе;  
Вы жгите мое белое тело,  
После огня мне голову рубите.

Питирим тщательно свернул этот листок бумаги и убрал в карман своей рясы. Задумался.

— В Преображенский приказ передам Ромодановскому... и царю покажу. Благодарствую!

Он поманил мальчика к себе, подарил ему серебряный рубль. Мальчик покраснел, взглянул сначала на отца, потом на мать. Из всех углов глядели завистливые глазенки его братишек и сестренки.

— А мне сказал дядя Прокл из Заречного,— вышел к столу другой мальчик, немного поменьше,— два солдата архиерейские и два колодника в бабью шайку пристали...

Питирим удивленно поднял брови на отца Панкратия:

— Ты что же об этом не рассказываешь?

Поя смутился. Мать дернула мальчугана, уцепившись за его плечо. Отец Панкратий, заикаясь:

— Не велено говорить... Грозил смертью..

Пигирим сердито взглянул на него.

— А знаешь ли ты, что тебя за это судить будут, как их единомысленника?

Панкратий побледнел. Попадья теперь за ухо мальчишку оттащила еще дальше от стола, а потом поскорее чашки с похлебкой на большом блюде принесла.

— Не знал, ваше преосвященство... Лютые они. В соседнем селе, приехав ночью с человек тридцать, крестьянина, донесшего воеводе на них, Якова Лаптева, мучили и жгли огнем и вымучили у него деньги и выскребли пожитки, а двор сожгли; да они ж похвалялись, что-де и впредь приедут в то село к крестьянину Семину... А Семин повесился у себя на воротах. Не дождался... Мужик исправный, богатый, старостой в церкви был...

— А как звать этих беглых людей? Знаешь ли?

Отец Панкратий умоляющим взглядом смотрел на епископа, не решаясь сказать.

— В Духовный приказ возьму. Пытать буду! — строго крикнул епископ.

Вылетела к столу попадья.

— Не мучайте нас! Не пытайте! У нас малые ребята! Десять душ... Не губите!

Пала ниц, заголосила, стучаясь лбом об пол. Питирим, не обращая на нее внимания, продолжал жечь взглядом попа, ожидал от него ответа. Тот вдруг склонился и на ухо Питириму прошептал:

— Стражники кремлевские Масейка и Назарка... И рабочие помещика Калмовского с Усты... Одного-то звать Климов, а другого — не припомню...

— Знаю. Садись за трапезу,— сказал Питирим.— Хозяйка, вставай. Будет. Вижу и сам, детьми не обижены.

Он хмуро улыбнулся:

— Дети — не оправдание. Служба дороже детей.

Попадья, отряхивая с колен пыль, торопливо встала и озабоченно крикнула мужу:

— Батюшка, хлеба нарежь!

Отец Панкратий метнулся в кухню, ударив по затылку попавшего ему под ноги малыша. Тот было в рев — мамаша зашикала, унесла его в соседнюю комнату.

— Нам, бывало, отец рот затыкал тряпкой. Этим отсек охоту к слезам, — сказал Питирим правоучительно, оглядывая с видимой скукой детвору.

Варсонофий услужливо захихикал:

— Истинная правда, ваше преосвященство. Мне тоже закрывали уста тряпием, дивно помогало в младенческих letech...

Питирим, улыбнувшись, покосился в его сторону:

— Того ради в старости ты стал многоречив и боек.

Старец притих, глядя сконфуженно в пустую миску. Отец Панкратий поднялся, поднялась и вся его семья, а с ними и Варсонофий. По очереди подошли к епископу.

— Благослови, боговенчаный владыко! — склонил голову отец Панкратий.

Питирим встал, с силой отодвинул скамью, оглядел всех и обратил глаза к иконам. Помолился.

Затем обернулся к столу и рывком перекрестил сначала чаши с похлебкой, а потом всех присутствующих. Отец Панкратий постоял, постоял, согнувшись, и, не дождавшись отдельного для себя благословения, выпрямился, смиренно потупил очи.

Епископ сел за стол. Сели и остальные. И протянули было к мискам ложки, но Питирим остановил:

— Мой обычай выбирать себе чашу с пищей по своему смотрению. Хозяйка, возьми мою чашу, а твою давай мне...

Отец Панкратий с преувеличенной готовностью засуетился. У Варсонофия глаза забежали. Попадья в недоумении отодвинула свою чашу епископу, а его взяла себе. После этого принялись за остывшую похлебку; дети пищали в углу, звали мать. Питирим ел поспешно, не глядя ни на кого, кончил раньше всех и сказал среди общего молчания:

— Раскольщики брынские, поморские и иные не верят обращению в православие керженских скитников... и иных

людей древнего благочестия,— и указав рукою на Варсонофия.— Вот он перед тобою, вождь скитожителей керженских. Царю едет свидетельствовать отречение от страннических и иных ересей...

Варсонофий жалко улыбнулся.

— Требоисправление и тонкое слово вразумительное мудрого владыки открыли нам свет истины...

Отец Панкратий провел рукой по своей пышной шевелюре и сладчайшим голосом, совершенно неподходящим при его солидности, сообщил:

— Злые духи свергнуты во мне владыкою уже будет тому как пять лет, и ни разу они не оживали в душе моей, хоть и был я искушаем людьми не однажды.

К отцу Панкратию в дом пытались заглянуть шабры, любопытствовали, увидев возок, подъехавший к поповскому дому, но Питирим не велел никого принимать. Шабры лезли к ямщику, поившему на дворе лошадей,— ямщик отмалчивался, точно и сам в рот воды набрал. От всего этого любопытных число стало возрастать и самая степень любопытства углубилась. Епископ видел в окно нарастающую на улице толпу и хмурился.

— Что за народ?— подозрительно спросил он Панкратия.

— Здешние... Сельские...

— Никто не должен знать, что еду я... Если узнают, берегись тогда. Не пощажу.

Отец Панкратий крикнул жене:

— Детей не пускай на волю!

— Ладно,— откликнулась та плачущим голосом.

— Стрелять умеешь?— спросил Питирим с усмешкой Варсонофия.

— Не приходилось.

Епископ рассмеялся.

— Эх ты, просвирия! А многие ли у вас из скитников умеют стрелять?

— Почитай что никто.

— Дурные, пемысленные люди. Против царя идут, налогов платить не хотят, а чем защищаться вам?

— Словом господним такие люди защищаются.

Питирим хитро улыбнулся.

— И вот мы, едем, а на нас нападут разбойники,— защитят ли нас слово господне? Говори правду, не врй.

— Не знаю,— совсем опешив, ответил Варсонофий.

— А думал ли ты, что значит: «Поднявший меч от меча и погибнет»?

— Скучность разума не позволила.

— А это значит, что и у той и у другой стороны в руках меча должны быть... Плохо вы понимаете святое писание, и от сего скиты ваши погибли. Самый мудрый у вас и опасный был «лесной патриарх», Авраамий, но и он ныне в цепях и отправлен мною за свой ум в Преображенский приказ...

Перед вечером епископ и Варсонофий отправились дальше. Провожать себя Птирим никому не позволил. В сани уселись во дворе. Закрыли повозку так, чтобы не было видно, кто сидит в ней, и стрелой помчались по дороге за околицей дальше, вон из села. Только снег засверкал.

Дорогой сказал Птирим Варсонофию:

— Знаю я всех людей. И этого попа знаю. Лучше впасть в когти воронов, нежели в руки льстецов... Те пожирают мертвых, а эти живых... Вот почему я и не остался у него почевать.

После отъезда Птирима попадья вымыла пол, свечку перед иконой запалила, прошептав:

— Напусти, господи, на епископа волчью стаю, дабы косточки его они все обгрызли, и сердце его злобное дикие свиньи зубами по кусочкам растерзали бы!

Детишек перед иконостасом на колени поставила, чтобы молились и они о том же. Поп слушал и молчал. Он думал, что теперь ему будет, если разбойники узнают, что у него Птирим останавливался и что он об этом никому не сказал. А такой приказ из леса был: Климов, беглый раб Калмовского, об этом именно и говорил ему, отцу Панкратию: сообщи, мол, нам, когда поедет...

«Не миновать сосны!» — трясся от страха Панкратий, глядя на свою семью, распластавшуюся перед иконами.

#### IV

Ржевский пал духом. Что за история? Ни один колодничий караван не дойдет до Москвы благополучно. Везде раскольникам помогают их скрытые друзья, раскольники же.

Два самых опасных колодника — «лесной патриарх» и юродивый Василий Пчелка — тоже сбежали по дороге



в Москву. Доложат, конечно, об этом царю, а что он подумает о нем, о Ржевском, и об его войске, если солдат нижегородских подкупают, напаивают, если солдаты его, нижегородские гвардейцы, заодно с колодниками, если колодники у них притворно умирают, как например, Василий Пчелка, а потом «воскресают» и убегают?.. Что скажет, когда узнает об этом, епископ Питирим? Ведь этих колодников он просил особенно крепко содержать под караулом, ибо направление их было дано на Преображенский приказ.

Даже его, Ржевского, приказные людишки над ним смеются. Это он сам заметил. Стороною он слышал, на посаде говорят: «Баба сгубит губернатора, не сносить ему головы». Намек был ясный. Все знали строптивый, непокорный, старобоярский характер губернаторши, жены Юрия Алексеевича.

Волинский, его помощник, старый хоюстяк, при разговоре о начальнике доставал табакерку из кармана и принимался усиленно нюхать табак, а понюхав, громко чихал, крутил зачем-то головой, лил слезы, ругался — и не поймешь: от табака это с ним или от упоминания о его начальнике, Юрии Алексеевиче.

Фильке рассказал о бегстве старца Авраамия и Василия Пчелки бургомистр Пушкинов, встретив его на улице. Ловко в Москве рогожские братцы обделали. Подкупили весь караул.

Да, времена изменились. С Филькой стали дружбу вести даже самые именитые гости нижегородские. Пушкинов качал головой, морщил лоб и вздыхал:

— Что-то теперь будет, коли Питирим узнает?!

Филька учтиво слушал и тоже морщил лоб, и тоже качал головою, и тоже вздыхал:

— Господь батюшка один ведает.

Больше — ни слова. Зря нечего болтать языком. Кто его знает, этого Пушкинова, а вдруг с целью разговор заводит, ради зависти к растущему богатству и уважению властями Фильки, а потом возьмет и донесет куда следует? Филька даже своей возлюбленной Степаниде и то не особенно теперь доверяет: «Баба — баба и есть».

Однако, придя домой, он серьезно, без выражения каких-либо чувств, рассказал ей о бегстве Василия Пчелки и «лесного патриарха». Раньше бы прыгала от радости, а теперь — куда тебе! Лицо сделала недовольное:

— Ты тут стараешься, куешь, а наши ротозеи их на волю спускают. Э-эх, если бы моя власть, я бы...

Степанида — ни то, ни се... Смотрит на Фильку, кисло морщится:

— Не надрывай сердца.

А на глазах — слезы.

«Не желал бы я быть бабой,— досадовал про себя Филька,— скушно!»

И спросил ее:

— Ты о чем?

— О своей былой невинной жизни.

— Ну, и какой же это ответ? Ей богу! Ты думай о будущей. Нечего тебе свою якобы невинность оплакивать!

Филька, махнув рукой, отрезал ломоть хлеба, намазал его икрой и давай с аппетитом жевать. Степанида посмотрела на него недружелюбно, а потом оделась и ушла.

«Никуда не денешься, матушка! Вся тут будешь! Шалишь, красотка, не уйдешь. Денежки-то у нас, а не у вас...» — прожевывая с трудом громадные куски ковриги, зло-радствовал Филька. Но все-таки встал и посмотрел ей вслед в окно. «Знаю я, куда ты пошла, не думай,— самодовольно улыбнулся он:— к ворожейке, судьбу гадать... Ну, и гадай, от этого меня не убудет! Придет «красная горка» — все одно женюсь на тебе, тогда...» Филька сжал кулак и стукнул им по столу, а потом рассмеялся: «Все мы люди, все мы человеки». И перешел к мыслям о своем новом заводе, принадлежавшем раньше Калмовскому и перевезенном ныне в Нижний.

Дела много... кого поставить в управители? Никого. На себя на одного можно только положиться. Хорошо бы Демида по этому делу натаскать, но не пойдет он. Староверство его заело. Да и поступит — не радость. Коситься станет, равным себя с хозяином считать, обижагься начнет, завидовать, упрекать — нет, неподходяще! «Своих» не надо. Что, например, Демид? Только честность одна у него. Его не побьешь и не обругаешь... Нет, нег, не надо! Лучше пускай что и утаит приказчик от глаз хозяина, и наживет, лишь бы покорный был, лишь бы можно было его наказать, как сукина сына, в случае провинности и помиловать, обласкать, яко голубя, когда то требуется... Надо, чтобы и ему было хорошо, и хозяин бы богател. Ни тот, ни другой чтобы в убытке не оставался, и совесть чтобы у обоих была спокойна. Хитрое дело —

быть промышленником или купцом, особенно, если хочешь, чтобы тебя, к тому же, все почитали: и власти и народ...

Кто-то пустил слух, что цены хотят одни установить на изделия у всех промышленников и торговцев, но дело это спорное и неприемлемое: имя одно товару, а не одна доброта, иной товар лучше, а иной поплоче... Нельзя равнять. А тем более, лучше его, Фильки, никто топоров, пил и всякого инструмента не обжигает и не выковывает. Мыслимое ли дело ему равняться с Пашкой Прокофьевым, кунавинским кузнецом-заводчиком? Да и самого немца Штейна он давно обогнал в литье и ковке. Все это знают. Мыслимое ли дело его равнять и с немцем Штейном? Никак нельзя. Не угнаться немцу за филькиной работой. Зря государь-батюшка немцев балует. Не следует.

Весело засмеялся Филька.

— Собственно, давно бы надо было всех иноземных купцов выгнать в шею из русского царства и гнать их до самого моря-окияна, а пригнав, утопить в нем до смерти, чтобы и следу их не осталось. Своих купцов много, девать некуда. Целые посады только торговлей и занимаются, а особенно Нижний-Нов-Град. Куда тут еще иноземцев?

Но как ни была занята его голова мыслями о торговле, колодничьи побегы все же не давали ему покоя. Много ли ума надо, чтобы понять, какая угроза может произойти от этих побегов его, филькину благополучию, а может быть даже и жизни? «Давно бы я выгнал в шею Ржевского и Волынского из Нижнего. Один епископ — человек надежный. Один он заботится о счастье купеческого сословия. И то сказать: дворяне никогда не поймут купца и ремесленника; как говорится, «от бобра — бобренок, от свиньи — поросенок»... Так оно и идет. А епископ — из мужиков... Кому ближе-то он?»

И Филька возгордился в душе, что Питирим ему ближе, чем дворянам.

«Отец мой был чулок, мать — тряпица. Зато я теперь — птица. А чин дворянский — чепуха. Что и в титуле, когда нет в шкатуле?! — самодовольно облизывался Филька. — Питирим покажет им, как колодников упускать, он им...»

В окно кто-то постучал, и совсем некстати. Филька был очень занят. Он писал нижегородскому бургомистру о том, чтобы посадский человек Яков Ларионов отдал двух своих сыновей ему, Филиппу Павловичу Рыхлому, «в зажив долгов» сроком на пять лет, прикрепив их к его кузнице в Гордеевке, за Окой.

Прикрепление не только крестьян, но и посадских людей за долги, и не только к фабрикам и заводам, но и к домовладельцам и к мелким хозяйчикам, вошло в обычай в Нижнем-Ново-Граде, и бывали случаи, когда промышленники, купцы закабалили посадского обедневшего человека на многие годы, отрывая его от общины, обращая его в раба, а в некоторых случаях доводили его и до полного отрыва от посадского состояния. А потерять посадскому человеку свой чин — значило стать именно рабом, даровою рабочей силой. Человек такой становился бесправным. Он уже не являлся членом тяглой торгово-промышленной общины, и всякий промысел ему запрещался. Ни в лавках, ни в погребах не полагалось ему сидеть, а также ни торговать и варниц и кабаков не откупать. Торговые и промышленные предприятия силою отбирались от него и продавались исправным, зажиточным посадским людям. Человека сводили на нет безо всякой жалости. «Торг—святое дело. Дружбы не знает. В торгу друг—кто деньги платит. А сорвался, не способен платить,—со счетов долой. Не проси милости».

Таков обычай. И Филька на днях взял за долги бортный участок (пчелиная пасека) у Якова Ларионова, а долги все же этим не покрыл. Вот и решил представить челобитную бургомистру об отрыве от семьи «в зажив» сыновей старика Ларионова... Оба парня—здоровые, крепкие, умные и могут всякую трудную работу вынести, как-то: дробление руды, литье и ковку. «Одного pošлю на Гордеевский завод,—думал Филька,—другого возьму в кузницу». А вдруг бургомистр откажет? Впрочем, Пушкинов на это не решится. Побайвается и он Фильки. Да и власть его не поддержит за это. Такие случаи уже были. Питер «зажив» поощряет.

Филька наметил принести свое челобитие о сынах Ларионовых так, чтобы прежде времени никто ничего и не знал. Ларионов-то, ведь, тоже раскольник и тоже —

беспоповщинского согласия. Стоит ли поднимать шум? Вот почему он даже не хотел, чтобы об этом знала и Степанида, и отпустил ее с миром к соседям на посиделки.

Опять стук в окно. «Кого домовый там несет не в добрый час?—заволновался Филька.—Чтобы ему пусто было... На дворе ночь, темень, хоть глаза выколи, да стужа лютая, а его, прощальгу, несет нелегкая.. И что за люди?! Уж не из скитов ли кто, помилуй господи?»

Филька убрал поскорее свои бумаги в ящик и вышел в сени; окликнул нежданного гостя.

— Да отворяй... чего ты? Не бойсь! Свой!—услышал он сдержанный голос с воли.

— Кто такой свой?—сердито окликнул Филька.

— Софрон...

Меньше всего ожидал Филька такого гостя. Ой, ой! Затрясся от страха: к лицу ли ему теперь скрывать у себя воров и злодеев, когда по цареву приказу всех скрывающих у себя воров надлежит казнить колесованием, а имущество их отбирать в казну? Такая же казнь ведь ожидает и его, Фильку, если узнает власть о том, какие гости его навещают. Похолодевшей рукой он отодвинул задвижку и открыл дверь.

— Переночевать пусти... одну ночь,—прошентал Софрон, входя в сени.

— Милости просим, брат... Милости...

Филька пропустил в горницу Софрона и снова накрепко запер дверь. А когда вошел в избу, то не узнал Софрона: на скамье, сбросив рваную шубу, сидел громадный дядя с русой бородой, волосатый, в рясе чернеца. Да он ли это? Конечно, он, только бородатый стал.

— Что? Или не узнал?—засмеялся чернец.

— Да... бороды-то тогда не было...

— Отросла на вольном воздухе... Не долго.

— А ряса-то зачем?

— Чтобы не узнали... Вот, видишь, ты и то не узнаешь. А другие и подавно...

— Да и верно, я что-то не могу признать. Софроном назвался, а не похож... Не было бы обмана... Иди-ка лучше, добрый человек, от меня... Не вводи в соблазн,—начал хитрить Филька.—Софрона-то, батюшку, я бы как брата родного, встретил, за него бы и жизнь положил и свою душу, а тебя впервые вижу и не хочу тебя, чтобы ты тут был у меня в доме. Уходи! А то сейчас десятского позову...

— Да господь с тобой, Филипп! Это я и есть — Софрон.

— Да нет же, какой же ты такой Софрон? Побойся бога! Он, батюшка, все видит... его не обманешь! Зачем же, божий человек, изрыгаешь неправду своими святыми устами? Это нехорошо, грешно... Уходи!

Филька вцепился в рукав Софрона и стал умоляюще просить:

— Уходи, божий человек, уходи, не вводи меня во искушение... не заставляй тревогу в слободе поднимать!.

— Филипп! — выдернул свой рукав из рук Фильки Софрон. — Не рехнулся ли ты? Да разве не видишь, что это я, Софрон, а не кто другой?

— Да не вижу я этого. Лопни глаза, не вижу! Говорю тебе — уйди, не томи меня... Не поминай всею война светлого Софрона. У меня и без того голова мутиться стала. Мать родную не узнаю... Не губи, а то я зарежусь... Где мой нож?! — Он стал метаться с блуждающим взглядом по горнице, сшибая скамьи по дороге. Софрон схватил его, Филька стал диким голосом кричать...

— Филипп, да ты что, ума рехнулся?! — зажал ему рот рукой Софрон.

В это время в наружную дверь кто-то забарабанил. Филька безумно (как сумел) вытаращил глаза.

— Нет, я тебя не пушу, — сказал Софрон, усадив его в угол: — я сам отворю.

— Нет, я! — рванулся Филька.

— Нет... нет... сиди!

— Да как же мне сидеть, раз на меня напал какой-то разбойник, душегуб... братцы, погибаю!!!

И заплакал.

Сильные удары в дверь повторились, потом посыпалась дробь в стену. Софрон быстро выбежал в сени. Филька ему вслед подумал: «Ишь ты, в моем доме распоряжается, как у себя в берлоге»... И стал кусать губы он от досады и страха. Зачем принесло разбойничьего атамана к нему? «Мало ли людей, которым не на плахе, так с голода помирать? Шел бы к ним. А то все норовят ко мне да ко мне... Не архиерейский же я зять — с меня нечего взять... А лезут. Хоть под небеса летай, и там найдут, — что это я уж им так пришлось по нраву?»

Пока он размышлял, сидя в углу за столом, Софрон отпер, впустил во двор Степаниду. Он назвал себя.

Степанида крепко обняла его в темноте и поцеловала. От нее веяло теплом и хорошо пахло.

— Увези меня! — прошептала она.

— Зачем?

— Не могу я его видеть! Разлюбила...

— Что так?

— Скушно!

— Он ума не лишился?

— Еще хитрее аспид стал, чем, бывало, прежде. Не верь ему. Он не тот, что был. Мне страшно, как будем жить дальше... Сума переметная он!

Однако Фильке надоело сидеть и ждать Софрона. Встал и подозрительно заглянул из двери во двор:

— Милый, куда же ты запропал? — крикнул Филька в темноту, смягчившись.

— Иду! Иду!

Софрон и Степанида вошли в горницу.

— Софрон! — воскликнула Степанида, взглянув на гостя.

— Я самый! Здравствуй, здравствуй...

— Какой же это Софрон?! — в отчаянии попытался продолжать свою игру Филька, но Степанида оттолкнула его так, что он брякнулся на скамью.

— Бude притворяться! — закричала она на него. — Я с первого взгляда узнала, что это Софрон. Протри зенки!

Напрасно ей Филька делал какие-то знаки руками и глазами, она твердо держалась своего. Фильке поневоле пришлось признать Софрона.

— А я-то, а я-то, дурак... господи! Чуть было не прогнал его... Вот простофиля, глупый человек! Что же ты, Софронушка, меня не остановил? Право! Ты уж на меня не обижайся... коли бы я знал... Дай я тебя поцелую... — И он обнял Софрона.

После этого, ворча на себя, пошел на улицу и закрыл деревянными щитами окно. В его отсутствие Степанида сказала Софрону с горящими от любви глазами:

— Ты — сильный, большой, люблю таких, а он... настоящий Филька! Зачем я тогда не осталась у тебя в ватге? Как я себя проклиная! Глупая я, неразумная!

Софрон молчал. Вернулся снова в горницу Филька.

— Ты чего же в Нижний пожаловал? — обратился он к Софрону.

— Выручать из монастыря овчинниковскую дочь... Елизавету...

Лидо Степаниды покрылось красными пятнами.

— Не атаманское это дело!— сказала она сухо, недовольно и покачала головой, глядя с укором в лицо Софрона. Сразу изменилась.

— Надо.

— Зачем?

— Замучают они ее...

— И пускай... Худую траву из поля вон. Не доноси на отца, да еще на человека древнего благочестия... Мы должны беречь друг друга, а ты, тем более, раскол принял... Одной дороги теперь должен с нами держаться... Изменять не след,— говорила Степанида.

Софрон с удивлением посмотрел на нее.

— Какая же эта измена есть, когда человека от гибели спасаем?

— А какого человека? Девку, предающую отца и тебя предавшую, и многих других ревнителей нашей веры... Может ли истинный раскольник защищать такую зазорную девку?

Слушал Филька свою Степаниду и диву давался: «Откуда появилось у этой глыбы такое извитие словес?» Откуда такая ярость у Степаниды в защите «ревнителей древнего благочестия?» Ведь не кто иной, как сама же она стала сбивать его не только с пути беспоповщинского вероучения, но и вообще сбивать с путей христианских и внушать неверие в бога и его мать и всех святых угодников, которые только были, есть и будут... Она говорила с насмешкой: «Захочу, и меня после смерти за святую почитут, — все в руках человеческих»...

И чудное дело: подметил Филька, что стало это с тех пор, как она у Питирима и у Нестерова в прачках пожила. Неужели стирка архиерейского и дворянского белья бабу от бога отвратила? А теперь... она сидит и со строгим лицом обличает Софрона в слабости и холодности его к богу и расколу.

Она начинала сердиться, встречая упорное сопротивление своим словам со стороны Софрона. Он — тоже. В его глазах было непоколебимое упрямство.

Так ничем у них спор и не кончился.

Степанида рассердилась на Софрона не на шутку, даже постели ему не стала стелить, и если бы не Филька, — как хочешь, так и спи: на голых досках, на голом полу. Софрон поблагодарил Фильку и лег молча, подложив под подушку пистоль.



Утром Софрон встал и, не простившись с хозяевами, ушел.

После его ухода Степанида стала на чем свет стоит ругать Фильку за то, что он оставил Софрона ночевать, а не прогнал его.

— Вот теперь так и жди — закуют и тебя самого в цепи и казнят. Разбойника в доме в своем укрываешь... Лишку добр ты! Нам никто добра не делает, а мы всем!

И пошла, и пошла.

Филька попробовал оправдываться, говоря, что Степанида сама так сделала, что он остался ночевать. Вчера он ее останавливал, а она не послушала. Забыла?! Он нарочно притворился, что не узнал Софрона.

Степанида всхлипнула. Но Филька теперь не особенно доверял ее слезам. Он много случаев имел убедиться в том, что для нее слезы — пустое дело. А Степанида плакала о том, что и на ватагу у нее надежды не стало... Одна она теперь. Всех своих возлюбленных растеряла, а Филька?.. Да разве его можно любить!.. Разве это мужчина?!

Молча оделся он и ушел подавать челобитную бургомистру Пушникову об уводе «в зажив» детей Ларионова. Вообще теперь он стал посамостоятельнее и не так, как прежде, ухаживал за Степанидой, особенно, когда она капризничала. За это она злилась на него еще больше, но, однако, стала и больше его слушать, и больше уважать его, и больше бояться.

Когда он ушел, сразу прекратились и слезы. Степанида села у окна, размышляя: почему у нее так тяжело на сердце и чего ей, собственно, нехватает?

И решила этот вопрос так, что Филька ее недостойн, что он не похож на других (перед Софроном — прямо сморчок какой-то!) и что он закабалился сам на веки вечные ради денег и хочет закабалить и ее... А ее тянет быть свободной, знать многих, а не одного только Фильку, и жить не ради одного богатства, а ради веселья и познания жизни. Вот почему и пришло ей в голову вчера, когда она обнимала Софрона, уйти вместе с ним в леса, на Волгу. И напрасно она не осталась тогда в ватаге, зря не послушалась доброго, сильного цыгана Сыча. Ей нужна свобода, она не хочет быть рабою Фильки.

Питириму не удалось обмануть скитников. На другой же день после отъезда его с Варсонофием об этом стало известно на Керженце. Опять всколыхнулось лесное царство. Из Нижнего, от купцов, неизвестно от каких именно, пришли деньги и письмо. А в том письме кто-то писал, чтобы в Питербурх без промедления отплатить вслед за Питиримом диакона Александра на те самые деньги; и чтобы диакон Александр рассказал царю Петру Алексеевичу, как Питирим его, государя, обманывает. Объявить прямо, что никакого согласия их, раскольников, с ответами епископа не было. И своей неправоты расколоучители не признавали. Догматы древнего благочестия они отстаивают по-прежнему. Ответы же, принятые на собрании в Пафнютееве, составлены самим же епископом. Варсонофий без всякого желания старцев и стариц для вида, обманно, вручил их епископу при всем народе, а запуганные Питиримом расколоучители не решились открыть народу питиримовский обман. Да и сделано это было так быстро, что расколоучители и опомниться не успели. Да и солдаты были рядом, вместе с губернатором.

Обо всем этом нужно было обязательно поведать царю, дабы знал он подлинную правду. А кто может честно, твердо и бесстрашно доложить ему? Конечно, он, диакон Александр.

Опять сошлись на взлесьи в Пафнютееве. Опять многолюдное собрание, и опять сообща выбирали человека, достойного быть керженским гонимым, но только теперь не к епископу, а к самому царю. И опять единогласно, точно сговорившись, назвали имя диакона Александра.

— Приносим тебе плач наш, богоуветливый учитель, ревностный древнего благочестия хранитель, наших грешных душ искупитель, славою вечною твоею восхищаемся и речью твоей утешаемся... Приими на себя венец скитохранителя, питиримовской пакости разоблачителя, открой царю очи на его забавы, на его лестные отравы.

Говорят и слезы льют, и в ноги кланяются. И как тогда, перед отъездом его в Нижний с вопросником к Питириму, так и теперь сказал спокойно и твердо диакон:

— За честь великую низко кланяюсь я всем вам, дорогие старцы, старицы, бельцы и миряне. Для людей,

любящих свободное богоугождение, согласно истинной веры, нет большего несчастья, как утрата свободы слова. И я не могу больше молчать понеже долго молчал, долго скрывал в себе свою скорбь. Нет сил у меня молчать дале. Приму на себя вновь венец терновый, а может быть, и жизни лишен буду, но скажу государю всю правду о Питириме и о нас, скитниках... Жизнь наша — яко трава. И лучше пускай скосят ее, чем сохннуть ей в неправде, в обмане. Обнажу перед государем ложь и коварство льстивого властолюбца... гнусного богопротивника, божьего врага, не верующего в него, но виссон и митру носящего. Пускай лишит его царь иерейского чина! Не духовное лицо он, а палач.

В толпе послышались рыдания, группа странников заголосила стихирю: «Приидите, ублажим Иосифа, приснопа-а-а-мятного!» Заволновались бои омовды, стали тесниться к диакону, целовать его руки, одежду, как бы расставаясь с ним навсегда. Вместе с тем росли нестройным хором, бились в чаще сосен надрывные печальные стихиры. Диакон Александр отстранял скитников с улыбкой, но они скопом, неудержимо лезли к нему. На передние ряды наседали задние. Слезы и стихиры и выкрики женщин, растрепавших свои косы, сбросивших с себя платки, слились в один сплошной, дикий заунывный гул... Так гудят пчелы разоренного улья, изнывая от тоски по утраченному уюту.

Диакон утонул в десятках обхвативших его рук...

Небо серое, грузное давило снежные сосны. Каркали вороны и галки, стараясь заглушить плач раскольников. Диакон Александр хотел крикнуть что-то толпе, размахивал длинными руками, но ничего нельзя было разобрать... И видно стало только его охваченное решимостью бледное лицо, простертые к небу руки, судорожно сжимавшиеся пальцы... Словно он хотел достать небо, а рот будто бы шептал в мучительной жажде только одно:

— Правды! Правды!..

А вечером к его келье подкатил ямщик — свой же керженский раскольник, державший тайно на Ямской конный двор. Диакон не долго собирался и, распростившись со старцем Герасимом и другими старцами, в сумраке двинулся в путь...

Но только тронулся, толпа крестьян остановила коней, стала поперек дороги.

— Что вам надо, братцы? — спросил диакон.

— Передай царю! — крикнул один парень в малахее и неуклюжем медвежьем зипуне, сам похожий на медвежонка. — Передай! Измыслили мы жаловаться ему. В поборах за гривну из человека хотят душу вытянуть. А где многие тысячи погибают напрасно, того нисколько не смотрят, не внимают тому. В царевом лесу на Унге весь рубленый лес сгнил... Наши труды, пот наш — сгнил...

Другой — бородатый детина — развел на груди своей полы полушубка и, схватив руку диакона, сунул ее за пазуху.

— Голый я... Трогай! — всхлипывая, захрипел он. — Голый... Полушубок на теле один. Все царю заплатил, от убожества детей сморил... А он строит. Чего он строит? Тюрьмы нам строит. Могилы! Державу на наших телегах... — Заскрежетал зубами, отбросив руку диакона.

Снова малахай вылез вперед. Диакон увидел близко около своего лица злобные глаза парня.

— По тюрьмам и приказам людей служилых у царя множество! — кричал он. — И те люди, тюремные стражи и приказные миродеры, ничего же не делают, кроме нашего мучения, только сидят, лежат да хлеб наш едят, яко червие... Скажи царю — не дело так-то! Забыл он народ-то... О дворянах да купцах забота-то его... А народ забыл православный!

— А чего нас переписывают? — кричал высокий, сухой старик. — Скажи царю: докудова идет перепись и половины людей не останется!

Со всех сторон закричали хором:

— Не надо нас переписывать, будто поголовье скотское, не к добру это!

— Запашка уменьшается... Сил нет! — кричал седенький, скрюченный какою-то болезнью мужичонко.

— Лучше пускай убьют нас тут, нежели переписывать... Боимся мы пуще смерти царева клеймения!

Ямщик хлестнул лошадь. Мужики шархнулись по сторонам. Лошади помчали в лес. Позади долго еще слышался дикий, отчаянный галдеж, а потом стихло. Белели снежные сугробы по сторонам, и бежали навстречу прямым стволы сосен. В лес входила темная январская ночь...

## VII

Сошлись в полгоре над Окою под Благовещенским монастырем: Софрон, Демид и Григорий Никифоров (человек с серьгой) в землянке старого рыбака, приятеля монастырского сторожа. Рыбак встретил их радушно. Кваском угостил и лепешками.

— Соскучился без народа я,—говорил он, с любопытством разглядывая всех по очереди.

Было тесно в землянке, и Софрон сел, поджав под себя ноги,—ему нельзя было выпрямиться. Человек с серьгой и Демид рассказали Софрону, что Елизавета придет сюда же и что они с Демидом пойдут караулить их от облавы. И если заметят опасное что, явяся в землянку и уведомят. Софрон осмотрел пистоль, подбавил пороху. При виде оружия дед перекрестился. И не успели Демид и его спутник обсудить с Софроном, как будет дальше, как увезут они Елизавету из монастыря,—в землянку кто-то постучал. Человек с серьгой быстро выскочил, подхватив Демиду, на волю.

Софрон побледнел. Сердце его сжалось от боли, когда он увидел в монастырской одежде бледную, исхудавшую, с какими-то чужими, печальными глазами Елизавету. Она улыбнулась при виде Софрона. Только эта улыбка и напомнила ему прежнюю Елизавету. И вдруг Софрон почувствовал, что ему не о чем с ней говорить. Он никак не мог подобрать слов, чтобы начать разговор.

Рыбак пришел на выручку:

— Эй вы, ребятки! Чго же вы?! Дай-ка, я спою вам песенку...

И тихим, но веселым голосом запел. Глаза его в это время хитро смотрели на Елизавету.

Я сидела во тереме,  
Я низала себе шапочку,  
Я по алому по бархату.  
Где ни взялся ясен сокол,  
Он махнул правым крылышком,  
Он задел за тарелочку,  
Он задел за серебряную,  
Он просыпал крупен жемчуг  
До единого зернышка.

И, взяв Елизавету за руку, старик сказал:

— А ты не смущайся, что черничка. Тошно тому, кто

убит кого, а тошнее тому, кто не любит никого. Ну, ну, подожди к нему... Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла.

Добродушная болтовня старика заставила улыбнуться обоим: и Софрона и Елизавету. Софрон обнял ее и поцеловал.

— Вот давно бы так-то! — молвил старик. — А теперь я пойду-ка дровец наберу. Ей богу, холодно что-то!

— Старый друг лучше новых двух, — произнес дрогнувшим голосом Софрон, усаживая рядом с собой на скамью Елизавету после того, как старик вышел из землянки. — Хочу я тебя увезти отсюда и поселить под Васильсурском у одного моего друга, чувашина. Наша ватага рядом стоит в пещерах Чертова городища... будем видеться. Чувашин тот честный, хороший человек. Он тебя в обиду не даст, а весной увезу я тебя на низы, под Астрахань... Согласна ли?

Елизавета остановила на нем неподвижный, какой-то отсутствующий взгляд.

— Простил?!

— Да.

Софрон ждал ответа на свои слова.

— А может быть, тебе почему-либо и не хочется?

Елизавета молчала.

— Не спрашивай меня больше ни о чем.

Слезы покатались по ее щекам.

Она сидела и думала: что такое с ней? Куда уж делась прежняя горячая любовь к Софрону? Такой он чужой теперь! И почему он простил, если любит ее попрежнему? Он не должен бы прощать. Разве бы простил епископ, если бы с ним так поступили? Он бы убил. И может ли быть счастливая жизнь с разбойником? Что есть позорнее сего?

И сказала Софрону:

— А не буду ли я тебе в тягость? Не свяжу ли я тебя, не помешаю ли твоим товарищам?

— Нет.

И опять задумалась Елизавета: епископ прямо сказал ей, что она мешает ему, что ему надо вести государственные дела, а ей — молиться. Софрон — другой... И, вероятно, он много лучше, много добрее и честнее епископа, даже наверное так, но...

— Весной я наберу людей на низовьях Волги, храбрых, сильных... И с этим подкреплением подниму народ на Сергаче, в Арзамасе, на Ветлуге, на Керженце... Кругом

обложим Нижний. Борьба будет великая. Берегись тогда Питирим! Сожжем его на площади... перед кремлем... при всем народе...

В это время в землянку вбежал старичок-рыбак и испуганно прошептал:

— Бегите! Спасайтесь! Гвардейцы!

Софрон выбежал из землянки, держа в руке пистолет. Елизавета хотела было за ним, но не смогла — опустилась на скамью бледная, дрожащая.

В углу трясся от страха старичок-рыбак.

— Что такое?! Господи! — бормотал он. — Милые мои! Рывкнули мушкеты.

Елизавета, собравшись с силами, высунулась из землянки. Она увидела спускавшихся вниз по сугробам гвардейцев. На самом верху, недалеко от землянки, на холме, хитро сгорбившись, словно коршун, озабоченно вглядывался вниз человек с серьгой.

Елизавета окликнула его. Он не шелохнулся, хотя не мог не слышать ее оклика.

Там, куда был устремлен его взгляд, Елизавета увидела на снегу высокую фигуру Софрона. Он отступал к реке, прячась за попадавшимися по дороге кустарниками и деревьями. Гвардейцы, увязая в сугробах, падали без толку. Но вот Софрон укрылся за стволом громадного дерева. Гвардейцы замерли на месте.

Человек с серьгой, оглянувшись на Елизавету, вполголоса произнес:

— Гляди!

Солдаты рассыпались в обход Софрону. В чем дело? Неужели он не видит обхода? Чего он медлит?

Рванулся навстречу своим преследователям, выстрелил. Со всех сторон, словно пауки, карабкаясь по сугробам, полезли к нему гвардейцы. Началась схватка одного со многими. Елизавета видела, как Софрон вырвал ружье у приблизившегося к нему гвардейца и прикладом уложил его.

Человек с серьгой подскочил к ней.

— Пойдем отсюда... Скорее! Скорее!

— Куда? — удивилась она.

— Бежим! Я спасу тебя!

— Куда?!

— Место есть... Там не найдут.

— А Софрон?!

— Пропал. Забудь о нем.

Человек с серьгой взял ее за руку.

— Не теряй времени!

— Я хочу в кремль. Веди туда! — прошептала она, крепко сжав его руку, упираясь.

— Зачем?

— К епископу!

— Он в Питере. В Нижнем его нет.

— Нет?!

Елизавета побледнела. Выстрелы вывели ее из оцепенения. Софрона уже не было. Все люди слились в один громадный комок, застывший на снегу.

— Бежим! — рванул Елизавету за руку человек с серьгой. — Все кончено. Погиб.

— Ты кто? — спросила она его удивленно, оттолкнув от себя.

— Из ватаги я. Софрон приказал беречь тебя... Отвести к нам...

— Нет, — сказала Елизавета решительно. — К разбойникам — не хочу... Уйди от меня!

— Солдаты сейчас схватят и нас.

— Пускай! — вспыхнув от негодования, крикнула Елизавета. — Не трогай меня.

— Запрут в Духовный приказ к Питириму...

— Я буду рада тому. Лучше, нежели с ворами...

Внизу стихло. Гвардейцы волокли по снегу громадного недвижимого Софрона.

— Видишь? — указал вниз человек с серьгой.

Елизавета уловила торжествующую улыбку на его лице.

— Видишь? — повторил он.

Она отвернулась.

— Епископ знает, что делает, — холодно отозвалась она. И, немного помолчав, спросила:

— Скоро ли он вернется в Нижний?

— Не ведаю.

— Прощай. Я пойду в монастырь, к себе в келью.

В глазах ее было упрямство. Красные пятна на щеках выдавали волнение.

— А разбойникам своим скажи и всем ворам своим, что не велика честь быть у них княжною. И что епископа им никогда не победить, и я буду просить его, чтобы



он опять взял меня в кремль. Он может погубить, но он может и осчастливить... Я... я не хочу вас!

. . . . .

В полночь Фильку вызвали в тюрьму. Встретил его Волынский. Он потирал руки и приговаривал: «Потася крупный зверь!» На большом дворе острога, окруженном частоколом из свай, сверху заостренных, горели костры, а около них прыгали, разогревая ноги, гвардейцы. Головы их в треуголках казались громадными, тени от них ползли по освещенному снегу и частоколу, похожие на танцующих черепах и ящерыц.

Ночью острог, вообще, был единственным оживленным местом в Нижнем: сюда приводили вновь арестованных, здесь снаряжали партии колодников для отправки в Москву и в Сибирь, сменялись караулы и прочее. По ночам здесь было шумно и суетливо: кто шутил, смеялся, кто плакал, кто молился, кто проклинал...

Филька слышал, как здоровенный сержант, недавно доставивший партию колодников из Москвы для отправки в Сибирь, рассказывал:

— Дьявол, а не человек! Двенадцать с одним только что справились... Двоих убил и ранил четверых. Зело здоров. Куйте крепче его. Смотрите!

Волынский рассмеялся.

— Ну! Кузнец ты у нас тут первостепенный... Во всей России такого-то сыщешь ли?

Гвардейцы повернули лица, освещенные костром, в сторону Рыхлого. Стали с любопытством его рассматривать.

— И придется же тебе, братец, поработать. Ни одного жеребца, поди, такого не ковал, как этот парень...

— Ничего!— ободрил Волынский Фильку. — Мы его там уже скрутили, сатану. Не шелохнется...

Филька видел, как неотрывно следят за ним гвардейцы; он не мог выдержать их наивных, почти детских глаз, и заторопился к съезжей избе, куда приводили преступников.

Около избы толпились тюремные сторожа и гвардейцы, тут же басы и неуклюжий, в громадном тулупе, дьяк Иван.

— Идет! Идет!— пронесся шепот.

Филька понял, что речь идет о нем. Один из тюремщиков уже гремел цепями и инструментом. Это был помощник Фильки, хранитель его ковалевых принадлежно-

стей. Два солдата с факелами, отплевываясь и ворча что-то себе под нос, тронулись вперевалку впереди.

— Чего ты там запропастился? Спишь больно крепко! Так не гоже, брат. Государственное дело. А ты с бабой...

Поднялся смех. Тюремщик подшутил:

— С такой бабой сто годов проспишь...

Филька огрызнулся:

— Ладно уж тебе... В чужой двор вилами не указывай, коли у самого ничего нет...

И прошел, важно закинув голову, в съезжую избу.

— Ну, кто здесь?—сказал он грубо.—Указывай, кого ковать?

Солдаты посветили в решетчатое окно двери одного из каземетов.

— Вот он... Смотри.

Филька взглянул в окно и обмер: на полу сидел, прислонившись к стене, Софрон. Руки и ноги его были накрепко перетянуты веревками. Лицо в крови. Глаза горели, как у затравленного зверя; Фильке эти большие, неподвижные, среди кровавых пятен, глаза показались такими страшными, что он сразу ослаб и, обтирая на лбу холодный пот, опустился на скамью.

— Ну, ты чего же?—толкнул его в спину дьяк.

— Устал.

Отказаться было невозможно. За это Филька угодил бы сам в цепи. Его бы судили, как сообщника Софрона, а тем более — тот ночевал у него. А об этом могли узнать, а может быть, кто-нибудь уж и донес. И выходит: ковать надо без отговорок и, наоборот, со всем усердием, чтобы не было никаких подозрений на него, на Фильку, даже если бы и узнали, что Софрон ночевал у него. В случае чего, можно отговориться, что-де пустил ночевать под угрозой: убить, мол, грозился.

Филька в эту минуту вспомнил все свое прошлое, все свои грехи перед властью, и освобождение Софрона также... И чем больше он себя чувствовал виноватым перед властью, тем сильнее просыпалось в нем желание доказать начальству теперешнюю свою преданность власти, свою «любовь к царю»... Да, Филька, как и другие купцы, добыл у одного рисовальщика портрет Петра и повесил его у себя в горнице сегодня утром.

— «Не я, так другой... Все равно закуют голубчика,—думал Филька.—А может, то и к лучшему?»

И он стал готовить свой инструмент и выправлять цепи.

— Отворяй! — сказал он дьяку.

Дьяк загремел связкой ключей.

— Готов?

— Готов.

Загремел засов, скрипнули петли. Дверь медленно открылась. Дьяк пошел с факелом впереди. За ним Филька и двое гвардейцев с ружьями, а через несколько минут пришел и сам Воынский.

Софрон очнулся от своего полусна. Внимательно осмотрел вошедших. Увидев Фильку, слегка оживился.

Филька подмигнул ему: «Ладно, мол, сиди, не кажи вида, — потом опять освобожу!» Софрон понял его, насушился, будто Филька ему не знаком. Это облегчило кузнецу работу, и он у всех на глазах ковал Софрона с особенным усердием, а тот сидел спокойно, покорно подчиняясь Фильке, ловко клепавшему колодки и поручни цепей. Улучив минуту, он еще раз многозначительно подмигнул Софрону: «Ладно, мол, потерпи!». А потом попробовал цепи и колодки, взял у одного тюремщика факел, нагнул его к ногам Софрона и сказал:

— Гоже! Никуда не уйдет теперь! Крепко!

Воынский нагнулся, попробовал.

— М-да-дец! — сказал он.

Лицо Софрона было спокойно. Да и как не быть спокойным парню, когда его друг, спаситель, такой же, как и он, подневольный царский раб, да еще раскольник, кует его для виду, для того только, чтобы обмануть тюремщиков и чтобы потом снова его освободить! Не Филька ли кузнец дал ему свободу, выпустил его из Духовного приказа? Кто об этом знает, кроме близких им людей? А если бы тюремщики это знали, они заковали бы теперь и его, Фильку, в кандалы. Но это тайна, которая навеки останется между ними, — никто об этом не должен знать.

И когда Воынский, похлопав Фильку по плечу, сказал: «Спасибо!» — Софрону хотелось зло расхохотаться в лицо одуроченному помощнику губернатора, но он сдержался: не стоит делать никаких намеков... Наоборот, Софрон крикнул ему вслед:

— За что спасибо?! Человека заковал в железо, а ты хвалишь?! Э-эх, ты, палач!

Снова заперли каземат, и все вышли на волю. Холодно

было Фильке. Съезжая изба плохо отапливалась. Пахло сыростью и гарью. «А может, и от страха?!» Разобрать не мог Филька — отчего его трясет.

Волынский взял Фильку под руку, повел его по двору. Гвардейцев уже там не было, догорали костры. Хрипло таякали волкодавы. Падая редкий, теплый снежок, таяла на щеках и растекалась, как слезы.

— Атаман это... Разбойник с Суры... Бывший колодник Духовного приказа... Слыхал? А?

Волынский самодовольно захихикал. Филька молчал.

— Они его в Духовном-то приказе прозевали. Ушел он от них, а мы поймали... Понял? Награду получишь теперь от губернатора. У монастыря, над Окой, целое побоище произошло. Сильный он, диавол... Наши гвардейцы и сейчас опомниться не могут.

Затем, нагнувшись к уху Фильки, прошептал:

— Овчинникову девку... питиримовскую любовь хотел увезти... Об этом молчи. Мы об этом до приезда епископа ничего не хотим говорить. И ее опять водворили в монастырь. Пускай молится за атамана... А там епископ пускай с ней что хочет, то и делает.

Расставшись с Волынским и шествуя в раздумьи по пустынным улицам домой, Филька молился про себя:

— «Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте, едина в скорбех утеха, моя радость! Рцы душе моей: «твое есмь аз спасение, очищение грехов и в рай вселение!» Молился он усердно до самого дома и, войдя в горницу, почувствовал себя облегченным и лег снова в постель рядом со Степанидой, в твердом убеждении, что поступил он правильно и что если бы не стал ковать Софрона, то заковал бы его другой кузнец. Чем виноват он, что на земле такие порядки?

И спокойно заснул.

## VIII

Прибыл в Питербурх днакон Александр ночью. Ямщик высадил его на окраине. В темноте по снегам добрался он до того места на набережной, которое указал ему ямщик. Разыскал и Ямскую слободу и тот домик, куда нужно было сдать письмо московских старцев из Рогожской.

Тяжелым молчанием и хмурой настороженностью ба-шен и громадных домов и церквей встретил диакона ночной Питер. И понятно, что, попав в темную, уютную горницу «ревнителя древнего благочестия», маляра судостроительной верфи Григория Титова, диакон сразу стал бодрее и спокойнее, чем на воле.

Титов обнял диакона, расцеловал его по-братски. От него диакон узнал, что живет он в построенном казною доме, хотя властям и известно, что он раскольник. Ценят же его и уважают за то, что он «зело способно» корабли красит. За мастерство это он удостоился даже «милостивой благодарности» самого царя. Еще узнал диакон, что Титов поддерживает и с рогожскими, и с сибирскими, и с поморскими, и со стародубскими, и с керженскими раскольниками тесную и старинную дружбу. И многие через него также устроились на работу в Питере и «деньгу изрядно зашибают» теперь.

Диакон коленопреклоненно помолился иконам, а с ним заодно и Григорий Титов. Облобызались еще раз после молитвы. А потом диакон приступил к изложению дела, вручив Титову письмо рогожских старцев. Тот прочитал письмо и одобрительно мотнул головой. Он был широкоплеч, курчав, бородат и добродушен. Руки волосатые, большие, мохистые, не как у Александра — худые да белые.

— Тут они... Верно. Тут. И Питиримка, и Варсонофий... Макаров их принимал... Завтра пойдут к самому. Назначил...

— А мне бы как? Пускай умру, а надо, — смущенно и робко сказал диакон. — Старцы повелели.

— Дойдешь и ты. Повремени. Челюбитье готово?

— Готово. — Александр вынул из сумки грамоту.

Титов развернул и стал при свете огня читать:

«Вашему царскому пресветлому величеству доношение.

Нижегородский и алатырский епископ Питирим прислал к нам, скитожительствующим, последним богомольцам твоим, убогим старцам, 130 вопросов зл своею рукою, прося у нас на те вопросы ответов с великою угрозою. А приехав, он, епископ, из Нижнего со многими солдаты в Дрюковскую волость, село Пафнутьево, октября первого, повелел многих людей собрать и велел подписать им же составленные ответы. И мы, убогие, во узах

истомленные, убоявся от него, епископа, больших мук и ссылок, и поздрей рвания, и отдачи в каторжную работу, спорить ни о чем с ним не смели, и к такому невольному доношению своему руки приложили неправедно. И я, грешный, убоялся суда божия и вечных мук за приложение руки моей к неправому доношению, ныне пред господом богом приношу со слезами покаяние, а от вашего царского пресветлого величества через вопросы и ответы правдивого рассмотрения прошу. О сем доносит последний богомолец ваш старец диакон Александр. Февраля в 7-й день 1720 года.

Прочитав письмо, Титов вздохнул, обвел страдальческим взглядом Александра.

— Ты что?—спросил диакон, смутившись.

— На расспросе молчи обо мне. Не говори, что ночевал у меня... Даже под пыткой.

Александр спокойно спросил:

— Думаешь, пытать будут?

— Будут,—тихо ответил Титов, теребя бороду.— И умертвят. Это у нас повседневно и повсечасно.

Диакон Александр задумался. Несколько минут длилось молчание.

— О чем ты пишешь, государь знает,—неловко улыбулся Титов.— Открытые глаза открывать лишнее. Сын родной его обманывал, и он его обманом в каземат упрятал и умертвил. Подумай, братец, может ли царь удивляться обману? Он принимает сторону тех, кто его обманывает, елико сие на пользу его власти. Он сам учит обманывать своих помощников. Смотри, диакон, не ошибись! Не попади в дьявольские сети, коими опутано все сверху донизу, вся держава императорская..

Диакон слушал Титова с ребячески наивным выражением глаз. Он иначе все себе представлял там, в лесу. Постоянной его горячею мыслью было дойти самому до царя и раскрыть перед ним всю правду, доказав, как его обманывает епископ, как строит он новую церковь, губя невинных.

— Но это не все,—продолжал Титов.— Царь издал указ, чтобы никакого чина люди о делах, принадлежащих до расправы на то учрежденного правительства, отнюдь самому царю не подавали, а кто свыше указу дерзнет неосмотрительно сие учинить, то имеют быть наказаны: из знатных людей—лишением чина или имения, а другие,

из нижнего чина и подлые люди,—наказанием жестоким.

Оба задумались. После некоторого молчания Титов продолжал:

— Порча пошла. В Питербурхе люди древлего благочестия, едва выбьются из нужды, едва в гильдию или кумпанство войдут, заодно с царем и его вельможами теснят народ. Примером тому—олонецкие воители за правду. Братья Денисовы всем дорогу показали. Всех на дереву сторону перетянули. Начал Андрей с мельницы, а теперь—богатый-хлеботорговец... И не зря царь запретил делать розыски в Выговской пустыни и приказал не преследовать братьев Денисовых за раскол. Не они ли, вожди поморцев, десятичали и сотничали на постройке петровских повенецких заводов? Рабочие-селяне мерли, аки мухи... А выговские старцы богатели. Известно ли тебе?

Александр ничего не ответил. Он сидел, печально опустив голову и закрыв глаза, как будто думал о чем-то другом. Очнувшись, встрахнул космами, встал, высокий, упрямый.

— Пускай так, но я пойду во дворец к гордому фараону. Презираю я счастье и ласку, ибо никогда смерд в сем мире не получит оную... Пускай скорее буду подобен я больному льву, нежели трусливому зайцу. Пославших меня сюда необману. Пускай обманывают цари, а не мы...

Он возвысил голос, сжал кулаки, глаза его горели ненавистью, весь он дрожал от волнения.

Титов подскочил к нему, зажал ему рот рукой, съезжился от ужаса и прошептал:

— Молчи! Сгубишь нас обоих!

И, немного помолчав, со слезами на глазах, обнял диакона:

— Будут пытать—не выдавай меня.

Диакон посмотрел на него пристально.

— Язык будут рвать—не обмолвлюсь ни о ком. Не бойся!

Утро было сырое, туманное. Диакон всю ночь простоял на коленях перед иконой. Григорий Титов спал крепко, мирно похрапывая. Еще сильнее, чем прежде, Александру захотелось видеть царя и высказать ему все без утайки о Питириме и о всех истязаниях, которым за веру подвергает он керженских пустыножителей. Он хотел показать свои сломанные ребра, ямы на месте вырванного клещами мяса, глубокие рубцы на коже от бития

шелепами и язвы «от изжигания»... Он хотел рассказать царю о подкупах, нечестных подлогах, о зверствах и грабежах, творимых архиерейскими инквизиторами и фискалами во имя вымогательства признаний в несуществующих преступлениях и винах... О том бесправии и беззащитности, в которых находятся крестьяне и бедные посадские в Нижегородской епархии... И вот, дождавшись утра, он помолился, обнял Григория, поцеловал его и расстался с ним. Бодро, уверенно двинулся в город.

— Прощай, брат!—сказал он Титову, выходя на улицу.—Расскажи потом обо мне керженским... Прощай!

И прямой, твердой походкой зашагал по улице, исчезнув в морозном тумане...

## IX

Свершилось то, чего с любопытством, волнением и тревогой ждал старец Варсонофий: он—в приемной царя.

Просторная, светлая комната. В окно видно покрытую сугробами набережную Невы. Пахнет свежее выструганным дубом. Ковры на полу со львами и чудесными птицами. Смотрит царь Алексей Михайлович со стены большими удивленными глазами. Ресницы острые, редкие, ровно гребень.

Указывая на этот портрет, Питирим тихо рассказал Варсонофию, что портрет повешен со значением. Случаем к тому послужило следующее: на одном пиру царь разговаривал о своем отце, об его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал Никон. Один вельможа (Питирим умолчал, что это был Мусин-Пушкин) начал восхвалять Петра и унижать его отца. Царь-де Алексей сам мало что и делал, а больше-де Морозов с другими министрами. Царя раздосадовали рассуждения вельможи, и он встал из-за стола и сказал ему: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Этот многокрасочный, нарисованный голландским художником, величественный портрет царя Алексея со скипетром в одной и с державой в другой руке свидетельствовал теперь всем о том, как царь чтит и уважает память своего родителя и что царь считает себя продолжателем дела отца.

— «Не поэтому ли,—мелькнуло в голове Варсонофия,—



Питирим, уезжая, приказал Ржевскому скорее закончить постройкой в Нижнем церковь «святого Алексея»?

Питирим, действительно, выглядел так, будто он во дворце, а мысли его далеко-далеко, может быть и в Нижнем.

Ровно в восемь утра в приемный зал вышел кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Поздоровался с епископом. Принял его благословение.

— Государь просит.

У Варсонофия ноги ослабли, сердце затрепетало от волнения. Питирим направился к двери, оставив позади себя Макарова.

Вошли в просторное и неуютное помещение. На полках вдоль стен игрушечными мачтами, реями и парусами топорщились модели кораблей. На подоконниках теснились громадные банки с морскими водорослями и моллюсками. Заплаты пестрых порыжелых карт на стенах. А в углах на полу—груды разных инструментов, руды и звериных костей.

У Варсонофия зарябило в глазах. И вот среди хаоса выросла вдруг громадная широкоплечая фигура государя. Старец испуганно попятился, прячась за спиной Макарова.

О росте Петра, его силе, жестокости и хитрости много рассказов ходило в керженских лесах, но то, что старец увидел теперь собственными глазами, было много необыкновеннее всех описаний, которые ему пришлось слышать о Петре.

Питириму Петр показался сильно постаревшим противу прошлого года, когда он последний раз его видел; морщины покрыли все лицо, набухли серые мешки под глазами. Питирим слышал, что смерть царевича Алексея не прошла даром для царя—это так и было.

Петр грузно шагнул навстречу вошедшим, склонил громадную голову перед епископом. Приняв благословение, обнял Питирима, облобызал его.

— Хорошо! Похвально! Ждем, ждем тебя!—несколько охрипшим голосом приветствовал он епископа.

— Приехали... Вот и старец со мной!—улыбнулся Питирим, кивнув головой в сторону Варсонофия.

Петр повернулся к старцу.

— Как звать?

— Варсонофий... керженские скитожители послали до вашего светлого величества..

Сказал и упал к ногам царя.

Макаров потянул его за плечо, шепнув: «Вставай!».

— Слушай, добрый человек,—раздумывая о чем-то, заговорил Петр.—Один раскольник тут письмо в соборной нашей церкви подбросил. И был взят в Монастырский приказ, допрашиваем... А когда объявили ему огречение керженских жителей, он тому веры ять не хогел. Требуется свидания с некоторыми из учителей тех согласий. Требуется подтверждения ответов керженских жителей. Мною послано было письмо его преосвященству...—Петр сделал почтительное движение головой в сторону епископа.

Варсонофий вынул из кармана письмо и опять до самого пола поклонился царю:

— Тут оно; ваше пресветлое величество...

— А ответы ваши при тебе ли?

— И ответы тут же,—в дрожащей руке показал Варсонофий Петру другую бумагу.

— Согласны ли ответы с мыслию керженских жителей?—пытал глазами Петр.

— Согласны, ваше величество... Прежние наши ответы неправые есть и прочая, что в них написано, также. И приняли мы не зря у епископа Питирима книгу и его ответы на наши вопросы. Сполна мы признали неправоту свою. А ту книгу мы нынче читали и рассматриваем и дивуемся ее мудрости. Против доношения своего в правде мы не стоим и те неправые ответы наши не похваляем и в народе не размножаем.

Петр сел за стол, пригласил сесть и епископа. В тишине слышно было тяжелое, затрудненное простудой дыхание Петра. Неторопливо достал он из стола бумагу и попросил Питирима вслух ее прочитать. Сам положил ногу на ногу и закурил трубку.

Оказалось: доношение приехавшего в Петербург дикона Александра. На лице Питирима мелькнуло удивление. Но тотчас же спокойно, не меняясь в лице, как будто не про него и шла речь, он продолжал свое чтение и только при словах: «с яростью велел нас заковать в кандалы и держал за крепким караулом и угрожал ранами...» — сощурился, он улыбнулся.

Петр, пуская дым, прищуренными глазами покосился в его сторону.

Чтение кончилось. Царь поманил старца. Тот на носках приблизился к нему, глядя на него жалко, трусливо.

— Что скажешь, старче?—насмешливо спросил Петр.— Достоин ли епископ возводимой на него хулы? И доброй ли волею ему вручены вами ответы или под понуждением?

Варсонофий приложил руку к сердцу.

— Благочестивейший государь, ей-ей, диакон Александр, утаясь от всех товарищей своего скита, явился пред светлые очи вашего величества, опять хотя простой народ возмущать в противность вашему царскому величеству...

Питирим дополнил:

— ...и в непокорство святей церкви, поправ вселенских и поместных святых соборов клятвы, коими пред народом клялся.

Варсонофий, заминаясь и давясь от волнения, продолжал:

— Диакон Александр ложные и неправые ответы хотел вменить за правые, а посему считаю я таковое, как клятвопреступление и суда божия и царева поправление...

Во все время речи Варсонофия Петр не сводил с него глаз.

— Сколько тебе лет?—вдруг спросил он.

— Шестьдесят...

— Как давно в расколе?

— Сызмалу...

— Новую веру признал?

— Хочу признать...

— Диакону кто?

— Помощник.

— Отец Питирим, обратив его в православие, сажай в епархию. А ты, смотри, служи верой и честью. Помогай его преосвященству... Прилепись к церкви.

Варсонофий упал царю в ноги, прослезился.

— Встань!—недовольно поморщился Петр.— В твоём звании недостойно тыкаться в землю, хотя бы и перед государем... Не будь червием, но персоною.

Питирим с насмешливой улыбкой покачал головой. Царь дал знак Макарову:

— Веди!

Варсонофий побледнел. Питирим насторожился. В кабинет царя тихо, но бодро вошел диакон Александр. Поклонился царю, обвел взглядом Питирима и Варсонофия. Позади его стал Макаров.

— Имя!—строго спросил Петр.

— Александр.

— Родом?

— Посадский, пригорода Костромского, называемого Нерехта.

— Како попал в Питербурх?

— Добрые люди помогли...

— Как тех добрых людей имя, чьи они?—Петр насторожился.

Диакон ответил не сразу.

— В средних числах декабря на наемных подводах мужицких приехав в Москву, стал я на постоялом дворе в Рогожской слободе, а у кого—не знаю.

— Сам ли ты умыслил подать доношение, учен ли кем?

— Доношение умыслил написать сам собою, бояся суда божия и вечных мук за приложение руки своей к неправым ответам, поданным епископу Пигириму.

Диакон кивнул головою в сторону епископа.

— Советники кто?

— Нет и не было никого.

— У кого стал в нашем граде?

— Не ведаю. Ночевал на Ямской слободе, а у какого человека и у кого на дворе, не ведаю. До свету с того двора шшел в Питербурх...

— Когда и где писано доношение?

— Писано в Москве на постоялом дворе, а чернильница была своя, и бумага тоже, и перо тоже. А последние строки, от того места «о чем доносит и прочее», приписывал здесь же на улице, против вице-адмиральского дома, за дровами сидя; а способ, как надлежит подавать доношение, сказал мне калашник, да двое мужиков против двора твоего государева, а ту чернильницу бросил там, где сидел...

— Правду ли говоришь ты? За обман царя лишен будешь живота своего и казнен смертию. Переключь, кто помогал тебе, способствуя?..

— Не ведаю никого.

— Так ли? Клятву дать заставим.

— Клянусь!

Тут Петр обратился к Варсонофию.

— Говори.

Варсонофий откашлялся и, не глядя на диакона, тихо залепетал:

— Доношение сие отрицаю; писано оно без совета всего нашего скиту, не вем, по какому умыслу, а мы всем

скитом сему доношению не согласуемся и стоим в первом доношении, коим прямо и самую правду показали о неправых наших ответах на вопросы епископу Питирима:

— Были у него или нет умыслы о царе и государстве?

Варсонофий ответил не сразу, закашлялся, покраснел, пот градом с него покатился, но, посмотрев на Питирима, сказал:

— Диакон Александр, купно со Авраамием, «лесным патриархом» прозванным, тщился простой народ в противность и непокорство возмутить...

Тогда диакон Александр распахнул свою одежду и обнажил вырванный бок, синий, в кровоподтеках, обнажил раны там, где пытали за ребра, и сказал:

— Гляди, государь, се епископа утешение... се ответы, представленные тебе от него... се непокорство мужицкое...

Макаров подскочил к диакону, рванул рубаху, прикрыл его раны. Царь усмехнулся. Глаза его, дотоле тусклые, блеснули, почернели:

— Мужичкие ребра — не столь достойная внимания редкость, видел их я zelo много. Чего ради кажешь мне? Покажи обозрению нашему честность и преданность царю империи. Покажи смирение.

Александр молчал. Лицо его выражало упрямство.

— Так, — сказал Петр, задумавшись, а потом обратился к Макарову. — Ты вот что. Скажи нашему кавалеру... пускай идет. Теперь можно. Уведи только покуда и его, — указал он на Варсонофия.

— Идем.

Макаров и старцы удалились.

— Хочу, кроме всяческого поношения и осуждения, возможно добрый порядок соблюсти. Чинить наказание время есть, но есть время и для выгодного осмотра, — сказал Петр, облокотившись на стол.

Несколько минут длилось молчание.

Скрипнула дверь — и в кабинет царя вошел Макаров, а с ним человек с серьгой, одетый в придворный мундир и в парике.

Петр встрепенулся.

— Ну, вот, теперь послушаем тебя, Семеныч, — сказал он ласково, барабанив пальцами по столу. — Изволь докладывать, откинув свирепство и злобу, о диаконе Александре.

И, немного подумав, спросил:

— Может ли диакон, взятый нами в плен, переступить липию окаяинства, темноты, непокорства и иных раскольничьих воровских прелестей и стать к нам на службу... утвердиться в новой вере и повести за собою своих единоверцев?

Человек с серьгой отрицательно покачал головой.

— Нет. Диакона считают замерзлым недругом твоего величества и православной церкви...

— Но многие, кто вельможами моими теперь и преданными холопьями, были также недругами в некоторые времена...

Петр кивнул Питириму:

— Не правда ли, ваше преосвященство?

Питирим не смутился.

— Правда. И я оным был, но диакон никому увещеванию не поддается...

— А такие бывают наиболее преданными царю, обратившись в его слуг. Всякая буква может быть буквою нужною, како в молитве, тако и в хуле и бранном слове... Переставить ее можно и туда и сюда... В этом мудрость, чтобы буква, вырванная из похабства, послужила на пользу в добром слове. Ведите его сюда.

Макаров вышел, а через секунду явился с Александром и Варсонофием.

— Ну, вот, диакон,—сказал Петр, приветливо улыбаясь,—советовался я здесь с его преосвященством и своими помощниками и должен тебе сказать — не хочу я твоей гибели. Такие люди нам нужны. Ты — честен и нелицеприятен, я вижу это... Не допускай же новых пыток и позора. Будь выше. Оружие свое обрати против врагов государства и церкви. Служи царю свято и нерушимо... Восхотел ты прийти ко мне и оправдаться, но лучшим оправданием твоим будет раскаяние и отречение от раскольничьих прелестей. Бери пример с своего друга, — и он указал рукою на Варсонофия. Тот низко поклонился.

Александр молчал.

— Что же ты молчишь? Отвечай государю, — подтолкнул его Макаров.

Диакон нахмурился. Вытянулся, провел ладонью по лбу, как бы что-то обдумывая.

— Стыдно мне слушать речи такие! Стыдно и тебе, государь, говорить так! Я не верю! Обманом окружен

народ. И не ты ли объявлял, что царевич Алексей умер? А он жив... Не верю и я, что он умер, а если и умер, тогда и мне не для чего жить... Нет. Не откажусь я от истинной веры... Нет! Не хочу и я предавать народ...

Петр, не глядя на диакона, опустил голову на руку, упершись локтями в стол, и как бы про себя сказал:

— Народ?! Глупый, неразумный ты вождь слепых... Царевич Алексей умер, сделал несчастным меня, отца, и детей своих, но не народ. Народу его смерть убытка не принесла... А будущему государству — наипаче.

Петр передернулся, забарабанил пальцами по столу, поздри его раздувались.

— Уведи! — приказал он.

Макаров подхватил диакона под руку.

— Сдай Ушакову! — крикнул ему вслед Петр. И после ухода Александра угрюмо произнес:

— Жаль человека, таких немного осталось...

Взяв у Питирима доношение диакона, он написал: «Диакона пытать — к кому он сюда приехал и приставал и кого здесь знает раскольников потаенных, а по важным пыткам с добрым офицером и с солдатами от гвардии послать в Нижний и там казнить за его воровство, что мимо выборного старца воровски учинил».

Написав, Петр отдал доношение Питириму.

— Вручи Андрею Иванычу.

И указал Варсонофию на дверь:

— Выйди!

Оставшись наедине с царем, Питирим сказал:

— Мое мнение, всеконечно, в Нижний возить его не надо и не полезно весьма, лучше казнить здесь, понеже дорогою отбить его могут, да и будучи там, развращать может. Кандалы и казнь на народе вменить может себе, яко страдальцу, претерпевшему гонение...

Царь задумался.

— Нет, — после некоторого раздумья твердо решил он. — Мы сильный караул на дорогу дадим, а чтобы страдальцем его не сочли, ты мудрое слово свое на площади молвишь... На войне силу имеет железо, в церкви — слово. Казнь на глазах у друзей всегда пользу приносила. Оно испытано и не одним мной. Так и будет!

Затем Петр стал расспрашивать Питирима о Нижнем, о том, как идет сбор окладов. Выразил неудовольствие мягкостью Ржевского. Питирим ссылаясь на неучастие

в платеже палогов керженских жителей и «крыющихся там беглых людей».

Питирим указал на Нестерова, как на пособника раскольников. Достал из кармана несколько записок Нестерова к Олисову, а также и опросный лист многих свидетелей, в том числе и Степаниды. Рассказал, о чем болтает жена Нестерова на посаде с кумушками про царский двор, и многое другое.

— Нестеров и его жена — большая помеха в деле борьбы с расколом, — заключил Питирим.

— Судить обоих... — зевнул Петр. — И пытаться.

— А диакона Александра мертвое тело прошу разрешения сжечь, дабы могилы после него не осталось.

Петр в знак согласия кивнул головой. Затем быстро поднялся и похлопал епископа по плечу:

— Идем ко мне... Угостись с дороги.

Вечером в этот день, в соборе, в присутствии царя, Варсонофий перед лицом большого собрания выступил с ответами керженцев на имя епископа Питирима. Варсонофий клялся перед крестом и евангелием, что ответы его истинные, всеми скитами удостоверенные, и что многие керженские согласия решили перейти в православие и стать верными сынами царя, церкви и родины.

Собранные здесь из разных мест России вожак раскольниковых согласий с великим недоумением и скорбью слушали Варсонофия, и хотя каждый из них не доверял ему, все же возразить ему никто не решался.

Царь сидел на скамье, имея по правую руку судью Монастырского приказа Василия Ершова, по левую — епископа Питирима. Дьяк Дмитрий Протасьев записывал то, что говорил Варсонофий. Написал акт о согласии всех присутствующих расколоучителей считать ответы керженских старцев подлинными их ответами.

Тут же царь объявил всем, что вопросы раскольников и ответы епископа Питирима он повелел отпечатать в одной книге, названной «Пращицей». Книга эта и будет разослана по всем епархиям и раскольниковым местам Монастырским приказом.

Расколоучители поклонились царю низко до земли за «его милость», заявив о своей преданности.

Кое-кто дорогой все же выразил сомнение в правильности



ответов, а тем более слухи о приезде диакона Александра и об отречении его от керженских ответов пошли по всему городу. И многие расколоучители попали вместо своих скитов в тайный приказ Ушакова, в казематы под Петропавловской крепостью. Брали их на постоянных дворах и сажали в крепость ночью — незаметно.

Особенно рассердился царь на Иону — раскольника, подбросившего подметное письмо на патриаршее место. Ради него, Ионы, был вызван и Питирим с Варсонофием из Нижнего. Он же не признал и теперь ответы керженцев правильными и говорил то же, что и Александр, будто силою они вынуждены у раскольников.

Петр написал на его деле Ушакову: «Иону пытать до обращения или до смерти, ежели чего по розыску не явится».

Тем и кончилось свидание иногородних раскольников с Варсонофием.

## Х

К постоянному двору на окраине Мурома подъехало двое дровней. В передних везли накрытого тулупом закованного в кандалы Софрона, под конвоем сержанта Боголюбова и унтера, в задних — четырех вооруженных гвардейцев.

Сержант тер уши и прыгал по снегу, выскочив из саней. Он был высок, худ, оброс бородой; голос хриплый, жидковатый. Вместо треуголки напялил меховую шапку, как только отъехали от Нижнего. Кричал он на ямщика, чтобы тот поскорее вылезал из саней и убирался бы в сторону. Ямщик испуганно побросал вожжи на спины лошадей и вылез, получив вдогонку удар хлыстом. Сержант злился на то, что постоянный двор тесный, неудобный и находится на краю посада. Плевался, топал ногами.

Из полей и лесов уже поползли ледяные сумерки, смывая последние капли заката с куполов и крестов соседней церковушки.

— В избу его! — указал он гвардейцам на Софрона. — Всех вон оттуда! Мешать будут — колите! Именем царя: «слово и дело».

Гвардейцы вывели Софрона из саней. Большой, в косматом тулупе, неуклюжий, поднялся он, гремя цепями.

Солдаты попятились с ружьями наизготовку. Офицер вынул саблю. Стихло. Караул насторожился.

На пороге появился хозяин постоялого, а с ним несколько лапотников — гостей. Осторожно выйдя на волю с котомками, с мешками, низко поклонились сержанту и быстрехонько расползлись по закоулкам. Только пятки засверкали.

Впереди браво двинулся к избе сам сержант, за ним — Софрон, а позади — четыре гвардейца с ружьями. Шли медленно, крадучись за колодником. Офицер пятился задом, не сводя глаз с колодника и держа напряженно саблю наготове, когда подошли к лестнице.

После того как они скрылись в избе, кое-кто из выгнанных с постоялого лапотников появился снова, между ними — неизвестный странник. Он шепотом стал расспрашивать, почему их выгнали. Ответили, что привезен какой-то опасный колодник из Нижнего. Странник вздохнул, перекрестился на церковь и заторопился прочь. Поползли в разные стороны и лапотники от греха.

В избе Софрону приказано было лечь на полу. Кругом него на скамьях расселась стража. Сумрак окутал уже весь город. Выступали звезды. Где-то торопливо отрезвонил колокол. Мороз крепчал. В садах, увитых снежным пухом, утонули дома, как в раскинутых кругом воздушных белых сетях. Лаяли псы на задворках. Кое-где боязливо замигали ночники.

Сержант решил в Муроме переночевать, а утром двинуться дальше, к Москве. Под навесом, во дворе, возились ямщики, ворча и проклиная свою судьбу. Лошади фыркали, били копытами. А затем ямщики отправились в ночевку на соседний двор.

Тишина, грузная, мрачная обьяла окраину Мурома. Придавила. Даже лошади на дворе присмирели. Близилась ночь.

. . . . .

По тропинке от древнего Муромского монастыря через овраг к постоялому двору пробиралось десять человек пешеходов. Осторожно приблизились они к избе. Вошли в ворота, быстро впрягли лошадей и вывели их на зады, к дороге. Однако, как ни были осторожны они, из избы все же вышел сержант, окликнув:

— Эй, кто там?

— Ямщики!

— Пошто собрались?

— Поразмяться вышли, ноги затекли.

Сержант исчез в избе. А если бы он вышел во двор или закоулок, да с фонарем, увидел бы он таких же, как и сам, сержантов и таких же, как его, гвардейцев. И даже тюремного пристава нашел бы среди незваных ночных гостей. Разница та, что эти сержанты и гвардейцы были более подвижны и расторопны, более веселы и дружны между собою, чем Боголюбов и команда его, и то еще, что вооружены они были не по форме, а кто как попало. Самое же главное — цель их приезда сюда была совершенно другая, чем у нижегородского сержанта. Тот, словно пес, напыжился над колодником, готовый при всяком его движении наброситься на него и загрызть. Совсем другое сидело в голове у этих. Они думали о том, как бы им освободить Софрона, а вместо него обрядить в кандалы нижегородского сержанта.

«Тюремный пристав» командовал:

— Масейка с Назаркой, отойдите поодаль, вон туда, к амбару! Не пускайте в заулок. Евстифеев и Климов, айда со мной в избу! Стойте остальные у крыльца! Ты, Сыч, стереги лошадей. Греческий философ Пифагор сказал: «У друзей должно быть все общее, а дружба есть равенство»... Избегайте поспешности, дабы не ошибиться. Нам некуда торопиться, у нас есть время и сила. Все убытки свои мы возместить успеем. Чесалов с Филаткой, где вы? Да ямщиков кто ни то пускай разбудит. Я выманю начальника на крыльцо, а вы с ним обнимитесь... Идем.

«Тюремный пристав» влез на ступеньку, тихо постучал в дверь.

— Кто там? — грубо окликнули из-за двери.

— Тюремный пристав Ключников.

Дверь дрогнула, заскрипел засов.

— Начальника скорее!

Высунув голову в дверь, гвардеец прошептал:

— Спят...

— Буди! Скорее! Тюремный пристав из Нижнего приехал.

Послышалась возня в избе, тяжелые шаги, ругань. На крыльцо вышел Боголюбов.

— Кто ты есть, что рвешься ночью?

— Из посада прислан. С гвардейцами пришел. Разбойников ловим. На пути они сидят...

— Много вас?

— Десять.

— Начальник где?

— Недужится ему. Лежит в санях... просит вас...

— Однако ж... надо одеться.

— Одевайтесь.

Сержант ушел в избу, а через некоторое время снова вышел, захватил с собой саблю.

Но... недалеко он отошел от крыльца. «Тюремный пристав» его остановил.

— Солдаты! — крикнул он. — «Слово и дело!»

Из темноты выскочили «гвардейцы». Набросились на дыла-сержанта, повалили его, не успел он ахнуть, и стали вязать.

— Приказано тебя в кандалах вернуть в Нижний, в Духовный приказ. Из Питербурха указ получен. Строгий.

Связанного сержанта поволокли во двор. Положили его там на солому. Около него оставили двух караульных.

— Солдаты! — кричал в сенях «тюремный пристав» так, что сержант все слышал. — Колодника Софрона Андреева приказ мой, по повелению его величества государя императора, из железа вынуть... а ваше начальство нами связано будет, заковано и отвезено в Нижний... и подвергнуто нещадной пытке святым огненным калением.

— Так им, иродам, и надо! — одобрил чей-то сочный голос.

Слушал сержант, и как ему ни было больно после вязания его дюжими «гвардейцами» и как ни тяжело ему было вдруг лишиться свободы, однако его охватило страшное любопытство: что же за начальник такой вдруг объявился ночью, привел гвардейцев на постоянный двор, разбудил его, именем царя шутовски освобождает колодника, а его, сержанта, дворянина чистых кровей, верно-стью престолу отмеченного, кует в кандалы и отправляет обратно в Нижний, да еще в Духовный приказ? «А может быть, власть изменилась, раскольники захватили город и распоряжаются гвардией?» Сержант Боголюбов никогда не доверял солдатам, в его глазах они мало отличались от разбойников. И мужикам он не доверял, и купцам, и монахам. «Только на дворянство по-настоящему может опираться царь». Это известно. А тут дворянина же

арестовывают и куют в кандалы? Явное дело, в государстве произошло какое-то изменение... Тем паче — атамана разбойников, прославленного своими зверствами над дворянами, да и раскольщика, притом же, на волю отпускают. И кто же? Сами же гвардейцы, царевы же слуги, защитники престола и дворян... Что такое?!

Пока чистокровный дворянин размышлял о непонятности неожиданного превращения его из офицера в колодника, «тюремный пристав» продолжал действовать. При свете фонаря расковывали солдаты под его покрикивания Софрона. Да и сам колодник весьма помог этому, ибо зело опытен был он в отмыкании кандалных затворов.

— Теперь отдайте нам ваше оружие, — сказал новоявленный командир удивленным конвоирам колодника. — Ваш начальник уже сложил его. Вот его сабля...

«Тюремный пристав» показал саблю Боголюбова. Солдаты подчинились. Софрон взял у них одно из ружей. «Тюремный пристав» заговорил торжественно:

— Вас мы отпускаем на волю. Не служите больше царю... Не надо. Места у нас на Руси много, а привалиться бедняку негде. В тесноте люди живут, а простору кругом — что хощь...

Софрон дернул «тюремного пристава» за рукав:

— Будет. Идем! Надо дело доделывать!

Утром муромцы были разбужены тревожным набатом. Из дома в дом пошла весть: ночью разбойники напали на постоялый двор, опасного колодника освободили, связали и неизвестно куда увезли офицера, конвой разогнали, обезоружив. Ямщики с ними заодно, тоже скрылись. Ловко обстрипано дельце!

Правда, для обывателей города Муром не было особою новостью появление разбойничьей шайки — на то и дремучие муромские леса, чтобы там вора́м таиться, — однако, все же разговора было немало. А главное, объявились люди, которые уверяли, будто это и не разбойники даже, а такие же гвардейцы, как и конвой колодника. Пошли против власти. Какая-то старуха, жившая рядом с постоялым двором, сама видела.

«Уж не бунт ли, однако?!» — ёкало сердце у обывателей.

«Уж не сгонят ли Петра с престола?» — ворочались в головах грешные мысли. — «Послал бы господь!»

Питирим застрял в северной столице — всем это известно, проезжал он через Муром же, — без него сол-

даты и взбунтовались, это теперь не трудно. Как говорится: «поп в гости — черт на погосте». А уж известно чуть ли не с сотворения мира, что «без кота мышам масленица». Да и мыши-то эти самые изголодались, особо в лесах Позаволжья. Ой! Мыши! Если бы то правда была, все бы люди вам в ножки поклонились!

Мучаясь в догадках, крестились обыватели на иконы усердно, от всей души, с радостной надеждой на лучшее будущее...

## XI

Из Ивановской башни на Благовещенскую площадь перед кремлем под командой Волынского вели гвардейцы диакона Александра. В кремле — ни души. Вход обывателям закрыт.

Ночью напáдал снег. Теперь таял. Солдаты сапожищами месили грязь: «раз-два, раз-два!». Волынский шествовал во главе с громадной саблей наголо, неуклюжий, толстый, длинноусый. Оборачивался, покрикивал то на одного, то на другого гвардейца, косясь в сторону архиерейского дома.

Высокий и спокойный, босыми ногами шагал по снегу диакон. Отборные преображенские урядники шли у него с боков: желтые, бесстрастные, словно из дерева выдолбленные истуканы. В их кулаках — широкие лезвия палашей. Звенели ручные и ножные кандалы, а шею диакона сжимала железная рогатка. Острые ее зубья торчали во все стороны над плечами его, над спиной и над грудью.

Неистово бил в барабан пестрый какой-то, старательный барабанщик. Он закатил глаза к небу, ошеломленный сам тем грохотом, который наделал в утренней тишине.

Воронье всполошилось, побросав косматые гнезда в недрах берез. Взлетело, стараясь заглушить карканьем барабанный бой; нахохлившись, расселось на зубьях стены.

Волынский сердился: «Ржевский хитер, заболел. На меня все свалил. Не выдержал. Да выдержу ли и я-то эти казни египетские?»

А епископ все лютее становится. Как вернулся из Питера, так принялся за колодников. Ночью бес его разбирает. Бродит по тюрьмам, расспрашивает кандалников... И на кой черт ему понадобилось!

Злобно гаркнул Волынский на гвардейцев, с ненавистью оглядев диакона: «Туда тебе и дорога, сиволапый черт! Тоже в пророки полез!»

У окон маленьких деревянных домишек застыли бледные, испуганные лица кремлевских жителей. Заскулила собака у самых Дмитриевских ворот, подняв морду и задржав одно ухо кверху.

На площадь по всем улицам, по всем переулочкам и закоулочкам и снизу, с Рождественской набережной, по тропинкам среди кустарников, по нагорью, стекался народ, извещенный попами накануне о предстоящей казни диакона Александра.

Событие незаурядное. Давно уж нижегородские палачи не нюхали крови. Люди озабоченно торопились, обгоняя друг друга, чтобы протискаться заранее поближе к лобному месту. Среди любопытных было много попов и монахов. Будто муравьиную кучу, разворотила монастырские гнезда весть о приговоре к смерти диакона Александра.

Собрались смотреть на казнь и Филька со Степанидой. Нарядились по-праздничному. А почему? Степанида сказала — чтобы «народ уважал». А на кой рожон это, когда диакона сжигать будут? Филька высказал Степаниде свою мысль. Она посмотрела на него недовольно. «Чай, не тебя будут сжигать, а его...» Надула губы. Вот и пойми ее. А накануне слез реки пролила, жалеючи диакона.

К десяти часам утра вся громадная площадь перед кремлем, окаймленная маленькими бревенчатыми домиками и пустынными садами, была уже заполнена народом. Вдруг, словно по команде, всполошились нижегородские колокола. Мощно и торжественно загудели кремлевские соборы, им принялись поддакивать посадские церкви и монастыри. Люди стали креститься, стеснило дыхание у многих. Филька влез на дерево около таможенной избы и принялся следить за диаконом.

Проглянуло солнце из-за облаков. Сразу стало теплее, потекло с крыши. Порыжая ряса в клочьях на диаконе, его большие босые ноги в оковах, цепи и железные зубья рогатки — все это страшно ожило в лучах солнца. Он внимательно вглядывался в толпу, словно искал знакомых среди этих сотен людей, таращивших на него в любопытстве и страхе глаза. Фильке даже показалось, что диакон смотрит на него, смотрит так, будто хочет сказать: «Не ты ли ковал меня, не ты ли открыл мне путь к моему

последнему смертному часу?!» — Чуть с дерева не свалился Филька с перепуга. Но... нет! Диякон смотрит не на него. «Слава богу! — думал Филька. — Мало ли тут народа и кроме меня. Зачем ему на нас смотреть?! Мы такие же люди, как и другие... А ковал я по приказу, а не сам... Не я, так другой заковал бы. Законное дело!»

Совесть успокоилась.

Колокольный гул ширился, становился мощным, похожим на непрерывную пальбу пушек. Народ на площади заволновался.

Вылетели из Дмитровских ворот в зеленых камзолах конные стражники с плетями в руках, стали расчищать путь, хлестали плетями, наседали на толпу задми лошадей, а когда дорога к лобному месту была очищена, через Дмитровские ворота, из кремля, в митре и черном бархатном саккосе<sup>1</sup>, похожем на стихарь, но с более короткими рукавами, с посохом в левой руке и с крестом в правой, показался епископ. Сверх саккоса накинут был омофор<sup>2</sup> — длинный широкий бархатный плат, украшенный крестами. Один конец его с кистью спускался спереди, другой — с золотой же кистью — сзади. Одежда эта — знак того, что епископ должен заботиться о спасении заблуждающихся, «подобно милосердному пастырю, который отыскивает заблудшуюся овцу и несет ее на своих плечах». Омофор и обозначал овцу. А раскольники высмеивали это облачение и говорили: «У пастыря на плече не овца обыкновенно, а кнут». Омофор приравнивали к кнуту.

Несколько поодаль от епископа, в сверкающих стихарях, держа в правой поднятой руке светильники, а левой приподняв длинную ленту золотистого ораря, перекинутого через плечо, медленно шли по бокам его такие же рослые, как и епископ, четыре молодых иподьякона. Их обязанность — облачать епископа при народе, держать светильники, подавать их ему для осенения молящихся, вообще быть «наподобие апостолов у Христа».

Позади епископа, в почтительном отдалении, шествовали настоятели монастырей и церквей. В пестрых парчевых ризах, кто в бархатных камилавках на голове, кто с открытой головой, шли они нестройно, вразброд, переваливаясь

---

<sup>1</sup> Саккос — верхняя архиерейская одежда, с рукавами.

<sup>2</sup> Омофор — широкая лента, возлагаемая на архиерея поверх облачения.



**с ноги на ногу, и разногласо тянули: «Свя-атый бо-о-оже, свя-а-атый...кре-е-епкий...»**

Впереди всех, выпитив живот и прищутив глаза от солнца, тяжело ступал громадными кожаными ботами по грязи настоятель Печерского монастыря архимандрит Филарет. Он шел и думал с грустью, обращаясь мысленно к Питириму: «Чего ты, пророче святой, на стену лезешь и в гнев своем купаешься и от ярости на людей зубами скрежедешь? Почто бросаешь людей в огненный пламень, обращая их в углие и пепел? Красен мир сей и удобен; столько в нем санов превысочайших, чинов пречестных, украшений золотых, одежда роскошных; столько лиц прекрасных... — Филарет подумал в эту секунду о молодой чернишке Феодосии, обрабленной раскольнице, ныне обучаемой им православной догматике: — столько лиц прелюбезных, естественную красоту имеющих; дочери есть удобены, приукрашены, яко подобие церкви...»

Отец Никанор — игумен Благовещенского монастыря — шел позади Филарета, уткнувшись в землю. Он думал о том, что последние часы он игуменствует. Питирим накануне сего дня вызвал его и сказал: «Выгоню — крестьян распустил, прибыток от тебя не увеличился, а пошел книзу». Варсонофий следовал в хвосте у духовенства, перешептываясь с игуменьей Ненилой. Она кусала губу, чтобы не улыбнуться. Варсонофий говорил ей что-то особенное.

За иереями плыли на горбах Чернецов громадные иконы. Затем бесконечным лесом двинулись, лязгая медными подвесками, златотканые, сверкающие на солнце хоругви, в лентах и еловых венках. Их несли, тяжело шлепая сапогами по размокшему снегу, пыхтя и перекидываясь отдельными фразами, Пушников, Олисов, Калмовский, Овчинников и другие купцы гостинной сотни.

Епископ, благословляя крестом народ, медленно, в торжественном благочинии, поднялся на приготовленное для него возвышенное место, устланное коврами и оббитое зеленью еловых ветвей. Внизу, у основания, плотным кругом расположилось духовенство. Хоругви, при пении громадного хора монахов и монашенок, оцепляли и лобное место и кафедру епископа...

Александр с любопытством и легкой усмешкой на губах смотрел на эту церемонию.

Когда громадное кольцо хоругвей застыло в неподвижности, епископ приступил к богослужению. На помост,

откашливаясь, поднялся старичок, иеродиакон Гурий, маленький, тщедушный перед великаном Питиримом.

Хор чернецов на всю площадь рявкнул несколько раз «господи, помилуй!».

Молебен совершался «о ниспослании побед и успеха в борьбе с внешним и внутренним врагом его императорскому величеству великому государю и великому князю всея великия, малыя и белыя России, самодержцу Петру Алексеевичу...»

Многолетие «кликал» иеродиакон Гурий пискливо, жалко.

Толпа молилась, однако, старательно, ибо каждому человеку, здесь присутствующему, казалось, что на него в упор смотрят черные пронзительные глаза епископа. Многие даже становились на колени, промачивая ноги в той грязной каше, которая покрывала площадь и дороги. Отвешивали несчетное количество поклонов. Хор пел стройно и грустно. Многие богомольцы плакали.

Епископ во время богослужения благословлял крестом не только народ, но и диакона Александра, и даже начинал с него. Диакон смотрел в упор на Питирима, не шелохнувшись. А когда епископ после молебна стал говорить проповедь, он зевнул и отвернулся.

Проповедь Питирима дышала негодованием против людей старой веры, против «злехидных мятежников, поднимающих оружие на законную власть и тем радующих врагов внешних».

Епископ гремел:

— Что видим мы и у ревнителей старины? Зовутся староверами, кичатся древним благочестием, а икон многие же их согласия гнушаются, многоженство завели и безбрачие, и хотя Венеру и Диану в избе своей не ставят, а в обиход свой венерино истлевание ввели, губительным развратом и гнусною теменью губят и детей. Был и я раскольников и проклинаю детство свое, как и отрочество... Темень же сия глодала и меня и моих ближних... Ныне прозрел я и увидел свет истинный и пользу народную, ведущую к благосостоянию земному, не токмо небесному...

Затем, указав на диакона Александра, сказал он:

— Спросим сего диакона, вождя раскольников, ими почитаемого: отказывается ли он от своих бездельных, поперек жизни стоящих во зло народу догматов?

Диакон Александр отрицательно покачал головой, ответив громко:

— Нет! — и потом крикнул: — Царю — тело, богу — душа! «Богово — богами, цареву — царю!»

Вытянув шею из рогатки, потрясая руками в цепях, Александр обратился к толпе:

— В книге Паралипоменон о царе Озии и Сауле сказано: «Саул дарь, священническую власть восприняв, погуби царство». Почто же дарь наш, священническую власть от церкви отторгнув, в руки своя забирает? И делает орудием своим, чтоб объярмить народ?! Почто губите вы народ, прикрываясь именем господним?! Плач, слезы и стенания обездоленных вы приносите в дар тирану? Чем красуетесь вы? Чем боретесь вы с нами? Плахой! Гонители правды, не боюсь я вас! Не устрашите вы меня, вы — убогие холопы царя!

Питирим, также обращаясь к толпе, сильным голосом сказал:

— Слышите? Лишился рассудка раскольниковый вожак. Не знает он того, что цари христианские начальствуют над христианами не поелику христиане суть, но поелику человецы, коим образом могут начальствовать и над иудеями, и махометанами и над языки. Тем же властительство царей о телесах паче, нежели о душах человеческих. Духовная же власть наша свободная и о душах печется как самих же царей, так и рабов их... Цари подвизаются с врагами видимыми; духовная же власть — с невидимыми.

Глаза епископа горели торжеством, на губах появилась улыбка.

— Божие богу, цареву царю! — воскликнул и он, высоко подняв посох. — Да будет благословение на всех вас!

Хор монахов запел с воодушевлением по-гречески: «Кирие элейсон!» (Господи, помилуй!).

Епископ, повернувшись к Александру, продолжал настойчиво:

— Слезы покаяния тушат огонь. Вот и Петр апостол слезами утушил заготовленную для него геенну огненную и сподобился быть ключарем царства небесного. Так возможно быть и с ним, диаконом Александром, коли всенародно раскается.

По толпе прошло волнение. Поднялись крики, гул голосов, всхлипыванья. Из толпы раздались просьбы, направленные к диакону:

— Покайся! Покайся!

Диакон с растерянной улыбкой оглядывал волнующееся море голов.

Питирим снова крикнул:

— Каешься?!

Дьяк Иван подбежал к диакону Александру и стал ему что-то шептать.

Диакон отстранил его рукою и, снова покачав головой, с суровым выражением на лице крикнул:

— Пет!

Толпа охнула и замерла в глубоком молчаньи. Питирим, положив крест на аналой, сделал рукой знак дьяку Ивану. Громадная площадь, залитая весенним солнцем, наполнилась такою тишиною, что стало слышно чириканье воробьев в прутьяке около кремлевской стены.

Дьяк Иван развернул имевшийся у него в руках свиток и начал громко, хрипло читать:

— «По указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержца, за воровской обман его величества, по уложению 7157 года второй главы первой статьи, гласящей, буде кто каким умышлением учнет мыслити на государево заоренье злое дело и про то его злое дело, и про то его злое умышление кто известит, и по тому извету его умышление сыщется до пряма, что он на царское величество злое дело мыслил и делать хотел, и такого по сыску казнить смертию, и по его, великого государя, указу о том учинить вождю керженского раскола беспоповщинского согласия диакону Александру, как злому клятвoprеступнику, усечение главы и сожжение на огне его воровского тела...»

Смертный приговор диакон Александр выслушал спокойно, не изменившись в лице: как смотрел с любопытством на покрасневшего от натуги дьяка Ивана, пока тот читал, так с выражением этого же любопытства стал осматривать и площадь после прочтения приговора.

Площадь зашумела. Хоругви дрогнули, зазвенев. Люди с испуганными лицами стали тесниться ближе к лобному месту, словно обезумевшие, потерявшие волю над собой. Забились в припадках дикого воя кликуши. Кричали что-то мужские голоса. Конные стражники бросились было с плетнями на толпу, но Питирим остановил их. Прижались в страхе друг к другу и стоявшие у ног епископа иереи и все другие клирики.

В этом диком смятении и хаосе только Питирим и диакон Александр оставались спокойны. Они молча глядели друг на друга. Питирим — задумчиво сдвинув брови, а диакон Александр — с беззаботной, несколько насмешливой улыбкой. Потом подошел к нему палач и начал снимать с его шеи рогатку. Диакон облегченно вздохнул. Провел рукою по ранам на шее и под подбородком, поморщился от боли, растер окровавленные ладони.

Палач взял его под руку, как будто близкого себе друга, вежливо, ласково и подвел к плахе. Диакон, гремя цепями, покорно положил свою голову, закрыв как бы во сне глаза и закинув на затылок косичку.

Епископ Питирим высоко поднятой рукой с крестом размашисто благословил диакона, когда палач взялся за секиру...

Дикий вой и гул на площади разрастался.

Хор чернецов заголосил похоронную: «Молитву пролию ко господу...»

Палач перекрестился и медленно стал поднимать секиру, прицеливаясь к шее диакона...

. . . . .

А потом сняли цепи с обезглавленного тела и тут же на костре сожгли его. Питирим все время следил за работою палачей, следил внимательно и строго. Когда на черном тлеющем месте костра обнажились обуглившиеся останки диакона, епископ мановением посоха прекратил пень чернецов.

В глубокой тишине, наступившей вдруг, раздался ясный, четкий и громкий голос Питирима:

— Несть власти, еще не от бога, и сущи власти от бога поставлены суть. Ему же дань — дань, ему же урок — урок. Воздадите убо божие богowi, а кесарево кесареви. Противляйся власти противится закону божью, князь бо не туне меч носит... И не туне жезл сей я держу в руке своей... Да послужит и вам всем уроком мученик сей!

«Лесной патриарх», тайком появившийся в Нижнем, дернул за полу кафтана стоявшего рядом с ним Демида:

— Понял? И Александр говорил нам: «Богово — богowi, царево — царю». — Глаза его сверкали злостью и ехидством. — Так ему и надо! — прошипел он, кивнув в сторону места казни Александра. — Бог наградил его богатым даром воли и мужества, но пошло то никому

не на пользу! Его гибель — на руку епископу Итиримке... Обидно! Душно мне!

В чадном желтом воздухе, отравленном тяжелым запахом гари, вновь вздрогнули и задвигались золоченые хоругви. Диякон Гурий, размахивая кадилом, стал сходить с помоста, за ним, осеняя народ крестом, сошел и епископ. Площадь заволновалась. Снова врезались в толпу конные стражники. Барабанный бой гвардейцев смешался с протяжным ирмосом соединенных монастырских хоров. Ухнула пушка на кремлевской стене. Загремели колокола.

И среди этого грохота, звона и воя громадный, в сияющей на солнце митре, двинулся по расчищенной стражниками дороге с крестом в правой руке и посохом в левой епископ, направляясь к Дмитровским воротам. Насупленные и унылые, потускневшие какие-то, поползли за ним следом в своих широких неуклюжих ризах перомонахи, перен и дияконы во главе с архимандритом Филаретом, который незаметно то и дело брезгливо отплевывался.

Палач, между тем, заботливо уложил голову диякона Александра в принесенную монахом корзину, которую монах увязал в черный платок и быстро понес в кремль, в Духовный приказ. (Таково было распоряжение Итирима).

. . . . .

. Никто не пролил, вероятно, столько слез о кончине диякона Александра, сколько Степанида, а когда Филька, вернувшись домой с Благовещенской площади, сказал ей: «В писании сказано, что в терпении течет нам предстоящий подвиг, воздвигающий мученический венец, ведущий ко царству небесному», — она послала его к черту и даже хуже. Филька сразу позабыл, о чем говорилось дальше в священном писании, и отошел в сторону. Стал дожидаться, когда кончится плач Степаниды. Она зло на него оглянулась заплаканными глазами:

— Ты чего же уселся? А кто за тебя будет печку топить?

Вот тебе и раз! Всегда печку топчила сама, а теперь, по случаю казни диякона Александра, заставляет топить его, Фильку. Чудно! Нечего делать — помялся, помялся парень и пошел во двор за дровами. Степаниде только того и надо было. Она быстро утерла слезы, вскочила и давай одеваться.

Когда Филька вернулся с дровами, она уже любовалась на себя в зеркальце, поправляя платок, надела свою поддевку, сшитую по-мужскому, и спросила у Фильки десять рублей денег. Он удивился.

— Зачем тебе?

— Пойду бедных оделять...

Филька покачал головой, вздохнул, полез в сундук.

— Жадность твоя безобразна,—говорила Степанида, наблюдая за тем, как он считает серебряные монеты. — Уйду я от тебя, если ты не будешь помогать убогим. Прокляну я тебя навеки...

— Напрасно ты говоришь, Степанида. Вот бери десять рублей, а если мало, и еще могу прибавить пять. Попроси нищих, чтобы они помолились о царстве небесном для диакона Александра... и о нашем здравьи!

— Глупый ты!—сказала она и, хлопнув дверью, ушла. Филька начал усердно растапливать печь.

. . . . .

«Лесной патриарх» и Демид шли в Благовещенскую слободу и между собою тихо беседовали:

— Не верили мне!—ворчал Авраамий. — Перемешалось давно божье и кесарево. Вот Андрей Денисов, как и Питирим, сказал нам тогда: «Божье—божье, а цареве—цареве», и Александр тоже, а он казнен, а они цветут. Денисов разбогател. Хоть и раскольник, а в почести у царя. Народ не верит краснобаям. Вертеть словами враги народа умеют. Только слушай. А есть и глупцы, кои в угоду богачам болтают, не думая о том, какие это слова... какая польза из них беднякам. Бисером словес тираны со времен древнего Рима опутывают рабов, как хитрый ловец тонкою сетью сражает львов и прочих богатей. И выходит: кесарево — кесареви, богово — богови, а себе —ничего. Я отрекся от раскола, от бога. Правды хочу!

Демид слушал, и слезы текли по его щекам.

— Не хнычь. Нет хуже казни для народа, чем глупость нас самих... Под одной кровлей ласточка и коршун не могут жить. И в государстве оное же... Понял?

И шепотом сказал на ухо Демиду:— Иду на низы, восстания ждут там. И Софрон с нами... Восстание будет; пересохло все нутро у народа от жажды.. Скоро... Скоро...

Глаза его горели. Он показал Демиду здоровенный свой волосатый кулак.

— Отольются кошке мышкины слезы. Верь мне!

.....

Как ни тяжело было у посадских людей на душе после казни диакона, как ни страшно было видеть казнь, однако на улицах случилось что-то вроде гулянья. Молодежь неумоно гуторила, суетясь в толпе. Ребятишки весело сновали между взрослыми, оживленно перекликались, юля бедово... Сбитенщики торговали вовсю.

Купцы, расходясь по домам, степенно поглаживали бороды, останавливались, встретив знакомого же купца, заговаривали о близком половодье, о скорой навигации... В весеннем воздухе заливались скворцы.

Скрипели телеги съезжавшихся на базар крестьян напольной стороны. Лошади вязли в грязи вместе с санями и телегами, особенно на переезде через речку Ковалиху, мужики ругались, хлестали лошадей бичом; иногда, собравшись скопом, вытаскивали из слякоти телегу на себе... Уныло, по-великопостному, расплывался в воздухе колокольный гул, зовя богомольцев к службе. И неизменно шлепали сапогами по грязи обходившие город караулы солдат, смотревших на народ большим, растерянным взглядом, словно говорившим: «У нас головы, хотя и не рублены, но жизнь от нас отрублена; мы такие же люди, как и вы, не презирайте нас!»

Вице-губернатор Юрий Алексеевич, приняв доклад от Волынского о казни диакона Александра, поторопился опередить Питирима доношением на имя П. А. Толстого в сенат:

«... Старец Александр по его царского пресветлого величества именному указу в Нижнем при всенародном собрании казнен смертию: отсечена голова, а тело его сожжено марта 21 дня сего 1720 года. Покорный вам, моего милостивого государя слуга Юрий Ржевский».

Вернувшись с площади, епископ устроил у себя в покоях торжественную трапезу, пригласив приближенных к себе архимандритов, а также губернатора Ржевского и Волынского. На столах горели пятисвечники, воздух был пропитан благовониями. Всем подали по чарке вина, принесли рыбу, икру и другие блюда.



Перед началом трапезы Питирим поднялся и сказал:

— Помянем за упокой душу новопреставленного раба божия Александра...

И, обратившись к иконостасу, тихо, с чувством прочитал заупокойную молитву. Усаживаясь после этого за стол, объявил всем печально:

— Вот мой отец такой же был... Жаль таких...

И задумался. Все сидели, не шелохнувшись.

— Смотрел я на наших иереев на площади и видел головы пустые, души, не способные страдать; неученые, убогие пастыри! Толстеют и потеют в несмысленном богомолье. Не поняли они и диаконовского простоты и моей немощи... Глупцы!

Он замолчал, оглядывая всех выжидательно; в глазах его горело усмешливое, унижительное для присутствующих презрение.

Ни у кого не нашлось смелости смотреть ему в лицо и пошевеливаться, а не только слово молвить в защиту себя. Лицо епископа теперь выразило досаду.

После этого он поднял свою чарку и, сказав: «Приступим», быстро опрокинул ее в рот. Все немедленно последовали его примеру.

— В гонениях и в казнях и в бореньи с противниками церкви в сей день у нас начало. Вся епархия должна опое знать... и быть готова к более страшному и более прекрасному, каковому и бывает всякое новое дело.

Волынский обеими руками развел усы, покосился в сторону Ржевского; тот сидел, скромно потупив взор, как девица красная. Волынскому показалось это очень противным: «Ну и солдат!». Больше же всего сердился на Ржевского его помощник за то, что на казни не был, а сюда припер и прочеморию о казни в Питер усла, «яко это дело рук его». И болезнь куда-то его пропала.

Архимандриты и иеромонахи, осушив свои чарки, оглянулись на епископа и, увидав, что он ест рыбу, также принялись за рыбу и, увидав, что он стал есть икру, также перешли на икру.

— Вчера я видел в одном храме,—опять заговорил Питирим,—икону создания мира, и тамо изображено: кровать с подушками, а на ней лежащий бог, и написано на той иконе: «в седьмый день бог почил от дел своих». Я велел эту икону изрубить и сжечь. Еретическая она! Среди людей бог вечен в творениях своих... Он творит

суд и расправу над праведными и неправедными. Время наше лютое, восстающее на новое через заповедь Божию. Идут брани, идут одна на другую рати, строятся царства одни и рушатся другие, а бог лежит на постели и спит... Так ли это? Можно ли ему спать и не быть с нами вместе? Он должен разить врагов и устраивать царскую власть!

Все молчали. Один игумен Печерского монастыря почтительно пробасил:

— Истинно говоришь.

Остальные неловко переглянулись.

Перед окончанием трапезы епископ объявил всем игуменам монастырей, чтобы они доставили ему в Духовный приказ приходные и доходные и доимочные книги и ведомости сегодня же.

На этом и кончилась тризна по диаконе Александре.

Когда все разошлись, к епископу в покои вошел дьяк Иван и доложил, что внизу, в подвале, он запер голову диакона Александра, убранный в корзину.

Питирим распорядился отослать ее в Пафнутьево, в скит, с припиской: «Душа—богу, тело—царю».

## XII

Рано утром, верхом на вороном коне, в белом теплом подризнике, из кремля выехал Питирим.

Несколько позади его следовали верхами же пятеро монахов и дьяк Иван, а несколько поодаль—отряд конницы.

На улицах мертво. Где-то отдаленно зовет к утрени одинокий колокол, жалобно, монотонно, редкими ударами, по-великопостному. Кремлевские колокола молчат. На площади перед кремлем зашевелились в бараньих тулупах сторожа, низко кланяясь епископу. Лицо Питирима довольнее, торжествующее. Он привстал на стременах и с улыбкой оглядел свой отряд. Пошутил с дьяком Иваном. Тот подобострастно оскалил зубы. Драгуны таращат глаза, тянут за поводья коней, держа равнение. У всех у них в руках пики, а за спиной ружья. Монахи опустили глаза, неуклюже сутулясь, съезжая с седел. Бороды их разлохматились. Один дьяк Иван ловко справлялся с лошадей. Повернули прямо в Дворянскую слободу, мимо Поганого

пруда, лед на котором почернел, покрылся водою. Снег на талой земле выглядел серым, недолговечным... Холодок марговского утренника залезает под одежду, пробирает до дрожи.

На Дворянской улице, в полном парадном обмундировании, выехали на конях Ржевский и Волынский. Они весело отдали честь епископу и осадили около него коней. Поговорив тихо с Питиримом, Ржевский отъехал в сторону, скомандовал, чтобы десять солдат из задних рядов остались в патруле здесь для охраны господской слободы. Остальным подал команду повернуть в Почаинскую слободу.

. . . . .

Нестеров, кормивший на дворе кур и любовавшийся недавно присланным ему с Керженца громадным белым петухом, думал о том, что надо подобру-поздорову уезжать из Нижнего. «Не пришелся ко двору!» Жена его, Параскева Яковлевна, хворала. Всю ночь она не спала и все проклинала Нижний, здешний народ и, между прочим, мужа. Настроение у Нестерова было пакостное, и не без причины. Самое убийственное то, что к нему охладели купцы, на поддержку которых он больше всего возлагал надежды. Всем он задолжал, а еще не дают. Олисов даже прятаться от него стал. В чем дело? Где же их велеречивые обещания? Только теперь он почувствовал, что он один-одинешенек здесь и висит над самой пропастью, и не за что ему теперь ухватиться. Так и знай—скатишься в бездну. А жена ворчит на разные мелкие неудобства провинциальной жизни, на скуку, на отсутствие подходящего ей общества. «Дура, дура!—думал он с горечью, отгоняя чужого петуха, прибежавшего от соседей.—Намылят нам с тобою обоим шею, чует мое сердце, чует. Собьют с тебя, маркиза дерьмовая, питерский гонор, нанесут афронт, и ниоткуда тебе не будет спасенья, и дворянство помощи не окажет».

Вдруг всполошились псы. Стая воропья поднялась с мусорных куч за забором, совсем рядом фырканье лошадей. Нестеров прислушался: «голоса!». Кто-то идет. «Не они ли?»—мелькнуло в голове обер-ландрихтера. Над забором сверкнули пики.

Нестеров заторопился домой, а через минуту какую-нибудь, не больше, в дверь тихо постучали.

Нестеров окликнул: «Кто там?»

Ответили: «Губернатор». Отпер. Вошли Ржевский, Во-  
лынский и несколько солдат. Ржевский объявил Нестерову,  
что он арестован. Тотчас же в комнату вошел и епископ.  
Оглядев всех находившихся здесь, он сказал, чтобы все  
вышли, оставили их с Нестеровым наедине.

Питирим мягко взял Нестерова за руку:

— Я слышал, ты низко мужиков считаешь... Дворян-  
ством и знатностью кичишься? И даже ведомо мне: за-  
парывал ты рабов своих до смерти. Так ли?

— Кто набрехал это?—грубо выдернул руку Несте-  
ров.

— Самая близкая тебе душа!

— Какая?

— Жена твоя...

«Ах она, морская корова поганая!—обругал мыслен-  
но обер-ландрихтер свою жену.

— Ложь!—возмутился он.— Не может того быть!

— Другое свидетельство есть. Не отпирайся... Не вне-  
малешь ты математическому любопытству: како много дво-  
рян в златных одеждах и кое число крестьян и сермяжных  
рубищ? И могут ли дворянские прелюбезные дружества  
сравниться силами с тьмами тьмущими жителей деревень?  
— Не учить ли ты меня, преосвященный, хочешь?  
Научен я царем-батюшкой многим наукам в коллегиях  
западных. И нужды не имею я в учениях геральдической  
политики...

— Вот мужик!—с усмешкой ткнул себя в грудь Пити-  
рим.— Мужик, а закует тебя в кандалы, да еще по при-  
казанию царя, покровителя дворян же. Подумай об этом.  
Идет царство небесное некоею улицею во граде, а тебя  
там нет, на оной улице, и не будет. Не вина наша, что  
остался ты в адовой окраине... Государства и города не  
одинаковые бороздят улицы, и блажен, иже в час устрое-  
ния обрящет во граде и государстве место свое. И горе  
затерявшемуся без дороги, подобно морскому кораблю без  
магнитной указки! Воля царя—разжаловать тебя из дво-  
рян... Испей чашу холопьеву и ты до дна.

Питирим медленно подался задом и исчез в двери,  
а вслед за ним вошли драгуны и стали вязать руки Несте-  
рову.

Вечером Нестеров и его жена уже сидели в каземате  
Духовного приказа.

. . . . .

Филька ковал Стефана Абрамыча в кандалы, а в это время наверху, в Духовном приказе, Степаниду допрашивали судьи, назначенные епископом и вице-губернатором. Жонка, стреляя глазами в судей, давала ответы на все вопросы откровенно и весело...

— Было?

— Было.

— Долго?

— Покуда не приехала сама.

— По добру или насильством?

— По добру.

Монахи-судьи вздохнули о «заблудшей овце». А два пристава-судьи, сидевшие рядом с ними, недоверчиво косились в их сторону, облизывая усы. Степаниде хоть бы что. Будто и не про нее речь. Руки «в боки», глазами смеется, словно издевается над иноками. Грудь выставила, а на щеках задорный румянец. «У-ух, господи!» — усиленно обтирают на лбу пот судьи.

— Раскольщики ходили?

— Бывало.

— О чем беседовали?

— О своих делах.

— О каких?

— Об утеснениях.

— Ну, и что же?

— Писал им.

— Чего?

— Челобитные и доношения.

— Кто писал?

— Он. Стефан Нестеров.

— Еще чего?

— Больше ничего.

— На чердаке у него, в сене, отыскана фляга с вином, а вино то — подвалов кремлевских, и фляга та — монастырских мушкетеров скрывшихся, Масейки и Назарки... Не ведомо ли тебе, как попалася фляга на чердак к обер-ландрихтеру?

— Ведомо зело, — усмехнулась жонка.

— Ну?!

— Спали там.

— Кто?

— Мушкетеры.

— А с ними кто? Помнишь?

- Помню.
- Кто?
- Рабочие рудоискателя с Усты, Калмовского.
- Нестеров про то ведал?
- Сама я пустила.
- А он?
- Спрашивал: не спала ли я с ними?
- Ну!
- Чего «ну»?
- Что ответила?
- Облаяла.
- Кого?
- Нестерова.
- Как? Повтори.

Степанида повторила. Судьи, и даже монахи, приснули со смеха, а один чернец закашлялся «до невозможности». Степанида оглядела судей презрительно.

- Кого еще знала?
- Буде с вас!—отрезала она.— Хватит смеяться.
- Пытать будем. Говори!
- Брешете!
- Будем. Говори: кого еще знаывала?
- Епископа нижег...
- Шш-шш-шш!

Суд заволокнулся. Пристав зажал Степаниде рот. Монахи закрестились.

- Молчи, гадюка!—шипел пристав.
- Пытать будем, коли не замолчишь,—окрысился на нее один из иноков.
- И так пытать, и этак пытать!
- Вот и будем!—воскликнул сильнее прежнего окрысившийся монах.
- Эх ты, собачья печонка, пожалуйюсь вот самому, тогда будешь знать!

Судьи переглянулись в великом испуге. Следствие объявлено было законченным.

. . . . .

Наступила неделя, которую нижегородцы, и особенно «люди древнего благочестия»—раскольники, запомнили на веки вечные, как «питиримово озлобление». Об этих днях много рассказов потом пошло по всей Руси, слава питиримовских деяний заслужила особую похвалу Петра,

выпустившего даже указ с восхвалением твердости и упорства святого отца по искоренению «суетумудрия и ереси раскольниковичьей».

По всем улицам Нижнего день и ночь бродили солдаты с ружьями наизготовку, разъезжали конные патрули, обнажив сабли; ходили вооруженные монахи по домам, делали обыски, рылись в сундуках, под тюфяками, в бабьих юбках, даже в иконостасы заглядывали, в подполье; и всякую писаную бумагу забирали и тащили в Духовный приказ. Уводили и людей, а которые упорствовали, тех избивали и увозили на телеге связанными в кремль... Под видом раскольников хватили людей «ненадежных».

На дворе Духовного приказа с утра до ночи шли «распросы с пристрастием». Пять дюжих монахов рубцевали шелепами чужое тело, закусив языки, двигая напряженно челюстями, тяжело дыша, били людей, как нечто неодушевленное, как дерево или камень. Крики и сопротивление злили их, приводя в еще большую ярость, забавляли в минуты усталости, давали повод к шуткам и прибауткам. Насмерть забили двух беглых холопов.

А ночью творились еще более жестокие дела.

Пошли в ход и сработанные Филькой по губернаторскому заказу железные хомуты.

Стянутые хомутами колодники, с десятков, лежали на земле, как шары, около Духовного приказа на дворе, иные без движения, иные судорожно перебирали синими пальцами на голове и тихо стонали. Молодые чернецы, из-за деревьев, со страхом и любопытством посматривали на них.

Внизу, в подвале под Духовным приказом, узников насильно причащали, вкладывая в рот деревянный клиц. Раскольников втаскивали в церковь, растягивали по лавкам, поп вливал из чаши в рот насильно причастие. Раскольники сжимали челюсти; их с силой растягивали монахи. Раскольники со злобой харкали причастием прямо в лицо попу...

Монахи по пяти-шести часов подряд, не моргнув, смотрели на страдания пытаемых, слушая с полным равнодушием их вопли, деловым образом совещааясь между собой, «как бы еще порядочнее пытаться» им вераскаинных раскольников.

Пахло гарью, паленым телом; дохли крысы по углам подземелья... Истлевала паутина в косяках вместе с пауками...

Под каменными сырыми сводами колотились нечелове-

ческие вопли. Стоял придушенный однообразный рев голых, окровавленных, израненных, обгорелых, корчившихся в воздухе, на весу, в цепких клещах громадных станков. Умерших сваливали в могилы, заблаговременно вырытые у кремлевской стены.

.....

По городу возили на шестерне пушку. В Ямской слободе, на Похвале, и на набережной около кремля, над рекой, выпустили по ядру. Когда чугунную жабу втащили на бугор у кремлевской башни и она рыгнула, вся содрогаясь, картечью на тот берег Волги,— ударили кремлевские колокола.

В соборе шло архиерейское богослужение. Молились о поправлении врагов царя и народа, о подавлении зломысленных козней раскольников, «воров» и «разбойников». Предавалось анафеме имя «(биенного еретика Александра), имя бежавшего «от гнева божия» расстриги Авраамия и «вора, душегуба, народного растлителя Софрона проклятого».

Епископ в полумраке собора, набитого солдатами, купцами, старухами и другими богомольцами, согнанными со всего кремля, воздев руки в золоченых поручнях кверху, как бы обращаясь к изображенному под куполом «богу Саваофу», начал проповедь голосом, хватавшим за душу обезумевших от страха богомольцев.

Многие плакали... Плакали о себе, о детях своих, о народе, задавленном игом помещиков, торгашей, и несвободной, поработанной царем церкви. Седой, косматый «бог Саваоф» грозно смотрел на богомольцев в сумраке громадными глазами, и впивалось каленым копьем в сознание молящихся написанное большими черными буквами в ободке купола:

«Радуйся и веселися, богом избранный и богом возлюбленный и богом почтенный, благочестивый и христоролюбивый пастырь добрый, приводящий стадо свое именованное к начальнику Христу, богу нашему».

Варсонофий, назначенный духовником в Крестовоздвиженский монастырь, был прикреплен епископом и к Духовному приказу, в помощь епархиальным властям по борьбе с расколом.

Люди смеялись, знавшие Варсонофия: «Пустили, мол, козла в огород...», «Выюлил себе теплое местечко!». Питирип сам знал о слабостях Варсонофия, но почему-то



назначил именно в женский монастырь. А кто мог понять епископа? Многие его осуждали, проклинали, но временами и они начинали соглашаться с его доводами, особенно в церковных проповедях. Были люди, которые поклонялись ему, боготворили, сравнивали с равноапостольным митрополитом Димитрием Ростовским. Были и такие, — правда, не так уж их много было! А тут все задумались: зачем блудливого старикашку назначать в женский монастырь? Неужели не знает епископ, что многие мужья били на Керженде Варсонофия за его излишнюю заботливость о целомудрии их жен? Сам диакон Александр в последнее время запретил ему быть «блюстителем скитского целомудрия», и однако...

«Что-нибудь да не так! Непроста сделано Питиримом и это! Не такой он человек. Не о себе ли епископ заботится?»

А Варсонофий сразу переменялся и сразу стал ненавистником раскола и его разоблачителем и несколько таких горячих проповедей сказал против раскола в монастыре, что православные богомольцы его чуть не побили.

Слова «лесного патриарха», что «никакое притворство долго скрываться не может», оправдались.

### XIII

И на Крестовоздвиженский монастырь обрушился гнев епископа. Игуменья Нениле, а с нею и Варсонофию, крепко-накрепко было приказано пересмотреть состав монахинь и в «неважных случаях» наказать, а более опасных — направлять в Духовный приказ для розыска.

В «страстную пятницу», после выноса плащаницы, когда монахиня Надежда (Елизавета) пришла к себе в келью, она увидела там отца Варсонофия и «матушку» Ненилу, а с ними — двух черничек, которые копались в ее ларце, что-то разыскивая.

— Вы чего, матушка? — испуганно спросила Елизавета.

— Подожди! Стой там! — Игуменья вытолкнула Елизавету за дверь. Трудно было понять, в чем дело. Но скоро все выяснилось. Выйдя из кельи, Ненила показала какие-то книги и письма.

— Так-то ты православничаешь? — с ядовитой усмешкой покачала она головой.

Варсонофий заиграл глазами, стоя позади игуменьи.

— Раскольникчи книги держишь? Письма от разбойников получаешь? Ну, хорошо же, хорошо!

Елизавета хотела броситься к Нениле, вырвать у ней письма, но Варсонофий обхватил ее, прошептав:

— Ту-ту, голубушка! Не скачи! Ту-ту!

Наутро пришло распоряжение из кремля отвезти Елизавету в Духовный приказ. Одна черничка передала ей, что в монастырской кладовке, взаперти, сидит и раскольщик Демид Андреев и что привезла к Варсонофию нарядная купецкая жонка и просила за раскольщика Андреева, и приводили этого раскольщика в келью к игуменье, и там допрашивали его при той купецкой жонке, а у той записка была к Варсонофию от епископа. А о чем говорили они—неизвестно, ибо никого близко к келье не допускали. Старицу Анфису ночью увели гвардейцы в кремль, в Духовный приказ. За ней, за Елизаветой, пришлют возок от епископа этой ночью. Все рассказала черничка, как по картам. Молоденькая краснощекая девушка плакала, обнимая Елизавету, а та ее утешала, говорила, что теперь ей будет лучше. В кремле она все расскажет епископу, раскроет ему всю правду, всю хитрость и вероломство Ненилы и Варсонофия. Книга и письма—подброшенные. Епископ ее выслушает. Он защитит ее от клеветы и от насилия... Лидо Елизаветы было спокойно. Она была уверена, что снова услышит мудрые рассуждения епископа, полезные наставления...

. . . . .

Через два дня после заключения Елизаветы (Надежды) в земляную тюрьму Духовного приказа, дяк Иван доносил епископу:

«Прислан в Духовный приказ незаписной села Пафнутьева раскольщик Демид Андреев да Девичья монастыря от духовника иеромонаха Варсонофия раскольщика старица Анфиса, да того же монастыря новообратившаяся от расколу старица-ж Надежда в том, что оный келарь уведомился: будто ему, Демиду, старица Надежда давала пять рублей, чтобы ее из той обители увезти, а куда — того он, Андреев, не знает. Варсонофий написал: что приходила-де к нему, Андрееву, раскольница старица Анфиса и сказывала, что хочет-де Иван Воин, беглый разбойник, монастырь зажечь, а его, Варсонофия, убить до смерти».

Питирим начертал:

«... Означенным старицам Анфисе и Надежде за показанные их вины учинить жестокое наказание: бить шелепами нещадно и оную обращающуюся от раскола старицу Анфису по повинному ее доношению свидетельствовать во святей церкви иеромонаху Александру обыкновенною присягой и святых тайн... и потом, оковав их в ножные крепкие кандалы, для неисходного содержания отослать в Спасский Девичий монастырь, что на Кезе, с указом немедленно. Демида Андреева отдать в работу на железный завод Филиппу Рыхлому через губернатора».

.....

Демида сдали Рыхлому под расписку. Филька встретил его с веселой улыбкой, указав перстом на Степаниду:

— Благодаря ее... Она спасла тебя...

Демид уныло посмотрел на них обоих, но ничего не сказал. А хотелось ему поведать о том, как его пытали, как заставляли говорить не то, что он должен был сказать... А больше всего хотелось ему узнать, что написал дяк о нем в расспросе под Духовным приказом... Его совесть была спокойна. Он ни одним словом не выдал своих и елизаветиных тайн.

.....

Купец Овчинников, зная об участии дочери своей, палец о палец не ударил для ее спасения. В тот день, когда ее наказывали шелепами, обнаженную, связанную в подземелье Духовного приказа, он служил торжественный молебен в новой лавке, открытой им в Старом Рыбном ряду на Нижнем базаре. Мать и братья Елизаветы нарядились в этот день по-праздничному, принимали гостей. В доме Овчинникова вселился дух спокойной сытости, удачливых вожелений,— главное, о чем говорилось в этот день: какова будет навигация в сем году, как долго простоят поляя вода, а сыновья Овчинникова обсуждали будущую свою поездку на низы, в Астрахань, за «красною рыбою». Лихорадка Судто большая свирепствует там и чума, но «бог милостив». Дело прежде всего. Как пошатнулся, так и свихнулся. Было б счастье, а дни впереди. А что Елизавета?! «Сама себя раба бьет, коли неладно живет». Епископ в разговоре с Овчинниковым заявил,

что он «зело удивлен—откуда такое коварство против отца могло зародиться в юной отроковице?» И обещал он отпустить ее на волю, продержав «некоторые месяцы», «чтобы отца почитала». Семья Овчинниковых теперь не в обиде была на епископа.

— Не в семью пошла!—говорил про дочь сам Овчинников.—Мыслию изрядно возвышается и мучается поисками того, чего на земле нет. Благоразумие нужно людям при обстоятельствах настоящих, а не в виду будущих. Будущее исходит из благ настоящего...

И на этом «настоящем» были построены теперь все заботы, тревоги и желания семьи Овчинниковых... И могла ли внести что-либо новое и дать какую-нибудь пользу Овчинникову «предавшая некогда его беспутная дочь»?

Вообще-то женщину за человека мало кто считал. По законам приличия было унижительным даже вести с женщиною разговоры. Женщина слыла нечистым существом. Женщине не дозволялось резать животное. Печь просфоры могли только старухи. В известные дни не сажались с нею вместе есть.

А девица, потерявшая честь, хотя бы и с самим епископом, куда она? Старик Овчинников отплевывался при одном воспоминании о Елизавете. Кто теперь возьмет замуж такую? Девица по закону должна была «проводить день и ночь в молитве, умываясь слезами». Самые благочестивые родители били своих дочерей нещадно, чтобы они не утратили своего девства. Бил и Овчинников, а что получилось? Вместо благонравия—блудодеяние и отца предательство.

— Не надо нам ее! Не надо!—упрямо твердил старик Овчинников, узнав, что епископ хочет в будущем выпустить из каземата Елизавету.

Никто старику не возражал. Все в семье были согласны с ним.

#### XIV

Пришла пасха.

Лобное место разобрали. Очистили площадь от мусора. Грязь и лужи завалили жердями, засыпали песком. Обыватели противу своих дворов подбирали сор, помет, всякую мертвечину и свозили за город в поля и ямы; поправили

канавы между домами и улицей, обложили их дерном и камнем, посыпали песком входы у ворот. Даже из Ковалихи повытаскали палую скотину и дохлых собак, чтобы «вредный воздух не происходил». На Благовещенской площади сравнили бугры и ямы—стала она много ровнее и красивее, особенно под песком. Колокола веселым перезвоном дополняли картину праздничного настроения.

Филька со Степанидой ходили на Нижний базар смотреть скоморохов.

Под горою на площади раскинулись пестрые, в ярко-желтых кругах, шатры смехотворцев. В одном сидели они сами, в другом, тоненько взвизгивая, звенел цепью медведь, возбуждая чрезвычайное любопытство у толпы зрителей, в третьем шумели музыканты.

Филька протолкался на лучшие места.

Началось представление. Один скоморох на другом верхом вылетел из шатра, размахивая шапкой и хрюкая по-свинячьи. Толпа ревела от избытка чувств. Притихли все вдруг, когда из соседнего шалаша выглянул медведь и сладко зевнул, раскрыв влажную клыкастую пасть. Скоморох низко поклонился зверю.

— Добро пожаловать!

Медведь рванулся, но цепь лязгнула, остановила его, он присел, раскачиваясь во все стороны громадным туловищем.

— Рад бы, в рай, да грехи не пускают...—сострил скоморох, указав рукой на медведя.—Вроде Володи из Печерской обители, который сто блинов съел, одним подавился, а сто рублей насобирал, еще просит, мошну под сердцем носит, о прощении грехов молитвы возносит, себя считает безгрешным, тараканом запешным, Филиппом именитым, желает быть архимандритом, одним словом, черпцом жить не хочется, дворянином не можется—да святится имя твое, да придет царствие твое... Седлай порты, надевай коня, только не трогай меня; немудрено голову срубить, мудрено приставить...

Ярыжка, толкавшийся среди зевак, вытянулся на носках, насторожился... Скоморох, заметивший это, продолжал:

— Простите меня, люди посадские, сотенные, десятские. Считать чужих достатков не надо, всяк—пастырь своего стада... Маремьяна-старика о всем мире печалится, а я не такой, мне бы сыту быть и господу богу возблагодарить, что с дурака возьмешь?!

Ярыжка успокоился, отошел в сторону, глядеть на гадалку, сидевшую поодаль на земле. Скоморох снова оживился; глаза его ядовито заблестели.

— В чужой сорочке блох искать — это значит дьяволу душу продать, за это деньги получать, наживать, совесть забывать, а на всякое иное плевать... Однако, простите меня, братцы, — сию мудрость холопью пускай из вас никто не забывает, а в нашем холопьем положении да пребудет над Нижним епископа благословение... Помолюсь и я за вас на том свете, а вы позаботитесь о монете для меня, пока я жив и торчу на господском заду, как нарыв, меня выдавят, а я в другом месте вскочу, скачу и пою.

Скоморох запел:

Среди торгу-базару, середь площади,  
У того было колодезка глубокова,  
У того было ключа-то подземельнова,  
У того было крылечка у перильчата:  
Уж как бьют-то добра молодца на правеже,  
Что нагова бьют, босова и без пояса..

Вновь подошел ярыжка, заинтересовавшись пеньем; скоморох перешел на веселую:

Уж на речке Черече  
Плывет вутка на воде,  
Плывет вутка-вutiца,  
Под ей вода мутится...

Представление кончилось тем, что медведь, держа в зубах скоморошью красную шапку, похожую на горшок, обошел зевая и, кланяясь, насобирав скоморохам множество медяков.

Филька встал невеселый.

— Вот бы кого я заковал теперь на веки вечные... — сказал он, недовольно покаясь в сторону скоморохов. — Почто он помянул имя Филиппа?.. Это мое имя.

— Они бедные, глупые, за что их? — посочувствовала скоморохам Степанида. Глаза ее, действительно, были печальны.

— Молчи, коли не знаешь... Идем лучше к ворожее. Поговорим о судьбе...

Кругом было великое оживление. Кричали разносчики гречневиков с конопляным маслом, сбитенщики, перетаскивая с места на место свои баклаги, шныряли воришки в толпе, тискаясь к кому понаряднее; в стороне кабака,

наскоро сооруженного у самого берега Волги, стоном стояли крики, пенье и свист. Посадские женщины в коломянковых шубах и меховых шапках, купчили в теплых ферязях с длинными рукавами, приказные в долгополых сипих кафтанах — все собрались тут. Посадские девушки качались на громадных, украшенных резьбою, качелях. Люди постарше глазели на них, улыбались. Торжище базарное расплзлось от кремля до самой Строгановской церкви по всему побережью. Ребятишки взвивались на досках, прыгая один на одном конце, другой на другом... А старухи, глядя на них, ахали и крестились, но не уходили.

Ко всему этому примешивался пасхальный перезвон, рожки гудошников, вой волюнок, женский визг. Степенные гостинодворцы, улыбаясь, казали свои товары...

На лотках пестрели бумажные ткани, шелковый алтабас<sup>1</sup>, шелк-мухояр, шелк-камка, узорчатый (чем больше узор, тем ценнее товар). «Земля», или фон, материй — красный, зеленый, желтый, лазоревый, вишневый, но больше всего сверкает красного цвета. Многие ткани все еще ткались с золотыми и серебряными узорами. Листья, деревья, травы, птицы, горы на них... И чего только не было выткано на этих материях!

Бабы прилепились к материям, как мухи к меду, жужжат, трепещут, оторваться не могут. Особенно же беспокойно вели они себя около турецкого золотого с серебром алтабаса.

И Степанида, вырвавшись из рук испуганного Фильки, тоже прилипла к лоткам с алтабасом. Филька не мог осилить ее любопытства и со вздохом потрогал карман.

— Все тебе мало, — ворчал он, — купил же я тебе... Да и ткань сия не к лицу теперь. Пойдем туда, — он указал на лотки с новыми петровскими сукнами, бумазеями и шелками безо всяких узоров — большею частью темно-зелеными, синими, гладкими, без рисунков. Около этих лотков немного было зевак, да и те выглядели скучными, — так, между прочим, остановились, а не ради купли. Новые ткани всем казались куда скучнее, некрасивее и беднее старорусских, времен боярщины.

Солнце весело поливало сверкающими струями пышные многоцветные пачки товаров, словно кто-то посыпал розами, лилиями, сказочным золотоцветом длинные полосы

---

<sup>1</sup> Алтабас — персидская парчевая ткань.

мануфактурных лотков. Тепло было на сердце, празднично, а в голове благоухали мечты об уюте, о покое, о богатстве, о роскоши, о сытости... Филька, нагнувшись над лотком, охватил рукою спину Степаниды:

— Пойдем к ворожеям. Погадаем: отдадут нам с тобою дом и имение Нестерова или не почтут достойными? Степанида оторвалась от алтабаса, задумалась.

— Пойдем,—согласилась она, раскрасневшаяся от волнения, пережитого у лотка. И показалась она чересчур красивой Фильке. Он оглянулся. Какой-то офицер установился глазами на Степаниду. Филька дернул ее за руку, чтобы она не заметила: «идем!»—но не успел: Степанида переглянулась с офицером. Филька нахмурился. Вспомнил он слова одного ученого: «Лепота лица, возраст и веселость многих прельщают, большую похвалу женам приносят, но в краснейшем яблоке—наиболее червя». Он не стерпел и погрозился пальцем.

— Женщина, особенно красивая, не должна засматриваться ни на других, ни на себя, потому что и то и другое возбуждает к неподобающему.

Степанида надулась.

— На тебя, что ль, мне все смотреть? Насмотрелась уж! Ослепнуть мне теперь, что ли? Для того ли я стала твоею женою? Подумай-ка, дурило?! Не люблю я, когда ты мне мешаешь!—сказала она с сердцем.

— Ого!—покосился на нее Филька.

Он стал еще подозрительнее. И даже когда офицер остался далеко позади, Филька все еще оглядывался в тревоге. Раньше этого не было. Теперь появился у него какой-то страх за Степаниду; казалось, кто-то имеет виды на нее, хочет отнять бабу. «Не старое время,—думал Филька,—не смеют». И решил он после этой встречи купить Степаниде десять «локтей» шелкового мухояра, любимую полосатую материю Фильки,—на шубу годится на зиму. Правда, зима уже прошла, но, бог даст, придет новая зима, шуба и тогда пригодится. А тем более, имеет в виду он сочетаться со Степанидой законным браком.

Протискаться к ворожею было не так-то легко, и если бы не степанидина сила и рост, увяз бы Филька в месиве овчинных тулупов, поддевок и бабьих полушубков. За ее спиной он работал локтями бесстрашно, отпуская направо и налево озорные ругательства по адресу соседей: «Что?! что?! съели?!»



Ворожея, взяв сначала руку Фильки, а потом Степаниды, закрыла глаза и вешим голосом сказала им обоим одно и то же:

— Более всего удручает хорошего человека бедность. Тебя золото ждет и богатство, долголетство и многочадие. Будешь знатной персоной ты, в добром состоянии, в твердости любви супружеской, своею смертию скончаешься и господу богу будешь угоден... Положи деньгу на руку, добрый человек, христианин, наипаче судьба твоя завидная есть и сердце твое доброе щедротами исполнено бысть.

Степанида сунула в руку ворожее пятак, а Филька размахнулся — полтину отвалил и оглядел всех окружающих с гордостью: «вот как у нас!» И пошел прочь, потянув за руку Степаниду, веселый, довольный.

Волга почернела, вздулась — в ясном теплом воздухе пахло ледоходом. Кое-где в предгорье, около церкви Рождества, рыбаки мазали дегтем, засмаливали днища у лодок. Готовились. Воробьи чирикали на крышах ларей бодро, по-весеннему. Филька и Степанида помолились на Строгановский храм троеперстно:

— Лазал я на нее, — показал он перстом на колокольню, — часы трогал... вертушку. Хотел улететь... Глухой был я тогда, ханжа и бродяга! И на земле не плохо. Зачем улетать? Можно и на земле быть счастливым!

Степанида, боясь, что Филька начнет вспоминать прошлое, да заденет пристава, ее знакомых монахов, Нестерова, и боясь помрачения этим будущего супружеского счастья, деловито завела разговор о том, что сегодня же надо идти к губернатору с челобитной о выкупе нестеровского дома со всем находящимся в нем имением.

Она начала напевать ему, как там они устроят свой обиход. Рассказывала про картины и цветы, про ковры, про мягкие пуховые постели, про шелковые одеяла...

А Филька и уши развесил, слушал ее с упоением: разомлел, вокруг рта расплзлись блаженные складки...

Вскроется Волга... Они поедут в своем челне, в собственном, к Макарию на ярмарку. «Воров» он перековал... Спасибо Питириму! Истребил смуту епископ... Молодец! Теперь можно быть спокойным за свое счастье.

Так думал Филька, глядя на залитые солнцем заволжские леса, как казалось ему, склонившие головы свои перед нижегородским кремлем...

. . . . .

Дом Нестерова перешел в руки Филиппа Павловича Рыхлого. Филька не только переменял жилище, но и сменил свою фамилию, именуя себя Рыхловским. Появились слуги у него. Пронька Болдырь изготовил ему пышный дворянский парик. Филька и его невеста Степанида оделись по-новому, по-немецки.

Однажды вечером, когда Филька и Степанида стояли у раскрытого окна, любуясь закатом солнца над балахнинскими заводжскими лесами, к ним в дом появился их работник Демид.

Хозяин дома не особенно обрадовался гостю, а Степанида и не поклонилась даже по-настоящему на приветствие Демиды, который был в рваном армяке, в лаптях — вид имел довольно жалкий.

— Садись, — указал ему на самое потертое кресло Филька. Демид осмотрелся кругом и робко опустился в кресло, подумав: «Ишь, и не христосуется со мной!»

— Хочешь вина?

— Благодарствую, — отозвался еле слышно Демид.

Стали пить. Не отставала и хозяйка. Выпив чарки три, Демид приободрился.

— Ну, что? Как, старина, живешь? — развязно спросил его Филька.

— Смерть, а не жизнь... — угрюмо ответил Демид.

— Что так? Дела-то у нас будто и немного, и харч подходящий.

— Скиты запуганы... Люди побиты, в остроги, в ка-торгу усиланы... Смерть остается, одно.

Хозяин налил своему работнику еще вина (себе и Степаниде воздержался). Демид проглотил вино и посмотрел исподлобья на Рыхлого недобрым взглядом.

— Ничего. Обойдется, друг. Не пропадем...

— Ты-то не пропадешь, а мы...

— Почему я? Что ты на меня кажешь?

Демид с горящими негодованием глазами вдруг заговорил:

— Питирим оседлал церковь, а царь сел на нее и поехал, куда ему надо, и хлещет ее бичом, чтобы скорее везла его к царской выгоде. А ты лошаадь эту ковал... Помогал ты, Филя, скиты истреблять...

Степанида дернула Демиду за рукав:

— Остерегись, самого закуют. Освободили — и молчи. Теперь недолго.

Демид замолчал. Посмотрел растерянно на обоих.

— Ужели донесете?—сказал он нерешительно.

Рыхлый поморщился.

— Принял я православие, вот что. Понял?

— Для отвода или крепко?—поднявшись в волнении с своего места, спросил Демид.

— Правды ныне не спрашивай. Самые делаются неправды и обиды. О них же нельзя разглагольствовать... Милосердия нынче не вспоминай. Ни к чему оно, а купцы от раскола многие откатнулись... Промысел и торговля в скрытности захиреют, и нельзя нам быть скрытниками.

Демид зло усмехнулся:

— Ходил я в гостинные ряды, что на Рождественской набережной, где торговых людей премногие драгоценные купеческие товары. Видел я вашу торговлю и помыслил в себе: как делается купля и продажа? И видел я там великий обман и слышал многие ложные словеса; друг друга обманывают, друг другу лгут, худое вместо хорошего продавая и большую противу подобающей цены устанавливая; друг другу клянутся не по правде... И тако богатство наживают и тако от древлего благочестия отходят. И не соблазнился ли и ты, Филипп, подобно этим, ежели говоришь о промыслах и торговых?

Степанида ответила вместо мужа, который, обливаясь потом от волнения, молча жевал медовый сухарь, хрустел зубами и гневно придерживал рукой щеку.

— Воров много, но никогда им не раскрасть всех сокровищ на земле, тоже и торгового обмана много, но никогда народ не обойдется без купца, и всегда будут ходить люди в ряды гостинодворцев, и великая скорбь была бы на земле без гостинодворцев... Я бы умерла первая от этого. Скушно было бы!

Тут вставил свое слово и Филька:

— У господа бога про всех хватит...

И при этом икнул от переполнения сухарями желудка. Демид тоскливо взглянул на него.

— Не узнаю тебя, Филипп!—сказал он.— Не тот стал ты... Добродетелью был ты украшен христианскою, и все любили тебя...

Налив Демиду еще вина, Рыхлый стал говорить о том, что человек хочет жить и должен жить, и ни в одной книге не сказано, что сотворен человек для того, «чтобы, возрасти, сгнить и погибнуть»... «Как лилия, должно цве-

сти человеку и давать колос и семена, яко злак... И где сказано, что церковь на то создана и вера тоже, чтобы сходились люди на раздор и на бесчиние, а не на молитву божию и не на дела житейские?»

Демидпил ипил, опустив голову, как оглушенный чем-то тяжелым, железным, не смея поднять глаз на своего бывшего друга, такого близкого, такого верного когда-то Фильку. Потом вдруг поднялся и, продолжая смотреть в угол, спросил:

— Что же мне делать теперь?

Хозяева переглянулись. Минуту длилось молчание, а потом «сам» ласково сказал:

— Работай у меня. Старайся. Прикащиком сделаю...

Тут Демид поднял глаза на своего бывшего друга. Глаза эти были мутные, зеленые, непонятные. Выпрямился и громко произнес:

— Царь силен, но не до конца... Власть имеет он над телесами человеческими, но не над душами и разумом. И не всякая душа продажна, как твоя. Беды и гонения не пугают меня... Прощайте! Может быть, еще повстречаемся, хотя я и раб твой, а ты господин...

И, хлопнув дверью, ушел.

Рыхлый посмотрел на Степаниду.

— Пугает,— сказал он.

— «Вором» хочет быть,— отозвалась Степанида.

— Надо донести губернатору. Не сбежал бы!

Филька не стал распространяться, но по глазам его было видно, что он что-то задумал. Он подошел к окну и, указав в сторону Волги, ласково произнес:

— На Волге вода прибывает. Благодать! Пора готовить струги. Скоро, скоро поплывем и к Макарию, ярмарку открывать. Я с игумном уже сговорился...

Степанида тоже подошла к окну, и казалась ей будущая жизнь ее такой же большой, счастливой, как эта полноводная, необъятная ширь Волги, и такую же теплой, радостной казалась ей жизнь, как эта звонкая, душистая, спокойная весна...

Ночью, лежа рядом со Степанидой, Филька рассуждал:

— Демид сердает, ругает, поди, нас сквалыгами, а я знаю... Добр-то он добр, а попроси— бороды на выпжку не даст. Знаем их. Ходят, высматривают, завиствуют...

А чего смотреть? На чужую кучу печа глаза пу-  
чить... Наживи сам, не будь праздным... Ходить да каню-  
чить на неправды, да на Питирима, да на даря, да на  
губернатора — прибыток небольшой, сыт им не будешь,  
скитов не вернешь. А что диакон Александр... то что же  
делать, коли хороши были волосы, а голову отрубили?  
Скитам гибель пришла, ибо несправедно и скудоумно жили.  
Святитель Димитрий Ростовский не зря о расколоучителях  
говорил: «Глаголющие быти святии отцы, самую же вещь  
проклятии волцы, бесовские птицы, блудницы и пре-  
любодеи и сквернители, их же Христос бог ненавидит»...

Степанида под воркотню Филиппа уснула. Ее мирное по-  
храпывание мало-помалу переходило в богатырский храп...

Филька отвернулся от нее, стараясь заснуть, но Демида  
все-таки стоял у него перед глазами и смотрел на него  
с упреком. «Пропади, образ сатаны!» — крестился Филька,  
окончательно возненавидев и Демида, и раскол, и скиты,  
и все то, что его волновало и притягивало к себе прежде.  
Совість Фильки была встревожена.

В таких случаях у Фильки бывало одно средство за-  
глушить неприятные мысли — это перейти к размышлениям  
о деле. А подумать было о чем. Важный шаг сделал Филька.

Как и в некоторых других губерниях, в Нижнем было  
объявлено о желательности для государства открытия  
овчарных заводов. Из Питербурха приехали в Нижний  
с меморией от коммерц-коллегии мастера-овчары для обу-  
чения: «каким образом оные содержать овцы, от которых  
бы добрая шерсть в мануфактуре обретатися могла».

Нижегородские купцы, исконные хлеботорговцы, лесо-  
промышленники, солеторговцы и других промыслов гости,  
посмотрели на овечье дело свысока. «Нам ли скотину па-  
сти? Наше ли дело с овцами возиться?» Филька взглянул  
иначе. «Смирение побораает гордыню, аки Давид Голиафа.  
Чванство не ум, а недоумие!» И первый он откликнулся  
на призыв из Питербурха. (Государя надо уважить!) А за  
Филькой потянулся и Пушиников — тоже зазвал к себе  
овчаров-иноземцев, разугостил их по-русски, как и Филька,  
деньгами одарил и стал овец закупать. Но все-таки Филь-  
ка первый. Так и в магистрате было занесено: «Первой  
овчарости заводчик Филипп сын Павлов Рыхлый (Рыхлов-  
ский)».

Именитые гости, отцы посада, гильдейные пупы ниже-  
городской земли, усмехались, глядя на усердие Фильки.

«Как вылупися утенок, так и бух в воду! Скажи, пожалуйста!»

А Филька рассуждал по-своему: «У них великие дела, великие богатства, а мысли малые, а у меня дела мелкие, неважные, а мысли большие и зело разные. Кто кого возьмет? Поглядим!»

И пустился он в овчарное производство с легким сердцем, горя любопытством и старанием угодить дарю и начальникам.

«Прогорю — тоже не беда: свалю на магистрат и на власть — помощи не было, не радели государеву делу».

Железное делание на заводах не помешало, одним словом, взялся и за «мануфактуру». Меньшиков, Шафиров и прочие царедворцы, и те не побрезговали.

На всякую вещь надо со всех сторон смотреть. Вообще, Филька теперь о многом, чего раньше не замечал, задумался и был иного мнения. Раньше ему и мир и матушка Русь казались такими простыми и ясными, и делил он людей на бедных и богатых, на рабов и господ. И бедные у него были хорошими, за них надо было стоять горой, а богатые все были негодные, кровососы. Также и начальство, и господа. Крестьяне, опять-таки, казались людьми, на стороне коих правда... «А так ли это?» — думал теперь Филька.

Ведь вот он, Филька, разбогател, а стал ли он от этого хуже? И стал ли он счастливее от этого? Бедные удалены от многих величайших зол, которые он, Филька, видит в богатых, а главное: от жадности, зависти и ненависти. Разве не несчастен тот, кто сколько ни пьет, никак не может утолить своей жажды? Люди веселятся, любят и мечтают, а он только думает о том, где бы ему достать воды. Бедные благоразумнее, и у них больше счастья, полнее оно. Как человек, ищущий постоянно новостей, не умея насладиться новостью, так несчастен богатый. И теперь удивительно становилось Фильке на близорукость бедняков. Чему они завидуют?!

Однако, размышляя так, Филька ни за что бы не согласился снова стать бедным. Пускай прежняя жизнь казалась ему лучше, беззаботнее, счастливее, как детство, однако Филька теперь узнал и увидел другое... И казался сам себе он, каким он был раньше, и раскольники, гибнущие за догматы, тоже похожими на пещерных жителей, которые считают жизнь ограниченной четырьмя стенами и

потолком, и вдруг... Так случилось с ним, с Филькой... Вдруг он обнаружил в одной из этих стен тоненький слой почвы, ткнул в него кулаком, и рука пролезла насквозь, и получился обвал, а в прогалину он увидел громадные пространства, увидел внизу роскошные города и маленьких внизу, похожих на муравьев, людей... Голова закружилась... Оказывается, пещерный житель и не знает о существовании этой жизни, не знает того, что не надо ждать какого-то землетрясения и новой перестройки земли, чтобы увидеть из землянки, из темной норы большую, необъятную, иную жизнь, чтобы свысока осматривать земные пространства и людей... Она рядом, она тут же, только надо суметь найти эту тонкую стенку в пещере и пробить ее. Не беда, если земля там кого-то засыплет, внизу...

И может ли теперь понять он, Филька, своих товарищей, которые продолжают сидеть в этой землянке, в этой пещере, ослепленные ее темнотою, ограниченные непроницаемостью ее стен? Они тоже не поймут его и будут осуждать за многие его мысли и слова, которые у него теперь появились и которых у него не могло быть раньше, когда он сам не видел ничего, кроме этих сырых, черных земляных стен. Не слепнуть же ему теперь ради них, прежних своих товарищей?

Они осуждают его, а он не виноват. Может быть, тогда и они сознали бы, как и он: сколь часто грешил он, живя в пещере, говоря о мрачной юдоли бедняков, о невозможности добиться света и простора своею рукою... Сколь часто зря он осуждал и царя, и епископа, и богатей...

Причиною греха бывает незнание лучшего. И вот это сознание былых своих грехов, их неотступная ясность и неопровержимость, не есть ли одна из тех тягостей, которой лишены бедняки и рабы? И неизвестно еще, у кого глубже и искренней добродетель: у нищего, бедняка, у голого раба или у человека, имеющего многое? Тому нечего терять, а этот терлет, и он, Филька, немало роздал уже денег на бедноту и немало пересылал их на Керженец. По себе Филька может судить: раньше он никогда не чувствовал таким добрым и справедливым себя, помогая бедным, как теперь. Только богатый может испытать истинную радость добродетели.

Бедняки не должны завидовать богатым — они в своем поведении проще понимают жизнь, они имеют немногие,

но ясные мысли, а у богатых голова кружится от трудности разобраться в добре и зле... Богатым завидовать неразумно, смешно. Доброе не приобретается легкомыслием. Доброе—плод великих мытарств... И чем его больше, тем труднее оно достигается.

Так думал Филька наедине с собою, стараясь оправдать себя перед Демидом, перед своею, еще не вполне загложшею совестью. Так думал он, расширяя свой промысел и переходя на «мануфактуру». Люди будут осуждать его: богатые—за мелочные поиски новых коммерций, бедные—за изыскание новых обогащений...

А так ли это? Кто-то должен же делать и продавать мануфактуру. Для счастья людей кандалное дело менее полезно, чем мануфактура, за что же осуждать его, Фильку?

Со всех сторон Филька считал себя правым, обязанным находить новые дела и богатеть, и развиваться, и вообще не стоять теперь на одном месте, ибо «сие противно природе». Ручей и тот бежит вперед, а человек и подавно!.. И не что иное, как совесть, заставляет его искать другого промысла, уходя от кандалного! Можно ли сие осуждать? Все друзья его и недруги должны понимать, что он делает теперь доброе дело, удаляясь от работы в кандалной тюрьме.

Вот почему и записан он, Филька, в книги магистрата первым, откликнувшимся на зов правительства по овчарному делу. А тут надо ума приложить и усердия побольше, чем в работе тюремного кузнеца!

.....

На другой день после свидания с Демидом Филька получил на руки следующую бумагу:

**«Акт об обращении раскольников  
в православие**

1720 года, марта в 30 день, господин преосвященнейший Питирим, епископ нижегородский и алатырский, указал просительным доношением нижегородских жителей посадского человека Филиппа Павлова сына Рыхлого (Рыхловского) да Степаниды Яковлевой, обратившихся от раскольной прелести ко святой восточной церкви, которые о своем обращении ему, преосвященнейшему епископу, подали свои



просительные доношения, свидетельствовать Нижнего Новгорода Спасова Большого Преображенского собора протопопу Исайе, что они от раскольной прелести ко святой восточной церкви и к правой нашей христианской вере истинной обратились и впредь хранить обещаются они твердо за свидетельством помянутого протопопа. Об обращении их послать лейб-гвардии Преображенского полка капитану поручику и Нижегородской губернии вице-губернатору Юрию Алексеевичу Ржевскому из своего архиерейского духовного приказу сведение, что с тех обратившихся людей от раскольной прелести против имянного царского величества указу оброк за раскол имать было не велено и впредь о таковых обращающихся чинить по тому ж.

Смиренный Нитирим, епископ нижегородский и алатырский».

Долго думал Филька над этой бумагой, а потом вздохнул, помолился двуперстно и убрал ее к себе в сундук. Степанида даже и не взглянула на нее. Зевнув, сказала:

— Наплевать!

## XV

Останки диакона Александра схоронили в маленьком детском гробике.

Слезы высохли. Повеяло холодом на Керженце, хотя и канун весеннего цветения.

Великие истязания, происходившие в кремле, застудили душу. У кого теплились самые малые надежды на милость «его архиерейской честности», то и он их растерял. Все стало ясно. Одно в мыслях: бежать вон с Керженца! Бежать, захватив с собой книги священного писания, захватив жен и детей и какой возможно скарб, лишь бы самому живу остаться да жене, да детям малым, у кого они есть. А у кого их нет, и не надо. Те зарывались глубже в леса ветлужские и вятские, лъстя себе надеждою на лучшие времена.

Опять весна разогрела землю, зажгла янтарь на стволах сосен, опять березки задымились в ползелени, опять рассеяла весна реки по полям, по пизинам и перелескам. Как и в прошлые годы, любовались собою в зеркале вод елки. Молодо, с любопытством, тянулись можжевельки из воды.

На их острые, душистые маковки, перелетая с одной на другую, садились, как и раньше, бойкие пестрые трясогузки, малиновки, горихвостки. Беркуты кружили под солнцем, как и в прошлые весны, но не любовались уже ими, как это было встарь, скитские мудрецы. Не до того им было. Скиты заколачивались; замуровывалась в потаенных местах разная утварь; налаживались струги и челны. Даже на плотях народ в далекий путь устраивался. Прощай, прости, дорогой Керженец!

Кто рассчитывал, выбравшись на широкую Волгу, доплыть до Зеленого Дола под Казанью и справляться дальше на Урал и Сибирь, кто целился в Астрахань с ее степными просторами, у кого желание было уйти в симбирские места...

Кружились в воде обломки досок, стружки, тряпки, солома, всякий иной хлам, бросаемый на воду торопившимися в путь скитниками и мирянами. Многие беглые помогали утеклецам, чтобы с ними заодно покинуть насиженное в бегах место. Но немало нашлось и таких, которые решились остаться здесь, никуда не ехать. Они тайли свою мысль: в час опасности поклониться епископу, перейти в православие, а затем подрядов в городе понабрать. Среди этих были даже такие, кои радовались бегству земляков — «мол, посвободнее будет, легче наживаться». Всякий народ оказался и среди крестьян-раскольников.

Подоспел час расставания. Такого теплого, прекрасного весеннего дня, кажется, никогда и не было, день сладкозвучного пенья птиц, день ласковых полуденных ветров и непрерывного прилета в керженские леса новых и новых пернатых странников. Казалось, всякая лесная тварь наблюдает с удивлением за этой тревогой людей, за этим их спешным приготовлением к уходу отсюда. Птичий ум мал, конечно, и ничтожен, однако... старцам чудилось, будто и птица глядит сурово, осуждает их за трусость. Разве диакон Александр не учил мужественно встречать опасности и не бояться смерти? Не с улыбкой ли облегчения он положил свою голову на плаху? Все помнят то спокойное, с закрытыми, как во сне, глазами лицо. Почему же скитники не поступают так же? Почему они бросают все и утекают прочь с Керженца? Вера верой, а жить хочется?! Да и покоряться гордость не позволяет.

Все эти размышления заставляли еще и еще раз усердно помолиться об упокоении многострадальной души диакона

Александра и о испослании ему на том свете вечной благодати и царства небесного. О себе же: чтобы дал господь бог силы и смелости пройти раскольникъему каравану беспечно и легко вниз по Волге, миновав благополучно безрадостные берега нижегородские.

Исайя и Демид, хотя и налаживали струги, челны и плоты, пилили и тесали дерево для весел и шестов, делали скрепления на плотях, но сами и не думали уходить с Керженца.

Старец Герасим дал зарок дожить остаток лет своих здесь, в лесном керженском уединении, отшельником, уйдя в лесную глушь от скитов, от деревень, от всех людей и всего мира. Колебался он долго: пойти ли ему с правдивой и смелой речью к Питириму, дабы принять венец мученический, подобно диакону Александру, или скрыться вместе с земляками с Керженца, куда глаза глядят, в другие края?

Мысль погибнуть под секирою палача пугала старца; хоть и дряхл и ничего нет впереди, а умереть своей смертью куда приятнее, чем сложить голову на плахе. Бежать? Умрешь, пожалуй, в дороге, не доехав до лучших-то мест. «А одному много ли и надо?—думал старец Герасим.— Да и люди помогут, к тому же кое-что еще и в скитах припрятано (никому не найти). Наконец, и то сказать—будут же к нему ходить на молитву его единоверцы?»

Бродя из дома в дом и блуждая среди собранного на берегах домашнего скарба, старец Герасим неустанно благословлял народ направо и налево, держась твердо, замкнуто.

Но вот на заре забил колокол одной из моленных вышек. Давно уже не было такого смелого, громкого трезвона в скитах. Поднялась суматоха, крики, шум. Переселенцы двинулись к берегам. Горьким плачем, переходившим в рев, и причитаниями огласился утренний весенний воздух.

Старец Герасим, взойдя на возвышенность, стал громогласно читать молитву. Перед ним мелькали искаженные горем и ужасом лица матерей, вцепившихся в своих младенцев; испуганные лица ребят, торопившихся за своими родителями; мрачные, хмурые, со стиснутыми зубами лица мужиков и сутулых, придавленных горем скитников.

Приблизившись к берегу, люди начали бросаться в струги

и на плоты. С грохотом летели туда же мешки и ящики. Спешка беглецов с каждой минутой возрастала.

А из лесу с пепном стихир и псалмов подходили все новые и новые толпы людей, тащивших на себе сверх силы набранный в дорогу скарб, потных, усталых, таращивших озабоченно глаза на струги.

Колокол не умолкал—тревожные набатные удары приводили в панику беглецов.

Напрасно старец Герасим старался успокоить их, выкрикивал слова о камени веры, о любви, о братстве,—его не слушали.

Колыхалась от тяжести и беспокойства седоков, тихо тронулись первые струги, за ними, нудно кружась, отошло несколько плотов, переполненных людьми и домашним добром. За плотами тихо двинулась по реке новые струги, а за ними опять плоты.

Теперь вой был и на воде и на берегах, и казалось, плакал и охал сам дремучий керженский бор.

Голос старца Герасима среди воя и плача, среди грохота сталкивающихся один с другим плотов и стругов и перебранки гребцов звучал торжественно, взволнованно. Это был голос терявшего свою паству учителя, но не терявшего веры в раскольничью непогрешимость, в окончательную победу его правды. Во всей его фигуре, обремененной в белую рясу, во вдохновенном взоре и громадной седой бороде была торжественная непоколебимость твердого в своей мысли богоборца...

Исайя и Демид стояли недалеко от него, смотрели в зеленую водокруть у берегов и оба плакали... Демид разорвал на груди рубаху, открыл свою белую грудь встреч солнцу и сдавленным голосом шептал:

— Порази! Порази! Душно мне! Душно!

Рыдали и другие, оставшиеся дома мужчины и женщины. Рыдали дети, старики и старухи, свернувшись в комки на берегу.

А с верховья Керженда шли мимо скита новые и новые, наполненные раскольниками струги других скитов. Люди, сидевшие в них, оборачивались к оставшимся на берегу, махали шапками, низко кланялись и отчаянно вопили:

— Молитесь о нас! Молитесь!

Потом над водой раздались неистовое пенье, свист и крики; на середину реки вышли плоты, набитые рванью и хламом, людьми волосатыми, босыми, оборванными, но

с гордо, дерзко сверкавшими белками. Беглые. Они рычали на всю реку:

И, может, солнце где восходит,  
Жилище наше будет там,  
И где оно заходит,  
Там бог велит бороться нам.

Глаза певцов горели безумной отвагой, руки костляво вздергивались в воздухе; некоторые бородачи пролезали к самым краям плотов и кулаком, остервенело, грозили на берег. Кому? За что?—понять было невозможно. Две женщины со всего размаха бросили в воду грудных младенцев, безумно хохоча.

Старец Герасим благословлял их.

. . . . .

Прошло немного времени, и всех беглецов поглотила зеленая даль Керженда.

На реке стало совсем тихо. Старец Герасим, глядя в безлюдную даль, будто в бреду, сказал про себя: «...сера и соль и пожарище — вся наша земля! Погибнете и вы, владыки нижегородские, аки Содом и Гоморра, которых ниспроверг господь во гневе своем и в ярости своей за грехи народа!»

И побрел тихо по берегу, безумно бормоча что-то, сам того не зная, куда и зачем, последний из соратников диакона Александра—старец Герасим...

Заколоченный, опустелый диаконовский скит не манил его к себе, хотя и пели там, захлебываясь от радости, скворцы и зеленели жирные почки над изгородью. Жизнь буйно расцветала кругом... Но какое дело до этого брошенному всеми, одинокому раскольнику Герасиму?!

Дни за днями, неделя за неделей—опустелые скиты стали зарастать травой, бурьяном. Навещали их и медведи, свили гнезда совы в моленных, ужи расплодились по скитским подклетьям, дворам и задворьям. Замерла жизнь богомольцев. Только иногда можно было слышать на берегах Керженда печальную песню одиноких певцов раскола о былых счастливых днях скитского общежития...

. . . . .

В Нижний прибыли еще две роты гвардейцев. В лесах и на горах пошло предательство; уродовал души страх;

крестьянин крестьянину становился врагом. Власти принимали сторону зажиточных и покорных, преследуя недовольных бедняков.

Ватага макарьевская распалась: Софрон, Георгий, Чесалов, Филатка с товарищами перекинулись на низы Поволжья; Антошка Истомин, дыган Сыч, отец Карп, Бейбулат с товарищами — в степи, в Заволжье. Шли слухи оттуда, что-де готовится там мятеж.

Стали спокойно проходить купецкие караваны сверху вниз и снизу вверх по Волге через Нижегородскую губернию.

Но не умерла память о ватаге. Один старичок у монастырских ворот Макария, как бы в ответ на раскольникчи скорби, глядя на воду, бодро повествовал:

«...И поныне растет эта сосна над Волгой, и будет она и впредь многие годы расти... Повесили на ей вольные люди разиновские одного боярина. Лютый был холоп царев тот боярин...»

Волны набегали на песок, как бы радуясь словам неугомонного макарьевского деда. Чайки носились беспечно. А монастырь молчал, задумавшись... Может быть, дед и не зря болтает? Может быть, та срубленная сосна и впрямь вырастает?

Монахи молитвами старательно замусоливали в голове своей опасные мысли. Да и не одни они...

В эти дни Пителим писал царю:

«...Мое мнение: надлежит послать указы печатные во все города и уезды, чтобы помещики и старосты, и выборные и всяких чинов люди, если у кого у них обрящутся каковые противники и раскольщики, в селах и деревнях или в лесах их, кельями живущие или на загородных дворах или в домах их, таковых не укрывали, но объявляли бы неотложно архиерею тоя епархии, и архиереям и нереям и от них посланным ради обращения ко святой церкви ни в чем бы не препятствовали, но, елико могут, спомогали бы, и укрывателям и принимаателям чтобы положен был страх, хоша и смертный, ради твердости. Епископ».

Ржевскому он дал распоряжение объявить по губернии приказ обо всех раскольниках, сбжавших с Керженда и скрывающихся по деревням и усадьбам. Всех своих фискалов и инквизиторов Пителим также разослал по уездам ловить беглецов.

Дьяк Иван все писал и писал. Писали и все подьячие и созданные в Духовный приказ с разных монастырей грамотей-монахи... Работа день ото дня возрастала.

## XVI

Филька, в самом деле, решил жениться по-церковному. Нужно было с этим спешить—Степанида «почувствовала». По всем правилам посадского обихода надумал он справить свадьбу со всею подобающей в таком случае церемонией. Деньжонок малую толику он уже сумел прикопить и чин свой в глазах населения должным образом возвысить: два маленьких заводика наладил—один в Кунавинской слободке, другой—в верхней части, на Ямской. Кузницу у кремлевской стены разобрал—«мелко дело». Старики—торговые люди стали приятельствовать с ним, в кабак ходить, дела там разные обсуждать, как с равным.

В храме «рождества Иоанна Предтечи», верстах в восьми от кремля, в пяти от Благовещенской (Меньшиковской) слободы, вверх по Оке, в лесу, называемом Слудю, в ущелье гор, придел в честь своего «ангела»—митрополита Филиппа—он соорудил. В этом ущелье в давние времена был притон разбойника Сулейки. Со своею шайкою он останавливал и грабил караваны судов частные и государевы, проходившие по Оке в Нижний и из Нижнего. Иногда обирали и богатых жителей Благовещенской купечкой слободы. Потом попался в руки правительства и был четвертован на Благовещенской площади у кремля. В ознаменование сего славного события набожное купеческое сословие и воздвигло на Слуде храм «рождества Иоанна Предтечи».

Как же было не вложить свою лепту в этот храм и Фильке? Ведь теперь и он пришел к мысли, что разбойники и беглые и всякие иные «воры», будь они раскольники или православные, «суть враги и мешатели спокойному счастью». А особенно крепко утвердился он в этом мнении, узнав, что Софрон, закованный им в кандалы, вновь утек в леса. Вновь стал угрозой для богатых людей. И каждодневно молился Филька о том, чтобы Софрона снова поймали и заковали бы в кандалы или где-нибудь бы пристукнули.

Напал страх на Фильку. И не только пятьсот, а тысячу

бы рублей отсынал на придел в церкви митрополита Филиппа он, коли бы Софрона опять изловили и посадили в Духовный приказ. Страшно! Может отомстить.

Свадьбу решил Филька справить на Красной горке. В доме, полученном после Нестерова, он устроился по-своему, по-купчески. Выбросил фарфоровых «идолов» и картины «голые» и столы «кривоногие», удивляясь вкусу бывшего их владельца. «Давно бы тебя надо было заковать»,—усмеялся он презрительно, выбрасывая все эти «заморские гадости». (Не жалел того, что и за обстановку эту он также деньги заплатил, покупая ее вместе с домом.)

А квартира у Фильки теперь была на славу. В одной светлице печь с уступом, украшенная зелеными изразцами. Потолок штукатурный. Сам был мастер на все руки: и кузнец, и слесарь, и столяр, и штукатур, и печник. Да какого ремесла он только не знал?! Трудно ли было ему благоустроить свои хоромы?! У Нестерова полы были деревянные, а у него теперь с тонким каменным настилом (лещадью). Появились и образа в серебряных и золоченых окладах. В спальне сверкал золотом митрополит Филипп, с серебряными гривенниками, с убрсом, низанным жемчугом и дорогими камнями. На стенах, обитых клеенкою травчатою, играли с солнцем зеркала в золоченых рамах. Писанные картины с видами Волги и монастырями и портрет Петра. Вдоль стен стулья, обитые черным трипом. Два дубовых стола на толстых пузатых ногах были покрыты персидскими коврами; на одном—ковер шелковый, на другом—триповый. В доме всего стало довольно (одних тарелок было восемь дюжин); а в кладовых покоились запасы сахара и чая китайского.

На Степаниде юбки и балахоны только тафтяные; душегрейки гарнитуровые с городками серебряными и позументом золотым. Сам Филька щеголял дома в суконном сюртуке то макового цвета, то зеленого и в туфлях зеленых, гризетовых, шитых серебром.

В сундуки припрятаны были золотые и серебряные вещи: стопы, подносы, чайники, также золотые цепочки, серьги и прочее.

Перед свадьбой Степанида уехала из дома от Фильки к своей тетке в Кстово, чтобы ожидать там сватов. Требова! обычай. Степанида жила там уже с неделю и больше, а сваты все не появлялись. Она ходила гулять на берег



Волги, и особенно любила сидеть, глядя на полноводье реки, на том именно месте, где тогда она проводила время с дыганом Сычом, проезжая здесь в становище Софрона. Филька нарочно не торопился, хотя и скучал о Степаниде крепко. Надо было соблюсти обычай.

Наковец, Филька подыскал себе свата, одного старика из бывших подьячих. Одарил его деньгами, дал ему лошадей и отправил его в Кстово. Тот честно выполнил свой долг перед женихом: хвалил, насколько хватало красноречия, честное имя и род жениха, говорил степанидиной тетке о взаимной любви Филиппа Павловича и Степаниды Яковлевны, о тех выгодах, которые могут произойти от соединения их родством. Тетка слушала и плакала и угощала брагой и пирогами с вязигой дорогого гостя.

Когда тетка согласилась на брак Степаниды с Филиппом Павловичем, сват попросил разрешения видеть жениху свою невесту.

Тетка разрешила. Все встали на колени и помолились богу. Степанида всплакнула. Тетка ее утешала. А вечером собрались в избу девушки со всего села и пели Степаниде песню:

...Уж как широко Волга-река разливалась;  
Уж как далеко камка бурская по мосту расстиалась;  
Уж как на Волгу-то реку приезжал  
Филипп, сударь, на вороном коне.  
Уж как, проехавши вдоль Волги, Павлович  
С ворона коня долой славил.  
Вел ворона коня под уздечку шитую  
Прямо к терему высокому,  
Прямо к Стефаниде Яковлевне,  
Во том ли во тереме высоком  
Свет Стефанида Яковлевна снаряжалася,  
Снаряжалася, сама горько плакала..

До глубокой полночи воспевали жениха и невесту девушки, величая их «князем» и «княгиней». Так уже водилось по деревням и селам. Один раз в жизни мужик становился тоже князем—это во время своей свадьбы.

Филька, хват, не дремал. По старому обычаю привел он к себе на дом знахаря, который осмотрел в доме все углы, притолоки, пороги, читал наговоры, поил Фильку наговорной водой, дул на скатерти, вертел кругом стол, обметал потолок, оскабливал вереву, клал ключ под порог, выгонял черных собак со двора, вообще хозяйничал в доме у Фильки, как «домовой», наводя благоговейный ужас на

мнительного и без того жениха. Филька на носках ходил по пятам за ним и с биением сердца прислушивался к его шепоту. Знахарь зачем-то осмотрел метлы, сжег голик, окурил баню, пересчитал, кстати, кирпичи в печи, полез на чердаки, хотел сунуться в сундуки, но Филька соврал, что ключи от сундуков утеряны. Знахарь настаивал; сошлись на том, что когда ключи будут найдены, жених позовёт к себе знахаря опять. (Как бы не так!)

А на другой день кто-то подбросил Фильке подметное письмо, а в нем говорилось: «Подальше держись от знахарей, они — слуги епископа...»

Филька почесал затылок. А что же тут удивительного!

Вон в керженских лесах вожди некоторых согласий раскольников оказались посланными нарочно для устройства скитской смуты, для раскола среди раскольников.

И пожалел Филька, что позвал знахаря к себе в дом. «Хорошо, что я сундуки-то ему еще не открыл. Ой, как хорошо!»

Но ссориться со знахарем — не след. Может сгубить, несчастными сделать на весь век. Поэтому, хотя Филька и поверил письму и считал знахаря пипионом питиримовским, но... виду показывать не след. Осиного гнезда не тронь, и с кем ни дружись, а камень за пазухой всегда держи.

Теперь главное — свадьба. Нетерпеливо, в большом волнении ждал Филька свата, как будто и впрямь неизвестную какую-то суженую красавицу ему сватают.

Но вот прибыл из Кстова и сват. Филька обнял и облобызал его. Сват передал приветствие от невесты, и от ее тетки, а потом таинственно сообщил, что согласия на брак «ему удалось добиться»...

Назначен был сговор. В этот день несколько троек с женихом Филькой и гостями, среди которых были Пушников, отправились в Кстово.

Тетка и какой-то приглашенный для торжественного случая старичок выходили встречать гостей из дома к воротам с хлебом, с солью.

Пировали знатно. Пушников, как посажёный отец Фильки, сказал церемониальную речь за столом.

Здесь же была совершенна и «рядная запись». Писал ее все тот же теткин старичок, оказавшийся бывшим приказным служакой. Тетка велела вписать в запись, чтобы

«муж не бил жену свою». Пушников, поглядев на Степаниду, а потом на Фильку, улыбнулся:

— Напиши, чтобы и она его не била!

Накануне свадьбы Филька устроил пир у себя на дому. На этом вечере, согласно обычаю, он собрал невесте для отсылки в Кстово следующие подарки: шапку, пару сапог, ларец, в котором находились румяна, перстни, гребешок, мыло и зеркальце, затем—ножницы, иглы, нитки и сладости, пряники и розгу.

Обозначало это: если молодая жена будет прилежно работать, то ее станут за это кормить сладостями, баловать, а иначе будут сечь розгами.

Степанида всерьез вообразила себя настоящей невестой: то плакала, то смеялась, все ей было интересно и приятно... Советовалась с теткой, с бабами, обнимала их, нежничала...

— Господи, господи, уж и до чего больно мне... Уж и до чего непривычно и совестно. И будто на меня все смотрят, и будто все жалеют мою молодость!

Тетка ее успокаивала:—Христос с тобой, дитятко! Ну, и кто же на тебя, горлица моя, смотрит, и чего же тебе стыдиться их?

Утром, в день свадьбы, из Кстова прикатила в дом Фильки посланная степанидиной теткой сваха. Ее обязанностью, оказывается, было приготовить брачное ложе для жениха и невесты. Филька, присмотревшись к ней и заметив ее какой-то недружелюбный взгляд, подарил ей деньгу. Она улыбнулась очень приветливо и во имя отгона от дома злых духов и всякой порчи обошла кругом хоромины, где должно было совершиться брачное торжество, а также обошла и брачное ложе с рябиною в руках, нашептывая какие-то непонятные слова. Возле самой постели она поставила две открытые кадки с пшеницею, рожью, овсом и ячменем. Это обозначало хозяйственное обилие будущей жизни супругов.

Филька с чувством большой радости и сладкого волнения наблюдал за всеми этими приготовлениями, производимыми свахой, а потом угостил ее вином. Она пила с большою охотою, расхваливая красоту Фильки и предвещая ему счастливую жизнь с верной и доброй женой и большое потомство. Филька по-телячьи растрепал губы, глядя на разомлевшую сваху увлажненными от слез, грустными глазами и приговаривал: «Дай бог, дай бог!».

В церкви Ильи-пророка на следующий день происходило венчание.

Вокруг церкви и в самую церковь набилось множество зевак. Было всем любопытно посмотреть на раскольников, перешедших в православие и брачующихся по-церковному, а тем более на посаде было много разных разговоров о личности Степаниды. И много было разговоров, неприятных для нее.

Филька к венчанию примчался, как и полагалось, первый на тройке с бубенцами, дугами в ленточках и бумажных цветах. За ним мчались другие две тройки с молодежью и бородами гостями.

А затем в нарядной кибитке, убранной цветами, прикатила из Кстова и Степанида с теткою и сельскими девушками.

Наконец-то Филька вновь видит около себя Степаниду! Эти пятнадцать дней ему показались годом. Но и теперь видит он ее, да не совсем. Лицо невесты закрыто густым подвенечным покровом. После венчания невесту «раскрыли», и маленький рыжий поп прочитал новобрачным поучение, наставляя их ходить часто в церковь, молиться за царя и его семью, слушаться своих духовников, хранить посты и праздники, подавать милостыню, а мужу повелел учить жену «строго», «как подобает главе».

Потом поп схватил своей сухой холодной рукой руку Степаниды; Степанида вздрогнула от неожиданности и вручила руку Фильке. Приказал поцеловаться. Степанида покраснела от стыда, будто ей впервые приходится целоваться с мужчиной, уклонилась, а Филька деловито обтер платком усы и с серьезным лицом, с таким же, с каким он ковал колодников, чмокнул Степаниду в губы, с гордостью оглядев окружающих: «Смотрите, мол, свою собственность целую!».

При выходе из церкви сваха засыпала новобрачных семенами льна и конопли, желая им счастья; другие дергали Степаниду за рукав, будто хотят разлучить ее с женихом. Степаниду научили, чтобы она в это время томно, невинно прижималась к Фильке.

Потом начался брачный пир. Вина и закусок и всяких блюд на столах красовалось невиданное множество. Пушников и старичок из Кстова были посажеными отцами: первый у Фильки, второй у Степаниды. Они, налив себе стопки, открыли пиришество.

Во время пира вдруг Пушников встал и, обратившись к Фильке, произнес:

— Сын мой! Божним повелением и жалованием его величества государя нашего, и благословением нашим велел тебе бог сочетаться законным браком и принять Стефаниду Иаковлеву дочь; прими ее и держи, как человеколюбивый бог устроил в законе истинной нашей веры и святые апостолы, и отцы, и предание...

Фильке было приказано взять Степаниду за руку и вести ее на сенник. Дружка и сваха и сваты там набросились на них и стали их раздевать. Степанида стыдилась, упиралась. Филька толкал ее кулаком в бок, делал знаки глазами: «подчиняйся!». Наконец, раздевание кончилось, и все ушли к гостям, оставив новобрачных одних. Степанида смотрела на Фильку так, как будто, действительно, она впервые его видит в подобной близости к себе, закрывала глаза руками, конфузилась. Фильке это очень нравилось. Он хотел, чтобы это продолжалось как можно дольше, и потому тихо говорил ей воркующим голосом:

— Ну, ну, ягодка моя! Ну, ну, ничего!

Гости тем временем продолжали пировать полной чашей. Поп уже пробовал пуститься в пляс со степанидиной теткой, а все окружающие их гости, хлопая в ладоши, покатывались с хохота. У попа ничего не выходило — ошибся, выпил лишнее.

По прошествии некоторого времени посаженные отцы послали сваху узнать — «как там новобрачные?». Из-за двери донесся филькин радостный голос, что он в добром здравии.

Сваха, как с цепи сорвавшись, влетела в зал к гостям и объявила с масляными глазами нараспев, во всеуслышанье:

— Доброе совершилось!

После этого гости полезли на сенник «кормить новобрачных». Как жениху, так и невесте не полагалось до сей поры крошки брать в рот, теперь им приволокли на сенник завернутую в скатерть курицу. Филька уж раньше видел во многих руках эту курицу и уже раньше предвидел, что это кушанье имеет какое-то особенное назначение, а потому и взял ее с большим почтением. Сваха шепнула ему, чтобы он отломил у курицы ножку и крыло и бросил назад через свое плечо.

Новобрачных перевели с сенника в постель и опять уложили «спать».

Но как спать, когда за тонкою перегородкою в соседстве ревели пьяные, громыхали сапожищами об пол, били посуду? Филька обнял Степаниду и сказал:

— Батька-то разошелся... Тетку щиплет! Ишь, визжит!

— Бог с ними!— устало вздохнула Степанида.

— Пушиков-то вороного коня подарил.

— Не разворовали бы там подарки-то...

— Нет... Я человека приставил сторожить.

— Народ-то больно ненадежный,— опять вздохнула Степанида. — И откуда только они налезли?!

Филька скорбно вздохнул. На этом их беседа и закончилась.

После этого целую неделю в доме Фильки толкались люди и целую неделю пришлось их кормить и поить до отвала. Фильке это веселье стало надоедать, но он вида никому не показывал. Наоборот, всех встречал объятиями и поцелуями.

Посетил Фильку со Степанидой, когда они были одни, и Питирим. Они встали перед ним на колени. Он вынул из своей сумки икону, завернутую в красный шелк, и сказал:

— Вот мое благословение вам... Эту икону, благословя вас, попрошу тебя, Филипп, немедля сжечь, чтобы и пепла от нее не осталось. Собери его и развей по ветру.

— Как же так?— удивился Филька.

Степанида тоже взглянула удивленно на епископа.

— А так—взять и сжечь...

Он развернул икону и, быстро благословив склоненных лиц Фильку и Степаниду, вручил ее Фильке. Взглянув на икону, обомлел парень. Это была та самая разрисованная в пещере под Благовещенским монастырем икона, которую в ту грозную ночь Филька подбросил Питириму в окно.

— Показалась ли<sup>1</sup> она тебе?— спросил епископ, с видимым удовольствием любуясь смущением Фильки и Степаниды.

Оба молчали, не смея поднять глаз на епископа.

— Я вижу, вам жаль сжигать свой труд. Понеже это так, прошу сберечь ее, но позвать богомаза и опять обратиться таковую в икону святого великого князя.

Филька приподнялся и облобызал руку епископа, простонав:

---

<sup>1</sup> Показалась ли — поправилась ли.

— Прошу прощения!

А Степанида, краснея при взгляде на Питирима, спросила, улыбаясь:

— Зачем нам она? Вы дайте нам другую...

Епископ засмеялся.

— Возвращаю ее обратно тому, кто мне ее подарил, а именно: Филиппу, мужу твоему.

Тогда Филипп в страшном изумлении прошептал:

— Кто вам сказал?

— Сам я знал это. На другое же утро меня оповестили. И про нее знаю,— Питирим указал рукой на Степаниду.— Не она ли спасала колодников моего приказа... и в том числе разбойника Софрона?

Лицо епископа стало суровым.

— Вы противоборствовали, но я видел, что побеждены будете вы же!— И, погрозив пальцем на Фильку, он снова улыбнулся.— Сегодня же обрати лапотника в великого князя...

Ушел. Филька и Степанида бросились к окну и, увидев, что повозка свернула за угол, облегченно вздохнули.

Наутро Филька повесил на самое видное место вновь восстановленного на иконе святого великого князя. И отвез две тысячи рублей епископу на дела церковные.

После этого молодожены зажили дружно и спокойно.

Пришло время— Ржевского с вице-губернаторства сняли и перевели в Питер. Его место занял Иван Михайлович Волынский. Бесславно закончил свое губернаторство измученный заботами слабохарактерный Юрий Алексеевич.





**Ч А С Т Ь**  
**ч е т в е р т а я**









# I



В мае 1722 года по Оке несметным флотом, с громадным количеством войска, к Нижнему приближался царь.

Турция, воспользовавшись смутою внутри Персии, вторглась в ее пределы. Понемногу войска Оттоманской Порты начали оседать по берегам Каспия. Одно за другим появлялись здесь турецкие укрепления, — так доносили царю его посланники, а также дружественные ему грузинские князья. Получалось, что Астрахани, кавказским народам, Грузии и свободному плаванию по Каспию угрожает опасность.

Петр не желал ссориться с «его величеством всепресветлейшим, великомочным и грозным, верным приятелем и соседом знатнейшим, персидским шахом», не хотел ссориться и с «его величеством султаном светлейшей Оттоманской Порты». Он имел целью наказать только «бунтовщиков»: владельца Лезгинской земли Дауд-Бега

и владельца Кази-Кумыцкой земли Сурхая, собравших, по выражению царя, «в оных странах многих зломысленных и мятежных людей разных наций, противу его, шахова, величества взбунтовавшихся». Бунтари взяли приступом в Ширванской провинции город Шемахию «и не токмо многих его величества шаха, нашего приятеля, людей побили, но и наших российских людей, по силе трактатов и старому обыкновению для торгов туда приехавших, безвинно и немилосердно порубили и их пожитки и товары на 4 миллиона рублей похитили и, таким образом, противу трактатов и всеобщего покоя нашему государству вред причинили».

. . . . .

В Нижнем-Ново-Граде по простоте душевной провинциалы-посадские, отсталые, темные люди, никак не могли уразуметь: в чем же, собственно, дело? Зачем ни с того ни с сего царь поплыл к берегам Персии, да еще — господи, прости за согрешение! — через Нижний?

— Война не война — и Персия и Турция с нами в дружбе, и войны нам не объявляли, а он лезет сам на рожон, за каких-то там наших купцов заступаться. Да и сам повел войско. Мог послать кого другого. Видать, у самого-то руки чешутся, видать, государь задумал что-то другое...

Впрочем, нашлись хитрецы, по секрету шептавшие, что царь часто повторяет в своих указах: «Идем мы к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков...» Им казалось это весьма и весьма подозрительным, и только очень близким людям, и то у себя на дому, они сообщали на ухо:

— Царь боится, что-де турки заберут Персию раньше него, и хочет-де он опередить их, ибо давно мечту имеет двинуться с войском в Индианскую провинцию. А тут случай подходящий выходит. Купечество многое об этом осведомлено и губы облизывает от будущих барышей по торговле с Индустаном... Царь заботится об обогащении богатых, об укреплении членов российской гильдии.

Фильке сообщил эту радостную весть его ближайший друг, бургомистр Пушников. Оба выпили по этому поводу крепко. Два года прошло, как они породнились, как Пушников стал Фильке вторым отцом, и ни разу за эти годы не случилось между ними разногласия.

Пушников мало того, что был посажёным отцом, еще стал и кумом. Сынок замечательный родился у Фильки, Петром назвали, Петром Филипповичем. Окрестил его опять же не кто иной, как Пушников. Мальчишка полудуши крепыш. Крупный и живой такой в полтора года: черный, курчавый, ну прямо — красавчик! Степанида души в нем не чаяла и не иначе величала его, как «голубиная моя радость». Целовала она его черные, курчавые волосики и улыбалась, глядя в его вишенки-глазки.

Филька нередко приглядывался с особым вниманием к своему сыну, а в голове возникала докучливая мысль: «Не похож он на меня, а я на него. Я рыжий, а он — черный. В кого же он тогда?» Но это неважно. Важна дружба, какая установилась между Филькой и Пушниковым. Сошлись они характерами как нельзя лучше.

Два года тому назад Пушников благословил его на брак со Степанидою. Много воды утекло с тех пор, много произошло всяких перемен в Нижнем, только два обстоятельства остались без изменения: твердость духа и воли епископа Питирима и вера в свою звезду купца Пушникова, Филиппа Рыхлого и им подобных.

Пожалуй, кстати будет упомянуть и о Волынском. Он продолжал, как и два года назад, устраивать время от времени у себя на дому «ассамблеи» и пить не менее и не более «знатно», чем было то прежде, хотя в его судьбе и произошло изменение: он повышен чином был по должности, как вице-губернатор. Ржевского назначили в один из полков в Питер командиром батальона. Питирим, дружески расставаясь тогда с ним, сказал:

— Хотя и хороший ты человек, а молодец, поелику уходишь от нас, больше тебе тут делать нечего.

И трудно было понять, что заключалось в словах епископа: сочувствие или насмешка?

Волынский не хотел подражать Ржевскому. Он, без всякого сожаления и страха, помог Питириму разорять скиты, уничтожать людей. В наиболее трудные минуты он прибегал к своему излюбленному средству подкрепления — к чарочке вина, и все у него получалось легко, и на жизнь смотрел он, как на размазанную всякими красками картину. «Не всем под святыми сидеть! — думал он презрительно о Ржевском и его белоручке-жене, уехавших в Питер. — Всякому свое».

Перед приездом царя прежде всего он проверил свои городские сооружения, зная, что Петр обратит на это перво-наперво свое внимание.

Раскольничья сила теперь уже была сломлена и сведены на нет почти все семь десятков скитов и казенны почти все расколоучители; губернаторская гвардия сплошь обыскала весь лес на Керженце, «повыбирала» всех, кого надо, и даже отшельника Герасима захватили (по дороге «умре»), а кто остался на Керженце, те стали покорными рабами государя и хорошими, усердными плательщиками налогов и податей, старательными лесорубами, углежогам, смоловарами и разными иными работными людьми... Восемьдесят тысяч раскольников по воле Питирима отказались от своих догматов и перешли в православное церковничество. Все притихло. Все смирилось кругом, доходы губернии сильно возросли. И кремль теперь стоял над Волгой спокойный и гордый и не заботился уже, как два года назад, об охране города от нападения врагов. Каравулы были сняты со стен, патрули по улицам не ходили. Пушки выглядели одинокими, заброшенными.

Волинский со своими помощниками пересчитал и привел в порядок кремлевские орудия. Оказались налицо: три медных и десять чугунных пушек, кроме того шестьдесят пищалей. При них было артиллерийских служителей, унтер-офицеров и рядовых шесть человек. На это Волинский, покачив головой, обратил особое свое внимание. Приказал сыскать еще пушкарей к кремлевским пушкам, пока не поздно. Царь узнает — не похвалит.

По совету Питирима, вице-губернатор проверил также списки всех служилых людей в приказах. А приказов в Нижнем было восемь: губернская канцелярия, а в ней секретарь губернатора, четыре канцеляриста, восемь копиистов и три сторожа; камерирская контора для сбора доходов: ею управлял камерир, при котором находились писарь и четыре копииста; надворный суд — для суда и расправы. Президентом в нем был Волинский же, а вице-президентом — князь Василий Гагарин, при них — два ассессора, два секретаря, четыре канцеляриста, восемь копиистов. Дальше шла крепостная контора для писания «крепостей» на крестьян и сбору с них пошлин; здесь был надсмотрщик и пять писцов, которых Волинский и оштрафовал за запущенность делопроизводства. «Царь за это на дыбу вздернет!» — погрозил он надсмотрщику.

В магистрате — два бургомистра: Пушников и Олисов и три ратмана (члены ратуши или магистрата). Здесь дела были как нельзя лучше. Все в порядке. Купцы «не подгадили». Дальше Волынский осмотрел таможенную, кабацкую контору и конскую избу. Здесь также орудовали купцы-бургомистры, а в помощь им для сбора налогов существовали целовальники<sup>1</sup>. Дело шло превосходно.

Волынский, по совету Питирима, велел выгнать со службы двадцать человек рассыльщиков. На Нижний по всем учреждениям их было сто, — епископ нашел, что это слишком много. Государь, просматривая списки, за «такое многолюдие» не похвалит.

На углах и на церквях Волынский вывесил объявление, извещавшее о скором приезде царя, и выпуску из закона, где между прочим, говорилось:

«Чтобы никакого чина люди о делах, принадлежащих до расправы на то учрежденного правительства, отнюдь самому его величеству прошения своего не подавали, а кто свыше указу дерзнет неосмотрительно учинить, то за объявленным сим указом имеют наказаны быть: из знатных людей лишением чина или имения, а другие из нижнего чина и подлые наказанием жестоким».

. . . . .

Нижний готовился встречать царя.

На посаде народ притих. Кабаки стали пустовать, а кто заходил в них, был задумчив и немногословен. В церквях многолюдство, усердие и смирение богомольцев возбуждало попов, и они со слезою умиления оглушительно выкрикивали молитву за царя. Весь храм разом грохался на колени и замирал в одном долгом беззвучном земном поклоне. Даже дети становились безгласными, когда старшие, дергая их, шептали в ухо слово «царь».

Питирим целиком погрузился в школьное дело.

В его эллино-греческой и славяно-русской школе шли весенние испытания учеников. Царское предписание, разосланное епископом по губернии, чтобы испытания были «жестокими и опасными», Питирим осуществлял со

---

<sup>1</sup> Целовальники — выборные должностные люди. Слово это произошло от «целования креста» в том, что служба будет выполняться честно. Они делились на «таможенных», «земских», «кабацких» и т. п.

многим усердием, а теперь, зная о приезде царя, он с особою строгостию занялся этим делом. Сам лично проверял знания учеников по русской и греческой грамматике, по «цыфири», по письму скорописному и уставному, но строже всего он «пытал» учеников по церковной и гражданской «политике». Царь мог проверить знания учеников по этому разделу, ибо в последнее время не раз обращал внимание духовных властей на предмет «политики».

Дела школы теперь вообще поправились: больше стало учеников, меньше беглецов. В половине марта 1721 года в архиерейский дом удалось «завезти» из разных поповских семей до 200 детей. Однако, когда «разобрали» их, оказались годными в эллино-греческую школу всего лишь 20 человек, а в школу славяно-российскую — 31 человек. В первую набирались мальчики, «хотя и при малом возрасте» (ниже двенадцати лет), но умевшие хорошо читать и обладавшие острой памятью. Во вторую — не особенно хорошо читавшие и не обладавшие хорошою памятью, но в возрасте старше двенадцати лет. 140 мальчиков, «отобранных у отцов», были совсем неграмотными. Для них Питирим по своему усмотрению открыл школу «букварную», где школьники «под строгим наблюдением» зубрили по букварю Феофана Прокоповича буквы и слоги, «заповеди блаженства» — по руководству новгородского иподиакона Федора Максимовича, а греческий язык — по руководству знаменитых братьев Лихудов.

«Ради наивысшей твердости обучения», за обыкновенную школьную шалость впервые делался словесный выговор, вторично — производилась порка шелепами в присутствии товарищей, затем драли «с усилением» плетью и сажали в карцер. Беглецов после поимки ковали в кандалы и доставляли в Духовную консисторию. В помощь учителям из среды школьников назначались десятники, пятидесятники и сотники и надо всеми — староста. Они должны были следить за товарищами и обо всем замеченном и слышанном докладывать епископу непосредственно.

Теперь, в канун царского приезда в Нижний, Питирим открыл занятия в трех вновь выстроенных в кремле каменных школьных домах. Небольшие, но уютные, сверкавшие на солнце белизною своих стен, домики выросли на пустыре вдоль простенка между Дмитровскими и Кремлев-

скими воротами. Раньше здесь бродили бездомные собаки и спали пищие, а теперь были чистота и порядок.

Ученики делали в науках большие успехи. Довольный этим епископ распорядился:

«...дабы не было роптания от родителей учеников за великий оных кошт на учителя и на покупание книг, тако ж и на пропитание сынов своих, далече от дому своего учащихся, ученики должны быть и кормлены и учены туне и на готовых книгах епископских. А монастыри знатнейшие должны отчислять на оное 20-ую, а церкви, наделенные землею, 30-ую часть приплодного хлеба...»

## II

— Ой, болезные! Ой, миляги несчастные! Ох, сердешные, богом обиженные!—глотая обильные слезы, шамкала старуха-нищая на окской набережной, поглядывая на гвардейцев, расположившихся бивуаком вдоль берега в ожидании царя.

— Ты чего тут хрюкаешь, убогая?—подошел к ней унтер.

— Да как же, батюшка! Солдатушек жалко!

— Ружье да ранец, бабушка, не тяга, а крылья.

— Крылья-то у ангелов у одних остались ноне. У чело-  
веков крылья срезаны. Человек днем скоком скачет, а ночью плачет... Вот что, батюшка, а теперича и завовсе...

Унтер ухмыльнулся, отошел.

К старухе из толпы подкатился какой-то чернец. Глаза бегают. Сам ежится. Бороденка рыжая, неровная.

— О чем, бабушка, с начальником-то?

Старуха сморщилась, всхлипнула. Чернец услужливо вытер ей рукавом слезы.

— Чего горюешь, честная девственница?—не то со смехом, не то удивленно спросил чернец.

— Царь к нам едет!—шепнула старуха чернецу.

Чернец задумался. Мягко, по-кошачьи ступая, подошел еще человек: высокий, черный, курчавый. Старуха, и та заметила, что он красивый.

— Чего говорил унтер-то?—спросил он ее.

— А я и не поняла!—наивно ответила старушка.— А ты кто такой, батюшка, будешь?



— Лошадиный барин, капрал жеребчий.

И, немного подумав, спросил:

— Знаешь ли Филиппа Рыхлого?

— Коли не знать, батюшка! Известный скорпиён.

— Лошадь я вчера увел у него, вот кто я.

— Так, так, поняла, поняла!— улыбнулась старуха.—

Подай, батюшка, на радости божьей страннице! Бог тебе пошлет еще...

Курчавый подмигнул чернецу:

— Выдай.

Чернец извлек из рясы деньги.

— Вот тебе за твои душеполезные речи. Помолись богу, чтобы он помог мне теперь жену увести у Фильки у сопливого.

Старуха усердно перекрестилась:

— Пошли тебе, господи всевышний! Господи, помилуй, господи, помилуй! Мало стало хороших людей!

Курчавый и чернец рассмеялись.

— Я ведь не такой прелюбодей, как Питирим... Спал с овчинниковской девкой, а потом пытал ее и порол... С бабой нельзя так, не полагается. Интересу нет, без ласки. Простота не везде нужна.

Старуха заплакала.

— Ты о чем?

— Знала я ее, Лизаветушку-то, царство ей теперича небесное! Замучили они ее, окальные. И отца ее, подлогу, знаю... И братьев.— И махнула рукой.— Что уж говорить! Подай, родимый. За ее душу молитву возносить буду...

— Отец Карп, выдай еще...

Чернец, покосившись на приятеля, сунул в руку старухи «крестовик».

— Голубиная радость, молитвы извергающая! Помолись тогда и за раба божьего Софрона... Жить ему долгие годы чтобы, и побольше вредных людишек ему убивать чтобы; а еще помолись за раба божьего Сыча... Мысля сбылась его чтобы...

Старуха перекрестилась на кунавинскую церковь, выглядывавшую из рощи по ту сторону Оки. Черный курчавый молодец перевел взгляд в сторону окского надгорья, по которому спускались полицейские ярыжки.

— Идем!— дернул он чернеца за рукав.

— Куда же мы теперь с тобой толкнемся?— вздохнул отец Карп.

— Эх-эх ты, приятель! Мало места на земле?— засмеялся бородач, обнажив сильные, белые зубы.

Ярыжки торопливо, обливаясь потом, спускались по горе к набережной. И не успела старушка оглянуться, как ее собеседники уже исчезли, словно сквозь землю провалились.

. . . . .

В этот день, 26 мая, утро было серое, облачное. Дул верховой ветер—волногон, выбивая пенистые гребни на взгорья. Вода звенела, шлепаясь о камни, шелестела в травах; далеко разносился ее шум.

Вверху, там, на посадке, ветер рвал в клочья колокольный перезвон. Улицы в городе опустели, вымерли, зато по берегу, в кустарниках, между ларей и в проулочках между домишек, а также и у заборов набились всякого звания люди. Это — особенно любопытные из посадской мелкоты, решившиеся во что бы то ни стало рискнуть на прогулку для смотрения царя.

Но и у этих сердце упало, когда с кремлевской стены ухнули пушки, а в ответ им откуда-то издалека, из-за бугров, с Оки, пушечным же грохотом с еще большею силою огрызнулся кто-то громадный, жуткий...

Чайки испуганно заметались в сером воздухе, ложась на воду с вывертами, будто подстреленные. Зеваки до того перетрусили, что не могли даже пошевелинуть рукой чтобы перекреститься.

«Царь!»

Половодье стерло устье Оки. Перед глазами простор. Целое море беспокойной, волнующейся воды. И не разберешь: где Ока, где Волга, а над этим морем — муть серого необъятного пространства. В этой мгле тщетно искать разгадки совершающегося: серо, мертво, пустынно.

Опять грохнуло, да так, что берег дрогнул и колокола церковные поперхнулись.словно земля дала трещину или лопнули небеса, исторгнув из себя планеты огнедышащие.

К пристани, по съезду у Похвалы, в кибитках сползали власти посадские и нижегородское купечество. Маленькие, черные возки и лошади трепыхались по суглинку, похожие на встревоженных муравьев, спешно сползающих со своей муравьиной кучи.

Тут же тащился и рыдван Филиппа Павлыча Рыхловского, также приглашенного вице-губернатором для встречи царя. Филипп Павлыч был в премномом расстройстве —

лучшего коня, которого он купил к царскому приезду, будучи еще в Арзамасе, в ночь на сегодня кто-то увел из конюшни. Все зубы вышиб Филипп своему конюху, а легче от этого никому не стало. Конь — как в воду канул. Рыдван теперь тащила белая, грязная лошаденка, невзрачная, худая — «хуже всех». А пристало ли ему, заводчику, крупнейшему овчару и металлургу Филиппу Рыхловскому, тащиться встречать царя «на таком одре», как он всердцах назвал своего коня.

«Эх-эх! — думал про себя желчно настроенный Филипп. — Как был ты Филей-простофилей, так и остался ты им и теперь. Кто что сумеет, все тащат у тебя, всем хочется пожить твоим добром!»

И сделалось ему горько, обидно и совестно за себя, за свою супругу, Стефаниду Яковлевну, и за своего сынишку, младенца Петра...

«Ну, подожди же! — потный и злой, мысленно грозил он кому-то. — Я вам докажу!»

На берегу и на пристани, куда приполз на своей кляче Филипп, собралась уже вся знать. Впереди всех расположилось в ярких парчевых ризах духовенство, возглавляемое епископом. Позади духовенства — надутые, расфуфыренные военачальники и полицейские офицеры. Позади их — городовое и вотчинное дворянство, а около пристани по берегу — бородастая и пузатая гостиная сотня. Сюда же, конечно, примкнул и Филипп Павлыч (брюшко стало отрастать и у него). Поздоровался чинно со знакомыми одногильдейными гостями и стал рядом с Пушкиновым.

За купцами по всему берегу по пути царского следования в город вытянулись шпалерами солдаты посадского гарнизона.

В толпе дворян и военных на пристани выделялся какой-то нарядный, в малиновом камзоле, молодой человек. Он был не по-нижегородски юркий и разговорчивее всех. И держится как-то просто, свободно. Сразу видно, что не здешний. Пушкинов сообщил по секрету Филиппу Павлычу, что это именно тот и есть, посланный Петром в Нижний, интендант Потемкин, который секретно готовит здесь потребные для царева войска суда, а также и провиант, и для которого на днях Питирим собирал среди купцов деньги. «Вот они отчего простые-то!»

Пушкинов подмигнул Филиппу и вздохнул. Вздохнул и Филька. Поняли друг друга.

### III

В двенадцатом часу пополудни прогремел третий гром, самый близкий, самый потрясающий. Поколебалась земля, а с нею и пристань. Зашумели деревья, взметнулась пыль на съезде. Кони шарахнулись прочь от берега, заржали. Люди столпились в кучи, озираясь пугливо: «Что такое творится? Не света ли преставление?»

Кремль ответил тотчас же всеми своими тринадцатью пушками и многими пищалами. Звонари бешено бухнули в колокола. Загудели гудом жалобным верхнепосадские приземистые дерквы, напыжились, будто крепостные холопья-гудошники у барина на пиру.

Встречающие царя на пристани пришли в беспокойное движение. Встрепенулось и сонное вотчинное дворянство, понаехавшее из воеводств; зашевелились парчевые конусы поповских риз. Рука епископа с крестом, поднятая вверх, замерла над головами.

И вдруг в мутной, желтоватой дали Оки Филипп увидел темные, величественные громады кораблей. Все стихло.

Первыми шли неуклюжие великаны — «насады», заблаговременно сооруженные на москворецкой верфи для хода по Волге, с высоко поднятыми наделанными бортами. Грациозно покачивались за ними морские, с резными украшениями, галиоты. Дальше следовали острые черные шуйты и, наконец, эверсы. Небо закрыл целый лес мачт с пышными надутыми парусами.

Двигались суда быстро и величественно при попутном верховом ветре, слегка покачиваясь.

...Корабли приближались. Вокруг них шло множество лодок, называемых «островскими» (они служили солдатам в Балтийском море для сообщения между островами). На лодках можно было видеть людей в зеленых и синих мундирах с красными отворотами. Лодок было так много и так пестро от них стало на воде, что не представлялось возможным разобрать даже, кто в них сидит.

Филька смотрел на все это и с тревогою думал: что сулит ему прибытие царя? Пушкинов, Олисов и другие гости первогильдейной сотни охвачены были приблизительно такими же мыслями, а Волынский, у которого зуб на зуб не попадал от волнения, бессмысленно бормотал про себя разные несуществующие молитвы. Епископ был

серьезен и спокоен. Он с интересом рассматривал приближавшиеся лодки, ища в них императора.

Но вот подошла первая лодка, и из нее выскочило на помост пристани несколько офицеров Преображенского полка. Во второй лодке пристали царский лекарь, духовник, протоиерей и другие клирики. Наконец, в одном большом струге, называемом «москворецким», все увидели высокую, немного сутулую, в зеленом мундире фигуру Петра.

Епископ размашисто осенил крестом замеченного им царя. Шапки, словно бабочки, вспорхнули над головами.

Залп, которым корабли извещали нижегородцев о прибытии царя, и ответный салют кремлевской артиллерии окончательно свели на нет всякую живую тварь в Нижнем-Ново-Граде, лишили способности мыслить мирного, привыкшего к тишине обывателя. Попы и диаконы, однако, под гневные взгляды епископа, набрались духа и запели:

Ныне силы небесные с нами невидимо служат,  
Се бо входит царь славы...

Корабли окутались густым облаком дыма. Белые, душлимые комки его липли к воде, обвивались вокруг рей и бугшпритов. В берега ударили большие волны, поднялся небывалый водоплеск. Пристанские канаты со скрипом потянулись — того и гляди лопнут. Да и сама пристань заколыхалась так, что все стали хвататься друг за друга, чтобы не упасть. Пение духовенства смешалось с гулом реки. Послышалась команда многих голосов. Лошади на берегу пришли в бешенство, расстроив ряды конных драгун.

Царский флот входил в Волгу.

Филька увидел громадную курчавую голову над толпой, заполнявшей пристань. «Он!» — подумал Филька и почему-то заплакал. Нищие и убогие бросились без оглядки бежать прочь от пристани, ковыляя на костылях. Будто спасались от кого-то, но никто за ними и не думал гнаться. Ярыжки и сами-то от страха не знали, куда деваться, жались друг к другу, щелкая зубами, как затравленные волки.

Попы вдруг замолчали, и стало как-то спокойнее. Филька не сводил глаз с этой выпиравшей из толпы головы и вздрогнул, когда на ней вдруг появилась громадная треуголка. И ничего особенного в этом нет, а ему стало жутко. И как это он мог думать так дерзко и непокорно?

«Ой, ой, ой? Спаси господи и сохрани!» И таким мелким, ничтожным представился он сам себе, вместе со своею Степанидою и сыном Петром, и вместе со своею гильдией и заводами, а уж что там говорить о прошлом — о раскольниках, расколуучителях, разбойниках, беглых монахах?!. «Ой, ой, каким я дураком был! Дай бог, чтобы дарь не узнал об этом!» И Филька незаметно сунул руку за пазуху и сделал там двуперстно несколько крестных знамений: «Господи, господи, прости меня!»

. . . . .

Первым долгом дарь выслушал доклад вице-губернатора и интенданта Потемкина. Он пожелал сию же минуту по своем прибытии осмотреть приготовленные в Нижнем суда для перевозки войска в Персию. Отправив дарицу в строгановский дом, находившийся тут же, на Рождественской набережной, Петр сел с Волынским и Потемкиным в лодку и объехал эти суда, подробно знакомясь с ними. Среди них он нашел несколько судов, неисправно сделанных в Твери. Тут же, на пристани, Петр дал строгий приказ написать генерал-адмиралу, не прибывшему еще в Нижний, «чтобы велел он справиться, кто их делал?».

После этого царь распорядился погрузить на приготовленные суда все привезенное из Москвы, а сам пешком, окруженный военными, дворянством, духовенством и купцами, двинулся к дому Строганова. По дороге с любопытством оглядывал окрестности, иногда останавливался и, показывая пальцем на тот или иной дом, спрашивал о чем-то, низко наклоняясь, у Волынского.

Перед строгановской церковью «Рождества» Петр снял треуголку и набожно помолился. И затем долго рассматривал храм, покачивая с довольной улыбкой головою. Позвал Григория Дмитриевича Строганова, похлопал его по плечу, похвалив за церковную его рачительность. А человеку только этого и надо было — возрадовался зело Строганов: в душе-то он был, как и многие купцы, приверженец «старой веры». Чем больше люди любят на храм, тем лучше, меньше подозрений со стороны властей.

Филька смотрел на эту картину из-за спины одного офицера, боясь попасться на глаза царю, хотя и без него тут народу было немало, и думал: «Не рассказал бы Строганов, что я лазил на колокольню и что хотел улететь из Российского государства».

Строганов устроил в своих каменных хоромах позади этой церкви такое угощение для царя и его супруги да для дворян с духовенством и для купечества, что Филипп от одного только взгляда на убранство столов уже почувствовал себя сытым.

По правую руку царя посажен был епископ Питирим, по левую расположилась царица Екатерина, с улыбкою рассматривавшая окружающих. Во время еды Петр тихо вел беседу с Питиримом. Он подробно расспрашивал епископа о положении дела с расколом. Питирим рассказал царю о том, какую великую пользу принесла в борьбе с керженскими «возмутителями» казнь диакона Александра, рассказал об упорстве этого расколоучителя, о том, что он так и умер, не раскаявшись. Рассказал и о том, каким ореолом жестокосердия окружено имя его, епископа.

Петр тихо заметил на это:

— Упорства много в людях, и тем паче сокрушительнее должна быть власть. Вам известно, сколько я со времени моего царствования учинил наказаний и koliko достопамятнейший в рассуждении другого подал вам пример употребления власти, данные мне от бога... В чем я находил правду и чего безопасность моего народа и благосостояние моего государства требовали,—я презирал все могущие быть в свете рассуждения относительно строгости моей в наблюдении правды.

И потом, передернувшись, более громко, чтобы слышали все, сказал:

— Вы видели, господа, что наказал я преступление сына моего, который по несчастию был более неблагоприятен и зол, нежели бы кто надеяться мог, а равно и злодеяние тех, кто имели в преступлениях его участие... Я надеюсь, что тем утвердил я главное мое дело, могущее учинить народ наш российский сильным и страшным, а земли мои благополучными.

И, обведя тяжелым взглядом своих выпуклых глаз собравшихся, добавил:

— Ныне строгостию и благостию своею хочу я обозреть провинции моего государства и проверить тех, коим я в губерниях моих подданных вверяю, и наказать тех, кто власть свою во зло употребили, подданных моих утеснили и потом, кровию их обогащать себя дерзуют... И понеже мои подданные в настоящем нашем праведном походе принуждены мне помогать людьми и провиантом, то

тем и заслужили у меня наисильнейшее защищение противу оных кровопийцев.

Полное, широкое лицо Петра нахмурилось. Все притихли. Епископ, смело приподнявшись, обратился к царю:

— Можно ли себе представить, коликое чувство благодарности в сердцах каждого из слушателей рождает сия гневная речь вашего мудрого величества. Да будет нерушимой стеною нашей преданности и верности ограждено царское лицо твое. «Господь сил, сокрушай брани мышцею высокою, бысть тебе столп крепости от лица вражия».

Все присутствовавшие встали с своих мест, как один, и низко поклонились сначала царю, а потом царице.

Петр сидел, задумавшись. В глубокой тишине вновь раздался его голос:

— Берите пример с великого мужа, родившегося в здешнем граде, с Кузьмы Минина... Потомство никогда не забудет его преданности родине. Он спас Русь от порабощения... Помните о нем всегда и берегите его гробницу...

Филька оживился. «Эге!— подумал он.— А кто первый пошел на призыв царя и завел в Нижнем овчарное производство? А кто перековал столько вредного для царской власти народа?»

И показалось ему, что если царю укажут на него и доложат о его, филькиных, подвигах во славу петрова владычества, то царь обнимет и поцелует его и скажет всему народу: «Вот у вас тут новый объявился Минин, у вас под носом, а вы его не видите и не оценили по настоящему. Что вы за люди?!» И всех укорит, а его осыпет наградами.

Эти размышления приободрили Фильку, и он немного высунулся вперед, и в ответ на улыбку царицы, смотревшей, как ему казалось, на него, он смиренно потупил очи, стараясь выразить на своем лице преданность престолу...

Сожалел он в душе только об одном теперь. О том, что ему не видно своего лица—удается ли выразить на нем то, что хочется, и не заметно ли, что он, Филька, был раньше расколыщиком и помогал...

«Нет, нет! Лучше не думать, а то узнают!..»

Филька оборвал течение мыслей, сделав лицо еще скромнее и счастливее.

Петр расспрашивал Волынского: сохранился ли в Нижнем кто-либо из рода Мининых, и узнав, что никого не



осталось, выразил свое по этому поводу сожаление. То же самое высказала и царица.

— Однако, надобно будет нам всем помолиться у гробницы сего великого мужа, коему все мы обязаны нашим благополучием. И не может быть того, чтобы когда-либо имя сего героя было забыто на нашей земле! Ибо оно есть знак непобедимости родины нашей.

Сказав это, Петр поднялся и помолился. Точно по команде поднялись и все присутствующие и тоже перекрестились.

После обеда Петр верхом, окруженный нижегородскими властями и генералами, поехал осматривать город.

#### IV

Филька встречал царя, а Степанида пекла сладкие пироги и крендели; ее сынишка ползал тут же на большом ковре; она поминутно оглядывалась и покрикивала на свою «радость».

И вот вдруг дверь отворилась, а на пороге появился цыган Сыч. Руки опустились от неожиданности и страха у Степаниды Яковлевны. Она смотрела на него и не могла слова вымолвить,— на языке вертелось одно: «Уходи! Зачем пришел?» А сказать не было сил.

Цыган Сыч мягко, вежливо вошел в горницу и без приглашения сел на скамью.

— Не ждала, как видится?

— Я тебя и в живых-то не считала, а не токмо что... а ты вот, оказывается, ишь! — сказала она с какою-то досадою, отвернувшись от гостя. Сыч улыбнулся, заиграл белками:

— Не одним купцам небо копитить, небось, и нашему брату хочется.

А потом перевел взгляд на ребенка.

— И-их, какой алашка-букашка! Чей это?

Степанида вспыхнула:

— Мой.

— Э-эх ты,—вздыхнул цыган, оглядывая с ног до головы Степаниду и качая головой.

— А ты уходи,—всполошилась она,— а то, пожалуй, Филька придет, да пристав Кузьма Петрович с ним, да Пушкиков — нехорошо будет...

— Не бойся... За царем бегают они по гордоду, как на собачьей свадьбе.

— Но могут соседи увидать... Уходи.

Сыч опять вздохнул, не спуская с нее грустного взгляда.

— Я пришел увести тебя с собой...

— Куда?!

— Мало ли места в нашем царстве-государстве?

— Я — жена... Венчанная теперь.

— А это не беда... Поп и у меня найдется. Какую хочешь службу тебе отслужит, а супружествовать не хуже Фильки буду... Была бы ноченька светла да месячна, были бы мысли соколиные да конь лихой.

И подошел к Степаниде. Хотел ее обнять, а она отскочила, лицо ее стало испуганным:

— Что ты! Что ты! Я жена живого мужа... И притом же: грех! Обманывать нельзя, да и дитя смотрит на нас...

— А я уберу его,— нагнулся Сыч, чтобы взять ребенка и унести в соседнюю горницу.

Степанида бурею сорвалась с места и, схватив цыгана за плечи, с силою оттолкнула его в сторону.

— Ого! — сказал он. — Ты такая же сильная. А душа стала у тебя овечья...

Петюшка смотрел на «дядю» большими черными глазами, в бахrome крупных ресниц, с любопытством. Улыбнулся. Обнажив сильные, белые зубы свои, добродушно улыбнулся и цыган.

— Не узнаешь? — потрепал Сыч весело Петюшку за подбородок. У Степаниды навернулись слезы.

— Он маленький, — сказала она растроганно.

Сыч остановил долгий, пристальный взгляд на ней.

— Не хочешь с ним расставаться? — спросил он Степаниду, указывая на мальчика.

— Да.

— Мы и его захватим с собой...

— Зачем мучаешь меня? Что я тебе сделала плохого? — заплакала Степанида.

Лицо Сыча было озабоченным. Он обнял жонку, стал утешать:

— Голубиная радость моя! Лебедь белокрылая моя, лебедушка! Не плачь, не тужи, Яковлевна... Замучил тебя аспид твой Сухарь Сухаревич, первой гильдии свиная

хари. Скажи слово — и убью я его, гада эдакого, и зарю тут же, под его хоромами, подлого.

Степанида вырвалась из объятий Сыча, подхватив с пола сынишку, и побежала в соседнюю комнату.

— Куда, куда ты, голубиная моя радость! — рванулся цыган за ней.

— Уйди! — завизжала она, а лицо ее стало таким злым и противным, что у Сыча невольно мелькнула мысль: «Ужели это Степанида?!»

Он остановился посреди комнаты на ковре, растерянно поглаживая курчавую голову.

— Что же теперь ты — за человека меня, выходит, не считаешь? — обиженно спросил он.

Степанида сидела надутая, прижав к себе крепко своего сына, точно кто-то собирался его отнять у нее.

— Ты чего же испугалась? — продолжал цыган. — Взгляни на мальчишку... Не могут же от рыжей лисы родиться чернобурые щенята?

— Не твое дело! — огрызнулась Степанида.

— Как же так не мое дело? — ухмыльнулся двусмысленно цыган. — Не поверю я, чтобы забыла ты нашу тайную любовь с тобою.

— Никакой любви и не было.

— Гляди! — цыган, играя белками, показал перстом на мальчика.

— Это — сын Филиппа.

— Мой! — уверенно сказал цыган. — Смотри!

— Твоего тут ничего нет. Все наше!

Глаза цыгана Сыча сверкнули негодованием, ноздри зашевелились.

— Не ваше, а мужицкое... Твой Филька — вор из воров и предатель хуже Иуды, чтобы его черти копытом на том свете затоптали. А ты...

Сыч не договорил. Его взгляд опять смягчился:

— Слушай, мой цветок алый, мною же сорванный и к сердцу накрепко приколотый! Никогда я женщину никакую не обижаю... Убей меня, повесь, зарежь, а женщину я не трону пальцем против ее воли, отказу мне и так же не бывает... Господь не забывает меня... Дает утешения...

— Я не боюсь тебя. Попробуй, полезь! — грубо сказала Степанида, погрозив ему кулаком.

— А у меня есть вот что... Не пугай! — Сыч показал из-под полы пистоль, а из-за пазухи страшное лезвие. — Однако, я и тогда не трону тебя... Не для тебя такие подарки. Да и сынка жаль. С кем он останется?

— Уйди, говорю! — замахала на него руками Степанида. — Дура была я! Дура! Каюсы! Каждый день молюсь богу, чтобы простил меня... Насотворила много я перед богом прегрешений. Наплутано мною и перед царем и перед людьми немало. Гадкая я! Грязная!..

И опять заплакала.

Цыган сконфуженно огляделся кругом, не зная, что ему теперь делать.

— Не плачь, — успокоил он, — я уйду. А теперь послушай только, радость, меня. Из степей к тебе пришел я... С понизовья. Софрон поклон прислал тебе. Жив он и здоров... Подымает народ... Полюбили его казаки и степные кочевники. Милая моя, бунт готовится против царя... Уйдем в степи! За правду и помереть любо.

Степанида насторожилась.

— Бунт?!

— Да.

— А где же Софрон? В точности?

— Не скажу.

— Почему?

— Лишнее. Однако, прощай! Разлюбила? Не поминай тогда лихом. Насильно мил не будешь... Разные дороги у нас теперь...

Она быстро посадила ребенка на пол, метнулась за Сычом.

— А тут не будет бунта? — озабоченно спросила она, ухватив его за рукав. — Скажи!

— Везде, лебедь моя, будет. Прощай!.. Народ постоит за себя...

Хотела она его о чем-то еще спросить, но того уже и след простыл. Степанида вернулась к ребенку, прижимая его к груди. В глазах ее разрастался ужас.

## У

В своем каменном двухэтажном доме, вблизи Похвалинских оврагов, бургомистр Пушников вечером в день приезда царя устроил пир. Лучший дом воздвиг себе

Пушников на посадке; и куда же было пригласить купечеству царя, как не в этот именно дом<sup>1</sup>.

Царь вызвал с галюты команду трубачей и флейтистов — они огласили окрестности таким густым трубным звуком, что старые люди подумали: не архангел ли то Гавриил сошел с неба и трубит, надрывается, извещаая о скончании века, согласно библии? Однако, на небе ничего такого не оказалось. Но кто моложе, тот успокаивал, говоря:

— Коли царь приехал, всего жди! И ничему не удивляйся!

А царь игрою трубачей не удовольствовался: сам трубить принялся. Щеки его, и без того пухлые, вздулись еще больше, усы заострились, глаза, того и гляди, вылезут и поползут по трубе... «С нами крестная сила!» — жались от изумления и страха торговые люди друг к другу, а царица Екатерина сидит себе спокойно, будто с ее мужем ничего и не происходит.

В близлежащих переулках и улочках набились посадские зеваки, глазели в сторону бургомистровского дома. Когда стемнело, вокруг пушниковского жилища зажгли масло в плошках. Петр вышел на волю с самим хозяином и Волынским, отдуваясь: в доме стало слишком жарко; от вина, от шума разгорячился народ. Вышел царь и сапогом сшиб в овраг горящую плошку: «зело паскудное украшение».

А через несколько минут явились матросы, вызванные Потемкиным с корабля, начали пускать ракеты. По небу пробегали огненные змейки и с треском и хлопаньем осыпались золотистой пылью вниз на Нижний-Нов-Град. За ними побежали, обгоняя один другого, синие, зеленые, голубые шары, взрывались вверху и облетали разноцветными ленточками. Жутко было смотреть «православным христианам» на эту почную «огненную потеху».

Но и тут не угодили царю: засучив рукава камзола, он вмешался в работу матросов и стал руководить фейерверком.

Со свистом и грохотом под небом бешено зашныряли бесчисленные, всевозможных цветов и всевозможной формы, ракеты; некоторые, делая полукруг, лопались, как бомбы, оглашая тихий ночной воздух на многие версты кругом. Они, казалось, сталкиваются там, в вышине, цеп-

---

<sup>1</sup> Дом этот существует и поныне в г. Горьком на улице Гоголя.

ляются одна за другую, сплетаются хвостами и тают в этой отчаянной схватке, с злобным хохотом и шипеньем.

Петр смотрел вверх с веселой улыбкой.

«Дай бог дожить бы до утра!» — усердно молились обыватели, поглядывая на огненных «змиев, пияющих небо».

Сами купцы, хотя и подгуляли, хотя и видели, как все это продельвается у них же на глазах, но тоже малость струхнули — поглядывали на овраг, чтобы, в случае чего, нырнуть в него, спрятаться в земляных норах Похвалинского ската.

От дара это не укрылось. Он навел какую-то трубу на бородатых, зажег ее и всех купцов осыпал вихрями золотистых огненных звездочек. Почтенные шарахнулись в стороны.

Царь хохотал от души, смеялась и дарида, сидевшая во втором ярусе в окне дома Пушкикова.

Один Филька Рыхлый никуда не побежал, а просто-напросто упал на колени и принялся усердно кланяться дарю.

Петру это понравилось. Подошел.

— Имя?

— Филипп Рыхлый.

— Что делаешь?

— Овчар и железник...

Царь обернулся к стоявшему позади него князю Гагарину:

— Запиши.

В этот вечер Петр был очень весел и разговорчив. Между прочим, наслушавшись рассказов о разбойниках, которые по Волге грабили купеческие суда, дал приказ тут же за столом, чтобы на торговых судах, ходящих по Волге и Оке, работные люди и бурлаки, поступая на работу к купцам, обязывались условием оборонять хозяев судов и всяких чинов людей от врагов и разбойников, и «не токмо до смертного убийства, но и до грабежа не допускать. И о том в наемных письмах, именно, изображать. А равно и на сухом пути извозчикам и ямщикам по сему же поступать. И буде по таким письмам, где от хозяев их, или от кого другого, в такой необороне будет челобитье, таковых судить и по суду чинить им по указам».

Пушкинов во всеуслышание объявил «о мудрой воле государя вседержителя, великого покровителя чинов мануфактурии и торговых и промысленных».

Подвыпившие купцы слушали бургомистра и крестились,

подергивая плечами, подсмаркивались от неловкости и незнания, как им благодарить царя. А дело-то, действительно, важное: матросы и бурлаки на купеческих судах при нападении разбойников обычно сидят сложа руки, как будто их это и не касается: «грабят, мол, и ладно! Не наше, хозяйское, туда-де ему и дорога!» И разбойники с ними тоже не как с купцами, — запросто, будто такие же, одинаковые, люди: что разбойник, что работный человек, что бурлак. А это всегда было обидно купечеству. Прямо хоть не ходи с товарами по водам! А теперь... за это казнить будут. «Бей разбойника, голубчик, как своего врага! Душу сложи за купеческое добро! Шалишь! Отошло ваше время! Царь шутить не будет. Чем купец удачливее, тем и его холопьям будет лучше. Купец не обидит. Были бы преданы ему бурлаки да работный люд, дорожили бы его добром больше своей жизни, а остальное все приложится. В этом — вся соль. Да и бунтов, да и вольницы от сего приказа поубавится. Кругом польза». Так прикинули мозгами наскоро выслушавшие Пушникова купцы.

После того как их осыпал царь огненными необжигающими звездочками, они между собою говорили о том, что Питирим сегодня утром Пушникову сказывал, будто завтра исполняется пятьдесят лет отроду Петру Алексеевичу, и что надо, в виду этого, поднести подарок ему наиболее ценный и наиболее полезный, чтобы запомнил он навсегда о нижегородском купечестве, не забывал бы его и помогал бы ему.

Пиршество у Пушникова продолжалось до полночи. По окончании же двинулись купцы провожать Петра и Екатерину на Нижний посад, в строгановский дом, где остановился царь. Все до единого купцы нижегородские окружили царя и его жену плотным кольцом, как бы охраняя их от всяких бед и врагов; так и двигались — медленно и торжественно: царь и купцы.

Ночь была темная. С горы виднелись рыбацьи огни на Волге. Пели соловьи в кустарниках. Весело было на душе.

## VI

Дни петрова пребывания в Нижнем причинили немало беспокойства посадским властям (кроме одного епископа Питирима).

На другой же день после пира у Пушкикова Петр выразил желание побеседовать с Птитиримом о делах церковных. Простояв обедню в Спасо-Преображенском соборе, отправился он в архиерейские покои «кушать хлеба у епископа с боярами, князьями и христолюбивым воинством», то есть с некоторыми из приближенных к нему генералов.

Епископ службы в этот день не совершал. Предоставил ее худому, печальному и какому-то очень благочестивому протоиерею — Алексею Васильеву. Поп выходил из царских дверей, закатывая глаза к небу, и скорбным, дрожащим голосом произносил полагаемые по чину молитвы. И ухитрился ни разу не взглянуть ни на царя, ни на царицу, чем, как оказалось потом, и угодил Петру. «Вижу пастыря доброго и нелицеприятного».

Епископ улыбался, слушая царя. Он знал, кого назначить служить обедню, знал, кто из его протоиереев будет милей Петру. Скромность, без подобострастия, всегда нравилась и самому Птитириму в подчиненных ему полах.

— Дело пастырское имеет весь успех и плод, — говорил Птитирим своим клирикам, — только тогда, когда не токмо словом, но и личиною своею пастырь на сердца человеческие действует.

Царь был того же мнения. Подчиняясь царю, подчиняясь синоду, церковный служитель должен был в то же время вид иметь «независимый, службу творить непристрастно, но с прилежанием и токмо перед богом, дабы миряне видели его пастырскую рачительность за них, выше всего предстоящую».

Подхалимство поповское царь осудил и в Духовном регламенте: «они не токмо не полезны, — сказал он о подхалимах, — но и весьма вредны дружеству, отечеству и церкви; они перед властями смиряются, но лукаво, чтобы тем только украсть милость их и пролезть в степень чести...»

Нижегородские люди, а особенно купцы и еще особеннее — те из них, которые отрешились от раскола, с громадным вниманием и с превеликим любопытством наблюдали исподтишка за тем именно, как молятся «царь и его немка-царица». Оказалось, усерднее, терпеливее их и побожнее никто и не молился в соборе в эту обедню. Царь доказал, что власть Божию он видит над собою и преклоняется перед ней. А царица перешеголяла в мольбе самих нижегородских богомольниц.



И это было необычайно приятно посадским людям видеть, и необычайно приятно было им сознавать, что Петр — не такой «безбожник и хулитель славы божьей», как о нем люди рассказывают. «Может, и врут все про царя. Оклеветать, кого хочешь, возможно», — начинали думать про себя посадские, стукаясь теперь от всей души масляными лбами о каменный пол собора.

Стало быть, врут, ошибаются учителя раскола, говоря о том, что царь подчинил себе церковь и что взял он ее себе на службу для вящего укрепления своей власти, для закабаления народа при содействии церковной службы и ее служителей.

А приближенные к царю вельможи, приехавшие сюда из Питера, в душе дивились Петру: «не каждый сие сумеет». Они видели, какое посмеяние церкви у себя во дворцах царь производил в Москве и в Питере. Они были свидетелями «нощеденствий Всецельнейшего собора». Некоторые из них даже присутствовали на тризне по убиенном царевиче Алексее. Тут же пировали и примешанные к заговору его люди. Было великое нощеденствие, на котором, вместо покойного Никиты Зотова, выбирался новый князь-папа Петр Иванович Бутурлин, бывший «санкт-питербурхский митрополит». Всем памятно непередаваемое словами непристойное избрание «Бахусуподражательного отца» в Питербурхе, когда сам царь восклидал наподобие попа: «во имя всех пьяниц, во имя всех стеклянц, во имя всех дураков, во имя всех шутов...»

Теперь эти вельможи, поняв царя, также показывали провинциалам свою необычайную набожность. Клади усердно земные поклоны и тихо вслед за царем баском подпевали певчим.

Итак, поп угодил царю. Вышел приказ епископу наградить протоиерея Алексея Васильева «денежно».

В покоях епископа разговор шел о борьбе, которая велась епископом до сего времени с расколом. Питирим показал гостям громадные кипы «покаянных свидетельств» и прошений раскольников об обращении их в церковное православие.

Обхватив руками кипы бумаг, волокли их мимо гостей красные от натуги, потные и безликие, похожие один на другого, дьяки и подьячие Духовного приказа, во главе с дьяком Иваном. Затем проносили дьяки староверские книги и рукописи, вывезенные из скитов.

Дьяки и подьячие шли мимо стола медленно и торжественно, будто несут перед царем и епископом трупы умерщвленных врагов, а с ними и отбитое в боях у врагов оружие.

В глубокой тишине мерно и глухо стучали их сапоги.

Петр смотрел с довольным видом на эти трофеи. С таким же лицом, вероятно, провожал он после боя толпы плененных им шведов. А может быть, с таким же лицом осматривал в давние времена своего царствования и развешенных по кремлевским стенам стрельцов.

Когда дьяки скрылись в двери Духовного приказа, Петр сказал Питириму тихо:

— Ныне пред нами открыта нива церковная, не заросшая тернием суемудрия и суеверия, но чистыми словами, божиими семенами, обсеянная. Священному сану много дано, и не будет лишним, коли духовный сын откроет священнику на исповеди злое намерение на государя и на ставленных им людей заговор, измену и бунт, а священное лицо о том донесет куда следует... О таковой методе вы и получите от Синода дополнения к регламенту. Следите за оным строго. Исповедь—превеликое удобство в государевом деле.

После архиерейской трапезы Петр уединился с епископом и, восхваляя заслуги его, сказал, что победами никогда он своими не восхищался и что в Нижегородской епархии многое множество существует «разноплеменных язычников и мухаметан». Он назвал мордву, «черемисов», а также чувашей и татар.

«Разноречие и разноеверие не способствуют креплению державы». Об этом так же много думал и сам Питирим. И наедине сам с собой неоднократно разрабатывал он мысленно планы великого похода на иноверцев-язычников, подобного походу на керженских раскольников, о чем и поведал он тут же царю.

Петр одобрил мысли Питирима, «милостиво» похлопав его по плечу. После этого он многое расспрашивал о местных гражданских властях, о купцах и обывателях. Епископ обо всем рассказывал подробно, причем указывал на различные многих купцов в вопросах веры. Многие из них втайне до сих пор имеют склонность к расколу. Особенно строго он осудил вельможу, купца-солепромышленника Строганова, у которого в доме царь остановился. Есть свидетельства верных людей, что в подвале под церковью

«Рождества», «которою любовалось его величество», бывают тайные собрания «нераскаянных» раскольщиков. Так описал Строганова епископ.

Царь нахмурился. Лицо его передернулось. Он поблагодарил Питирима за то, что тот сказал ему всю правду о строгановской церкви.

После этого епископ сообщил об Олисове, о Пушникове и особенно похвально отзывался о Филиппе Рыхловском, бывшем раскольнике, но усердно ковавшем в кандалы всех раскольников и воров. Петру очень понравился рассказ Питирима о кузнеце.

Из архиерейского дома Петр отправился с генералитетом на берег Волги.

## VII

Тридцатое мая было днем великого торжества в Нижнем-Ново-Граде. Петр праздновал пятидесятилетнюю годовщину своей жизни. В этот же день праздновалось по церквам и пятистолетие существования самого Нижнего-Ново-Града, об основании коего у летописца сказано:

«...Древле низовскою землею владели идолопоклонники Мордва. Благочестивый великий князь, ныне духом в бозе, а нетленным телом своим в граде Владимире почивающий, Юрий Всеволодович Суздальский, дабы оградить владения свои от набегов оной Мордвы (и Булгар), заложил в 6720 году<sup>1</sup> на устье Оки-реки град и нарек имя ему Нижний-Нов-Град и постави в нем церковь во имя святого архистратига Михаила деревянную, а в 6726 году и каменну соборную».

Мордва противилась. Князь Юрий пролил кровь русскую и мордовскую и овладел Дятловыми горами для постройки города.

Этот день «достохвальной княжеской победы» и праздновала в Нижнем православная церковь, а с нею вместе и оказавшийся «чудесным образом», по выражению епископа, в Нижнем «царь славы, государь Петр Алексеевич», который также следовал для побед на Каспий.

В церквах приказано было попам, кстати, произносить молитву и о ниспослании победы русскому оружию «над

---

<sup>1</sup> 1221 год.

дерзостными грабителями и бунтовщиками, поднявшими меч свой против российских купцов и пограбившими богатство их».

Нижегородская первой гильдии сотня, ценя заботу царя о купечестве, о его благополучии, собрала крупную денежную сумму на расходы войны и молилась, как никогда, усердно и о здоровья царя, и о победе над врагами России, и о возвращении российским купцам разграбленного имущества, а заодно и о благополучном присоединении Кавказа «к землям державы российского императора».

Царь, сверкая глазами, взошел на амвон, и на весь Спасо-Преображенский собор начал читать громовым, ликующим голосом «послание к римлянам»:

— «...Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от бога. Существующие же власти от бога установлены!»

Генералы стояли с каменными лицами, следя за царем. В положенное время они крестились, чуть наклонив голову. Лишь в задних рядах, где стояли чины пониже, перешептывались и делились впечатлениями о туалетах царицы Екатерины и ее приближенных.

Голос царя стал грозным в том месте «послания», где говорилось: «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати начальникам платите, ибо они божии служители, сим самым постоянно занятые».

Подобно львиному рыку, гремело под сводами:

— «...отдавайте всякому должное: кому подать—подать; кому оброк—оброк; кому страх—страх; кому честь—честь!...»

Глаза Петра налились кровью, волосы слиплись на лбу от крайнего напряжения. Его слегка охрипший голос оглушительным гудом дрожал под куполом собора.

Богомолды притихли, замерли; их тела онемели от холода, которым вдруг наполнился собор.

Царица Екатерина стала беспокойно посматривать на Петра. Не случилось бы с ним припадка?

Но все обошлось благополучно. Царь, прочитав «послание», сошел с амвона и, тяжело отдуваясь, оглядел колено-преклоненных у его ног людей горящими от возбуждения глазами с видом победителя.

Богослужение совершал сам епископ, как всегда,

картинно, величественно держась перед народом со всею подобающею его сану церемонией. На нем была греческая, визанная жемчугом по вишневому бархату, митра. Все облачение его было атласное, вишневое же, обшитое золотой материей. Его высокий, стройный рост, его красивое, черноглазое лицо, голос приятный, спокойный выражали непогрешимую убежденность истинно верующего пастыря в свое святое назначение быть носителем всех христианских добродетелей, подлинным отцом своей паствы.

Для такого торжественного случая Питирим повесил на груди самую дорогую, осыпанную изумрудами, панагию с изображением «Христа, несущего на раменах овча».

Золото, бриллианты, жемчуг, освещаемые косыми лучами солнца, пробивавшимися сверху сквозь окна в собор, разжигали воображение, мutilи рассудок у посадских обывателей, вселяли великое уважение и почтение в них к епископу.

Когда царский певческий хор приготовился петь «херувимскую», Петр снова быстро прошагал по церкви, пристав к хору. Пел он, надувая подбородок, покачивая головой и упершись глазами внимательно в регента.

Опять все богомольцы грохнулись на пол и опять застыли в едином земном, подобном мертвенно, поклоне.

По окончании Петр вошел в алтарь и объявил Питириму, что он жалует его саном архиепископа, о чем и вносит свое предложение в святейший синод.

Питирим скромно сказал на это царю, что он не заслуживает такой великой милости государя, что он выполняет долг свой перед православной церковью и перед родиной и полагает, что еще далеко не так он выполнил этот долг, как бы истинному пастырю церкви божией следовало, так как много еще скрытого лицемерия и недружелюбия таится в душах нижегородцев. По словам епископа, полным смирения и нелицеприятства, государю нужно было бы обождать с пожалованием ему, епископу Питириму, высокого духовного чина архиепископа.

Царь Петр сказал:

— Не для тебя то делаю, святой отец, а для благоденствия церкви и государства.

Питирим низко поклонился Петру, ответив:

— Воля твоя, государь!

— А теперь надо подумать нам о походе, — проговорил Петр по выходе из собора и тут же выразил губернатору

свое «чувствительное неудовольствие» по поводу тех судов, «кои сделаны в нижегородских водах». Недоволен он был и «закоренелым упорством промышленников, строящих суда старым манером».

В конце этих разговоров он дал нижегородцам следующий указ:

«Кто имеет всякого чина люди у себя суда, на которых возят всякие товары вниз, оные 6 люди такие суда объявляли в Нижнем в Губернской канцелярии немедленно, понеже оныя суда будут клеймить погодно, и дать им сроку с сего числа два года возить на оных судах всякие товары на низ, а как два года пройдут, те все суда иссечь.

В оные два года делать им всякого чина людям суда такие, которым бы можно было ходить и на море для возки товаров, а именно, эверсы и новыя романовки, и иныя морския суда с полною оснасткою морскою.

А делать оныя суда, так и такелаж, не образом только, но делом чтоб были крепки и добрым мастерством, и сие не токмо волею, но и неволею велеть делать, а ослушников штрафовать сперва деньгами, а в другой раз и наказанием...

И для оного судового строения послать в Санкт Петербург в Адмиралтейскую коллегию указ о присылке мастеров, а именно судового, мачтового, блочного, парусного, боцмана и 15 человек матросов в Нижний Новгород.

Оныя суда делать в тех же пристанях, где прежде сего делали; а мачты, парусы, якоря и прочий такелаж делать в Нижнем Новгороде, и для того учинить верфь с геленгом, кранами и прочим, что надлежит.

До прибытия мастеров надлежит готовить для строения судов лес заранее, чтоб в оном не было остановки, а прежних староманерных судов впредь не делать, и о том в Нижнем Новгороде и в других местах, где надлежит, публиковать.

Для надзирания над оным строением выбрать в сенат доброго человека штаб-офицера, которому состоять под влиянием интенданта Ивана Потемкина.

Мастерам быть на жалованье казенном, а работникам быть на верфи непременно мачтовым, парусным, блоковым, и содержать оную верфь комиссару; а для лучшей верности в продаже и в покупке материалов, и жалованья и прочих денежных расходов, при том быть вице-губернатору,

да по два человека из посадских погодно». Чиновники и купцы поклялись исполнить государев наказ.

Вечером в ратуше, во время приема купечества, когда дошла очередь до Фильки, Петр сказал с улыбкой:

— А! Ты тот, который... Помню. Имя?

— Филипп Рыхловский.

Филька растерялся и, дрожа, в ответ на дальнейшие расспросы царя только мотал головой, будто лишившись языка.

— Епископ говорил о тебе... — И, указав на какого-то бледного нарядного вельможу, Петр сказал Фильке:

— Иди к нему.

Вельможа отвел Филиппа в сторону и сообщил шепотом:

— Его величество за старание в делах осторожных жалует тебя дворянским званием, землею и грамотой. Явись в губернскую канцелярию.

А в губернской канцелярии ему объявили, вручив царскую грамоту, что Петр отдает ему в вечное пользование богатые угодья по рекам Суре и Кудьме, в местах, заселенных чувашинами и мордвой, дабы и там он «показал свое усердие».

Филька Рыхлый уже сообразил, что ему сказать в ответ на это. Он заявил, что в корабельном строительстве, задуманном государем, он со своими заводами будет прилагать все свое прилежание, чтобы стать полезным его величеству, государю, слугой.

## VIII

Посадские «большие люди» поздравляли царя, посылали на галеры подарки, его путь усыпали зеленью, устилали коврами, чтобы потом на память сохранить этот ковер, по которому прошел царь. (Посадская мелкота притихла и приуныла—в эти дни базары не торговали, цены в рядах вздулись, а заработок у ремесленников сократился).

Строганов вновь устроил пышный пир в честь Петра, не жалея ничего для торжественного дня. Купцы явились с женами, в том числе и Филипп со Степанидою.

Особо ото всех купцов Строганов поднес царю пять тысяч рублей на корабельное строительство, за что и получил «милостивую благодарность» Петра, но... кто и

когда мог поручиться в том, что у царя не переменится через минуту, две, пять настроение?!

Так вышло и здесь. Петр, праздновавший день своего рождения, окруженный радостью и славословием, вдруг нахмурился, встал из за стола, застегивая до того времени расстегнутый мундир, и подошел к Строганову:

— Хозяин, надо с тобой поговорить...

Тот вскочил, чуть парик с него не слетел,— так усердно тряхнул головой, кланяясь царю.

На воле, в небольшом садике около дома, Петр указал на построенный Строгановым храм:

— Отныне храм оный для богослужения закрыт. Повесь замки. Подвалы железом обей, заколоти. Вот мой приказ.

Строганов низко поклонился:

— Слушаю.

А у самого дух в груди перехватило от неожиданности и тяжелой обиды, нанесенной ему царем. Не он ли, Строганов, был во все времена, с самого начала царствования Петра, вернейшим холопом его величества? Не его ли, строгановский, купеческий род со времен Иоанна Грозного служит верою и правдою престолу русских царей? И не он ли, Строганов, только сию минуту получил от его царского величества милостивую благодарность за поднесенные им пять тысяч? Не у него ли, наконец, царь прожил все эти трое суток и не у него ли пировал все эти дни? Господи! Вот уж, истинно: не знаешь, где упадешь.

Петр угадал, очевидно, по лицу Строганова эти мысли, ибо ласково положил на плечо его руку и смягчившимся голосом сказал:

— Не скорби, Дмитрич. Лучшее от сего будет. Не принуждения ради чиню. Думай не токмо о себе, а обо всех нас.

Строганов постарался улыбнуться; его уже просто начало мучить любопытство; крайне загадочным казалось это странное и неожиданное распоряжение царя.

— Великий государь, воля твоя священна есть для всякой твари твоего земного царства, но... храмоздание во славу твою же и для молитвенного усердия о тебе же устроено мною?!

— Несть числа умыслам добрым, кои с разумом не согласуются. Не спорь со мной, не доводи меня до крайней худобы несогласия. Того ради думал я много. Пространного суждения и извития словес чуждайся.



Строганов прикусил язык.

Около двух часов ночи на Волге стали палить пушки. Гости заволновались. Все взоры были обращены на Петра.

Он тихо рассказывал что-то сидевшему рядом с ним Питириму.

Подвыпивший Филипп щипал за ногу Степаниду. Та раздумянулась, глаза ее блеснули. Она была в парике и в «голом» платье, сшитом недавно одной полькой-закройщицей, приехавшей с мужем, учителем латинского языка. Степанида в этот вечер была красива, как никогда, и не укрывшись от нее взгляды Петра, изредка бросаемые в ее сторону. Ей показалось даже в начале вечера, что Питирим что-то рассказывает про нее царю, и оба они то и дело поглядывали на нее во время этого разговора. Филька сидел «дурак-дураком», ничего не замечая и следя только за тем, как бы ему урвать время да незаметно опрокинуть в рот чарку и закусить вино рыбой или икрой (губу разъело от угощения не на шутку).

Но вот на берегу затрубили сигналисты. В зал строгановского дома вошел адмирал в боевом обмундировании и доложил царю о готовности к отплытию.

Петр обтер платком усы, встал. Поднялась и царица, и Питирим, а за ним и все присутствующие.

— Объявляем ныне вам, господа, нашу благодарность, — сказал Петр, — за верную вашу к нам службу, за проведенные купно с нами дни нашей подготовки к походу. Поелику нижегородский купец издавна прославлен верною своею преданностью царю и родине, и те дни, нами проведенные с вами, помогут нам в дальнем нашем святом деле усмирить нарушителей нашего торгового трактата...

После этой речи Петр пожелал проститься с нижегородской знатью и купцами. Все подходило к царю и царице и, низко кланяясь, говорили: «Поддай бог победы вашему величеству» (научил этим словам гостей Потемкин).

Когда подошел Филипп со Степанидой, царь ласково улыбнулся:

— Приумножай племя, в дворянском бо чине состоишь.

Екатерина рассмеялась. Замычали весело и окружающие царя вельможи.

К берегу двинулись шумною, пестрою толпою, с факелами и фонарями. Перед царем матросы несли, освещая ему путь, громадные навешенные на шесты пылающие жестики.

Вице-губернатор и полицейские чины бежали впереди, осматривая путь к кораблям.

Небо было темносинее. Ранняя весенняя заря брезжила над лесами Заволжья. Встрепенулись петухи во дворах убогих хибарок по взгорьям. Прохладило. Волга слегка подернулась туманом. Причудливыми, неясными фигурами громоздились над гладью реки застывшие в ожидании отвала суда. В тишине слышались всплески воды, лязганье цепей, скрип канатов, стук молотков, голоса матросов.

Петр шел громадными шагами, имея по правую сторону еле поспевавшую за ним дарицу, по левую — архиепископа Питирима. (Был отдан приказ уже именовать Питирима «архиепископом»).

Когда царь стал садиться, провожаемый нижегородцами, в лодку, взвились ракеты на судах, в кремле и на посаде ударили в колокола. Сонно прохрипели кремлевские пушки, разбуженные пушкарями. Эхо прокатилось, припадая к Волге.

На воде засновало множество лодок, торопившихся к кораблям. Шум на рейде разрастался. Где-то заиграла музыка. Взметнулись над водой встревоженные чайки, взвизгивая. Носились под носом у кораблей и над головами пливших в лодках.

Когда Петр вступил на свою галеру, с нее опять помчалась в небо ракета. За нею полетели ракеты и с других судов. Сигнал к отвалу дан.

Опять появилось откуда-то на берегу в полном облачении духовенство. Опять набились зеваки в нагорьи между домов и по закоулкам.

...Святися, святися,  
Новый Иерусалиме,  
Слава бо господня  
На тебе воссия,  
Ликуй ныне... —

веселым плясовым напевом частили попы пасхальную стихирю, переминаясь с ноги на ногу и задирая бородачки. И хотели они или не хотели того, а получалось пенье-то у них не в пример веселее того, что было в день приезда царя.

Да и купцы облегченно отдувались, глядя на мерно покачивавшиеся, готовые к отвалу корабли. Следили с радостным любопытством за тем, как шевелятся паруса, как они разворачиваются и начинают оживать под легким дуновением верхового ветерка, разгонявшего туман.

Волинский молился «обеними руками». Вряд ли еще кто в Нижнем так радовался отбытию Петра, как вице-губернатор. За эти три дня Иван Михайлович столько выговоров получил, сколько не приходилось ему получать во всю жизнь.

Петр собственною рукою вчера раскопал у него в губернской канцелярии несколько нерешенных раскольничьих дел: словно ему кто подсказал—прямо полез на полку и вынул оттуда эти дела. Чуть с поста со своего губернаторского не слетел Иван Михайлович. А как царь зубами заскрежетал да как глаза вытаращил—сего до самой смерти не забудет Иван Михайлович. Поневоле запоешь...

...Ликуй ныне  
И веселися, Сионе...

притоптывая, подпевал вице-губернатор попам, а лицо у самого радостное, довольное.

Но вот якоря подняли. Снова грянули выстрелы с кораблей, и опять с кремлевской стены громахнули своим старьем нижегородские пушки.

Паруса надулись. Корабли тронулись в путь. Петр, стоя на палубе, прощально приветствовал шляпою нижегородское дворянство и купечество, которые с великою готовностью отвечали ему тем же, откланиваясь до земли.

Когда корабли исчезли в тумане, нижегородская знать и купечество побрели снова на гору, в Верхний посад. Филька потащил, пыхтя и отдуваясь, под руку плачущую Степаниду. Тихо утешал ее:

— Чего ты?! Дура! Стыдись! Теперь ты помещица! Чего же ради голосишь? Ей богу, дура!

А Степанида совсем и не о царе: ей почему-то пришло в голову, что явятся они домой, а сынишки их нет,—цыган утащил. Пускай на него похож... Какое кому дело!

— Ой, ой, батюшки, родимые мои!—выла она на всю набережную, а люди слушали и думали: «Ого, что значит, усадьбу-то пожаловали! Рада стараться! По царе плачет, соскучилась уж!»

Строганов, вперевалку, побрел берегом, один-одинешенек, хмурый и печальный, и все ломал и ломал голову;

«Почто антихрист прикрыл мой храм?». Думал и оглядывался. Светало.

## IX

В эту ночь дом Филиппа Павлыча караулил Демид. Вызвали его еще накануне из Кунавина, с завода. Никому Рыхлый не верил так, как своему старому другу.

Медленно, неторопливо прохаживался Демид по переулку около дома, поглядывая по сторонам. Дело-то, конечно, не его — сторожить покой хозяина. Вот уж два года, как он работает кузнецом на заводе у Рыхлого. Отдан властями в «зажив» преступления Филиппу сроком на десять лет со взносом за это в казну Монастырского приказа (Рыхлым) двухсот рублей.

«Что поделаешь?! Хозяин — владыка. Какую работу заставит делать, такую и будешь». Так раздумывал Демид, бродя по переулку вдоль хозяйского дома.

— Господи, господи, как все изменилось! — прошептал он.

Вдруг он услышал какой-то шорох. Будто кто-то подкрадывался, шуршал в кустарниках Почаинского оврага.

— Эй, кто там?! — окликнул Демид.

— Мы.

— Кто вы?

Из кустарников вылезли дыган Сыч и отец Кари.

— Здорово, брат!

— Ты откуда?

— Из степей. С Урала, кречет мой...

— Почто пожаловал?

— Проведать товарищев. — Сыч понизил голос. — Слыхал?!

— Нет. А что?

— Фильке, сукину сыну, усадьбу царь подарил...

— Филиппу?

— Да. Дворянином, видать, хотят сделать. Надо его поздравить.

— Ты бы днем. Почто ночью?

— Днем нам нельзя.

— За что же усадьбу-то?

— Людей ковал. Помог скиты зорить.

— За это?

Демид нахмурился. Тяжело задышал.

— Теперь ты и завовсе рабом его станешь.

— Да правда ли это? Не брехня ли?

— Поп!—дернул Карпа дыган.—Поклянись по уставу, а то он мне не поверит...

— Именем господним, адом преисподним, всей своею казною, филькиной женою да своею бороδοю клянусь, что кто попу не сын, тот сукин сын, и тот на Руси дворянин, кто за всех один...

Сыч рассмеялся.

— А я скажу тебе, Демид: белые ручки чужие труды любят. Вот и Филька теперь становится белоручкой...

И, вынув из-под полы нож, отдал его Демиду.

— Возьми... «Поздравь» его сам.

— Кого?

— Фильку.

— За что?

— На вашей крови, да на твоих слезах, да на лстивых речах добыл себе царскую награду. Расквитайся!

Демид протянул руку. И не успел еще одуматься—зачем он руку протянул, как нож был уже у него. Удивился сам на себя Демид, но сердце его негодовало на Фильку; стало тяжело Демиду дышать: «Филька—угодник царев!»

— Поп, благослови!

Отец Карп перекрестил Демида.

— Ополчайтесь, убогие, на врази своя... Истребляйте, смерды, господ ваших, а наиболее—подобных Фильке, поганому предателю, асмодею... Глушите их! Глушите их...

Дальше Сыч со злобою начал нанизывать матерные слова.

— Верши!—сказал он вразумительно Демиду.—И приходи после сего к нам, к Борскому перевозу, там наша галера в ивняке упрятана. Увезем и тебя...

И оба скрылись опять в чаще кустарников Почаинского оврага.

Демид хотел было броситься за ними, но их и след простыл. И остался он один-одинешенек со своею страшною мыслью и клинком в руке. Вспомнилась ему прежняя его дружба с Филькой. Какой хороший тогда был человек! И не узнать, и не понять теперь его, что с ним стало. Будто черт поселился внутри Фильки! Вспомнил он и своих разоренных единоверцев, керженских скитожителей, диакона Александра, и страшно ему стало жить на белом свете.

А тут начали палить пушки, трезвонить колокола — мороз прошел по коже Демида: «Филька там, с ними... заодно с царем, с Питиримом, со всеми врагами... Филька — его господин... Может выпороть его, сгноить в тюрьме».

Демид помолился двуперстно на небо. Он искал глазами там чего-то, а небо было пусто...

С Волги доносился грохот, шум.

Демид погладил лезвие... Дунул на него. Обтер рукавом.

После того как на берегу стихло и с нагорья Демид увидел уходящие вдаль, на низы, громадные полотнища парусов, он спрятался в кусты. В доме спала взятая Филиппом к ребенку мамка. Окна в горницах были завешены белыми занавесками. Пес мирно дремал на дворе у конуры. Пахло весеннею землей. Тоненько пищали над самым ухом комары, не давая покоя Демиду, жгли своим жалом шею, лицо, да соловьи разливались неумолчно в почайнских кустарниках по оврагу, терзая сердце: «И чего радуются?!»

Но вот послышались голоса. Возвращались по домам купцы, проводив царя. В их числе, с женою, шел и Филипп Павлыч.

Скоро голоса стихли, и в проулке появились Филька и Степанида.

— Демид! — крикнул Филька.

Тишина.

— Демид! — повторила за ним Степанида.

Демид не шелохнулся.

— Демид, чертов сын! Где ты? — начинал сердиться Филипп. Степанида сказала:

— Вот тебе и надежный твой слуга. Не послушался меня! Не надо было его звать из Кунавина...

— Ну, подожди! Я ему! — грозно произнес Филипп, и оба вошли в дом.

Через несколько минут на дворе послышался снова голос Фильки — он и там кричал Демида, потом опять вышел в проулок и подошел к самому оврагу, ворча:

— Как волка ни корми, все в лес смотрит. Вот подожди, я ему!..

Демида точно кто толкнул. Сжав в руке своей рукоятку лезвия, рванулся он из кустов, да прямо на Филиппа. Степанида бурею слетела с крыльца, навстречу Демиду. Филька скрылся в доме. Не успел Демидобразить, что он

наделал, как Степанида ударом по голове повалила его на землю и стала бить его вальком, приговаривая:

— Вот тебе, разбойник! Вот тебе, разбойник!

Выбежал тогда из дома снова и Филька и тоже принялся дубиной колотить Демиду. Он потерял сознание, а они все били его и били.

Потом, остановившись, увидели, что Демид еле дышит. Филька сказал:

— Приберем его на двор...

Демиду перетащили из проулка во двор. Накрыли рогожей.

На другой день в съезжей избе доделано было то, чего не доделали Филипп со Степанидой.

Вернувшись от вице-губернатора, Филипп сказал жене:

— Влиши в поминанье.

Оба стали на колени и усердно помолились об отпущении грехов «новопреставленному рабу Демиду».

Цыган Сыч, не дождавись Демиду, заявил отцу Карпу со вздохом:

— Царя проводили, с приятелями повидались... Обдоили, кого можно... Подымай якоря! Айда по большеводу!..

Отвязали лодку. Оттолкнулись, распустили парус. Ветерок надул его. Туман почти разогнало. Только кое-где белели комки его в заводях, жались к кустарникам.

— Веселее, поп! Скоро и солнышко взойдет, потеплее станет... Погреемся.

Лодка плавно пошла вниз. Сыч, хотя и внушал попу веселость, а сам запел тихую и очень грустную песню.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>В. И. Костылев</i> (Биографическая справка) . . . . .	6
Часть I . . . . .	11
Часть II . . . . .	161
Часть III . . . . .	273
Часть IV . . . . .	381



Редактор *А. П. Зарубич*  
Технический редактор *Л. И. Немченко*  
Корректоры *В. М. Плотникова, М. В.*  
*Розенталь*

1951 год. Издательский № 2183. Индекс  
Х-1. Тираж 150,0 экз. Бумага 54x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
—13,1875 бумажных—21,63 печатных—  
23,4 уч.-изд. листов. Подписано к пе-  
чати 3/V-51 г. МЦ 00998. Заказ № 5119.

11-я типография треста „Росполиграф-  
пром“ Росполиграфиздата при Совете  
Министров РСФСР, г. Горький, ул.  
Фигнер, 32





